

НОВЫЙ
МИР

6

МОСКВА 1939

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

И Ю Н Ъ

МОСКВА
1939

Уполн. Главлита А—10171.
Сдано в набор 20/V—39 г. Подписано к печати 16/VI—39 г.
18 печ. листов. 28,8 авт. л. Тираж 80.000. Зак. 2002.
Технический редактор **Е. Т. Верхоробенко.**
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская площадь, 5.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
М. И. КАЛИНИН — Об овладении марксизмом-ленинизмом работниками искусств	5
Степан ЦИПАЧЕВ — Спор, стихотворение	14
В. СОЛНЦЕВА — Первый орден, повесть	15
Лев ЧЕРНОМОРЦЕВ — Детство в «Порт-Артуре», стихотворение	38
Мих. ЗЕНКЕВИЧ — Два стихотворения	40
В. КОСТЫЛЕВ — Козьма Минин	41
А. ЖУЧКОВ — Счастье, поэма	109
М. ЧУМАНДРИН — Бикин впадает в Уссури, пьеса	131
А. ШАХОВ — Рассказы	174
<hr/>	
Иван РАХИЛЛО — Анатолий Серов и Полина Осипенко	189
<hr/>	
И. НЕФТЕРЕВ — Героическая оборона Петрограда	200

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Акад. Алексей ТОЛСТОЙ — Об учебнике «История литературы народов СССР»	209
Е. БЕРТЕЛЬС — Литература народов Средней Азии	210
И. ГРУЗДЕВ — Об очерке А. М. Горького — Праздник шиитов	240
А. М. ГОРЬКИЙ — Праздник шиитов, очерк	241
А. ДЕРМАН — А. П. Чехов, биография, продолжение	247

БИБЛИОГРАФИЯ

С. В. — Г. Байдуков — О Чкалове	272
Галина КОЛЕСНИКОВА. — Марина Раскова — Записки штурмана	274
Мариятта ШАГИНЯН. — В. Ильенков — Личность	277
Х. ХЕРСОНСКИЙ. — Письма М. Н. Ермоловой. Творческие беседы мастеров театра — А. А. Яблочкиной, В. Н. Рыжовой, Е. Д. Турчаниновой	278
В. ГУРВИЧ. — Лئون Фейхтвангер — Изгнание	283

ОБ ОВЛАДЕНИИ МАРКСИЗМОМ-ЛЕНИНИЗМОМ РАБОТНИКАМИ ИСКУССТВ¹

М. И. КАЛИНИН

Товарищи, здесь должны были собраться, как мне говорили, работники театра — артисты, но аудитория оказалась гораздо шире: здесь работники всех искусств. Все-таки я начну с театра.

Это самое близкое к литературе искусство. Лучшие произведения великих и талантливых писателей часто сливаются с театром. Вспомните, например, Шекспира, Гете, Пушкина, Грибоедова, Островского и других писателей. Театральное искусство и литература имеют очень много общего. Во многих случаях театр не только дополняет литературное произведение, но и дает более яркое выражение его идеям, делая их более доступными, более доходчивыми до масс, что способствует даже лучшему пониманию данного произведения.

Русская художественная литература много сделала для развития общечеловеческой мысли и занимает в ней почетное место. Пушкин, Толстой, Горький — это огромные художники, великие писатели мира, и вместе с тем они действительно русские писатели, отражавшие эпоху и черты русского народа.

Параллельно с ростом русской литературы и ее значения вырастал русский театр и его роль в развитии нашего народа. Уже произведения Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Островского прочно поставили на ноги наш театр, благодаря столь блестящим критикам, как Бе-

линский и Добролюбов, которые пристально наблюдали за развитием театра, за художественным творчеством артистов. Вспомните, как высоко ценил Белинский игру Мочалова, сколько блестящих страниц он посвятил его художественному творчеству!

Вообще наши театральные работники имеют славные традиции. Укажу просто по памяти имена, которые запечатлены в головах культурных людей СССР, например: Новиков, упомянутый уже Мочалов, Щепкин, Савина Мария Гавриловна, семья Садовских и т. д. Уже один тот факт, что культурные люди целое столетие помнят эти имена, лучше всего говорит о важности и ценности театра в культурной жизни народа.

Оперные и балетные театры были дальше от народа: Мариинский — в Петербурге и Большой — в Москве опекались царским двором. Значит, как культурно-музыкальные очаги для народа, они исключались. Частная, провинциальная опера была слаба, а места в ней — дороги. Поэтому и артистов, в полном смысле народных, в театрах оперы и балета не было.

Но все же, несмотря на гнет сверху и предпринимательскую спекуляцию в частных театрах, музыкальное искусство имеет у нас ряд блестящих композиторов и музыкантов. Возьмите, например, Глинку, Даргомыжского, Балакирева, Бородина, Римского-Корсакова и, особенно, Мусоргского, про которого известный русский искусствовед и критик

¹ Речь на собрании работников искусств г. Москвы 9 января 1939 г.

Стасов говорил, что он «принадлежит к числу тех людей, которым потомство ставит монументы».

Русское изобразительное искусство в свою очередь упорно и настойчиво развивалось под спудом царского самодержавия и буржуазно-помещичьего гнета. Укажу такие имена, как Венецианов, Федотов, Крамской и, особенно, Перов и Репин. Это — замечательные мастера, которыми справедливо гордится русский народ.

Вы ищите путей, как лучше служить народу. И правильно поступаете, обращаясь в поисках этих путей к изучению марксизма-ленинизма. Но имейте в виду, что изучение марксизма-ленинизма не освобождает, а — напротив — обязывает хорошо знать свое профессиональное дело, обязывает быть мастером высокого стиля.

Посмотрите, как в прошлом служила народу русская художественная мысль: литература, театр, живопись и т. д. — все, так называемые, «пластические» и «мусические» искусства. В чем была тогда сила искусства? — Она заключалась в том, что крупные художники направляли свой талант, свое мастерство к тому, чтобы по своему разумению выразить чаяния народа. И они достигали в этом значительных успехов, ибо в свое время они были передовыми людьми русского общества. Это легко проследить хотя бы по истории русской литературы.

Вот, например, Тургенев — один из крупнейших писателей. Существует распространенное мнение, что это — первоклассный мастер художественной формы. Но если мы обратимся к анализу его произведений, то увидим в них и социальное содержание. Возьмите «Записки охотника»: здесь в яркой, действительно художественной форме, словно в живописи, представлены на лоне природы живые образы простых людей, преимущественно крестьян. Что может быть безобиднее, аполитичнее этих тургеневских персонажей? Однако лучшие критики того времени, для которых защита обездоленных была решающим критерием в оценке литературного произведения, встретили «Записки охотника» с востор-

гом, находя в них соответствующее их убеждению содержание.

В «Записках охотника» представлены крепостные со всеми человеческими переживаниями, присущими и, так называемым, «культурным» людям. В крепостном крестьянине Тургенев показал человека, который так же, как и все люди, достоин иметь человеческие права. Правда, об этих правах писатель не говорил, но они напрашивались сами собою, они возбуждали мысль у читателя, что, разумеется, в тогдашних условиях производило политическое действие: вызвало негодование крепостников, ободряло и укрепляло прогрессивные силы. Поэтому неудивительно, что почти каждая вновь вышедшая книга Тургенева вызвала острую борьбу, различную оценку борющихся литературных групп. Достаточно напомнить о его романе «Отцы и дети».

Все это говорит о том, что творчество Тургенева имело не только художественное, но и общественно-политическое значение, которое — как мне кажется — и придавало действительно художественный блеск его произведениям. Если изъять общественно-политическое содержание из произведений Тургенева, то они не заняли бы столь почетного места в истории русской литературы.

Можно с уверенностью сказать, что Тургенев искал прогрессивные явления в русском обществе и стремился художественно их отобразить. В этом отношении он много сделал для развития русской общественной мысли, хотя сам и далеко стоял от действительных бойцов с самодержавием, с рабовладельчеством, с режимом Николая I, которого народ недаром прозвал Николаем Палкиным, и с режимом Александра II.

Тургенев далеко стоял от Герцена, Чернышевского и Добролюбова. Люди, типа Базарова, не пользовались его симпатией. Но художественная правдивость влекла Тургенева к воссозданию реальных типов существовавшей действительности. Наиболее ярко и полно его художественный талант мог проявиться только в отображении этой действительности.

А вот еще один из крупнейших писа-

телей — Чехов. Известно, что это — неподражаемый мастер русского слова. Он, как бы от избытка, совершенно произвольно показывал образы (типы), встречавшиеся ему на каждом шагу в повседневной жизни. И кто может заподозрить его в политической тенденциозности?

Но Чехов не видел положительных сторон и веселых сцен в жизни народа. Он рисовал в целом убийственную картину русского мещанства и чиновничества с их косностью, тупостью и черствостью. Он живописно и метко изображал политический гнет, ограбление крестьян помещиками и кулаками, безысходность крестьянства при царизме и капитализме. Несмотря на исключительную скупость в словах, несмотря на отсутствие внешних проявлений чувств к своим героям, он так покоряет читателя, так воздействует на него, что тот сам делает необходимый вывод.

Надо полагать, что художественные восприятия Чехова заставляли его думать и о средствах избавления людей от существовавшего гнета. Но, оставаясь в плену буржуазного мировоззрения, он не видел истинных путей борьбы со старым миром. В этом отношении характерно его письмо Суворину от 25 ноября 1892 года. «Вспомните, — писал Чехов, — что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая не даром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайšie — крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова; у других цели отдаленные — бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такую, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такую,

какая она есть, а дальше — ни тпру, ни ну... Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей и в нашей душе хоть шаром покати».

Как видите, огромный художник считал основной причиной своей творческой ограниченности отсутствие «ближайших» и «отдаленных» целей. Истинной же целью «писания жизни» в его время мог быть только социализм. И так как эта цель была ему недоступна, то он довольствовался критикой существующего общества, чем как бы подготавливал почву для пролетарских писателей.

Максим Горький первый в романе «Мать» дал художественные образы революционеров из рабочего класса и тем самым положил начало пролетарской художественной литературы, знающей свои «ближайшие» и «отдаленные» цели и почерпающей в них свою силу.

Товарищи, я напомнил вам о Тургеневе и Чехове лишь потому, что, по издавна распространенному мнению, они не приносили в жертву тенденции художественную форму своих произведений. «Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни,—говорил Тургенев,— есть величайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». И вот реальная жизнь, воспроизведенная настоящим художником, сама создавала тенденцию и разжигала политические страсти в обществе.

Наша художественная литература в прошлом была наполнена глубоким социальным содержанием. И это делало нашу литературу народной. Она захватывала, развивала, толкала людей на революционные действия. Эта литература показывала отрицательные стороны существующего буржуазно-помещичьего мира и занималась вопросом о том, как улучшить жизнь угнетенных людей, страдающих, бедноты.

С этой стороны наша литература имеет, пожалуй, специфически русские качества. Конечно, к этому были особые причины, но сейчас мы о них не говорим, только оттеняем эти качества, которые заметил еще Энгельс. В одном из своих писем он указывал: «Современные

русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны».

С полным основанием то же самое можно сказать о нашей музыке, живописи и т. д. Позвольте снова напомнить вам о Мусоргском, которого я уже называл в качестве примера. Он создал множество композиций на темы из крестьянской жизни: «Калистрат», «Спи, усни, крестьянский сын», «Колыбельная Еремушки», отдельные сцены в «Хованщине», «Борисе Годунове» и др. В этих композициях прямо оживают тяжелые картины безотрадной жизни крепостных крестьян.

В живописи в параллель с Мусоргским можно поставить замечательного народного художника Перова, которого я также называл в качестве примера. Крестьянские типы и сцены принадлежат к разряду лучших его произведений: «Приезд станového на следствие», «Сцена у железной дороги», «Сельские проводы покойника» и др. Перов создал очень много ярких картин антицерковного характера. Все это говорит о том, что Перов был живописец народа, отдавшийся острому чувству негодования и боли за его невыносимые тягости и приниженность.

Значит, наша художественная литература, музыка, живопись, театр и вообще наша художественная мысль в лице лучших представителей никогда не забывала свою служебную роль по отношению к народу.

И все же, за немногими исключениями, она выражала идеи господствующих классов, оставалась в пределах их мировоззрения, выступая только против крайностей старого мира. Народность основной струи художественной мысли состояла в развитии прогрессивных элементов в господствующих классах, что не могло не вести хотя бы отчасти к развитию народа.

«В каждую эпоху, — говорили Маркс и Энгельс, — мысли господствующего класса суть господствующие мысли, т. е. тот класс, который представляет собою господствующую *материальную* силу общества, есть в то же время и его господствующая *духовная* сила».

Это значит, что в каждую эпоху господствующий класс господствует не только материально, но и духовно, т. е. господствуют и мысли этого класса.

Вспомните Гоголя: как он клеймил крепостное, помещичье общество! Вряд ли найдется в мире человек, который сумел бы представить в столь неприглядном виде общество, в котором он жил. Однако Гоголь остался верным сыном своего класса.

Чехов — как я сказал — величайший мастер слова, уничтожающий критик буржуазно-помещичьего общества, в котором он жил. Однако и Чехов не выскочил из пределов буржуазного мировоззрения.

Товарищи, у нас руководящим, ведущим и, в этом смысле, господствующим классом является рабочий класс, который в братском союзе с колхозным крестьянством строит бесклассовое социалистическое общество, коммунизм. Материальные богатства Советского Союза принадлежат рабочему классу и колхозному крестьянству, т. е. всему народу. Отсюда — вполне естественный вывод: если советская интеллигенция хочет занять то место, которое передовая, прогрессивная интеллигенция занимала в прошлом, т. е. идти впереди по пути прогресса, если она хочет занять руководящее место в строительстве социализма, если она хочет формировать и двигать вперед человеческую мысль, то она должна овладеть марксизмом-ленинизмом — мировоззрением рабочего класса.

Товарищи, еще нигде, никогда и никто не строил социализма практически. Были утопии, фантазии о построении социалистического общества. Таких фантазий было значительное количество. Но на базе научного социализма мы строим социализм все-таки первые. И, разумеется, каждый шаг нашего движения вперед требует огромной работы человеческой мысли.

Вы хорошо знаете историю старой России. Если надо было реформировать какое-нибудь ведомство, то посылали людей за границу, там они брали образцы, привозили в Россию и здесь осторожно его применяли, чтобы не зара-

зяться либерализмом. Даже великий преобразователь Петр I значительную часть своих новшеств взял из-за границы.

А нам, увы... ехать некуда. (*Бурные аплодисменты, смех*).

Было время, когда мы, рабочие, члены подпольной марксистской партии, учились классовой борьбе у западноевропейских рабочих, политическое развитие и организация которых для нас были идеалом. Было время, когда лично я мечтал: может быть, когда-нибудь и я буду членом российского парламента от рабочей партии. Так я думал. Это, конечно, была фантазия... (*Смех*). А теперь вы видите — моя фантазия более, чем оправдалась. Мы все сделали строителями социализма. Это такой скачок, равного которому в истории не было. Может быть, кто-нибудь из вас лучше знает историю и найдет в ней хоть какое-нибудь подобие этому скачку? (*Смех, аплодисменты*).

Итак, мы являемся первыми строителями социализма. История предоставила нам такую честь. Подумайте только — что это значит! Пройдет тысяча лет, человечество будет изучать историю социализма, при этом оно будет восхищаться и удивляться, что столь простые люди были первыми строителями социализма. Это — величайший почет. Правда, через тысячу лет этот почет вряд ли будет на нас особенно действовать... (*Смех*). Но эта мысль о том, что нас когда-то будут вспоминать за великий исторический подвиг в интересах всего человечества, эта мысль не может не вдохновлять и не воодушевлять нас теперь. (*Аплодисменты*). А вы, как работники искусства, лучше всего это чувствуете и знаете.

И вот для того, чтобы двигать мысль вперед, чтобы полностью претворить в жизнь идеалы социализма, — для этого надо овладеть теорией марксизма-ленинизма. Нельзя двигать вперед человеческую мысль, нельзя двигать вперед социалистическую организацию общества, нельзя двигать вперед социалистическое строительство, если люди не овладеют в совершенстве этой революционной теорией, теорией самого передового и прогрессивного класса, при-

званного историей перевернуть весь мир, очистить его от всякой эксплуатации и кабалы, создать достойную человека обстановку и условия жизни. Вот, товарищи, откуда исходит необходимость изучения теории марксизма-ленинизма.

Передо мною работники искусства — один из значительных отрядов советской интеллигенции. Прежняя интеллигенция мнила себя солью земли. Советская интеллигенция действительно становится солью земли, она уже занимает такое место в нашей общественной жизни, какого не занимала интеллигенция никогда в истории и не занимает теперь ни в одном капиталистическом государстве. (*Аплодисменты*). Вот, товарищи, из чего исходит необходимость изучения марксистско-ленинской теории советской интеллигенцией. В особенности это относится к работникам искусств решительно всех областей.

Я уже сказал, что некогда я мечтал о таких временах, когда я буду членом российского парламента от рабочей партии. Это была моя романтика. А у вас разве нет романтики? Разве вы не хотите сделаться активными общественными деятелями, приносящими максимальную пользу Советскому государству? Разве вы не стремитесь двигать вперед социалистическое строительство, социалистическую мысль? Разве у каждого из вас эта идея не сверлит в голове? (*Аплодисменты*).

Но могут совершенно справедливо задать вопрос: а как практически осуществить эту животворящую идею? Вы здесь все — работники искусств, и вам надо особенно хорошо знать, в чем должно проявиться и как практически должно претвориться в жизнь служение народу.

Наиболее эффективное служение народу, мне кажется, может быть лишь на базе овладения хотя бы в общих чертах теорией марксизма-ленинизма и — что гораздо труднее — при умении применять ее в своей практической работе. Дело в том, что работа всякого художника в нашу эпоху должна базироваться на социалистическом реализме. Об этом теперь очень много гово-

рят, это стало как бы требованием времени. Возьмите, например, артиста: если он крепко стоит на базе социалистического реализма, то его успех, даже при среднем таланте, можно считать обеспеченным. Но стать сознательным социалистическим реалистом невозможно без овладения марксизмом-ленинизмом.

Что же такое социалистический реализм? Я знаю, что этот вопрос существует у вас и вы, наверное, уже приготовились сказать мне: «Объясните толком, формулируйте конкретно, в чем заключается социалистический реализм. Мы у себя часто говорим на эту тему, а конкретно еще не договорились». — Верно это или нет? Мне кажется, что верно. Вот я и попробую поделиться с вами своим пониманием социалистического реализма. Я скажу вам, как лично я понимаю социалистический реализм.

Мне кажется, что форма в искусстве является внешним материальным проявлением человеческих идей и чувств. Переживания же и мысли общественного человека всегда определяются социальными условиями. Например, очень легко подметить мысли и переживания безработного, голодного человека. Можно не сомневаться, что у него преобладает гнев и ненависть к пресыщенным, мысль об уничтожении безработицы. Миллионы таких людей накладывают свой отпечаток на всю жизнь капиталистического общества: на улицу, на внешний облик городов и сел, на лица людей. Там не может иметь массового успеха задорная, постоянно повторяемая у нас и каждый раз как бы впервые звучащая, песня «Широка страна моя родная».

Белинский прав, говоря: «Искусство без мысли, что человек без души — труп...». И в самом деле, представим себе художника, задавшегося целью зарисовать типы, ну, хотя бы американских безработных и людей, живущих только заработной платой. Может ли у него получиться художественное произведение, если ему чужды интересы, переживания, горести и радости этих людей? В лучшем случае получится

технически хорошо выполненный портрет, фотографическая похоть на оригинал.

Отсюда вывод: люди, стоящие на точке зрения формализма, или преследуют политические цели — скрывают социальные недуги, страдания трудящихся, как это делается в капиталистических странах защитниками капиталистической системы, или же они занимаются пустопорожним техническим упражнением, перебиранием четок в руках.

Только художник, который проникся полным пониманием всех переживаний и мыслей своего героя, который видит и чувствует безнадежность во взгляде безработного, который читает в глазах работающего страх потерять работу, — только такой художник найдет, и притом как бы произвольно, яркие слова, выразительные жесты, мимику, интонации, краски и мелодии для создания действительно реалистического образа.

Создание формы требует от художника огромной работы мысли, напряженных переживаний и очень больших знаний. Значит, и форма находится, в конечном счете, в зависимости от социальных отношений, от классовой борьбы. Сильное влияние русской художественной литературы и искусства в прежние времена может быть объяснено только их глубоким социальным содержанием и реалистическим направлением.

Определение реализма дано еще Белинским, вероятно, около ста лет тому назад. Реализм — это единство формы и содержания, когда дается не только правдивое внешнее описание, но и глубоко верно передается внутреннее содержание явления.

Школа Белинского — это почетная школа. Она проделала огромную работу по просвещению наших мастеров и далеко вперед динула наше искусство и литературу.

Единство содержания и формы входит, конечно, и в социалистический реализм. Но есть разница между социалистическим реализмом и прежним, до социалистическим реализмом.

Например, самые яркие художники-реалисты капиталистического общества не вышли из пределов этого общества, что наглядно подтверждает письмо Чехова к Суворину.

Мы живем в социалистическом обществе. Поэтому у нас художник-реалист поставлен в принципиально иное положение как к самому обществу, так и к своим героям-типам.

В прошлом столетии русские писатели старательно искали положительные типы в русской жизни. Достаточно напомнить Чацкого в «Горе от ума» Грибоедова, Онегина в поэме Пушкина, Печорина в «Герое нашего времени» Лермонтова, Инсарова в «Накануне» и Базарова в «Отцах и детях» Тургенева. Все это — крупнейшие произведения художественной литературы. Но их художественная ценность была велика именно потому, что они показывали отрицательные типы, а героев, которых бы народ признал за образец, не вышло. Все они — «лишние люди».

Были ли в тогдашней жизни люди, которые могли являться такими героями? Мне кажется, что были. Это — декабристы, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Герцен. Очевидно, дворянская художественная литература не могла их поднять, с одной стороны, по цензурным условиям, а с другой — и это самое главное — по своим идейно-политическим воззрениям. Она не могла возвыситься до уровня этих борцов за народное дело в силу своей социальной обусловленности.

После Тургенева уже нет таких поисков в литературе. Русская буржуазия, не успев расцвести политически и культурно, уже трепетала перед революцией больше, чем перед реакцией. Это резко сказалось в искусстве и литературе в виде распространения натурализма, формализма, символизма, импрессионизма и т. д. Одним словом, пошло всякое декадентство.

С появлением Горького художественная литература снова приобрела боевое общественное значение, в особенности в связи с выходом в свет его романа «Мать». Но теперь уже героями выступили рабочие. Этим как бы фиксировал-

ся тот факт, что борьба за все прогрессивное перешла к рабочему классу.

Советскому художнику не приходится утруждать себя поисками положительных типов и героев — таких людей у нас миллионы. Недаром в уставе Союза советских писателей сказано: «Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии».

Примером такой работы в известной степени может служить роман Малышкина «Люди из захолустья». Здесь удивительно конкретно, в соответствии с жизненной правдой показан рост людей из маленьких городов захолустья на больших стройках. У нас этот рост идет повсюду и во всех сферах человеческой деятельности.

Разве не бросается в глаза, например, рост социалистической государственности и советского патриотизма в нашей стране по сравнению с дореволюционным временем, по сравнению с любой капиталистической страной? Ну, где, в какой стране, в какой исторический момент (может быть, только в 1812 году, в связи с нашествием на Россию полчищ Наполеона) народ был так глубоко проникнут духом патриотизма, как у нас в эпоху советской власти?

В настоящий момент подавляющая масса населения СССР в своей повседневной жизни занята мыслью о строительстве социалистического общества. Частные интересы советских граждан все больше связываются, и притом вполне сознательно, с интересами социалистического государства. А благодаря этому растет и чувство патриотизма к социалистической родине, которое проявляется в самых различных формах.

Вы, как художники, великолепно понимаете, что у нас сейчас интересы социалистического государства, интересы социалистического общества занимают в голове каждого человека в десять, сто раз большее место, чем, предположим, не только в старой России, но и в лю-

бом современном капиталистическом государстве. Там люди меньше заняты общественными интересами. А мы больше этим заняты. Значит, если можно так выразиться, в голове каждого советского гражданина, в его быту гораздо большее место занимают общественные интересы, интересы общегосударственные, чем это было раньше. Это, мне кажется, — бесспорный факт. А потому и в произведениях, которые вы творите на сцене, на полотне или в книге, необходимо со всей силой оттенить и подчеркнуть эту важнейшую черту.

Раньше этой черты не было. Не любили у нас раньше государства. Не любили армии. Не любили правительства. Всех этих орудий насилия над народом не любили.

А теперь совсем иное. Теперь, например, армия — это же факт — пользуется колоссальной любовью среди всех слоев населения. (*Бурные аплодисменты*). Это есть выражение новой черты, нового отношения людей к социалистическому государству, ибо армия есть один из важнейших институтов государства.

За время существования советского строя население накопило в своем быту массу новых черт, несвойственных капиталистическому миру. Например, в магазинах очень часто можно наблюдать такую картину: у кого-нибудь из покупателей нехватило денег — к нему сейчас же придут на помощь. В трамвае, троллейбусе, автобусе, метро считается нормальным уплатить за пассажира, у которого не оказалось мелкой монеты. Конечно, это — мелочь, но она характерна для нашего строя общественных отношений. Люди у нас приобщаются социалистические черты, сами того не замечая.

Если хотите рисовать социализм, то не насилюйте свое воображение: у вас под руками великое множество благодарного материала, накопленного за двадцать лет. Социализм у нас — не мечта, а подлинная реальность. Этот реальный, а не фантастический, социализм требует мощной кисти художника: писателя, артиста, живописца, певца, музы-

канта, скульптора, архитектора и т. д. Уже кое-что в этом отношении делается, но сравнительно мало.

При этом, когда вы правдиво «пишете жизнь», надо выявлять не только те черты, которые каждому бросаются в глаза, но и те черты, которые обыкновенному глазу трудно заметить. Предположим, что ваш персонаж — корявый. Рисуйте, что он — корявый. Но оттеняйте и внутренние черты, которые не столь заметны, но которые типичны для наших людей. Например, любовь к родине. Она сказывается у различных людей в самых различных формах. Надо у каждого человека найти и показать эту любовь, выразив ее не умозрительно, а конкретно.

Мадонна Микель-Анджело — очень красивая фигура. Все от нее в восхищении. Но я уверен, что простая неуродливая девушка для живого человека ближе, чем Мадонна. (*Смех*).

Так вот, пора, наконец, понять, что социалистическое государство надо любить не только умозрительно, а и конкретно, т. е. с его природой, полями, лесами, фабриками, заводами, колхозами, совхозами и т. д., с его стахановцами и стахановками, с комсомолками и комсомольцами. Надо любить нашу родину со всем тем новым, что существует в Советском Союзе, и показать ее, родину, в красивом виде, не в таком, как я вам говорю речь, а действительно в ярком, художественно-нарядном виде. Если художник так будет любить социалистическую родину, то перед его глазами раскроется все то живое и великое, что делается в Советской стране, и его любовь наполнится глубоким, живым, реальным содержанием.

Но помимо этого есть еще одно очень важное требование, которое всегда надо помнить, если художник хочет быть социалистическим реалистом. Наша старая литература и искусство были велики не только своей художественной правдивостью, но в особенности тем, что они все время искали лучших путей, лучшего устройства жизни людей. Конечно, сейчас можно говорить, что тогда люди ошибались, шли не по той дороге и т. д. Но факт остается фак-

том: они искали новых путей. Советское искусство и литература должны крепко усвоить эту благородную традицию.

Ведь каждый художник хочет в своем произведении довести до зрителя или читателя какую-то мысль. Социалистический реалист должен рисовать действительность, живую действительность, без прикрас. Но вместе с тем он должен толкать своим произведением развитие человеческой мысли вперед. А тот литератор, который не ставит себе такой цели, — это полулитератор; тот артист, который не ставит себе такой цели, — это полуартист.

Поэтому задача каждого работника советского искусства, — если он хочет быть с народом, если он хочет быть в передовых рядах борцов за социализм, если он хочет вложить частицу своего «я» в строительство нового мира, — толкать людей своим произведением вперед, к достижению самой возвышенной и благородной цели — к построению коммунистического общества, воспитывать в народе любовь к родине, беззаветную преданность партии и готовность к претворению в жизнь ее идей, чтобы строй, явившийся воплощением этих идей, был для народа дороже всего на свете, чтобы наша молодежь пылала лучшими стремлениями сделать лучших борцами за дело Ленина—Сталина.

Значит ли все это, что художник не должен описывать, изображать, представлять отрицательных типов и явлений? — Ни в коем случае. Борьба за коммунизм, ломка старого, рост нового—все это само собою предполагает их существование. А кроме того не забудьте, что мы находимся в капиталистическом окружении и подвергаемся с этой стороны постоянному нажиму, вплоть до засылки к нам шпионов и диверсантов. Выпускать все это из поля зрения художника — значит не охватывать жизнь во всей ее полноте и совокупности, не выполнять основного требования социалистического реализма.

Итак, итти в ногу с самой передовой частью народа, т. е. с коммунистической партией, — вот как художники мо-

гут стать на практике социалистическими реалистами.

Теория марксизма-ленинизма идет вперед. Товарищ Сталин развивает и обогащает эту передовую революционную теорию, которая стала господствующим мировоззрением в нашей стране.

Но вот уже пошел третий десяток лет, как существует у нас советский строй и господствует мировоззрение пролетариата. Пора, наконец, работникам искусства выровняться, пора овладеть передовой революционной теорией пролетариата — марксизмом-ленинизмом. Эта теория исключительно обогащает людей, развивает их ум, раскрывает необозримые творческие горизонты.

А помимо всего для честного человека, в сущности говоря, и нет иной дороги, иного пути, как итти вместе с коммунистами. Заправилы современного капиталистического общества изо всех сил поддерживают фашизм, отрекаясь не только от будущего, но и от прошлого, уже завоеванного человечеством, прогресса. Их идеал — восстановление рабства и необузданной эксплуатации своего народа. Их идеал — международный разбой и возвращение трудящихся к варварству. Одним словом, реакционные силы буржуазии хотят повернуть колесо истории вспять. Разумеется, история за все эти насилия над нею жестоко покарает насильников. Но пока что наша страна остается единственной хранительницей всего культурного наследия и единственным двигателем человеческого прогресса.

Мы, большевики, народ скромный, не захватнический. Но все-таки мы думаем своими идеями завоевать весь мир и даже... раздвинуть вселенную.

А чтобы справиться с этими задачами, — наша интеллигенция и, в особенности, работники искусства должны вооружить себя передовой теорией марксизма-ленинизма, теорией самого революционного в мире класса — пролетариата. (*Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Крики: «Да здравствует партия большевиков!», «Да здравствует великий Сталин!», «Ура!»*).

Спор

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

Когда короткой стала тень,
в колхозный полдень золотой
овес, пшеница и ячмень
заспорили между собой.
Они заспорили о том,
кто будет из троих важней,
когда с границ ударит гром
из дальнобойных батарей.
Твердит пшеница: «Кто не слег,
тот знает — я права вдвойне:
боеприпасы, в сумке хлеб
всего важнее на войне».
Наохлил перышки овес:
«Там видно будет, кто важней.
при солнце и при свете звезд
мне горячить в бою коней.
Бойцов спросите — скажут все,
что сила конская «в овсе».
Шумливый на ветру ячмень:
«А чем же, кончив воевать,
победу будут запивать?!
Не обойтись без ячменя!
Чтоб веселее был тот день,
наварят пива из меня».

★

Первый орден

В. СОЛНЦЕВА

★

Матери.

Целую твои многострадальные руки.

В рагу лютому такой жизни не пожелаю, какую я до революции прожила. Обыкновенная жизнь, бабья, крестьянская, как полынь горькая... Вся-то она на ладошечке; горе хлебала, несчастьем закусывала; слезу пила, зуботычиной мужней заедала.

Выдали меня за моего Василя девчонкой: мне еще шестнадцати не было, а он меня на годок постарше был.

Окрутили нас без любви и согласия. Он гол, как сокол, а я и того голее.

Одно и было, что сила да здоровье. Я в девках могучая была, прямо богатырь в полной силе-зрелости. Пятипудовые мешки бегом носила.

По полу иду, а подо мной половицы трещат.

Василь был паршивенький, хиленький. Кутенок шелудивый, и только, да еще рябой. И в малолетстве от тяжелой работы грыжу натрудил.

Не любил он меня. Девка там у него была заприимечена. Ее взять хотел. Да не отдали за него Лизутку: беден больно. Ее-то родители побогаче были.

Поставили нас в церкви рядом, — народ в смешки. Я высокая, яблоня в цвету, он за мной и не виден. Слышу, шепчут:

— Девка до чево хороша, выровнялась! Красавица-пава, льяныны волосы — сто рублей, очи синие — тысяча, а самой девке и цены нет!

— Такой девке человека под стать и масть не скоро подберешь! Василь-то больно невзгляден — им хоть полы мой.

Василь почернел весь, сжурился, а кто-то и скажи:

— Сморчок! Суший сморчок!

Как блин на лысую голову, так и прилипло к нему это прозвище.

С этого позору с первых же дней он начал надо мной измываться: известно, плохое колесо больше хорошего скрипит. Каждый день, бывало, бил почем зря. Косу на руку наматает, — коса у меня тяжеленная была, большая, волосы до полу, — и давай крутить, ногами топтать. Силы мало, а злой, как пес. Посидит, посидит, отдышится и опять за меня. Вожжами хлестал, ухватом, скородником — всем, что под руку попадет. А в те времена, сами знаете, был в России для баб закон: молчи и сноси все от мужа. Молчала — сносила. А уж, бил! В аду жила! Каждодневно, каждодневно избивал до того, что в голове мутнело. Отец мой на что был мужик верующий, а и то говорил:

— Поди ты от такой муки-мученической до дому обратно!

А куда пойдешь? Муж ведь венчаный. Мать разливается, плачет:

— Потерпи, доченька!.. Уйдешь, страм младшим покор, кто за них свататься будет? Скажут, у них сестра непутевая: с законным мужем ужиться не могла.

И терпела...

Мой-то Сморчок все больше в сторону глядел. А каков Дема, таково и дома. Постыла ему наша избушка-гнилушка была. Все зенки на Лизутку пялил,

не мог ее забыть. В чужую жену, видно, чорт меду кладет. Она уж тоже в замужество была отдана. Совестно мне от людей. Я его попрекать стану:

— Васька! Василь! На чужих не косись!

Он мне в ответ:

— Чужая жена — лебедушка, своя — польнь горькая.

Сникну я вся от его слов, горько и обидно было мне это слышать.

А сколько смолоду на меня жадных глаз пялилось! Народ говорил, что очень я собой хороша была. Селом идешь, мужики рты откроют и вслед смотрят, а бабы в ревность черную ударятся. Но у кого на сердце ненастно, у того и в ясный день дождь. Я по миру иду и глаза ресницами прикрою, до того мне тяжело и обидно. Чужие глаза пялят, а от мужа зимним ветром пахнет. Живу ни девка, ни вдова, ни мужняя жена...

★

Под кем лед трещит,
А под нами ломится.

Жил народ бедно. Села вокруг были безземельные. Вся земля — у помещиков. Наше село большое было — Семиселье звалось. Соберутся мужики на сход, бывало, и над своей бедой смеются невесело:

— Эх! В семи дворах один топор, у семи баб один петух, у села Семиселья ни счастья, ни веселья!

— Семь сел, один вол, да и тот гол!

— Житье хорошее: семерых в один кафтан согнали.

Спервоначалу-то мы в его семье жили. Братовья Василя с женами, свекор да свекровья и ребятишек прорва.

Глухое время было, безжалостное. Нужда! Голод! Безземелье. Мучился народ, не жил. Развернуться некуда. И все больше на ребятишках да на бабах вымещали горе-злосчастье. Под горячую руку — ближе. Ребенок народится не на радость, не на счастье: лишний рот. Верите ли, не верите, — матери нарочно с ребятами по больным ходили, как пойдет косить деревню глотошная. Пускай их сдыхают! Собака, и та свое

дитя жалеет, а тут жизнь такая была, что людей до бесчувствия доводила. Глотошная хоть сразу задушит, а легко ли матери видеть, как ее дите желтеет от постоянной голодухи, с'еживается, как картошка печеная? Скончается дите. Придут бабы. Поохают, посудачат потихоньку:

— Унянчили дитятку, что и не пикнуло!

И сволокут на погост...

От песен, какие матери пели над своими детьми, меня в озноб лютый ударяло:

Бай да бай!
Поскорее помирай!
Тятка сыночку
Досок принесет,
Дедка сыночку
Гробок собьет.
Бабка сыночку
Веночек сплетет,
Мамка сыночку
Рубашку сошьет,
Рубашку сошьет,
Блинов напекет,
Будем есть-поедать
Да Ванятку поминать.
Бай да бай!
Поскорее помирай!
Прямо к боженьке бежи,
Мамке руки развяжи!
Бай!

От такой жизни шибко мы с мужиком скучали. Непокойный Василь был человек. Мечтательный. Все мечтал о земле, об урожаях, о скотине породистой. Книжки брал в школе. Отделились мы тут от своих. Из сарая нам избышку построили и кусочек земли, краюшечку, отрезали. И стали мы хозяйствовать. Не хозяйство, а горе. Ни коровы, ни лошаденки. Сначала мой-то храбрился. Озолотеем, мол! Трудов положим, полученому делу поведем, по-книжному. Попрыгали, попрыгали и зажили ровно: ни хлеба, ни соли. Что рассказывать? Жизнь известная. Началась тут моя коровья жизнь. Не пили, не ели, на корову деньги сбили. Поехал Василь на машине за коровой с друзьями-приятелями. Просила я его: «Не ездь ты далеко, возьми на конной, какую ни на есть подходящую». Не послушался. Нравный был. Я — хозяйин! Покупили они их там и везут в коровьем вагоне. Я сажу в избе и жду с коровой. Нет-

нет, в окошко гляну. Вижу, ведет и палкой ее колет.

— Вася! За что ты ее?—кричу. Бегу к нему.

Он так угрюмо мне говорит:

— Она того стоит!

Привели ее в сараюшку. Корова в теле сытая, статная, вымя здоровое, рога крутые.

Я корову накормила. Мешок целый травы она с'ела. Все, как следует. Утречком бросилась ее доить. А она пустая: молока ни капелюшечки нет. Батюшки-светы!

— Вася! — говорю, — с чего она пустая?

— Мабить, устала с дороги, притомилась, — говорит он мне, а сам в сторону смотрит.

— С чего, — говорю, — притомиться-то? Не пешком она шла, в вагоне ты ее вез.

Василь молчит, как змей. Выпустила я ее во двор. Притащила мешок травы. Опять ей скормила. Намешала болтушки, муки ржаной прибавила. Попоила. Пошла в избу. Провозилась по дому до полуден. Беру ведро и бегу к ней доить. Вышла на крылечко и обмерла: она, тварь, стоит на трех ногах, одну ногу задрала и сама себя доит-сосет.

Соседка из-за плетня кричит:

— Алена! Алена! Погляди-кось, чо твоя корова делает!

Я корову палкой по голове. Такая норовистая попалась, не приведи бог! Стою около нее — не сосет, отойду, спрячусь — она опять за свое. Тут я и села на своего мужика:

— Не корову ты купил, сумку пустую. Все в нее просодим. Долги надо платить, а она сама себя лопает.

Ох, и горюшка я хватилась с этой коровой! Как мы с ней бивились, чтобы отучить. Намордник ей сделали с железными гвоздями, чтобы больно было, как полезет вымя сосать. Так она что удумала? Ляжет, упрется гвоздями в землю, подождет вымя поближе к голове и все равно сосет. Погонит ее пастух со стадом на выгон. Походит, походит она с коровами, потом в кусты спрячется от пастушьего глаза, и за свое. Бежишь с ведром на выгон, соседки навстречу:

— Не ходи, Алена, твоя в кустах лежит — подоилась.

И как высосет — все чисто-начисто! Только тем немного и спасались, что привязывали ее за морду. Задерешь ей повыше голову и привяжешь. Она туда-сюда, не может достать, и давай мычать с досады. Ну, да на привязи долго ль удержишь? Кормиться ей надо. Только дашь ей волю, она опять сосет.

Так и пришлось резать. Ожирела вся, мясо, как молоком облитое. Мужик ел ее мясо, я не могла.

Бедствовали мы сильно: на хорошую корову денег мало, на малые деньги — коровенка лядащая. Заскучала я без коровы, но что делать, когда хват в карман, а дыра в горсти!

Вот ушел раз Василь потихоньку. Ничего мне не сказал. Вижу, к вечеру он идет и какую-то животину не то ведет, не то на себе тащит. Бегу к нему. Гляжу, а это — коровенка, махонькая, тощая вся. Он ее армяком своим всю укрыв, чтобы перед людьми не стыдно было, и чуть не волоком волокет.

— Бож-же ты мой! То ли корова, то ли телок! Паршивая вся, во вшах и коростах, ко всему еще безногая. Привели мы ее домой. Она так и плюхнулась на-земь. Наутро выпросили у свекра ключонку, втащили ее на телегу и повезли к ветеринару. Он ее осмотрел и говорит:

— У нее застарелая ревматизма, растирайте каждый вечер ей ноги жгутами из соломы, а солому скипидаром мочите.

Мази дал от вшей и корост.

— Мажьте, — говорит, — утром и вечером.

Мы с Василем над ней и потрудились. Мазью ее мажем, гребнем скоблим. Потом свернем солому в жгут, польем скипидаром и давай ей ноги растирать. Она лежит и мычит. Жрет, как надо, такая прорва худая, а есть здорова. Как ее доить, я и кричу:

— Вася, иди подымай корову-то!

Вот он ее подымет и держит, а я дою. Подою ее, и опять кладем наземь.

Дай бог здоровья ветеринару. Вылечили потихоньку коровенку, вши пропали, коросты подсохли, на ноги стала

сама хорошо подниматься. Прошло время, и теленочка принесла, махонького, но зато крепенького бычка. Выровнялась коровенка. Такая стала быстрая, увертливая. Да, видно, бедному жениться—и ночь коротка. Только два года у нас и прожила: на еду она была жадная, схватила картошку сырую и подавилась, милая. Прихожу во двор, она уж мертвая: дыханье занялось.

Опять остались мы с ним оба-два. И опять давай деньги копить на коровку. А легко их копить, когда в одном кармане Иван Тошой, а в другом — Марья Сухотишна? Мыкались, мыкались, недоедали, недосыпали, трудом исходили, аж позвоночник скрипел.

Опять с деньгами собрались. И купили корову. Таковую мышастую, как сейчас помню, серую корову. Вот купили. Корова, как корова, из себя ладная, без сучка, без задоринки. Ушла она со стадом. Я в полдень бегу с ведром. Сполоснула чистой водичкой соски, значит, вытерла их полотенцем, смазала маслом, чтобы не трескались, перекрестилась и давай доить. Батюшка-боженька, что за оказия? Вымя полное, доброе, молоко в нем так и переливается-бурчит, а идет молоко тоненькой, как самая тонкая нитка, струей.

Опять беда: тугосия. Уж я ее доила-доила. Пот с меня градом, руки онемели, а молоко все тоненькой ниточкой течет. Часа два сидела — четыре кружки надоила! Помучилась я с ней. Как доить, так хоть криком кричи. Кажись, согласилась бы пятипудовые мешки таскать! Чего мы с ней ни делали! И спички в соски вставляли, чтобы пошире были, и все пробовали. Дико жили: бабку звали, с угля брызгали, думали, от глазу. Ничего, конечно, не помогало. Повели мы ее к ветеринару. Он нам ее и сгубил. Что он с ней сделал, до сей поры не знаю. Какое-то шило в соски втыкал — она ревом ревела. Привели ее домой. Верно — подоила хорошо, легко так. Дойло он ей расширил, молоко так и льет. Чуть нажмешь, оно так и цедит, так и цедит, хоть с лоханкой становись. Утром встаю ее доить, чую, у ней вымя горячее, соски надулись, набрякли, и жар от них, прямо рукам горячо. Через

три дня околела. Ждали обозу, дождались навозу!

Пристал ко мне Василь:

— Не водятся у нас, Алена, коровы. Не ко двору они нам. Давай козу купим.

Я еще молоденька была: не умела, сидя на колесе, смотреть под колесо, сдуру и согласилась.

Привел он мне козу. От волка бежала, да на медведя напала! Вот скущищато, вот тощищато! Куда ни пойдешь, она все за тобой и все кричит: бя-бя! Сытая-пресытая, мытая-перемытая, а все ходит и кричит: бя-бя! Не люблю я с тех пор коз.

★

Наше счастье
Комом слежалось.

Так вот и жили. Нужда у ворот зубцы скалит. Василь иссох совсем в спичку, худ, как тарань, — кожа да кости. Все метался, все мечтал в люди выйти. О хорошем хозяйстве мечтал. Ино жалость возьмет. Мы ли с ним не работали по-лошадиному? За все брались. Бревна для богатей нашего из лесу возили, сами их ворочали из снегу. Все я больше. Вася-то слабосилок был. Чуть что, и грыжа выпадет. Мешки я таскала, грузы грузила, в отход с мужиком наравне ходила. На все руки крутились, а все бедность у горла. Платья — что на себе, а хлеба — что в себе. Как загнанные клячи, мотались, а все труд наш на чужой жир шел.

Заскучал мой Сморчок.

На грех еще полюбилась я парню — соседу нашему. К отцу он на время приехал. В городе на заводе работал. Мы с ним еще в детстве на салазках вместе катались, по грибы бегали.

В одночасье нас с ним болезньхватила. Летом это дело было. Как сейчас, помню. К вечеру так. Жар спал. Чуть сумерить стало. Я белье с плетня снять пришла. И стою. Тишина такая над селом упала, небо синее-синее, прозрачное, как льдинка весной. Солнышко за землю прячется, облака плывут розовые, мягкие, как пух.

Я руки за голову закинула и стою, как неживая, на божий свет, на красоту смотрю. Как будто впервой все вижу. Сколько так стояла, и не знаю. Может, минуту, может, и час добрый.

— Аленушка, а, Аленушка!—слышу, меня кто-то кличет.

Оборотилась я, а это он — Михал Савельич. Смотрит на меня, и глаза у него такой радостью светятся, будто чудо какое увидал. Глянула я в его глаза и обессилела вся, как будто меня всю, с ног до головы, жаром обдало. Чую, запылали щеки полымем, и хорошо мне, и сладко, и больно...

— Аленушка! Ты молилась, что ли? Больно лицо у тебя просветленное было. Я на тебя глянул и глаз оторвать не мог, — тихо так говорит Михал Савельич, и голос у него дрожит.

Опомнилась я тут, озлилась.

— Какая, — говорю, — тебе я Аленушка? С женой, что ли, ласы точишь?

Он смотрит на меня. Ахнула я: стою перед чужим парнем простоволосая! Как белая стирала, сняла платок, косу сбросила. А коса у меня была тяжелая, как сноп золотой, почти до полу. И одна только рубашонка на мне наброшена да сарафанишко драный. Я от него бегом в избенку.

Не спалось мне в ту ночь... Стоят глаза Михал Савельича передо мной, падает у меня сердце, и кровь к щекам приливает. Сожму руки в кулаки и кусаю их, до того много во мне силы бабьей, неизбывной, хоть криком кричи. Никогда со мной такого не было. Глянула я на Василя. Лежит он маленький, хиленький да носом во сне посвистывает. Рот открылся, — гнилозубый и нелюбый мне мужичишка! Да еще Лизутка черной кошкой между нами пробежала, на всю жизнь разлуку спела.

У других-то хоть муж с женой бранятся, да под одну шубу ложатся. А у нас и этого нет. Живу я, вроде как холостая. Он чуял, что мне от него сладости, окромя невеселой слабости, не достается, и злился пуще прежнего.

Смотрю я на Сморчка своего и гнусь вся. Кровь, слышу, ходит во мне тяжелой, как волны на реке, а успокоить меня некому. Поплакала потихоньку. Свя-

зали меня с тобой, постылый, нет мне ладу-счастья. Что я в поле за обсевок?..

Утром чуть-свет стучат в окно. Я уже по хозяйству управляюсь. Вышла во двор: Михал Савельич!

— Василий встал? — спрашивает.

— Спит, — говорю, а сама глаз поднять не смею.

— А я в ноченьку глаз не сомкнул: все ты, Аленушка, передо мной стоишь, — говорит он мне.

Глянула я на него, он на меня смотрит. Так и стоим оба...

Ну, чего дальше говорить? Затосковали мы с ним с этого дня. Тянется он ко мне, и я беспокойная стала. Василь и заприметил. Заволновался. Перестал о чужой жене скучать, стал за своей присматривать. Мужики, они жадные. Совсем меня залаял, забил Василь: чуть что — и с кулаками.

Пошел в это время разговор о переселении. Кто в Сибирь, кто куда с горя решил податься. И вот стал Василь на Дальний Восток собираться. Совсем сомнение на меня нашло, хожу темная, печальная, страшуся: завезет, думаю, на чужую сторонку, в чужие люди, и забьет насмерть в сахалинском краю. Схорониться некуда, заступиться некому: родня вся в России оставалась. Дома-то хоть иногда втихомолку меня свекровь приголубит в добрую минуту:

— Терпи, доченька, терпи, милая. И с чего он к тебе так осатанел? Право, не приворот ли чей? Што делать, муж ведь. Не поедешь добром, этапом повезут.

Увез меня Василь в дальние края...

В последние дни ходили мы с Михал Савельичем, как пьяные. Вся-то наша и радость была в тех двух-трех словах, что мы у плетня перекинулись, а больше промеж нас ничего и не было. Уезжать мне было трудно, будто душу свою потеряла. Василь, как заметил, что сосед на меня и дышать боится, совсем озверел. Бить стал пуще прежнего. Слова ему не скажи, так и набросится.

— Нет, — говорит, — того тошней, когда твоя дворняжка на тебя же и гавкает.

Поехали мы сюда, на Амур. Приехали, стали селиться-строиться. Заботы-работы всякой много. Помощь нам от государства обещали. Да один обман был. Мы ждали, ждали и все жданки поели. Все царским чиновникам в карман пошло, а нам один посул остался. Залезли по уши в долги.

★

Рабочий конь на соломе, а
пустопялс на овсе.

Был у нас один паучок-крестовичок, святая душа. Звал его весь народ дядя Петя. Была у него когда-то шапочная мастерская в городе. Потом разорился, все бросил. Ударился в толстовство и старую веру. С толстовской колонией к нам на село приехал. Барышни там, учителя молодые. Года не прошло, перессорились все: каждый на свой лад учение толкует. Работать кто не хотел, а кто и не умел. Рассыпалась колония. Остался на селе один дядя Петя.

Женился, семью завел, а все конек любимый — ученье о любви и смиреннии. За доброту, знать, бог пожаловал его крепким, полукаменным домом, лавочкой, за любовь посылал ему самых крепких в труде батраков. Первая на Приморье пасека у дяди Пети, самая лучшая на селе рыболовная снасть. Изворотливый был, смекалистый. Смотришь — подряд заключит с пароходством на поставку дров. Село все взбулгачит: в подмогу берет. Где мужикам заработок — ему крупная пожива. Поговаривали мужики, будто спервоначалу его богатство с черного дела пошло. Поди, и правда. Недалеко от села было стойбище гольдов. Известно, гольды — охотники первейшие, нашим русачкам до них далеко было: белка с дерева на дерево прыгает, а он ей пулей в глаз попадает. Шкурки не испортит. Уходили гольды зимой месяца на два-три на охоту. Сколько одной белки из тайги нес домой охотник! Амурская тайга! Богата она и мехами драгоценными: голубым песцом, чернубурой лисой, горностаем... И вот стали пропадать в тайге лучшие гольды-охотники. Погибли они одинаковой смертью: от не-

жданной трусливой пули в затылок. Какой-то подлец обирал гольда, снимал с него мешки с драгоценной пушниной!

До чего ино жалко было гольдов, сил нет сказать. Царским чиновникам, правителям дела до них не было. Сами, по-ди, в дележе были. Станут гольды уряднику жаловаться, что погибель пришла на лучших людей, а он руками разведет. Тайга, мол, амурская на тысячи верст тянется, стоит стеной от края до края, что поделать могу? Мало ли в тайге троп нехоженных, в миру слез невыплаканных, мало ли в свете крови неотомщенной? Трех в зиму убили? Эко горе!

Дядя Петя тоже руками разводил:

— Эко беда какая? Гольда убили! Разве гольда — человек? Чурка осиновая с глазами. Медведю поклоняются. Божков своих раскосых, деревянных, перед тем как на охоту итти, салом кормят, подарки подносят: дай получше охоту! А как неудача, придет охотник домой и давай своего божонка плетью избивать, зачем плохо помогал, — и сало с губ сотрет у идола своего. Голодай, мол, и ты!.. Народишко! Одно слово — инородцы... Гольду ли, паука ли убить — одно и то же. Сорок грехов снимется. У них и души нет. Так, трава в поле.

Вот и думали, что с той поры святой дядя Петя в гору пошел. Он знал, что народ его подозрит. Не боялся:

— Алтынного вора вешают, полтинного чествуют! Где муха увязнет, там шмель пробьется!

И скажи ведь, все село дядя Петя опутал. Все у него в долгу, как в шелку. Рыбалка идет, половина села ему долг кроет — батрачит. И все он с шуткой, все с прибауткой. Ходит, посмеивается:

— Стар гриб, да корень свеж! На правде-то далеко не уедешь: либо зятянешься, либо надорвешься...

Все умел пользоваться человек: и кедровые орехи брал, из тайги ему десятками подвод возили, и клюкву, бруснику бочками в город отправлял. Водкой тоже не брезговал дядя Петя и за огненную воду забирал у гольдов последние шкурки. За бесценок за долги брал шкуры лисьи, собольи, беличьи и гнал

нарту за нартой в Хабаровск. Стелет мягко, бывало, такой сладкопепец:

— Нет у меня фамилии, нет у меня отчества, народный я, общественный,— говаривал он.— Все у меня открыто, приди и бери, кто в чем нуждается. Живу я по учению графа Льва Николаевича. Отдай все ближнему, и воздастся тебе.

Такой богомольный был; хоть церкви не признавал, но псалмы наизусть пел. Бородища огромная, рыжая, на солнце, как золотая, блестит. Бабник был и пакостник. Ну, а речь сладкая. На его речах хоть садись и катись. Он выручит и поможет. Но на свои руки топора не уронит. Захлопнет капкан, и мышка там. Прикидывался псом, а хвост выглядывал волчий. Все-то похохатывает, такой добродушный.

Так, значит, зажал он народ, что дышать стало нечем. И мы с Василем попали в его мягкие руки. Заняли у него на корову и бьемся, как мухи в тенете. Ломаем на него с утра до ночи.

Без охотничьей и рыболовной sprawy человек на реке Амур—не хозяин. Сурова река, суров край, неприветливы и смышлены на чужой труд люди. С утра гудит над ухом пронзительный голосок дяди Пети:

— Ну-ка, детушки, ну-ка, миленькие, живей!

И целый день мы с Василем, как в колесе огненном. До того загоняет, ласковый чорт, за день, что у меня, на что уж я битюг-тяжеловоз была, и то искры из глаз, а Василь раз пять в сарай сбегает: грызь на место вправит. Вернется зеленый-зеленый, покрытый, как росой холодной, липким потом:

— Эх, Алена! Попались мы в руки святому чорту... Выжмет он из нас все живые соки...

— Сидишь, сидишь, Васенька?! Родимый ты мой, креста на тебе нет. Ножи, ножи надо точить к рыбалке. Завтра невода первые забрасывать станем. Идет, идет рыбка-то, а ты сидишь!..— вынырнет из-за угла дядя Петя и руки и глаза вверх закинет.

А как рыбалка — совсем погибель. Секунды не упустит дядя Петя. В течение месяца идет кета. В течение месяца день и ночь на берегу люди. Самый бо-

гатый улов—осенний. Все должно быть готово к приему дорогой гостьи — кормилицы амурских крестьян. Дядя Петя всю зиму готовит бочки, запасаает соль, вяжет новые, крепкие невода. Наймет батраков человек семьдесят, они ему и чертомелят. Выкатывает заранее из сараев, расположенных на берегу Амура, огромные бочки, готовит маленькие бочата под красную икру. Клич по селу: «Рыба! рыба идет!». И все, от мала до велика, на берегу. Начинается великий труд. Десятки людей с криком, с уханьем, с молитвой и проклятиями тащат из воды на берег огромный невод, которому, кажется, конца-краю не будет. В неводе бьется красавица-рыба. Каждая рыбина на-подбор: жирная, серебристая, в полпуда весом. А в неводе их до полуторы тысячи штук бывает. Хороша махина? Ну-ка, пойди вытащи ее из воды! Скорей, скорей. Рыба идет, идет. Закидывай невод, впрягайся в веревки, тяни, вправляй на ходу грыжу, тяни, тяни. Не походишь в развалочку. В душу, в печонку, в селезенку в'елся ржавый скрип дяди Пети, некуда скрыться от его ласковых глаз.

— Давай, давай! Работайте, милые!

Бегом, бегом, тянись, тяни! Эх, пошла, сама пошла! И народ нестов. А тут еще водочка — богова слезка. Не жалеет дядя Петя, не скупится. Усталость непомерную, злую осеннюю простуду гонят люди, выпивая залпом стакан за стаканом. И опять гони, гони скорей, ребятушки, скорей... Уплывает мимо не рыба, уплывает богатство, уплывает право вот так вот, в полную мерушку, властвовать над голым и голодным человеком. Рыба — власть и сила. Дядя Петя это знает. И торчат люди по горло в холодной, злой осенней воде Амура днями и ночами. Хорош улов, велика удача! Длинными рядами стоят бочки с кетой и бочата с красно-золотой икрой.

А горы жирной рыбы растут и растут. Люди, охрипнув от криков, от понуканий, озверев от воловьего труда, с глазами, красными от натуги и бессонных ночей, работают беспощадно и безостановочно. Давай, давай! Подкашиваются ноги. Тело просит пощады. Спишь

на ходу. Дядя Петя тихо подкрадет-ся сзади, ущипнет бесстыдно, охальник:

— Работать надо, милая Алена, работать, а не спать. Бог за труды воздаст, богу ленивые люди скушны, дорогая... Давай, давай!..

— Не трогал бы ты бабу, богоспасаемая твоя душа,—сурово скажет мой Василь. — Иродище ласковый!..

Придет ночь, скрипит зубами Василь. Ноги у него распухнут от простуды. Суставы начинают так болеть, ино кричать почнет. Жалко мне Василя было в такие дни. Прикрою рваным зипуном его потрескавшиеся ноги, все в ранах, и сижу, думаю: «Почему жизнь такая неравная?».

Не успеем подремать, скрипит дядя Петя:

— Давай, давай! Вставайте, милые, вставайте, братия во Христе. Рыбка не ждет. Рыбка плывет да плывет. Сейчас, родимые, час год кормит.

Люди встают злые, не выпавшиеся. — По стакашечку, братья, хлобысните, и в воду, в воду,— командует дядя Петя. — Давай, давай, милые!

Единым глотком выплескивается водка в горло. Закусывает народ злое горе куском черного хлеба с луком. И горячие, еще не остывшие от сладчайшего, короткого сна, бредут, вздрагивая, в быструю ледяную воду Амура.

— Давай, давай, веселее, братики, веселее!

— Эх, пошла, пошла, пошла, да сама собой пошла!

— Раз — взяли! Два — взя-али!

Надрывается над неводом Василь. Я, сколько есть во мне сил, ему помогаю. Ино слезы на глазах: одежонка на нем худенькая, все промокнет насквозь, плотной слизью покроется от рыбы. Устает человек, мотается, а толку чуть: все долг не убывает. Свой подсчет у дяди Пети.

Посмеивался, ласковый чорт, на мужика моего, как попробует, бывало, он сказать, что сквитались:

— И под носом взошло, а в голове не засеяно, видно: а што в артели моей был, моим неводом на зиму рыбу ловил, в учет не берешь? За это дядя будет благодарить, што ли?

Мой-то брякнет:

— Правда-то где?

За бороду ухватится и залыет дядя Петя:

— Хороша святая правда, да в люди не годится!

Отблагодарим за одно, там, смотришь, опять нужда, опять к нему.

Попробовал ко мне сунуться:

— Ах, хороша ты, Алена, баба ядрена. Бабочка, а не баба!

Шугнула я его раз-другой. А он пуще разъярился: На мужика моего стал наседать, прижимать его. Мужик мой характерный, нравный. Даром, что Сморчок, а пустил дядю Петю с крыльца так, что борода у него засверкала по ветру.

Пригрозил дядя Петя:

— Не хватай за бороду: сорвешь-ся — убьешься!..

Встретил меня на улице. Смотрит ласковыми, бесстыжими глазами, губы облизывает:

— Возьму не мытьем, так катаньем! Дура, не все ли тебе равно? Мужик и мужик, ай я хуже твоего сохлого? Большуха ты моя, лебедь-пава белая! Не смотри, что я стар: старый конь борозды не портит.

Прошла я мимо его, пугливая я еще была, и домой скорее. Проходу не давал. Сватался при живом муже:

— Бросай своего, не чуюшь, лебедь-пава, что старого чорта бес подпер? Я свою бабу вон, тебя с хлебом-солью встречу. В богатстве жить будешь. Сморчок-то твой какую жизнь тебе дает? Не человек, а гнида: в двадцать лет не здоров, в тридцать не умен, в сорок лет не богат, век Сморчихой бесплодной проходишь. Что нам с тобой лишнего калякать? Давай свадьбу стряпать!

Я от него бегу, а он, пакостник, вслед улюлюкает:

— Ату ее! Догоню, малина-ягодка. От дяди Пети уйти трудно.

Василь зубами скрипит, а податься некуда.

А тут, как на грех, жена у дяди Пети померла. Народ судачил:

— Ему не бабу, а чорта надо: третью жену доносил.

Не стало мне ходу-выходу. Сторожит на каждом шагу. Волосы под кружало, топленным маслом приглажены, рыжая борода расчесана, глазки развеселые, голосок скрипучий. Как из-под земли вынырнет, пословишник:

— Полно, Алена, путать, пора узлы вязать. Не хочешь? Ну что же! Дураков не сеют: сами родятся. Людей слушаешь, совестишься? Что тебя держит? Мужик пустобрех, мечтатель, все по-умному хочет сделать, а ума-то нет: два фонаря на пустой каланче! Ребят нет, ничем не связаны.

По селу ходил, хвастался, соседки передавали:

— Своей женой сделаю! Не баба — картина писаная. Волосы — копна золотая, глаза синие, глубокие, как Амур-река в день погожий. Отыму ее у Сморчка! Отыму, не я буду! Неподступная бабенка, неулыба, ну, да крут бережок, зато рыбка больно хороша!

Раз осенью пошла я с ведром по клюкву. Собираю клюкву, раздумалась и не почувала, как он ко мне подкрался. Обхватил меня руками:

— Эх! Видно, не терши, не мявши, калача не получишь! Аленушка, красавица! Большуха моя...

Схватились мы с ним врукопашную. Он мужик сырой, а я, как дубок молодой. Силы у меня хоть отбавляй. Рассердил он меня. Лапает руками за груди, дышит, как мех в кузнице, губы развесил, глаза остеклянели. Хватила я его за загривок и поволокла к муравьиной куче. Огромная куча была, в аршин вышиной. Ткнула его носом в кучу и держу. Он верещит, ногами сучит, головой крутит: в куче — злейшие красные муравьи, они и давай его ядовито кусать. Раз пять я его в муравейник окунула: расвирипела здорово! Как клещами, в него впиалась. Потом в себя пришла. Морда у него покусана вся, красная, как крапивой обожженная, нос и веки распухли. Отшвырнула его от кучи.

Встал он, за лицо хватается: жжет ему морду — и... смеется:

— О! Вот ты какая! Горячая!.. Лапушка-матушка... Вместо калача да кулак...

Муравьев из бороды вытряхивает: — Муравьи в доме — к счастью. Есть такая примета в народе. Оставляю несколько штук в бороде — снесу домой.

А подойти боится: чует — зашибу. — Ладно, — говорит, — без труда, видно, не вынешь и рыбку из пруда.

— Попробовал? Чем ты лучше Сморчка? Мозговина с короб, а ума с орех! Богачеством манишь? Ты разве человек?

★

Я потупленную голову,
Сердце гневное ношу...
Некрасов.

А тут как-раз перелом жизни пошел. Война германская шла, моево-то Сморчка не взяли. Гнилушка мужик был, даже в кашевары не годился. Подошла тут революция. Завертелось наше село, все вверх дном пошло. Забеспокоилась я, на собрания стала бегать. Речи слушать. Жизнь свою на новый лад перестраивать. Сморчок мой и осатанел опять:

— Не смей, сучка, не в бабьи дела нос совать!

И опять начался бой смертный. Я за полушалок, он за вожжи. Я к свету тянусь, он портянкой стекла завешивает. Я за книжки взялась, за грамону, — до той поры ни аза не знала, — он матюгом меня тяжелым перекрещивает.

Свету божьего я не взвидела. Жожу туча-тучей, и ни радости мне, ни просвету нет. Чует он, что ухожу я от него душой, и догнать он меня не в силах. И настало мне такое житье, такое житье: как встал, так и за вытье. Верите ли, бабоньки, места на мне живого не осталось, до чего забивал. Всем была бита — и о печку бил, разве только печкой не бил... А все молчу, на люди не выношу. Стыдобушка. Муж законный. Любит и бьет. Его власть. Да и, куда пойти, не знала. Только чую, нет мне житья на белом свете. И все-то мне равно, и могла не страшна, коли жизнь не на радость. И задумалась я. Живем на свете два пня, ни жару от нас людям, ни холоду. Детей у нас не было. Корил меня подчас: сука ты бесплодная. А почему

детей не было, и сама не знаю. Затосковала я, так затосковала, хоть руки на себя накладывать. Вижу — кручина иссушит в лучину. Стала тишком от него бегать. Учитель у нас был партийный — большевик. Сговорила с ним: учи, Христа ради. Быстро я полной грудью воздуху хлебнула.

Много мне Сергей Петрович добра принес. Мир раскрыл. Поняла я, откуда зло идет. От собственности все зло. Хватают люди и ротом, и... а все им мало.

— Вот мы сейчас все заново перестраивать будем, Алена Дмитриевна. Теперь все в наших руках: фабрики, леса, земля—все народное. Большие дела творить будем,—говаривал он, бывало.

— Сергей Петрович,—спрашиваю я его,—почему мир так неравно устроен, вся деревня в бедности бьется, а живут только богатые? Почему среди людей правды нет?

— Собственность была в руках буржуев, Алена Дмитриевна, а собственность — страшная сила. Настоящей правды в человеческих отношениях не может быть, когда один человек имеет право угнетать другого. И правда тонет, коли золото всплывает.

Спрашивал, как живу.

— Беда,—говорю,—не дуда: поиграв, не кинешь... Живу-покашливаю, жую-похрамываю.

Смеется.

— Веселая ты!

Вздохну я на его милые речи и чую, как будто отлегло у меня от сердца.

— Всяко бывает, Сергей Петрович, и скоморох ину пору плачет.

— А чего тебе плакать-то? Одна голова не печаль.

— Не печаль,—говорю,—а живу: что день, то радость, а слез не убывает. Допытывался он. Догадывался.

Много он мне чистых и светлых книжек прочел... По сей день спасибо ему говорю. А больше всего мне запомнилась книжка писателя Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо» — называлась.

Вот горюет Матрена Тимофеевна над Демушкой, вот ложится она под розги

за Федотушку. Не стыдясь, я плакала, как дошел Сергей Петрович до верных слов, от которых у меня сердце зашлось:

Я потупленную голову,
Сердце гневное ношу!

Прибегу к нему под вечерок. И совестно мне: вижу, человек усталый, а хочется речей его ласковых послушать.

— А! Аленушка! Ну, как живешь?

— Живем, пока мышь голову не отела!

Я много не болтала. Совестилась. Своего дела у него хватало по горло. Грамоте у него поучусь часок-другой, и обратно бегать. А все больше задумываться стала. Ясно вижу: не в гору живу я, а под гору. Неладно выходит: все жилы порвала, а что толку?

На третий месяц читать и сама стала. Но живое его слово было мне дороже мертвой буквы. Ночи за книгой стала просиживать: кто хочет много знать, тому надо мало спать. И такой мир широкий передо мною стал открываться,—хоть криком кричи: за что же я полжизни своей на порченных коров и порченого мужа спустила?

И чую силу в себе могучую и, как кровь во мне ходит, чую. Нет, думаю, не укатали еще Сивку крутые горки, надо перелом жизни решать.

Кончили мы раз вечером урок с учителем. Ранней зимой дело это было. Снег выпал глубокий-глубокий. Иду я по улице и замечталась. Гляжу кругом, и деревни не узнаю. По-новому как-то мир обернулся, и лечу я, будто на крыльях. Такая во мне полнота и радость. Подошла я к берегу реки Амура. Он недавно только замерз. Глянула, лежит река могучая, льдом скованная, и нет ей конца-краю. Белым-бело все, и такая тишина кругом стоит, хоть криком кричи от счастья. Снег падает крупными хлопьями. На елках пышными охапками лежит. Тайга, как зачарованная, стоит, вся в белом. До чего хорошо и празднично — такой простор, такая воля кругом, и рассказать не могу. Постояла я... И сразу ударила меня тоска. Первый раз в жизни я так вдруг затосковала. Стоит одинокий, один в све-

те человек на краю ледяной реки и не знает, где же его дорога?

Ах, я потупленную голову, сердце гневное ношу.

Все, как сейчас, помню. Сгорбилась, побрела... Подхожу к избе. Темно.

«Слава тебе господи, не приходил еще, — думаю, — или спит».

Вхожу в избу. Вижу — сидит на скамье. С'ежился весь. Нахохлился. Вижу — зо-ол! Сам с воробья, а сердце с кошку. Не подходи к нему — сейчас на него хоть масло лей, все равно скажет: деготь... Решила молчать. И он молчит.

Сердце у меня скалось, и такой страх напал, зуб на зуб не попадает. Мурашки сразу по спине пошли. Молчит... Разделась я. Зажгла огонь. Собрала ужин. Молчит, как Змей Горыныч. Есть не стал. Постелила постелю. Василь себе на лавку бросил тулуп и тоже лег. Заснула я, как в воду канула. И вот чую сквозь сон, подымает меня кто-то. Открыла глаза. В избе темно. Ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. Испугалась, дух зашелся:

— Василь, что ты?

— А ничего, шлюха, ничего, поучить малость думаю. Тварь... с учителем снюхалась. Мужики на собрании всенародно поздравляли...

А я спроста и засмейся:

— Помнит свекровь свою молодость и снохе не верит...

— Пададь проклятая...

Что он со мною делал, как и чем бил, не помню. Очнулась я, а он кряхтит, подымает меня. Хотел, постылый, за косу к перекладине привесить, а сил-то нет... Была у нас на деревне одна баба Лысанка. Муж у нее пьянюга несчастный был, измывался над ней; так вот на ночь бабу за косу повесил, а к утру баба и свалилась с перекладины, а волосы все до последнего корешка так на перекладине и остались висеть. Вот и мой Сморчок то же удумал, а поднять не в силах: огромная я была женщина. Это меня и спасло, а то ходить бы мне в Лысанках.

Свету белого он не взвидел, что не может меня одолеть. Увидел, что я глаза открыла, хрипит, бешеный:

— А, сука, очувствовалась! Я тебе очувствуюсь...—Вижу, распалается Василь, совсем в безумие входит, мычу от боли, а он скалит зубы — страшный, проклятый... Мелочь, плотва, плевком перешибить можно, а изгиляется над человеком.

— Не бей, — говорю, — в чужие ворота плетьми, не ударили бы в твои дубиной.

Ненавистно так ему говорю, злобно. В сапогах по мне танцовал, пряжкой железной всю спину в клочья изорвал, наделился в ту ночь вволюшку. Очнулась я утром уже развязанная. Распухла вся — как бочка. Ни встать, ни сесть силушки моей нету. Постеля вся в крови, руки и ноги, как чугунные.

Василь сидит на лавке и лицо руками прикрывает.

— Василь! Василь...

Подошел он ко мне, глянул и отвернулся.

— Ну, прощайся ты с жизнью. Не будет тебе от меня пощады, — говорю я ему, и голос у меня от ненависти зашелся.

Зубами заскрипел Сморчок и сразу кулаком ударил меня в лицо. Свету я белого не взвидела. Вскочила, как кошка дикая, и подмяла его под себя. Терпит брага долго, а пойдет через край... Батюшки-светы! Лежал у порога березовый веник, я его схватила и давай Василя хлестать. Освирепела больно. Вся жизнь проклятая вспомнилась, все его издевки и побои. Долго ли была, коротко ли — и не знаю. Вижу, лежит он полумертвый. Подняла его за ворот, дала в зад пинка хорошего, швырнула на постелю и говорю:

— Сам замесил, сам и расхлебывай! Кончилась твоя Алена! Попомни нынешний день, Сморчок сохлый! Душу ты мне переломил. Ногу, руку переломишь — сживется, а душу переломишь — не сживется. Больше пальцем себя тронуть не дам — хватит. И чтоб мне не повторять больше. Насмерть пленом зашибу! Жил собакой, околеешь псом!..

Он лежит и глазам своим не верит.

Тем и кончилось у нас. Долго он не смирялся. Прыгал. Петушился. И сей-

час смешно вспомнить. Я огромная, а он малюсенький — фыркает, ерепенится, кулаками сучит. А я так спокойно гляну на него сверху вниз и говорю:

— Брысь, не замай... Лихо не лежит тихо: либо катится, либо валится, либо по плечам рассыпается...

Задумываться стал. Подниму ино голову от веретена, а он сидит и на меня смотрит. Вижу, глаза у него тоскуют. Пальцем больше меня не тронул. Человеком впервые я себя почувала и поняла — нет мне на обратный путь ходу-выходу: квашню крышкой не удержишь.

★

Таскал волк — потащили и волка.

На собрания стала ходить открыто. Дом забросила. А тут змея-беда пришла. Белые к нам со всех сторон нахлынули, и всякие гады поползли из чужих стран. Проглотить им нас хочется, да встала косточка поперек горла. Согнали беляков из России, они и расшиперились в нашем дальневосточном краю. Пируют, а того и не видят, что женихов много, а суженой нет. Хлебнули мы полный рот горя с ихним пиршеством.

И вот, скажите на милость, — не мила, не дорог мне был до той поры Дальний Восток. Все тянуло в Расею: всякому мила та сторона, где пупок резан. Край восточный наш — суровый, могучий край, тайга тысячеверстная, реки полноводные, — все пугало меня, все хотелось на равнинку расейскую взглянуть. А тут за сердцехватило, как потянулись чужие, постылые руки на нашу красавицу-землю. Объяснил мне все учитель. И загорелась во мне злоба на насильников. И край дальневосточный стал дорог несказанно.

К тому времени заметно стихал мой Василь. Все присматривается, все слушает. На собрания стал ходить, с учителем большую дружбу свел: ночи просиживал. Вечером сяду я за веретено. Попрошу его:

— Василь, почитай-ка ты «Тараса Бульбу».

Одна у нас и была книжка-то. Зачитали мы ее до дыр, а все слушали, как

новую. Большой силы книжка. Василь читал хорошо, бойче моего много. Знакомые места наизусть шел. Закроет глаза и грозно читает про битву казаков с подлыми поляками:

— Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще казацкая сила? Не погнулись еще казаки?

— Достанет еще, батько, пороху; еще крепка казацкая сила; еще не гнутся казаки!

А как до Балабана дойдет, до смерти куренного атамана, тихо так скажет:

— Сдается мне, братцы, умираю хорошею смертью, — семерых изрубил, девятерых копьем исколол, истоптал конем вдоволь, а уже не припомню, сколько достал пулюю. Пусть же цветет вечно русская земля!..

Эх, и хорошая эта книга была! Сколько лет прошло, а до севодня помню, как Гуска кричал, когда подняли его поляки на четыре копыя: «Пусть же пропадут все враги и ликует веки-вечные русская земля!».

Начитаемся мы с Василем, и молчим оба. На сына, на сына родного Тарас, как на подлую собаку, руку поднял, на смертоубийство пошел, чтобы не позорил сын свободных казаков, не шел на продажу родной земли. Мурашки по спине идут, бывало, как читаем про конец тарасов. На костре его сожгли поляки, а он помощь с костра друзьям-товарищам указывал. Да разве найдутся на свете такие огни и муки, и сила такая, которая пересилила бы русскую силу!

Молчим с мужиком, а думаем одно. Пришел враг скопом, пришел массой на нашу землю. Злой враг, неукротимый...

Любит русский народ землю свою, и тоскует душа его, если чужой каблук топчет милые поля, ухоженные его трудом.

Выйду я ночью к Амур-реке, посмотрю на тайгу вековую, на просторы необозримые и богатства неисчислимы и кулаки сожму: не отдадим землю нашу проклятым врагам!

Вот и до нашего села дело дошло. Как сейчас, помню, пришел к нам в деревню палач Калмыков с японцами. Сначала обстреляли все село страшными

снарядами. Потом показалась цепь солдат.

От снарядов село сразу загорелось в нескольких местах. Побежал несчастный народ из изб, а его тут начали косить из пулеметов. И женщин, и детей малых не щадили. Плач, стон стоит. Люди мечутся, детишки ревут, скотина, как шальная, во все стороны скачет.

Забегали калмыковцы и офицерья японские в избу к Савелу Панкову, всю постелю штыками перекололи. Пух кругом летает. Посуду, столы, скамейки — все в клочья разнесли.

В чулане девчонка Аксютка, савельева дочка, ребенок еще, спряталась. Они ее штыками давай подкалывать. Выскочила она из чулана, как заяц, трусится вся, они и накинулись на нее скопом. Звери пьяные... Ребенку еще и тридцати годков не было... Отец ее Савел не мог стерпеть надругательства над дитем своим, бросился на них с голыми кулаками. Искололи Савела штыками.

Сын Лизаветы Семеновой лежал в тифу, он партизаном красным был. Захватила его болезнь в тайге, он и приполз к матери.

Забегали к ним японцы, увидали его шинельку рваную военную и здесь же прикончили, и всю семью в расход пустили. У Лизаветы, еще как жива была, из ушей сережки с мясом вырвали. Кольцо у ней на руке венчалное было — тоненькое, золотое.

— Рюска, давай корцо!

Она трясется, спешит, снять не может. Рука-то от работы заскорузла, пальцы разбухли, шутка ли — кольцо венчанное, она, поди, годков двадцать не снимала. Так с им и умирать собиралась. Хватнул он по пальцу кинжалом. Отлетел палец в сторону. Снял кольцо, а потом и ее прикончил. Не было в селе почти ни одного дома без упокойника.

Прибежала к нам соседка Аксинья, белая вся, как стенка, трясется, рассказывает про дела страшные в селе.

Калмыковцы-офицерья у дяди Пети в избе остановились, он им и имена назвал крестьян, у которых родня в партизанах ходила. Аксинья, солдатка вдовая, у него батрачила, за кусок черного

хлеба для ребятишек воловью ношу везла: и по хозяйству, и полы, и стирка, и за скотиной уход. Собрались офицерья у него, а он и указывает.

— Про твоего Василя говорил, — скороговоркой так, озираясь во все стороны, шепчет мне Аксинья, — ненадежный мужик, говорит, не партийный, правда, а белую власть костерит-материт. На заметку взяли вас белые-то.

Рассказала Аксинья, как после дяди петина доноса пошли японцы и беляки в избу к Костиной Насте, — муж ее еще загодя в партизаны ушел. Настя, только-что после родов, еще в постели лежала. Измывались над ней скопом. Перележит с ней какой и знак свой оставляет на спине зажженной папиросой. На мертвой на ней двенадцать печаток папиросных бабы насчитали! Шея и плечо перерублено!.. И рожденное дитя штыком прямо в люльке приткнули. Свекра настина—Никанора Ильина, старого старика, еле на ногах стоял, — пытаться стали: где сын? Он молчит. Разве отдашь свою кровь на лютые поруганье? Они ему... гильзу от патрона в глаз вбили... язык и губы вырезали. Лютовали.

— Побегу я, — говорит Аксинья, — а то еще хватится рыжий чорт. Боюсь я его хуже огня. Смотри, Алена, не добрался бы он до мужика твоего, больно он о нем ненавистно говорил, прямо с пеной у рта. Бедняк и рвань, говорит, а они, бедняки-то, все душой красные... Все обыватели Голодалкиной волости, села Обнищухина — красные...

Сидим мы со Сморгчком в избе и трясемся. Наша-то изба на самом отшибе, самая бедная, у опушки в тайгу стояла.

— К нам идут!.. — глухо так, испуганно говорит мне Василь.

Глянула я в оконце и обмерла! К нам три япошки бегут. Бегут, залягут на землю, выстрелят с колена в нашу избу и опять бегут. Страх такой меня охватил, сил нет сказать.

— Ой, Василь, погибель идет!

Вот дверь стукнула. Прикладом садали. Вот затаились, стоят. И мы с Василем стоим, ни живы, ни мертвы.

— Рюски, буршевик, мертво! — и прикладом в дверь. Откинула я крючок.

Вбежали они трое. Морды красные, глаза бешеные, пьяные. Водкой японской, сакой, спаивали их перед боем офицера, для храбрости, для большего зверства. Вот заскочили они в избу и стоят. И мы стоим. Побегали они по избе. Штыками постель расшвыряли.

— Руска баба, хороша руска баба, давай чай пить, давай спать в кровать, — говорит один японец мне.

Как сейчас, помню, коренастенький такой, зубы белые, оскаленные, по пояс мне росточком. Ух ты, образина проклятая!

В один миг мне решенье в голову пришло. Успокоить их, думаю, остудить надо, а там видно будет.

— Садись, аната, — говорю, — садись...— Аната, это по-ихнему «господин» значит, а сама кланяюсь им низко и за стол усаживаю.

Самовар им поставила, яичницу сжарила, кеты нарезала. И все кланяюсь низко. Они и довольны, расшиперились, раскорячились... Один все на меня другим указывает и по-японски что-то лопочет. Хохочут, лопочут. А этот меня по спине треплет.

— Хороша руска баба, толста руска баба, теплая руска печка.

Глянула я на Василя. Вижу, сидит зеленый на лавке и с меня глаз не спускает. Они ему выйти на улицу не дают. Поднимется он, этот и кричит:

— Сиди, сиди, рюски!

Вот подала я им самогону четвертную — в те годы самогон в большом ходу был — и опять прошу, кланяюсь:

— Пейте-ешьте, гости дорогие.

Они выпили, совсем расшиперились. Подошла я к Василю, будто невзначай, будто достаю что-то из-под лавки, и говорю:

— Достань из-за печки колун.

А колун у нас был хороший, стальной, острый, как бритва. И опять к ним. Тянется тот ко мне с обнимками. Ципать стал.

— Спать, рюски баба, спать!

Перекрестилась я быстрехонько перед образом, подскочила к Василю.

— Давай топор, хватай винтовки!..

Кинулась я с колуном на японца, что все ко мне приставал... Страшное

было дело... Положили мы их троих тут в избе. Сморчок мой не отстал от меня. Я двоих уложила, а он третьего. Ему ухо начисто успел японец ножом снести, а меня покусал один. Безоружный был, подмяла я его под себя, так хотел горло перекусить. Не удалось...

Опомнились мы с Василем, когда уже все кончили. Стоим друг против друга и дышим тяжело.

— Што ж теперь делать будем? — говорю. — Утопили мы щуку, а зубы остались!

Он молчит.

— Нет, — говорю, — нам с тобою, Василь, другого пути, как в тайгу, к партизанам.

Взял он мою руку, подержал ее.

— Спасибо, Алена, за помощь твою. Я б издевки над тобою не снес. Один в бой с ними собирался.

Смотрю я на него и глазам не верю. Золото огнем искушается, а человек напастями.

Сложили мы с ним в торбу жалкое наше барахлишко — и айда в тайгу. Оглянулись на село, горят избы, а крику и плачу человеческого уже и не слышно. Только бегают от избы к избе палачи русского народу — японцы и трижды проклятые их холоуи — белогвардейцы. Взялись мы с Василем, впервые в нашей жизни, за руки и пошли, не оглядываясь.

★

На пословицу да на правду — суда нет.

Так, рука об руку, и прошагали мы с Василем в боях и походах до февраля двадцать второго года...

Начальником нашего партизанского отряда был учитель Сергей Петрович, который нас с Василем грамоте жизни обучал. Аксинья успела предупредить, что вписал и его дядя Петя в черный свой список. Вместе мы в тайге очутились.

Сергей Петрович был человек светлой души, радостной веры.

Через великие испытания мы в те годы прошли, через великие скорби и бо-

лезни, через великие победы. И все с ним: без пастуха овцы — не стадо.

Собрались мы в тайге. Сергей Петрович и говорит народу о черном деле святого кровопийцы — дяди Пети. Заволновался народ. Пришибить гадюку-гидру надо! Отомстить за невинную кровь жен, детей, отцов!

Отобрал Сергей Петрович пять человек. Василя моего с ними. Простой план разработали. В эту ночь белые и японцы не ждали партизан. Все, мол, напуганы, разбиты, никто не придет. Начальство у дяди Пети в избе веселилось. Самогон рекой, японская сака, веселье, одним словом. Ночь была, как уголь, темная: уже осень подходила, в свою пору вступала.

Пришли наши мужики-партизаны к избе дяди Пети, через плетень перебрались в коровник. Пошел мой Василь на разведку. Надо было ему Аксинью перехватить. Больше часа, притаясь, стоял. В избе визг, хохот. Аксинья не показывается. Вот дверь стукнула, и она во двор выскочила. Василь ее и перехватил. Испугалась она до смерти:

— Чего ты тут? — шепчет. — Все село знает, што вы японцев пристукнули, очумел, што ли, на погибель пришел?

Василь ее в коровник узвал. Там и договорились. Позовет она дядю Петю в коровник, будто бы корова подыхает, а остальное не ее ума дело. Побежала она домой и завопила истошным голосом:

— Подыхает, подыхает, дядя Петя, Рыжуха-то! Подавилась, што ли!..

Он с ней в коровник побежал. Набросили на него мужики полушубок, увязали руки, ноги, рот заткнули и айда в тайгу... И Аксинья с ними подалась. Чуть на караул не напоролась, да, спасибо, ночка темная злым врагам не выдала.

Приволокли наши герои ласкового пакостника на суд мирской.

Наутро в глухой тайге строго смотрели люди в бесстыжие очи предателя народного.

Дядя Петя увял весь, опустился, как трава, у которой подрезали корни. Что покушал, тем и отрыгнулся. Хотел от-

шутиться — отомолиться от беды неминуемой. Но народ не принял его речей. Аксинья доложила все, как было, какие слова иудины слышала она, притаясь у двери. Все слово в слово сказала.

Кто ветру служит, тому дымом платят.

— Вечный позор и скорая смерть! — так решили мужа, отцы и братья загубленных дядей Петей людей.

Муж Насти Костиной — Семен, вспоминая родных своих, уронил скучную, горчайшую слезу и сказал последнее верное слово:

— Смерть!

★

Последняя удача лучше первой.

На наш партизанский отряд выслал палач Калмыков карательный отряд. Сил у нас еще мало было. Пришлось уходить глубже в тайгу густую, в спательные чащи. А тут еще к нам остаток другого партизанского отряда влился. После боев с японцами отряд этот ослаб — продуктов не было, а раненых и больных много. Идет враг за нами по пятам. День и ночь мы шли. Путь был крестный. Кустарник и тайга густая, виноград дикий все кругом переплел, стеной стоит. Топорами рубим, грудью пробиваемся. На носилках несем раненых. Которые стонут, которые сами ковыляют, которых под руки ведут. Кровавый след за нами шел... Да дождь его смывал. Тучи висели над тайгой, как одеяла тяжелые. Дождь лил без остановки, как из дырвой бочки. С горем пополам окопались мы в землянках. К зиме дело шло. И вот кончилось питание. Паек пошел суровый. Справедливый человек, Сергей Петрович делил: по сухарю ржаному на день, воды — сколько хочешь. Да! Великое бедствие постигло народ. Чего ни делали! На белок охотились, бурундуков ели.

Счастье несказанное было, как подстрелили кабана дикого. Без соли его варили, а с'ели до последней косточки, только хруст в лесу стоял. И опять голод... Опухать люди стали. От грязи чесотка напала.

А там цынга пришла. На людей больно глянуть: глаза страшные, зубы из мягких десен, чуть качнешь, как гнилые плоды, падают.

Страшные дни!..

Свалило и меня. Ноги опухли, стали, как чугуны, раны по телу пошли, волосы стали падать клочьями.

Василь мой крепился. Бегал, собирал мне хвою, варил настой сосновый, клубни от разных растений таежных из мерзлой земли штыком корчевал. С лица спал. Глянет на меня — и за голову возьмется. Мы с ним в тайге дружно жили. Но — как товарищи, а не муж с женой. Потянется он ко мне, а я отшатнусь: все забыть не могла издевок над собой. Василь стал со мной скуп на слова, а чуяла я, что настает у нас час дружбы настоящей. Только все у нас будто какое-то слово не сказано. Возьмет иногда Василь мою руку, подержит ее, вздохнет. Видит, что я настожусь вся, вз'ершусь, и уйдет от меня. Хочет Василь мне сказать что-то, и не решается. Переменился человек, и узнать нельзя. С учителем Сергеем Петровичем — друзья закадычные. Упорные оба, настойчивые: и в тайге начальник отряда, хоть у него забот было по горло, находил время для занятий с Василем.

Сергей Петрович очень к нему привык. Так и звал его — моя правая рука.

С народом веселый стал Василь, решительный. Очень его партизаны уважали и слушались.

В разведку, к чорту в пасть, в самую черную пропасть, Василь в первых шел.

Мечтать о будущей жизни не переставал. Мы в отдельной землянке жили. Каждый вечер землянка полным-полна. Зима стояла лютая, свирепая. Затопит Василь каминку, соберет партизан около себя. Лежат голодные, спухшие люди на нарах, и глаза у всех светятся, как начнет Василь рассказывать о том, что заживет народ радостно и светло, как только прогонит злых врагов со своей земли. Откуда что бралось? Часами его слушали, про боль и голод забывали партизаны.

— Самородок у тебя, Алена, му-

жик, — скажет мне, бывало, Сергей Петрович, — золотая головушка. Сберечь бы его только. Все силы положу, как беляков прогоним, чтоб его учиться послали. Редкостной пытливости и силы ум...

Когда стоял голод у горла и рыскали вокруг враги, как стая голодных волков, не раз спасал отряд Василь.

Оденется сирым странничком, стобится весь, посошок в руки — и пошел. Документы у него крестьянские были, сам маленький, худенький, больно мало на воителя походил, на грозного красного партизана. Где другой бы застрял, он проходил. Уйдет, нет его день-два, а там, смотришь, вваливается в землянку маленький муравей с огромной ношей на горбу. Народ в деревнях нас поддерживал: бабы сухари ржаные слали, лук, сало. Совсем редко виделись мы с Василем. Вот один раз ушел он на добычу. А мне уж легче стало — отходил он меня от болезни. Несколько дней нет ни слуху, ни духу. Засомневался Сергей Петрович. Ночи не спит, дозоры проверяет. Пришел ко мне в землянку. Курит самокрутку за самокруткой. Я на нарах лежала, тулупом покрытая. Сел он у меня в ногах.

— Не спишь, Алена Дмитриевна?

— Не спится!

— Боишься за Василю?

— Боюсь.

— И я боюсь. Не случилось ли с ним чего?

Не успел кончить Сергей Петрович, захрустел снег на пороге.

— Вася!

Задержали его наши красные — надо было приказ Сергею Петровичу передать.

Я на нарах поднялась и на него смотрю. Чувствую, как сердце у меня на место вернулось. Значит, думаю, ты, Алена Дмитриевна, по мужу скучать стала?

Ушел Сергей Петрович. Обогрелся Василь. Сел на нары около меня. Наклонился, в глаза глянул, волосы мой рукой пригладил, как у ребенка малого.

— Глаза у тебя сегодня ласковые, Аленушка?..

Так вот и зажили...

★

Нас в отряде только две женщины было: я да Аксинья. Партизаны первое время посмеивались над нами:

— Доселе Натальи гряды копали, а ныне Натальи в вояки попали!

Потом бросили: мы — и стряпки, и прачки, и сестры милосердные, и воители. Винтовка моя была снайперская: промаху, не знала. Меня Василь, как мы на Амур переехали, к ружьишку приучил. Зимой вместе белковать хаживали. Я азартная: быстро глаз навестила, не хуже гиляков белку на лету снимала. В отряде эта охота и пригодилась. Не одну белую и черную голову, охочую на чужие жизни, на чужие земли, сняла. И в рукопашный ходила.

Из края в край обходили мы с Василем родимые просторы. Наш отряд на хорошем счету был. Бросали нас часто из одной опасной операции на другую, еще опаснее.

Стояли мы раз в одной амурской протоке, на шестьдесят верст ниже Хабаровска. Тяжкая хворь свалила больше чем пол-отряда.

— Перемерут люди, как мухи осенью, если срочно не добудем медикаментов,— говорит доктор Сергею Петровичу.

У нас уже тогда и фельдшер, и доктор свои были.

Что делать? Ехать некому. Василь мой тоже в бреду. Иду я к начальнику отряда.

— Посылайте меня, Сергей Петрович.

А надо было добраться до Хабаровска, там в условленном месте товарищи ждали — лодка была приготовлена.

— Не годишься ты, Алена Дмитриевна, — говорит мне начальник.

— Эх! — отвечаю я ему. — Это рожь и пшеница годом родится, а добрый человек всегда пригодится.

— Трудно тебе будет, Аленушка, заводы везде, патрули японские и белогвардейские.

— Надо, — говорю, — Сергей Петрович.

— Надо! — говорит он мне.

И тронулась я в путь на лодочке гиляцкой — оморочке. Лодчонка из бере-

сты, утлая, легкая, идет под моим веслом упруго, как породистая лошадь. Добралась до указанного места благополучно: бог пронес беду неминуемую. Встретилась с товарищами. Сказали мне места, где лодка с продуктами и лекарственным снабдьем была укрыта. Ночью отправилась в обратный путь. Лодка большая, до краев набитая. Вниз по течению еду, а плывет она тяжело и грузно. Нажимаю я изо всей своей богатырской силы. Вот уже и окраина города. Ну, кажись, минула гиблое место! И вдруг около самого борта лодки ударил сноп света. Прожектор! Лучи мечутся из одного конца реки в другой, прощупывают все кругом. Сежилась я вся и не дышу. Попадет свет на мою лодку и — прости-прощай, мои товарищи! Сама сгибну и отряд пропал. Ах! Умирать мне неохота. Пока он, проклятуший, метался из стороны в сторону, я потихоньку лодку к берегу подгрестила и пригнала в кустах прибрежных. Ну, ладно, а ехать-то надо, не до свету же сидеть, тогда и вовсе не выкарабкаешься из такой-то пропасти. Только тронулась в путь, а он, окаянный, опять щупальцы свои распустил во все стороны. Сколько раз сердце екало; вот-вот рядом бегают свет, еще секунда — и обольет меня, и буду я видна вся, как на ладошечке. На весла налегаю, мокрая вся. И вдруг новая страсть! Слышу, впереди меня тархтит мотор. Ахти-мнешеньки! Сторожевой береговой катеришко мчитя мне навстречу на всех бензиновых парах. Куда и метнуться, не знаю. Впереди смерть и кругом смерть. А ночь темная-темная была. И вот вижу: на катеришко лучи прожектора упали, и мчит он, весь светом залитый. Ну, конец! Пошлют со дна рыбку ловить! Я в темноте, вот тут, рядом с ним, вижу все, а их на катере-то, как они внезапно из темени черной попали в яркий свет, и ослепило, знать. Рядышком, бок-о-бок прошла посудинка ихняя около меня. Скороходная. Ну, думаю, кому за тыном оконечеть, того до поры в воде не утопишь! И давай бог ноги. Гребла так, что уключины пели. Посмеивалась: тело доведу, а за душу не ручаюсь. К рассвету была я у своих. Седину вот эту в ту

ночку схватила. Памятка. Как вспомню, что семьдесят человек лежат вповалку, так сердце и захолонет.

★

Любовь — кольцо,
а у кольца нет конца.

Поправился мой Василь. Поднялись и товарищи отрядные. И пришел нам час решительного действия. Было это зимой двадцать второго года.

Поручили нашему отряду взорвать мост на железнодорожном раз'езде. Задержать надо было продвижение японских частей. В разведку итти вызвались мы с Василем. Дело было опасное. Невеселый шел Василь, хоть и вызвался охотой.

— Што-то сердце у меня щемит, Алена, не быть бы беде!

Я его шуткой успокаиваю:

— Не во всякой туче, говорю, гром; а и гром — да не грянет; а и грянет — да не на нас; и на нас, — авось, опалит, не убьет.

Но, чую, после его слов так нехорошо сердце резнуло и тяжесть не спадает. Договорились мы с Василем, ежели попадем в руки к японцам или белым, изобразить из себя двух пьяненьких супругов. Идем по дороге к раз'езду.

— Рюски, стой! — С винтовкой в руках подбегает к нам японец-часовой. — Куда?

— Домой! — махнул Вася рукой на деревню около раз'езда.

Японец ткнул Василя в горб прикладом. Василь охнул и разогнул спину. Но вспомнил про свой горб и опять согнулся. Это показалось японцу подозрительным. Он быстро ошупал спину Василя рукой и догадался, что этот гриб без дождя взрос.

Повели нас. Обыскали. Ничего, конечно, не нашли. Бросили в подвал при казарме. Решили мы с Василем: смерть. На наше счастье, не оказалось у них переводчика. Послали за ним на другой раз'езд. В ту же ночь на рассвете нас освободил наш отряд, взорвавший мост и выбивший японцев из казарм. Выскочили мы из подвала, смо-

трим — наш часовой, японец, подхватил винтовку подмышку и побежал прятаться в конюшню. Василь вгорячах за ним. Я — за Василем. Японец повернул от конюшни и идет на Василя. Василь замахнулся на него голым кулаком, японец внезапно и ловко нагнулся и ударил моего мужика головой в живот. Василь так и брякнулся лицом о землю. Я гляжу, как неживая: японец напряжился весь, как дикая кошка, идет на меня и штык вытянул. Василь вскочил на колени, ухватил японца за ногу. Тот выругался ясно так по русской матушке и со всего размаху всадил Васе штык в живот. Упал Вася на снег и оросил его кровью алой. Опомнилась я, как наши подбежали и кончили японца. Я к Василью. Схватил он руками штык. Освободиться от него хочет. Штык завяз глубоко. Скрипит Вася зубами. Партизаны вытащили штык, уложили Василя на шинели. Притащили мы его в тайгу. Доктор осмотрел его и говорит мне:

— Пойдем, Алена, надо приготовить раствор, чтобы промыть рану...

Я пошла за ним. Отвел он меня от землянки подальше.

— Безнадежен он, Аленушка. Осталось жить час-два, не больше. Внутреннее кровоизлияние мы остановить в наших условиях не в силах.

У меня ноги сразу отнялись.

Упала я на снег. Остаюсь на белом свете без первого близкого мне друга. А слез нет, и глаза сухие и горячие. Сердце кровью обливается. Василь, мой Василь!

Подошел ко мне доктор. Поднял.

— Какой это воин под кустом воет!?

Побежала я к Василью. Лежит, родимый мой, без кровиночки, лицо строгое, суровое. Увидал меня, улыбнулся краешками губ и просветлел весь, будто солнце на него лучом брызнуло.

— Аленушка! Аленушка моя...

Взял мою руку, потихоньку прижал ее к своей щеке. А глаза скорбные, как у больного ребенка, запали глубоко-глубоко, и смертная синь под ними, и смертный пот на высоком лбу... Заплакала я. Он гладит мою руку.

— Ничего, Аленушка, на всех смертный час приходит. Прости ты меня за

то, што жизнь я твою сгубил, за то, што часу радости тебе не дал. Велика моя вина перед тобой. Веришь ли, я себе не рад был и над собой не властен. Только здесь, в тайге, открылись мне глаза. О человеке подумал, о тебе: Любил я тебя, Аленушка! И потому злобился и бил, и ревновал, што чуял: не по тебе, не по твоей красоте и силе весь я. Сам я человек сломанный, порченный и тебя сломать хотел, штоб к себе ближе, похोजее сделать. Злая и страшная моя была любовь. Я ведь следы твои целовал, землю, по которой ты ходила, а в глаза псом бросался, немощь свою вымещал...

Тяжело умирал Василь. Криком кричал. Жалобился. Просил:

— Доктор, пристрелите меня... Оборвите муки непереносные... Моченьки моей нету...

А перед смертью стих, подтянулся весь.

— Аленушка! Будь тут, не уходи от меня, чевой-то мне холодно и страшно...

Я его, как ребенка малого, по голове гладила, успокаивала. Мил человек мой! Застонал он в последний раз: «Але...» — и... кончился.

Вскинулась я, как волчица раненая... Чего бы, кажись? Развязал бог руки. Скрутили без любви и радости, жили того хуже: чирьи вырезывали да болячки вставляли. Вот только в кровавые, тяжелые години раскрылся мне человек в новой, неожиданной красоте своей. Мы с ним, как ушли в тайгу, не жили, а в игрушки играли: все с лаской, все с шуткой-прибауткой. Полюбовно жили, как друзья-товарищи. Радостно жили, как будто друг друга нашли после тяжелой разлуки.

Упала я на колени около Василя. Притих он, вытянулся. Синева по лицу пошла... Что я в ту ночь, стоя около Васи в карауле с винтовкой в руке, передумала, какой клятвой клялась, одна ночечка темная знает... Руки целовала, думала, отойдут, оживеют. Нет... Не отшли...

А к утру нахлынуло на меня что-то, и не могу я больше... Хоть бы поплакать, а нет слез. Погубили моего мужа, мою кровинку, найденного моего. Вся

жизнь перед глазами прошла. Сiju и раскачиваюсь от великого горя из стороны в сторону, словно боль свою убаюкиваю, и говорю-складываю:

Соберу-возьму в поле белый снег,
Положу его себе на сердце,
Растоплю его слезой-пламенем,
Пусть смешается грусть души моей
С кровью алою друга милого,
Понесу-снесу это снадобье
На веселый пир, на буржуйский стол,
Расхмельным-хмельна брага красная —
В ней есть капелька друга милого...
Пейте, пробуйте, звери лютые,
Кровь народную, кровь крестьянскую!
Ах, да нет же, нет — не расстанусь я
С красным снадобьем, со своей слезой.
Ни за дешево, ни за дорого
Не продаст себя боль души моей.
И детям своим — малым крошечкам —
Буду сказывать, заповедывать:
«Детки милые, кровь отца —
Это кровь борца за свободушку!».

Пела-сказывала, сама себе предсказывала. И сама в ту ночь не ведала, что ношу я сына от Василя Степановича.

Хоронить Василя мне не пришлось. Хоронили без меня. На рассвете приказ: срочно выступить нашему отряду, помогать Народно-Революционной армии брать приступом сильно защищенную крепость Волочаевку.

★

Сильны временщики, да недолговечны.

Грозное это слово — Волочаевка! Могучее слово. Кто побывал в боях под Волочаевкой, знает это. Бой был богатырский. Народный бой.

Это только легко сказать: сорок восемь часов! Сорок восемь часов шли на приступ. Мороз был страшный: птица на лету замерзала, дышать трудно было, обжигало все в середке. Взять надо было укрепленную до последней капельки деревню Волочаевку. Боже ты мой, какую силу взяли! У них там, у беляков-то и японцев, ученые всякие, спецы укрепляли. Окутали все кругом проволочными заграждениями. Там одних этих проклятых проволочных колючек двенадцать рядов было! И так они оружие свою кругом расставили, так пулеметы наострили, проклятые

вороги, что, скажи, живого местечка не было, по которому бы не били пули или снаряды.

Нашим-то надо было идти до ровно-му, открытому полю, по злѳму снегу ползти, а они около сопки Июнь-Кара-ни окопались в тепле, сытые, заграж-денные.

Те-то на той, на проклятой сторо-нушке спокойны были: не взять крас-ным Волочаевки. Укрепления первого классу голыми руками, мол, не возь-мешь.

Люд у них собрался лихой, отбор-ный: самое воронье черное, самые же-стокие палачи, отрезанные от России ломти. Офицѳря было много, которым назад ходу не было. Они и отчаялись, они и зубами держались за последний клочок. Сильные части были и дисци-плину держали, понимали, что их про-машка полному раззору равна. Все учили, все рассчитали, арифметики, куда и как бить, одного не усчитали. Нена-видели они больно народ, презирали его, а народ — великая сила...

И вот пошли мы. Стужа лютая... Иные бойцы, совсем плохо одетые, це-лый день ждали часу, укрываясь в глу-боком снегу. Я вот с этим народом шла, локоть о локоть, и до сих пор живу, чувствуя на своем лице дыханье уми-рающего товарища, и слова его слышу прощальные:

— Умираю, Алена... Как кончусь,ними валенки, отдай братьям-товари-щам. Обидно мне... До завтра бы до-жить... Завтра в наших руках ключ бу-дет...

Не забыть мне первый день — один-надцатого февраля! Идет бойцов лави-на несокрушимая на приступ. Идут лю-ди, проваливаясь в снег по колена, на колючку океанную с голыми руками. Ножниц, резать ее, проклятую, у нас не было. Коченеет люд на холодном сне-гу. Кто тряпками ноги окутал, кто плат-ком головным, а идут, идут... Штыка-ми, саблями бьют проволоку, придавли-вают ее собственными телами. Набрасы-ваются скопом на столбы, раскачивают их, валят наземь.

Враг свинцовым дождем, шрапнелью бешеной поливает. Падают люди... От-

хлынут назад, оставляя на проволоке друзей.

Висят люди на проволоке, кто стонет, кто замолк и глаза закрыл навсегда. Ве-тер. Стужа. Горюшко! Как иглами, ко-лет глаза, засыпает свирепая снежная пыль. Замерзали люди быстро на сне-гу, на страшном морозе. Рана легкая, пустяковая, ее бы в неделю заживили, а лежит раненый на снегу и быстро сла-беет, силу теряет, тухнет, как свечка на ветру. Встать нельзя — скосят враги. Выждидай минутку, чтобы назад к себе ползти, а минутка-то в вечный час обо-рачивается. Без движения раненому нельзя быть в такой мороз. Которых перевяжешь на скорую руку, смо-тришь — кровь на ране застывает, по-вязка твердеет; иней на ней появится — гиблое дело!

Целый день одиннадцатого февраля бой был. За каждую пядь земли дра-лись. Они держатся. Отбивают нас на-зад. Отдыхимся мы немного — и опять вперед, рвать цепи проволочных заграж-дений. Опять они нас ураганным огнем отбросят... Снова вперед. Танк один наш прорвал две линии проволочных за-граждений. Мы было ликовать стали. Как ахнет в него беляк снарядом с бро-непоезда, и вышел наш танк из строя. Ничего сделать в этот день не могли, как ни бился. Отозвали нас на не-сколько часов на отдых. Вот радость-то была — тепло понохать! А теснота! Казармишка махонькая. Лежат люди вповалку, дышать нечем, а сами бла-женствуют. В одной комнате несколько сот людей набилось. Хохот, шутки шу-тят, песни поют. Отогреваются, одним словом.

Отдохнули — опять пошли. Вперед, вперед! Косят пули, рвут снаряды, ад кромешний и гул стоит. Народ все крепчает — сотни, тысячи безыменных бойцов красных.

Не гулять душегубам по городам, де-ревням и селам! Не быть врагу на зе-мле русской! Все сильнее, все упорнее народ становился. Разгоралась душа...

Гляну я на людей. Люди рядом си-ние, с отмороженными руками, ногами, щеками, а глаза светятся, упорные у всех глаза.

Нет! Такие не отступят. Таких смертью не запугаешь.

Паренька молоденького, безусого, только-что винтовку в руках научившего держать, ранило о-бок меня. Застонал, родной. Я к нему. Глянула — и глаза прикрыла. Осколком снаряда разворотило ему всю спину. А он ползет, да так быстро ползет за отрядом! Сухой снег впитывает горячую кровь... след за ним тянется широкий, кровавый...

— Куда ты, — говорю, — назад тебе надо! Поползем на перевязочный? — Держу его на руках, а он рвется:

— Вперед, — хрипит, — только вперед, сестра Алена...

И сник. Голову в снег глубокий зарыл... Подняла я его, сложила ему руки на груди, поцеловала еще теплые губы...

Глянула я в сторону, где Сергей Петрович перебежку делал. Вижу, привстал и за грудь держится. Я к нему ползу. Ранен. И сознания в нем нету. Партизаны мне говорят:

— Волоки его быстрейка, Алена. Замерзнет — пропадет!

Ухватила я его и ползу с ним. Встать нельзя: укокают в момент. Больше часу, как муравей, ношу волокла. Слезы на щеках леденели. Роднее родного был нам человек этот верный. Он в себя не приходит, только стонет. Жив, думаю, жив, голубчик! И нажимаю из последних сил. Пальцами не владею, руки поморожены. Потру себе лицо снегом и Сергея Петровича потру — и опять в путь. Силы-моченьки нет. Плачу ино от жалости. Дотащу, думаю, замороженного.

Выволокла, ведь! Только из самого жестокого огня вышла, взвалила его себе на спину, на загорбок, и пошала.

На пункте все переполнено. Да что на пункте, — на полу, в сарае, в коридоре лежали люди. Всюду лужи крови и на улице снег в крови. Врачи и сестры с ног сбились: халаты в крови, как у добрых мясников. Прямо режут ножницами валенки, рубахи, штаны — спешат операции делать. Черед стоит раненых. Взяли у меня Сергея Петровича. По-

отогрелась я малость, помазала салом руки, распухли пальцы, как синие со-сиски, винтовкой не владею. И опять к своим. Пошла с бойцами на проволоку. Стрелять не могу: руки одеревятели. Так я снимать раненых с проволоки стала и таскать их на перевязочный. Тяжело было. Под сплошными пулями приходилось людей брать.

И вот, к вечеру так, вижу — висит один. Здоровый дядя. Силач, видать. Плечи аршинные. Повис он на проволоке, словно перерубили его пополам, и хрипит. Пена у него изо рта идет, головой вниз висел, зашелся. Сняла я его потихоньку. А тут стрелять начали еще бешенее. Вижу, наши начинают откатываться... А мне этого бросить жаль! Моя добыча! Успела уж я его от колючек отцепить. Пули бьют — не понесешь. Легла я на землю и давай его за собой за ноги тащить. Отползу несколько шагов и его за собой протяну. Отползу и тяну. Он молчит, только хрипит тяжело: куда ранен, не знаю, но, вижу, не ходок.

А наши далеко откатились назад. Беляки нас заметили. Льют, сволочи, поливают, кругом пули звенькают. Закопаюсь я в снег, потом опять поползу и его за собой тащу. Видит он — дело плохо, и кричит мне:

— Ползи, браток, один. Сшибут тебя со мной беляки.

По сердцу меня стегнуло. Бросить? Последнее дело товарища бросить при смертном часе. А этот сдюжит, вижу, хоть и ранен, а голос крепкий.

— Не брошу, — говорю, а сама ползу. Заливают нас беляки — близок смертный час.

Он мне кричит:

— Бросай, сукин сын, храбрец какой нашелся... Именем революции требую, бросай... Выполняй боевой приказ: я командир отделения Пятого пехотного полка... Слушать команду!..

Командир приказывает, да еще в боевой обстановке, — надо подчиняться. Чуть не взвела я от досады. Бросила его, поползла одна. Вижу, наши опять идут на штурм. Я к нему назад. Начинаю тянуть. Он ногой брыкается, не дается:

— Негодяй, — кричит, — в бой, иди в бой!.. Трус, шкура... Видишь, наши пошли...

Я помалкиваю и прю его во все лопатки, катит он у меня по снегу, только свист идет, как на салазках. Проволокла я его с версту. А уж за день измаялась — сил нет. Не могу тащить! Хоть криком кричи! И вдруг тошнота к горлу подошла. Села я около раненого. Положила руку себе на живот. Дите шевелится! Словно силы у меня прибавилось. Из огня вытащила своего раненого и побежала за санитарями. Взяли его врачи. А я отогреться побежала. Отогрелась, пошла смотреть на своего спасенного. Смотрю, лежит на столе. Пулю ему в руке ковыряют. Нога левая и обе руки у него ранены были. Подошла ближе. И вдруг сердце как оборвалось:

— Михал Савельич?!

Он! Он самый лежит на столе.

Михал Савельич оттолкнул врача, приподнялся на локте и смотрит на меня.

— Алена Дмитриевна!

— О! Вы, я вижу, знакомыми оказались, — засмеялся доктор. — А это, ведь, она вас с проволоки сняла. Она у нас молодец. Вы сегодня не первый, отвоеванный Аленушкой от смерти...

Вот где встретились с человеком... После таких лет разлуки. И как встретились!..

Не пустил меня больше врач на фронтную полосу: руки распухли.

После операции пришла я к Михал Савельичу. Рассказала я ему про свою боль, про потерю великую. Ослабла я, знать, — тут только слезы пришли. Плакала вволюшку о Васе. Михал Савельич рассказал мне про себя. Четыре года в окопах жил на германской войне. А как революция грянула — всю Россию прошел, на многих фронтах бился, очищая землю советскую от русских предателей и иноземных захватчиков.

Утром двенадцатого февраля пошла я опять со своим отрядом.

И пришлось мне с товарищами брать Волочаевку.

Глянула я утром: вся земля после боев, как вспахана. Впереди того места, где наш отряд стоял, лесок был. А тут

ни деревца стоячего нет: все снарядами покосило вчистую!

Бах! Бах! Бах! — раздалась на расвете три орудийных выстрела.

Народ знал — это сигнал брать приступом Волочаевку!

Люди бросились наступать. Бронепоезда белояпонских гадов здорово нас мучили: ходу не давали. Наши их тоже давай артиллерией гвоздить. Часам к десяти самый отчаянный бой возгорелся. Наши броневые поезда в дело бросились. Нам легче дышать стало. Но враг еще пуще озлобился. Косила нас смерть направо и налево, но тех, кто оставался жив, не могла остановить никакая сила! Наш отряд шел в первых. С яростью, с гневом бросались люди на последние ряды проволочных заграждений.

Навсегда ложились сотни, повисали на проволоке, а живые по их телам... по телам родных и близких шли и шли, чтобы взять врага за горло! И взяли! Ворвались в окопы. Белые дрогнули и бросились бежать.

Чего только не нашли потом наши у них! И одежда теплая, — полушубки, валенки, — и оружие всякое, и питание богатое: шоколад, папиросы дорогие, банки с вкусными яствами. Все союзники подкидывали. Бейте только красных! Не вышло! Хватили с пылу, с жару — ан рот в пазухах. Мы духом народным, непреклонностью своей сильны были, хоть и бедны, и вооружены слабо, и брюхо не раз подводило. А вот победили! Дух был у народа необыкновенный. За свое бились, за правое. Разве человек, который солнце и свет божий увидел, пойдет своей волей в слепцы?!

Я впопыхах вскочила в окоп. Вижу — японский офицер командует что-то своим солдатам, торопится. Я выстрелила в него. Чуть не промахнулась: руками плохо владела. Тут за мной подоспели товарищи. Завязалась рукопашная. Японский офицер, которого я ранила, привстал на колени и разрядил в меня свой револьвер. Упала я — три пули засели. Пришлось делать остановку. Около трех месяцев лежала в хабаровском госпитале. Хабаровск уже в руках

красных был. К счастью, раны были легкие. Подлечили меня. Приходит повестка. Вызывает военное командование. Прихожу. Знакомых много, наши отрядные есть, друзья, с которыми в боях породнилась. И Сергей Петрович!

— Зачем, — говорю, — звали-то?

— Узнаешь, — улыбается он светлой своей усмешкой. — По головке не поглядят за спасение жизни товарищей.

Села я. А была я уже грузная, на восьмом месяце беременности. Смотрю, у окна стоит и глядит на меня Михал Савельич. Рука еще на перевязке. Лицо строгое — похудел сильно, а глаза смеются радостно. Мы с ним с той поры, как я его на перевязочном оставила, не виделись.

Подошел ко мне Михал Савельич, сел рядом.

— Расцвела ты, Алена Дмитриевна!

— Расцветешь, — говорю, — на восьмом месяце! — А сама смеюсь.

Посмотрел он на меня серьезно так, обнял за плечо:

— Вместе растить сына будем?

Глянула я в очи серые его:

— Вместе!

Слышу, тихо кругом стало, торжественно. Знамя наше отрядное на стене висит.

Вызывают меня. Читают приказ-повеление.

За боевые заслуги награждает меня мое большевистское правительство орденом Красного Знамени.

Стою я... Потом опомнилась и, не будучи прошлого греха таить, перекрестилась медленно на боевое, пулями пробитое, отрядное знамя. И опять стою...

Подняла глаза на народ. Никто и не улыбнулся на мое неуместное действие, и подалась я вперед к народу, к друзьям.

— Товарищи! Какое слово мне вымолвить?.. Не народилось еще, знать, то слово, чтобы высказать вам все, что я чувствую. А света и тепла, которые мне сегодня душу обожгли и согрели, на всю мою жизнь хватит. Я

вот перекрестилась истово, никто из вас и не улыбнулся, поняли, значит, что это я крест ставила на прошлой своей жизни. Не от богомолья, нет! Теперь все прошло, как огнем прижгло. Много мне хочется сказать, а вот не умею. Жить вот мне очень хочется, так жить хочется, хоть кусай ее, жизнь-то, по кусочкам. Товарищ мой отрядный, — в боях под Волочаевкой сбило его, — умирая на моих руках, рвался за товарищами: «Вперед! только вперед, сестра Алена!». И слова его я на всю жизнь сохранила!

Как вспомню его, как вспомню тоску одинокого человека на краю большой ледяной реки, как вспомню мечты светлые мужа моего, погибшего от японского штыка, мечты о будущей счастливой жизни, и думаю: Ах! нельзя нам останавливаться. Вперед идти надо! Врагов еще много, от них очищать землю до конца надо. Трудов край непочатый: в жизни след надо оставить благодарный, чтобы детям нашим было легче идти.

Большую я силу чувствую в себе. Вот лежала в госпитале и все рвалась. Ах не могу я, доктор, лежать! Руки труда просят. Смели мы гадов в Японское море, а разве мало ядовитой твари еще на нашей земле осталось? Разве мало горя и нищеты? Раздумаюсь ино в ночь, и сердце, как ножом, полоснет: вижу, вот, наяву, перед собой вижу бабью многострадальную долю. Иной раз такая боль прихлынет, сердце так защемит, будто не одно у меня сердце в груди, а три. Взяла бы, кажись, на руки человека с его тоской и болью...

Вот и сейчас чувствую, не одно сердце, а три сердца в груди стучат... Прошу Ленину от меня спасибо послать, великую благодарность: человек, мол, по ледяным тропам полз, из сил выбивался, а революция его на большую дорогу вывела...

Чего греха таить. Так и не кончила я слов своих... Захватило мне горло. Стою и плачу.

Детство в „Порт-Артуре“

ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ

★

I

Слободку звали «Порт-Артуром»
С тех пор, как грозный пятый год
Отсюда днем декабрьским, хмурым
На город шел плечом вперед.

И здесь, на старой водокачке,
Где в лужах плавают мазут,
Отец, как каторжанин тачку,
Всю жизнь тащил постылый труд.

А между тем мы вырастали,
И крепили наши голоса.
Порой высоко запускали
Змеек бумажный в небеса.

И за слободкой место было,
Где, перейдя крутые рвы,
Тайга заборы охватила
Зеленым пламенем травы.

Туда несли мы бабки, свайки...
Там взрослые, воскресным днем,
Сойдясь на солнечной лужайке,
Пятак бросали вверх орлом.

Бывало, мы кругом обрыщем
С ватагой нашей озорной,
Лишь паровозное кладбище
Мы обходили стороной.

Там, в тишине и запустеньи,
Вгрызается в железо ржа,
И, как обломки от крушений,
Век доживают сторожа.

Там пусто было, нелюдимо,
Протяжно пели провода...
Слободка пахла шлаком, дымом...
И мимо грусти, детства мимо
В ночь пронеслись поезда.

II

Но за рекою, где Саяны
Хребтами синими легли,
Чудесные, иные страны
Нам часто чудились вдали.

И нам легко и просто было
С мечтой, не знающей границ.
Природа с нами говорила
На языке цветов и птиц.

В тайге пожары поднимались,
Как тучи, среди бела дня...
И белки в городе метались,
Страшась нещадного огня.

Они, как искры от пожара,
Летели потухая к нам
По веткам чахлого бульвара,
По огородам и садам.

И небо шурилось и слепо.
Река тускнела, как стекло.
Деревья были цвета пепла,
И солнце меркло и текло.

В дыму, в горячем вихре пыли,
Я видел, стиснув кулаки,
Как злыми псами затравили
Зверька купецкие сынки.

Я вспоминал в слободке, дома,
С недетской ненавистью их,
Кто улюлюкал на погромах
Со сворой псов-городовых.

III

Я ненавидел в детстве город!
Совсем иной там жил народ.
Там берегись, — не то за ворот
Городовой тебя возьмет.

Там свой, заветный, стародавний,
На все засовы заперт быт.
И даже днем закрыты ставни,
И кажется, что город спит.

Хозяин, мещанин сердитый,
Сам на ночь псов с цепи спускал.
Переминался у калиток,
На звезды широко зевал.

Но пристаней крепки причалы,
И спал хозяин до утра.
Река, как грузчик, поднимала
Его плоты и лихтера...

И грустно было мне... В солдатах—
Отец... И вести нет, как нет.
А город флагами одет:
Царям, Романовым проклятым,
Исполнилось три сотни лет.

Пожарные сияли каски...
Дьячок кадило раздувал.
И, стоя в новенькой коляске,
Усач-исправник проскакал.

А вечером, когда густая
Пыль покрывала городок,
Приплелся дворник и, зевая,
«Иллюминацию» зажжет.

С хозяйским, скаредным прищуром
Светились хмурые дома.
Лишь в переулках «Порт-Артура»
Насторожась, молчала тьма.

И слободские Ваньки, Гошки,
Камней в карманы наберя,
Мы били глиняные плошки,
Что зажигались в честь царя.

И потухали плошки эти,
Мигая чадным огоньком...

Я в жизнь вступил. Я юность
встретил.

На проводах играет ветер
Моим заброшенным змейком.

Два стихотворения

МИХ. ЗЕНКЕВИЧ

★

1. ДОМ РЫБАКА

Где мы сейчас? Без шуток,
я, право, не пойму, —
Дом рыбака — как будто
дом отдыха в Крыму.
Здесь север хлебосольный
по-южному горяч.
Над сеткой волейбольной
перелетает мяч.
Играет радиола,
танцует молодежь.
И разговор веселый,
и шутки, и галдеж.
Но робко жмут березки
белесые стволы.
И камни слишком плоски,
обточены, круглы.
Ползучие коряги,
как щупальцы, сильны.
Из тундр олений ягель
заполз на валуны.
И так певуч былинный
поморский говорок,
И вечер, слишком длинный,
закатом изнемог.

Внизу шумит Тулома,
в турбинах хлопоча,
И белой ночи дрема
приходит невзначай.
Доской качельной койке
от качки не взлетать, —
Стоит недвижно, стойко
пружинная кровать.
Не бьет в иллюминатор
зеленой зыбью шторм,
А, словно ласка чья-то,
колышет складки штор.
Как будто с вахты смена.
И только задремал, —
Сквозь сон гудит сирена...
Команда на аврал!
Моряк здесь не заленится,
и к дому рыбака
Все ломится Баренцово,
грозясь издалека.
От льда борта окальвай
и палубу замой!
Какой-то будет траловый
лов этою зимой!

2. ГРОЗА В ЗАПОЛЯРЬИ

Июльские грозы, такого коленца вам
Не выкинуть, как у этой грозы,
Заполярной, у Мурманска, в море
Баренцовом,
Взбаламутившей океанскую зыбь!

Как молнии у нее иступленны,
Любой бы хватило на целый улов,
На тысячи бочек, на гулкие тонны
Катящихся с неба по трапам громов.

Но гром, оторвавшись от горных окраин,
Раскатывался и падал вдруг

В трюм приглушенно, — как будто,
задраен
Над ним был наглухо плотный люк.

И в петлях стальных огромного трала,
Неуловимая досель,
Серебряными косяками застряла,
Прессуясь в ценные центнеры, сельдь.

А траулер траурный тросом скользким
Вытягивал, от нарузки тяжел,
И Мурманск, и горы с заливом

Кольским
На мокрую палубу в засол.

★

Козьма Минин¹

В. КОСТЫЛЕВ

★

I

По дороге из Балахны в Нижний Нове-град неторопливо пробирается всадник. Первые дни апреля 1611 года. В хвойных перелесках тишина прохладного весеннего утра. Обветрелая земля кое-где в снегу. На дороге—затянувшиеся ледком широкие лужи. Почти из-под самых ног выскочил бяляк — почмался в поле.

На всаднике серый крестьянский охабень, железная стрелецкая шапка, у пояса — длинный увесистый палаш с широкою елманью на конце. На ногах лапти. Онучи, затянутые крепкою бечевой, со следами пятен крови. Бутурлык, из трех выгнутых железных пластин, лишь на одном колене.

Смуглое, обветренное лицо. Человек не молодой; в темной бороде, подтянутой ремнями от шапки, серебрятся седые нити.

Свернув на высокий берег Волги, он окинул взглядом речную ширь. Лицо его просветлело.

Из оврага вылез на лыжах зверолов, весь в меху, сам похожий на зверя. Поклонился:

— Далеко ль путь держишь?.. — Остановился поперек дороги, поднимая малахай, чтобы лучше видеть. — Пресвятая владычица! — воскликнул вдруг. — Да неужто это ты, Козьма Захарыч!

— Фома Демьяныч?! Здорово, брат!

— Да откуда же ты, родимый мой?

— Скажи спасибо, что увиделись... Отстал от алябьевской рати... Один пробираюсь из Мурома. Набрел на Мугреево, вотчину Пожарского... Ранен князь. Много мужей храбрых полегло на дорогах от измены и братоубийства...

— Э-эх, Минич, да тебя и не узнаешь!

Минин рассмеялся.

— Пять лет не слезаю с коня... Немудрено! Поди, на Нижнем посаде уж забыли про меня...

— Можно ли тебя забыть? Небось, Козьму все знают...

— Спасибо, Фома Демьяныч!.. Красен бой мужеством, а приятель — дружеством. Спасибо! Кому ныне зверя сбываешь?

— Охлопкову Семке... твоему соседу...

— Не обижает?

— Ровно бы и нет... Не бранимся... не жилит... Грех бога гневить. Человек хороший.

— Отвык я от своего дела, Фома; чудно как-то и думать... Ну, прощай! —

Фома придержал Минина за палаш.

— Не спросил я тебя. Что слышно об ополчении, о Ляпунове? — спросил он, понизив голос. — Выгнали поляков из Москвы или нет?

Минин с досадой отмахнулся рукой:

— Не знаю. Послал я туда двоих: Мосеева да Пахомова. Бог знает, какие привезут вести.

Сказав, круто повернул коня.

¹. Сокращенный вариант.

Прибежал Фома в свою деревню и прямо — к попу, рассказал: видел нижегородского говядаря Куземку, вернувшегося с войны. Зазнался человек — ни о чем говорить не желает, торопится к своей бабе на печку. При упоминании о Семке Охлопкове побелел весь. Жаден и завистлив Куземка. Ему до Москвы, видно, никакого дела нет, лишь бы опять до лотка добраться, деньгу зашибать. И Татьяна его — жадоба такая же, и Нефед — сын — с базарной душой... Охлопков Семка куда проще, не столь ужимист.

Фома Демьянов был обижен на Минина. Когда-то они не поладили; он не забудет до самой смерти двух оленей, которых вывозжил у него за бесценок говядарь Куземка. Фома злопамятен. Повсюду он срамил его за эти пять лет, когда Минина не было в Нижнем.

— Пускай-ка теперь попробует поторгует!.. — ехидно посмеивался Фома в разговоре с попом. — Ни одного гуртовщика, ни одного зверолова не втянет... Убогою куплею питался — так будет и ныне. Помню, все помню. Чтоб подавился он моими оленями!

Поп был старый, тусклый, отупевший. Не знал, о каком царе молиться, а без этого и служба не в службу. Слушал рассеянно.

Козьма, отъехав от Фомы, тоже вспомнил былую ссору с звероловом — она случилась перед самым походом на осадивших город тушинцев. Фома был назойлив и мелочен, крепко дорожился. А Минин не любил зря швыряться деньгами. Был расчетлив в торговле. Расстались врагами, и вот теперь Фома делает вид, что рад возвращению Козьмы в Нижний. Но кто ему поверит?

«Как и в прежние времена, на глазах гладок, а на зуб не сладок, — думает Козьма. — Неспроста юлит, не такой человек...».

О своей торговле Козьма вспоминал с раздражением. Но чем было жить? Плотничать вздумал, да при царе Федоре судостроение на Волге остановилось, а там и судоходство нарушилось. Плотники оказались не у дел. Воры и на воде одолели. На-нет сошли все дела в Нижнем. Да в одном ли Нижнем?!

Порядок нарушился не только на Волге, а и по всей земле. Без особого сожаления Козьма расстался с торговлей и вступил ратником в войско нижегородского воеводы Алябьева. Ратное дело пришлось по душе, и теперь не хотелось возвращаться к мясному лотку.

Минин подхлестнул коня. Слезы выступили из глаз при виде речной шири, застывшей в ожидании ледохода. Волга, Волга! Одна ты все видела, одна ты все знаешь, одна ты утешала и поддерживала в тяжелые минуты. Уже доносятся звуки колокольного звона с Дятловых гор, на которых широко раскинулся преименитый Нижний Новеград. Уже видна в ясном воздухе Кунавинская сосновая гривка.

Еще немного — и устье Оки, а в пещере над устьем — Благовещенская слобода и родной бревенчатый домик.

Засверкали облитые солнечным светом склоны посадских оврагов. На них бревенчатые домишки, а на самом высоком холме — зубчатые стены нижегородского кремля.

Минин остановил коня, снял шапку, перекрестился. Долго, с непокрытой головой смотрел на родной город.

Не заметил, как въехал на гору. На Благовещенской колокольне ударили к повечерию. За каменной бойничной стеной на монастырском дворе — толпа чернецов. Голубиные стаи вспорхнули над колокольней.

Около своего дома Минин соскочил с коня, постучал в окно:

— Татьяна!

Вся в черном, бледная, сухая, выбежала из ворот и бросилась на шею к мужу. Обняв ее и дрожащим голосом спросил:

— Не ждала?

Слезы были ответом. По-хозяйски распахнул ворота. Ввел во двор коня. Осмотрел двор. Поморщился.

— А где Нефед? Чего ради вилы валяются в грязи?

— На базаре он, батюшка. Рыбу понес продавать...

Поднял вилы, поставил к стене.

В горнице на коленях помолились. А после молитвы Татьяна Семеновна ударилась в жалобы:

— Жить нечем, родимый! Бьемся уж мы тут с Нефедом не знаю как... Заклевали нас без тебя. Охлопков Семка... Обирушка!.. Лавочничает не по-нашему... Два дома, проклятый, без тебя нажил, а мы...

Татьяна Семеновна, приговаривая, слезила в погреб, принесла грибов. Нарезала хлеба.

— Воевода в Нижнем?.. — спросил Минин и, словно не замечая причитаний жены, с жадностью принялся за еду.

— Алябьев один... Воевода, князь Репнин, ушел с войском...

— К Ляпунову?

— Под Москву, что ли? Где уж нам знать!

— Нешто Нефед тебе не сказывал?

— До того ли ему, батюшка?

Разжевывая грибы, Минин хмуро покачал головой.

Он слышал от Пожарского и от московских беглецов о ляпуновском ополчении и о том, что нижегородцы, по приказу Ляпунова, выслали свои полки ему встречь. Слышал, что тушинские атаманы — князь Трубецкой и Заруцкий — целовали Ляпунову крест быть в тесном союзе с ним. Многое узнал в Мугрееве от князя, но не верил, как и Пожарский, в надежность союза враждовавших долгие годы между собою воевод. Не верил в истинную дружбу Ляпунова с холопом Тушинского вора — атаманом Иваном Заруцким.

Утолив голод, Козьма залез на печь.

— Не болтай там!.. — крикнул он жене. — Надобно мне отдохнуть да умом пораскинуть... Забот много...

Служба в монастыре отошла. Одна за другой гаснут глиняные плошки в храме. Тихо, в раздумьи, выходит на паперть народ, спускается по тропе в нижнюю часть города.

Холодно. Туманный утренник жжет щеки, уши, ест глаза. В небе мерцает звезда. Ока, Волга, Кунавинская сторона и горы затянуты молочной мглой. Под ногами хруст подмерзших луж.

— Не поскользнься... Держи правее, — хмуро сказал Минин обогнавшего его сына.

Нефед, высокий, плечистый детина, поровнялся с отцом.

— Топор на месте? Не забыл?

— Точно, батюшка, не забыл...

Минин в косматой шапке с наушниками, в поддевке из овчины, громадный, шагал размашисто. Около Гостиного двора в сумраке виднелись медведеобразные фигуры сторожей. Донеслись голоса приехавших на базар крестьян.

Минин остановился перед своей лавкой — небольшой тесовый сарай с лотком у широкого раствора. Достал из кармана железный крюк, отпер им дверь. Перекрестился на четыре стороны.

Вошли. Опрокинутая на спину, лежала на полу мясная туша.

— Добро, — молвил Козьма, толкнув ее сапогом. — Неси на волю.

Нефед взвалил на себя тушу и вынес на улицу, положил около лавки.

Минин скинул поддевку; оставшись в стеганой телогрейке, перекрестился и, взмахнув топором, ударил по туше.

Дела, действительно, невеселые. Лавка пришла в полный упадок. Денежные сбережения прожиты. Грозил нищета. Даже последний замухрышка, мясник Куприянка Юрьев, и тот взял верх над Мининим. А об Охлопкове лучше и не думать. В мясном ряду — царь и бог.

Козьма рубил тушу на мелкие, ровные куски.

— Подбирай.

Нефед принялся подбирать и раскладывать куски на лотке.

— Торговать будем. Гляди, чего там мужик везет?..

Воз подехал к лавке. Оказалось, Митька, лысковский монастырский крестьянин.

— Милостивец, Козьма Захарыч!.. Да неужто это ты?!

— Как видишь! Я самый.

— Да, милый! Давно ль приехал?

— На той неделе.

— Дай мне на тебя посмотреть-то. Вот старосту, говорят, выбирать будут — тебя выберем.

— Разве что слышал, Митя?

— Не слышал, а знаю. Народ тебя помнит, смелый ты, за землю стоишь. Ляхов бил здорово. По деревням слух ходит.

Козьма отправил Митю и Нефедя к себе домой, заботливо подобрал на снегу крошки мяса и положил их на лоток.

Быстро светало. Оживали лавки и лари на Нижнем посаде. Появились сбитенщики, пирожники, блинники, башмачники — расселись рядом вдоль улицы... С верхней части города на торжище спустились посадские обыватели. Расползлись по мясному, хлебному, соленному, железному рядам. Лавок на Нижнем базаре до трехсот.

В воздухе потянуло запахом харчевных изб, гарью из кузниц, свежиспеченным хлебом из монастырских пекарен, построенных недавно на торгу черским архимандритом Феодосием. Открылись две богатые лавки, в пять растворов, спасского протопопа Саввы. Его сыновья, Игнатий и Василий, подошли к Минину, поздоровались, купили два куска мяса.

— Вчера после утрени отец о тебе богомольцам поминал. Воевода Алябьев назвал достохвальной твою службу в его войске... Спасли вы нас от разорения... Все купцы о вас, наших защитниках, богу молятся...

Поклонились Минину с уважением и отошли.

Направо от Гостиного двора и до самых Ивановских ворот раскинулась главная городская площадь — здесь читались царские указы, вершились суд и расправа, пытка, правез, торговая казнь...

Здесь собралась кучка торговых мужиков. Вполголоса, с оглядкой, шел разговор о том, кого выбрать старостой. Скоро выборы. Судовой кормщик Давыдка да кузнец Яичное Ухо рассказали, что всеми уважаемый протопоп Савва вчера в Спасо-Преображенском соборе наемнул на Минина, — честный, мол, защитник родины, а ныне такие люди в старосты и нужны. Охлопков, правда, хороший, степенный, очень богатый человек, да только от народа далек и земские дела его не влекут. Козьма — иное. Добровольно, без понуждения своей ратником в алябьевское войско, вступил жизни не щадил...

Кое-кто возразил против Минина: обеднял, мол, дядя, нечем ему, кроме

храбрости, красоваться перед людьми. Федор Марков и Охлопков куда богаче, и уважение к ним на посаде громадное. Проедут в своих ковровых возках по улице, народ до самой земли кланяется, а с Мининым — все за панибрата. Куда Козьме с ними равняться?

Поднялся спор. Сбежались бурлаки, плотники, ямщики — мининская сторона перевесила.

— Нам правды надо! — ревели бурлаки. — Без хлеба и правды не жизнь, а вытье... Проклятые ляхи испортили всех... Чистоты нет... Смерть ляхам! Козьма бил ляхов, за то любим его! Любим!

Сторонники Маркова и Охлопкова разбежались.

А Минин в это время распродал последние куски мяса. В покупателях недостачи не было. Около лавки стояла толпа. Каждый покупавший мясо норвил хоть слово услышать о войне с ляхами, о Москве...

Слушали Козьму, разинув рты.

Распродав мясо, Минин пошел домой. Нефед и дядя Митя бражничали. Татьяна Семеновна румяная, веселая: «Наконец-то Захарыч взялся за ум!».

Дядя Митя, сильно захмелевший, поднялся со скамьи и облобызал Минина:

— Козьма Минич; друг, благодарствую... Угостил меня твой отрок на славу. Век не забуду.

— Скажи там и другим монастырским тяглецам, — проговорил Минин, — с ляхами придется побороться... Москва в королевских руках. Можно ли то терпеть?

— Батюшка, Козьма Захарыч! Сзывал нас тут без тебя воевода... Денег требовал. Биркин какой-то из-под Москвы от Ляпунова приехал... Собирает казну. А воевода Репнин к Москве будто ушел, увел ратников в помощь Ляпунову...

Минин нахмурился.

— Знаю. Слышал поговорку: «Баранбараном, и денешки даром»? Так и тут. Деньги с великим трудом даются. Зря сорить их не след. Ушел Репнин, и слава богу! А нам надо подумать о себе, о защите себя от поляков... Как же

бросать деньги неведомо на что? Запас да замок — лучшие друзья. Боярские походы — яма, все одно ее никогда не наполнишь.

Разговор затянулся. Браги нехватило. Козьма был охоч до нее. Послали Нефедю к соседу, дьяку Севастьяну. Появился еще два кувшина.

Пришел протопоп Савва — давнишний приятель Минина, сосед по лавке. Собрались еще кое-кто из посадских. Развернулось настоящее пиршество.

В этот день Мите так и не удалось уехать из Нижнего. Ночевал в доме Минина.

II

После повечерия вновь избранный земский староста Козьма Минин с паперти об'явил посадским воеводскую благодарность за помощь Ляпунову. Получена весть, что войско, снаряженное нижегородцами под началом князя Репнина, дошло до Владимира и соединилось с казаками атамана Просовецкого. Навстречу Репнину идут изменники — князь Куракин и Борис Черкасский.

— Видать, природным русским вельможам выгоднее быть холопами польского короля, нежели защищать государство, — усмехнулся Минин.

Среди посадских людей поднялся ропот. Давно ли в Нижегородском крае во главе воровских шаек ходили, грабя и разоряя села, деревни и монастыри, князь Шугуровы, Киреев, Гладков, Ртищев, Кузьминский, Вяземский и другие? Много бед причинили князь-разбойники мирному тяглому населению Поволжья. Обманом сбивали мордву, чувашей, черемисов и татар, вели их за собою на русские города и селения, а потом бросали на произвол судьбы.

Деловитым голосом Минин об'явил, что ляпуновский посланец Биркин, находящийся в Нижнем, требует новых денег на поход, помимо тех, что были даны князю Репнину.

— Земские люди! — сказал Минин. — Никто из нас не будет порочить князя Репнина... Александра Андреича Репнина мы знаем. Человек набожный... Подумать надо о другом... Можем ли мы собрать новую казну? Конечно, доб-

рое дело задумал Ляпунов. Но не обидел бы он нашего воеводу!.. Много там людей, да мало друзей... Ивашка Заруцкий один чего стоит! Не найдешь такого бога, которому бы он не молился, не найдешь такого кошель, перед которым устояла бы его совесть. Подумайте, граждане, — дело великое! Нижегородцы не пощадят ни жизни, ни денег, коли к тому явная польза будет. Трижды находились мы в осаде. Но отстояли город. Разбили тушинцев; лживого попа Иону, Тихвинской пустыни игумена, разбили с его челядью и повесили. Так же побили мы и тушинского боярина Плещеева... И теперь не уроним воинской чести. Лжеименных царей и властителей, яко змиев, вползающих к нам, раздавим без остатка, но будем то делать достойно и согласно. Подумайте: можем ли мы обещать победу нашим согражданам. беря новую дань с них?

Как всегда, стали крепко обдумывать слова Козьмы посадские люди. Дело и впрямь большое. Обложить новым налогом посад и отослать собранную казну в ляпуновский лагерь — это поручиться перед нижегородскими людьми в том, что князь Репнин вернется с победой: откроет свободные пути для хлебных караванов, оградит Нижний от нападений поляков и тушинцев. Да и кому дать деньги? Биркину? А кто его в Нижнем знает? Что за человек?!

Седой, как лушь, бывший в молодости бурлаком, а ныне ямской делец, Николай Трифонович Семин тряхнул бородой и медленно, с расстановкой сказал:

— Вишь, какое дело-то: не сберешь! Не дадут.

— Не дадут?

— Да ведь кто пошел с Репниным? Немецкие да литовские наемные ратники, прости господи, какие-то казаки, стрельцы, дворяне-буяны, — слава богу, что ушли, — да боярские дети... Господь с ними! Помолиться, правда, можно, а денег?.. Кабы своим, а то кто их знает!.. Сегодня — у нас, завтра — у вора, послезавтра — у Жигмонда...

Трифонович, подмигнув Минину, кивнул в сторону посадских. Те, переминаясь с ноги на ногу, опустили глаза, пуще прежнего призадумались.

К паперти с мешком за плечами и с посохом в руках подошел чувашин Пуртас, вместе с которым Минин совершал походы на Муром.

Козьма поторопился ему навстречу, обнял, шепнул на ухо: «Смелее». Затем спросил громко:

— Ты откуда?

— Из-под Москвы.

Обратившись к посадским, Минин сказал:

— Вот спросим его, он из Москвы пришел. Скажи-ка, Пуртас, надежные ли воеводы собираются там? Не прахом ли пойдет наша дань? Ну-ка!

Пуртас почесал затылок, сказал, недолго думая:

— С деньгами обождите... Неудачно войско «троеназначников». Под Москву много ратных князей идет, дворян и казаков. Ян Сапега, и тот хочет спасти Москву от поляков. «Спасителей» много налезло к Ляпунову из шведского стана, из немецких полков, есть французы и римские латники... Все дают слово, клянутся, крест целуют, и не разберешь: чего ради лезут в ополчение?

Минин, бледный от негодования, громко сказал:

— Издавна у нас так на Руси: давать слово — дело дворянское, а исполнять его — дело крестьянское. Не верить и я, чтобы ляпуновские друзья по совести об'единились. Обождем.

Так и порешили: обождать.

Чувашина Пуртаса Минин повел к себе в дом.

III

В с'езжую избу вошел ляпуновский посланник Иван Иванович Биркин. Он снял свою пышную горлатную шапку, распахнул кафтан и поклонился воеводе Алябьеву, разбиравшему жалобы крестьян вотчинника князя Воротынского. Приземистый, рыжий, с косыми глазами, зубастый, Биркин похож был на рассерженную лису.

Алябьев кивнул на мужиков, стоявших посредине горницы на коленях:

— Сядь! Обожди!

Покачивая головой, рассматривал окочеванные железом ремни, принесенные му-

жиками. (Пускай полюбуется воевода, чем их бьет хозяин). Алябьев приподнял плети и помахал в воздухе железными набалдашниками.

— Гляди! Сергей Гаврилыч что придумал,— и указал пальцем на стену, где висела другая плеть.— А та безделица— левашовская!..

Взглянул исподлобья на мужиков:

— Пошли! Обождите во дворе.

Когда мужики вышли, встал, сердито отшвырнул ногой скамью:

— Этак и до бунтов недалече!.. Ума лишились наши вотчинники. Время-то какое!

— Да что, брат! — вздохнул Биркин. — У вас давно — бунт. Бунт и измена! Староста на посаде об'явился, Куземка-мясник. На-днях при всем честном собраньи князей ругал. Мало того, отговаривать начал торгашей: не давайте, мол, ничего Биркину, он ненадежный. Значит, Прокопий Петрович зря меня послал? Понапрасну бил вам челом? Где же тут власть воеводы? У нас, в Рязани, может ли это быть? Прокопий Петрович голову бы срубил за это!

Алябьев из предосторожности заглянул в сени. Наступило молчание. Воеводе не по душе была речь ляпуновского посла. Не первый раз Биркин высказывает недовольство нижегородскими порядками. Не первый раз тычет в глаза своею Рязанью. И так поставил себя в Нижнем, будто прислан Ляпуновым следить за воеводой, учить его.

Алябьев вздохнул, сел за стол, снова стал разглядывать плети.

— Козьма—наш, нижегородский, — сказал он. — Никогда не поверю, чтобы он мешал. Не поклеп ли?

— Верные люди передавали, из посадских же.

— Кто?

— Охлопков, Фома Демьянов, Федор Марков и прочие.

— У него много недругов, а Охлопков — первый из них.

— Выгнал бы ты его из старост... — проворчал Биркин. — Говорят, вчера его и судьей выбрали! Слыхал?

— Не в нашей воле то. И судьей, и старостой выбрал его посад.

Слова Алябьева привели Биркина в бешенство.

— Что есть посад? За Болотниковым не народ ли пер?.. Сами воеводы тому способствовали. Не будь похож на тех бояр, Андрей Семеныч! Остерегись! Минин zelo напоминает Болотникова... Не мною одним замечено.

Алябьев прислонился затылком к бревенчатой стене, закрыл глаза:

— Минин бывал со мной в походах... Дрался, не щадя жизни. Его храбрость — лучшая порука верности. И как староста работает он неустанно. А ведь часто мы видим людей, клянувшихся в верности и хуюю на других достигающих власти...

Воевода попрощался с Биркиным, взял плети и ушел к себе в дом, стоявший рядом со с'езжей избой.

Биркин насмешливо посмотрел ему вслед.

Со двора вошел в избу воеводин дьяк, Василий Семенов, низкорослый, угреватый, пьяница. Глаза опухшие, нос красный.

Около сорока лет на приказной работе, на многие версты прославился лихонством и жестокостью.

— Чего там рабы ждут? Воеводы нет, а они стоят,—хриповатым голосом спросил он.

— Гони их палкой! Жалуются на вотчинника...—грубо обругавшись, ответил Биркин.

Дьяк сердито сплюнул; засучил рукава и, переваливаясь, пошел на крыльцо.

— Эй, вы, Фомушки! — крикнул он мужикам, подбоченясь.—От горя бежали, да на беду попали. Лезьте в воеводский чулан! Ну, живо! Что?! Не хотите?! Вавилов! Айда сюда!

Из сада выскочили стрельцы, подхватили мужиков, поволокли в глубину двора, втокнули в сарай с зарешеченным окном и заперли дверь на засов.

— Худое худым и кончается!—расхотался дьяк, погрозившись пальцем.—Ужо вам! Подождите!

.....

Воевода приказал земскому старосте явиться в с'езжую избу; он был угрюм и едва ответил на поклон Козьмы.

— Давно ли ты к нам приехал, дядя, а на тебя уже жалобы.

Воевода передал ему слышанное от Биркина. Земская изба, будто, хочет стать выше воеводского приказа.

Козьма спокойно слушал Алябьева и, когда тот кончил, сказал:

— Честный гражданин, бив обещен,—не гневается, будучи хвалим,—не превозносится. Дозволь и мне следовать сему уставу.

— Но ты отказал в посылке денег под Москву? Это похоже на измену.

— Что миром положено, тому так и быть. Ты — правитель, лучше меня то знаешь.

— А ты — староста. Уговори их!

— Сход — не осиновый кол: его не сломишь. Уволь, воевода! Не в моих то силах.

Стараясь припомнить все, что Биркин, Охлопков и дьяк Семенов ставили Козьме в вину, Алябьев ничего не находил существенного. Мужествен, прост и уверен в себе стоявший перед ним земский староста.

Глядя в окно, мимо Козьмы, Алябьев сказал:

— Вот что, Козьма Захарыч! Вместе с тобою ходили мы на воров и на ляхов, вместе страдали... А вот чую я, что ты от меня тайшь многое, чую, что на посаде неспокойно... Готовится смута, а ты знаешь и не доносишь.

Алябьев запустил пятерню в свои курчавые серебристые волосы, поморщился, точно от боли, и добавил, усмехнувшись:

— Товарищи ведь мы с тобой! Забыл?

Укоризненным взглядом уставился на Минина.

— Товарищ я тебе, Андрей Семеныч, но не докащик!

Тут только заметил Алябьев, что Минин стоит перед ним, словно допрашиваемый.

— Садись, Козьма Минич... садись. Прости, не приметил... Вот скамья.

Минин не шелохнулся:

— Чинить обмана не могу... Угроздать тоже. На посаде я недавно. И думаю я не о том. Разумно ли занимать посадскими пересудами, коли госу-

дарство гибнет? Не по сердцу мне твои речи, воевода. Не узнаю я тебя. Размяк ты.

Алябьев надулся, покраснел.

— Кто про то не ведает, что об отечестве я думаю день и ночь?

Минин посмотрел на него, строго сдвинув брови.

— А Биркин и дворяне неволят тебя думать только о них. Не поддавайся! Не верь им! Спроси: почто твой дьяк выпорол воротынских тяглов и запер их в подклети? Почто?! Кому в угоду?! А ропщут на воеводу... на тебя... на твою неправду. Твои помощники готовят смуту.

Алябьев снова сел за стол и, немного подумав, сказал со вздохом:

— Иди!.. Не обижайся на меня!

Минин поклонился и вышел из избы.

Когда Козьма проходил по заросшему бурьяном воеводскому двору, из окон подклети услышал плачущие голоса:

— Козьма!.. Козьма!.. Почто томят?!

Минин обернулся и громко крикнул:

— Обождите! Выпустим!

Освобожденные из подклети, воротынские кинулись в Благовещенскую слободу, к Минину. Не впервые бегут сюда с воеводского двора освобожденные узники. Козьма встретил их радушно, угостил брагой. Приказал Татьяне Семеновне обойтись с ними, как с дорогими гостями. Только боязнь разгневать Козьму заставила ее притворяться радушной, не то выгнала бы непрошенных гостей из своего дома, и дверь — на крючок. Другое дело — монахи и монашеники. Но их недолюбливал «сам».

— Ничего, братцы, потерпите, — ласково утешал Минин крестьян, жевавших пироги. — Придет время — сравняемся. Все пойдем воевать. Чует мое сердце — не обойдется без нас.

Воротынские слушали со вниманием.

— Оно будто бы и так... В народе слух идет... — сказал старший из них, дед Ипат. — Терпеть-то трудно... Тяжко! Поместье наше Неупокоевское по воровской даче переходит из рук в руки... И не знаем, кого признавать хозяином... Спорили дворянин Нормицкий с дворя-

нином Чуркиным... Нормицкий, завладев землю по грамоте царя Шуйского, порол нас, что мы-де считаем хозяином Чуркина, а Чуркин, взяв именье по указу воровского царя Дмитрия, порол того сильнее, что мы-де прилепились к Нормицкому, а бояре московские дали арзамасскому воеводе грамоту: поместье-де отказано князю Семену Звенигородскому... Иван Петрович, Чуркин-то, не хотя уйти из поместья, не велел и нам признавать хозяином князя Семена, а князь Семен, став владельцем, порол нас: зачем слушали... Ныне пришел приказ от «троеначальников» с товарищи признать владельцем поместья и всей пашни пахотной и непахотной князя Воротынского... Князь Семен стоял на своем, а Воротынский, быв хозяином, лютому сыску подверг мужиков... Забудьте, мол, князя Семена — теперь я — владыка! Пришли с челобитьем к воеводе Андрею Семенычу... И плети принесли ему. Думали — не заступится ли? Но нас заперли в подклети и поносили всяко...

Минин задумался.

Недовольство крестьян росло с каждым днем. А в последнее время дарственные грамоты на поместья сыпались одна за другой. Менялись власти в Москве — менялись и хозяева у помещичьих крестьян. Никогда крепостные крестьяне не чувствовали себя такими обездоленными и униженными, как в эти годы. И никогда до тех пор не было у них такого сильного стремления уйти с помещичьей земли на волю, как теперь.

— Кому ныне угождать? — уныло и робко вторили деду Ипату его товарищи. — Да и голодно... Порядка нет.

Козьма ободрил крестьян: о порядке подумаем, когда поляки и бояре-изменники будут изгнаны из Москвы. Поместные крестьяне и холопы сами должны взяться за оружие. Прошло время, когда одни только дворяне достойны были защищать государство. Надо добиваться, чтобы вместо королевской была своя власть, московская.

Воротынские ушли из Благовещенской слободы обласканные. «Как услышите о том великом деле, идите в Нижний без страха, не опасаясь наказа-

ния, — шепнул им на прощанье Козьма, — токмо до поры молчите о том, чтобы воровские люди не прознали и по меху какую не учинили».

Через сад, заднею калиткой, проводил их Минин на Похвалинский бугор, хоронясь в гуще деревьев и кустарников, чтобы никто не видел.

— Молвите о том же и шабрам своим, — вдогонку напутствовал их Козьма.

— Ладно, Минич! Молвим.

Расстались.

Татьяна Семеновна не могла смолчать. Надумала испугать мужа дворянами. Вот, мол, узнают они, что ты мутишь мужиков, тогда житья тебе не будет, убить могут где-нибудь из-за угла.

— Хоть на огне сожги меня, не отступлюсь! Чего мне бояться? На всякую смерть не набережешься... На том свете страшнее будет, и то не робею... А убьют — ты обо мне помолишься.

IV

С бревенчатой колокольни Ильи-пророка смотрели вдаль, на арзамасскую дорогу, Минин и звонарь Аким. Над толпой, в беспорядке валившей к городским воротам, клубилась пыль.

— Ой, много народу! Где нам приютить всех?

— Соляные амбары возьмем. Бей в колокол! Встретим с почетом!

Минин спустился по скрипучей лестнице. Аким поплевал в ладони, навертел веревки на руки и — бух в четыре колокола!

В сермягах, лаптях, кто в бараньих шапках, кто с открытой головой, а кто и в шлеме, пыльные, бородатые, с секирами, копьями и вилами, еле-еле волоча ноги от усталости, шли арзамасские мужики.

По указу «троена начальников»¹ бежавшим из-под Смоленска дворянам отвели в арзамасском воеводстве угодья, а местные крестьяне и холопы пошли против них. Указу подмосковных воевод не подчинились. После схватки с дворянами многие ушли в Нижний.

¹ Троена начальники — Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий.

Тут были и воротынские мужики, и несколько десятков смоленских крепостных. Обласканные Мининим, воротынские крестьяне указали толпе путь в Нижний, в земскую избу, к Козьме Минину. Алябьев не мешал земской избе. Своих нижегородских дворян не мог защищать от бунтующих крестьян, а уж что говорить об арзамасских.

Старые законы — не законы, если нет верховной власти. А на свою силу воеводе не приходится надеяться. Остается одно: положиться «на волю Божию». Против мужицкой силы один не пойдешь, а на городских стрельцов надежда слаба. Алябьев сам выбился из низов. Знает, что значит стать народу поперек дороги!

Вслед за Ильей-пророком, Казанская, Предтеченская и другие окрестные церкви забили в колокола.

Рослый парень нес знамя. Шел без шапки, с гордостью поглядывая на Минина. Настоящий боец! Козьма поровнялся с ним, спросил: откуда?

— Смоленский... Бежал из крепости, а звать Гаврилкой, — не поворачивая головы, деловито ответил парень.

— Стрелять умеешь?

— Могу. Из пушки, пищали и лука.

— Сразу видать... — обрадовался Минин. — Таких нам надо побольше.

Похвала не смутила парня. Лицо его оставалось серьезным, деловитым.

Посадские, заслышав колокола, опроремью выбежали из домишек. Тут были и степенные «гости» (купцы), усердно крестившиеся, и босоногие бабы, и девки в сарафанах на голое тело, и мальчишки, под колокольный звон гонящиеся по пыльной дороге за гусями и курами... Кто мог, все вышли на улицу, с любопытством рассматривая великое скопище вооруженных мужиков, впереди которых шел сам староста Козьма Минин.

Весь следующий день Ока оглашалась стуком топоров и молотков. В пустых соляных амбарах на берегу шла работа. Дружно разносились песни арзамасских беглецов:

Собирался король на святую Русь
Со всем панам, со всеми пановичами.

Со любезным своим шурином с Вороновцем, Поутру спать ложился,
К полночи пробудился,
Кровушкой умылся...

Козьма бегал из одного барака в другой, подбадривая плотников, готовивших нары. С острова, напротив соляных рядов, в завознях переправляли сено. Кузнец Яичное Ухо с товарищами набивал тюфяки. Многие посадские помогали пришельцам. По Ямскому взвозу непрерывно спускались телеги с мешками хлеба, пожертвованного по совету Козьмы именитыми нижегородскими хлеботорговцами. Козьму начинали слушать. Он припугнул: народ, мол, голодный, обзленный, неровен час—взбунтуется, хуже будет!

Помолившись, ходили купцы в амбары к мужикам, давали советы, вели с пришельцами душеспасительные беседы.

Лучшим грамотеем в Нижнем считался тихий, почтительный худощавый дьяк Юдин.

Он часто навещал Минина. Всегда приносил пачку грамот и челобитен. Даже от Татьяны Козьма скрывал, зачем Юдин ходит к ним в дом. А он, тайно ото всех, по просьбе Минина, составлял опись служилым людям, «кто што имеет» и «к чему поведен». Сам Козьма Минин, грамотей плохой, знал, однако, о каждом купце и ремесленнике: что делает, в чем нужду терпит и сколько имеет дохода. Но вот о служилых людях, о дворянах, о стрельцах, о попах, не подлежащих ведению земской избы, знал мало.

Вышло посадских дворов две тысячи; тяглых—пятьсот; поповских — восемьдесят; казенных — восемнадцать; помещичьих и иноземческих—сто пятьдесят; ямщицких—сто пятьдесят семь; трудников и бобылей на монастырской земле—сто пятьдесят домов. Всего в Нижнем около трех с половиной тысяч дворов.

Дьяк тихо читал:

— «Да еще на Нижнем же посаде тринадцать изб харчевых. Оброку наперед сего платили рубль двадцать два алтына и три деньги... Ныне изобрече-

ны вновь и со старым оброком — два рубля семнадцать алтын...».

Минин перебил:

— Да с одного Петрушки Ивлиева надо бы брать по двадцать алтын... Мошеник Петрушка!.. А с тринадцати харчевен и вовсе по божьему-то рублев десять можно взять... Не грех бы!

Юдин, не отрывая глаз от списка, продолжал:

— «Да на Верхнем посаде за Дмитровскими воротами и на Ильинской горе тридцать восемь кузниц... Оброку с тех кузниц платили в государеву и с сезжую избу одиннадцать рублей двадцать пять алтын с деньгою...».

— Мало и тут! Ну, да ладно. Кузнецы нам годятся...

— «Да на церковной, на никольской земле шесть лавок да семь шалашей, да место лавочное (склад), а с них платят оброку никольскому попу на церковное строение двадцать четыре рубля шестнадцать алтын четыре деньги».

— Попу?! — удивленно переспросил Минин. — Двадцать четыре рубля попу на церковное строение? Да погляди ты, Василий, сам на его церковь. Развалилась. На чем колокола держатся! Ненасытные души!

Минин нахмурился:

— Веришь, ночи не сплю, ломая голову: как нам поднять богомольцев, чтобы свои приходы не жалели, чтобы попов потеснили, чтобы жалость свою к делу повернули...

— Помогай бог, Минич! У монастырей да церковей доход большущий.

— К попам и богачам государева казна не строга, неча греха таить! Вон, возьми, Первушки Карпова лавка на два замка, мерою две сажени и шесть вершков. Сам я мерил. А оброку платит, сукин сын, по четыре алтына. А Ондрюшка Иванов, сердяга, за поллавку отваливает пять алтын три деньги. Кто у вас там мудрая такая голова?

Юдин махнул рукой.

Положив свою большую ладонь на бумагу, Минин строго сказал:

— Наивысшая мудрость правителя— в разумном и нелицеприятном оброке. А у нас бедняков теснят, немочных хозяев обирают, а богатых балуют. Тер-

пение до времени. Буде бог благословит нас на святое дело, мы с тобой склады переначим. По справедливости.

Юдин долго еще читал оброчную роспись.

Когда перешли к людям, оказалось, что взрослых мужчин—едва четыре тысячи. Само собою, придется широко распахнуть ворота иногородним людям. Более того: придется кликнуть сбор по всей земле, чтобы под нижегородские знамена шли всякие люди.

В уезде шестьсот селений—русских и мордовских. Помещики в уезде небогатые. Ратников могут выставить сотен пять, не больше.

— От заобычных окладов толку мало. На оное дело надобны великие жертвы. Пускай очнутся торговые люди и приумножат походную казну. Ремесленники тоже есть с достатком.

Козьма попросил Юдина присмотреть среди служилых людей честных, годных для сбора окладов.

— Денег и так, и этак не хватит. Не миновать одолжения на стороне.

Озабоченно взглянул на Юдина.

— Жилища для будущих воинов? Надо подумать и о том.

Василий Юдин успокоил: жилища найдутся. Можно расселить народ в деревнях близ посада. Да и в городе—если по два человека на дом, то разместится до семи тысяч человек.

Расстались, выпив по жбану пива, которое искусно варил сам Козьма Захарыч. Обтерли усы, помолчились, облобызались. Минин проводил гостя до Похвалинской горы.

Было темно и тихо. Издалека доносились обрывки песен: пели рыбаки на острове, в устье Оки.

V

Прекрасен Нижний Нове-град в летнюю пору!

Высокое место, все в зелени яблоневых и вишневых садов, изрезанное глубокими оврагами. На левом прибрежном взгорье, на самой его вершине—белоснежный кремль. Под кремлем—широкая, привольная матушка-Волга. А по склонам гор—в зелени—множество ма-

леньких домишек. Они взбираются снизу вверх и исчезают на макушке горы в верхней части города.

Поодаль от кремля, ближе к устью Оки, среди других строений выделялся большой бревенчатый с расписным теремом дом.

В нем жила боярская вдова Марфа Борисовна Янгальчева, а с нею две престарелые мамки.

Сама происхождения незнатного—дочь простого служилого человека, подьячего Аникеева, убитого под Балахной польским разездом. Увлечшись красотой Марфы, престарелый богатый вотчинник князь Янгальчев женился на ней. Через полгода после свадьбы Марфа Борисовна овдовела. Ей досталось богатое наследство.

Живой, веселый нрав красавицы-вдовы не мог примириться с суровыми посадскими порядками. Она не ушла в монастырь, как того требовал обычай. Не захотела она и на миру жить в затворничестве. Двери ее дома были открыты и для богатых, и для бедных, и для знатных, и для людей простого звания.

Это было в диковину; посадские сплетницы объявили вдове войну. Да и не только сплетницы,—подозрительно посматривала в ее сторону вся нижегородская знать.

Один только человек не страшился выступать в защиту вдовы—земский староста Козьма Минин.

Марфа Борисовна ценила его защиту.

Когда арзамасские и смоленские разоренцы прибыли в Нижний, она тайком помогла им деньгами. При этом пожаловалась Минину: нашлись люди среди посадских, по ночам не дают ей покоя, пугают ее, стуча в ворота, залезают во двор, воруют разную хозяйственную утварь.

Козьма махнул рукой:

— Не кручинься. Я дам тебе каральщика.

С того дня Гаврилка Ортемьев поступил сторожем к вдове.

Гаврилка с большим усердием топил баню. Вчера навозил полный сарай дров. Марфа Борисовна укоряла: это

дело не твое, это у нас делают бурлаки, братья Яшины. А он: «Я — бо-быль, ты — вдова, кому же мне и порадеть?». Из-за него и в собор не пошла. Глядя в его голубые, немного усмешливые глаза и на шелковые русые кудри, Марфа Борисовна от всей души любовалась им. Одинокий, бедный, круглый сирота. Розовую праздничную рубашку с вышитым воротом она ему подарила.

Остановила Гаврилку, несшего охапку дров, шепнула:

— Козьма Захарыч пришел... Подожди топить.

Гаврилка смиренно положил дрова у своих ног, почесал затылок и, недолго думая, вдруг обнял маленькую, теплую вдову.

— Что ты! Что ты! Опомнись!

Вырвалась и, оглядываясь, побежала в дом. Гаврилка пошел за плетень, сел на берегу. Сквозь листву устремил взгляд на Волгу. Одинокий челн: рыбаки возвращается в Благовещенскую слободу: «Чудак! До рыбы ли теперь? Ах, господи, господи!». Трудно бороться рыбаку против течения. Относит назад. Так и он, Гаврилка, старается побороть в себе любовь ко вдове, но его относит назад. Любовь берет верх. Улыбнулся: «Такая маленькая, а сильная!».

Минин пришел унылый, утомленный. Медленно потягивая брагу, рассказывал: печерский архимандрит Феодосий тайно благословил его, Минина, на совершение задуманного; надеется, что царем вновь поставят Василия Шуйского. Никто так не одаривал Печерский монастырь, как Шуйский. Хорошо жилось инокам в его царствование. Пришлось пообещать Феодосию выкуп Шуйского из плена. Минин рассмеялся. Кому нужно выкупать царя Василия из польского плена? Однако архимандрит поверил.

Марфа Борисовна говорила, сбиваясь и путаясь: не могла притти в себя после встречи с Гаврилкой. «Вот так сторожа дал мне Козьма Захарыч!». Разрумянилась. Густая бахрома ресниц прикрывала ее взгляд.

— Ты сегодня не тот, что всегда,

Козьма Захарыч... — не глядя на своего гостя, сказала она.

Гаврилка, насидевшись на берегу, вернувшись в баню. Огонь в печи погас. Пришлось растапливать снова. «Ах, Минич, Минич! Не ко времени пришел!». Прокрался к дому. Прислушался.

Минин жаловался, что с каждым днем ему становится все труднее. Со всех концов стекаются ратные люди в Нижний, да холопы, да крестьяне, ушедшие от своих господ. Князь Звенигородский, вновь назначенный «троеначальниками» воевода уезда, велит их гнать обратно; им-де нечего тут делать, да и незаконно ушли из вотчин. Работу стало трудно для них находить. А кормить без работы — денег нет. Самое же главное — нет верных вестей из Москвы. Каждый врет по-своему.

— Вся надежда теперь, — говорил Минин, — на гонцов Родиона Мосеева и Романа Пахомова. А они, как на грех, не идут и не идут. Надо бы объявить сбор ополчения в церквях и на площадях, но как объявить, не зная правды?

Посадские начинают роптать на пришлых. «Дармоедами» обзывают. Особенно стараются купец Охлопков и Фома Демьянов из Балахны. Свою братию подобрали, действуют заодно с князем Звенигородским. «Устали мы, — говорят, — от междуусобий. Какая власть будет — нам все одно. Лишь бы сызнова наладилась торговля».

Такие повели речи.

— Но нет! — ударил Минин кулаком по столу. — Пускай меня самого убьют, а ни одного пришельца я из Нижнего не упущу. В дворянские полки ляпуновские бояре мужиков не принимают, атаманы тоже чуждаются их, — с кем же им защищать государство?

И добавил:

— Нам теперь нужны небольшие деньги... Только бы обернуться в эти дни... А там придут гонцы из Москвы, господь нам поможет, деньги соберем. Одолжи, коли можешь, хоть сколько-нибудь.

Марфа с большой охотой достала из ларца горсть золота и отдала Минину.

Она сказала:

— Никогда не забуду, что проклятые паны убили моего отца.. И никогда не откажу в помощи тому святому делу...

Дома Козьма нашел жену в слезах. Тут же сидел и Нефед.

— Вот ты бродишь там. Ко вдове повадилсЯ. А люди на посаде смерть на тебя накликают... Биркин будто бы бурлаков нанял, водкой поил. Берегись, Захарыч, погибнешь!

Нефед встал, поклонился отцу:

— Микитка-юродивый сказывал — убьют тебя в первый Спас... когда из собора пойдешь... Слышал он о том от бурлаков... Их подкупали — они отказались...

— Полно, Нефед. Бабы сказки не слушай... Зачем искать беду, — сама отыщется. Скажи-ка лучше, у пушкарей был?

— Был.

— Сумеешь ли теперь каленым ядром палить?

— Не знаю.

— То-то вот и есть. Глуп ты у меня. Пойдем в сад. Покажу я тебе сабельный бой. Может, пригодится.

Нефед встал. Татьяна уцепилась за него:

— Не пушу, хоть убей, не пушу!

Минин нахмурился, поспешно оделся и ушел из дома.

VI

В это утро на Нижнем посаде не открывали амбаров, лубяных шалашей и ларей. Небывалая в торговых местах тишина охватила ближние к Ивановской башне Гостиный двор и торговые ряды. Спозаранку начал собираться народ, располагаясь на бревнах, на опрокинутых челнах, на лотках и каменных плитах: кто у земской избы, кто у церкви Николая, кто у таможи.

По Ивановскому мосту через реку Почайну подошли смоленские стрелки с Гаврилкой Ортемьевым в главе. Остановились у острога, близ его новенькой башни, рубленной из свежего леса. Башня с верхним и нижним боем. Гав-

рилка весело кивнул пушкарю Антипке, выглядывавшему из бойничных оконниц: «Видишь?». — «Вижу». Здесь же стали люди с мыльных варниц, ямщики, рыбацки ватаги. На широком дубу, что у подошвы кремлевского бугра, примостились мальчишки. Перекликаются, кидают друг в друга желудями.

Пахнет яблоками из ларей, сеном из ямских сараев, рыбой с берега, где на рогатинах растянуты нескончаемые сети.

Гаврилка увидел в толпе многих своих нижегородских друзей. Тут и безусый хлебник Матюшка, и толстяк, площадный под'ячий Тимофеев, и стрелец, он же калачник, расторопный Ивашко Петров, и угрюмый Захар, кожевник, со своим другом, юлой Любимкой — сапожником. С крыши таможенной избы манили его к себе весельчак-кузнец Яичное Ухо, судовой кормщик Данилка, только вчера приплывший из Казани. Толпа увеличивалась с каждой минутой: тут были плотники и солоденники, и масленники, и серебрянники, и коновалы, и чулошники, и пирожники, и всякие иные трудники, и тяглые люди. Немало и посадских торговых тузов, служилого люда. Совсем мало городовых дворян и боярских детей. Немного позднее робко присоединились к сходу иные из монахов и попов.

Накануне посланные Мининым люди обежали посадские, тяглые, служилые, поповские, помещичьи и монастырские дворы, извещая о приходе из Москвы гонцов Мосеева и Пахомова и о предстоящем великом собрании у земской избы.

Воеводы, пристава и стрельцы притихли. Было ясно, что земская изба стала выше воеводской. И этому никто не мог препятствовать. Биркин упрекал воеводу, князя Звенигородского: «Упустили время, дали Куземке овладеть посадом». Воевода кивал в сторону Алябьева, — вот кто виноват, а я человек новый, приезжий, ничего не знаю. Алябьев отмалчивался.

Первыми с лобного места держали речь гонцы, вернувшиеся из Москвы, — Родион Мосеев и Роман Пахомов. Они рассказали о гибели Ляпунова и о по-

пытках вора Заруцкого провозгласить царем «маринкиного щенка».

— Паны ликуют... — говорил Пахов. — На сейме положено: отправить королю в Москву и водворить там латинскую веру... Король-иезуит жлет, будто мыслит он не о завоевании и разорении Московского государства, но единственно, как добрый и сострадательный сосед, о подавлении у нас внутренних смут... Но мы видели своими очами, как «защитники православия» разоряют и жгут наши храмы, а в иконы стреляют из мушкетов. Горе тому, кто дерзнет противиться ляхам! Твердых в добродетели и вере бросали с крутых берегов в глубины рек... Иных же пронесли для потехи копием. Перед очами родителей жгли детей, поднимали головы их на саблях и копьях, грудных младенцев вырывали из рук матерей и разбивали о камни. Земля наша стала пустынею... Жители городов и сел скрываются в дремучих лесах, оставляя дома свои... Всякие работы остановились... Женщины, избегая насильничества, продают себя и детей своих смерти... Вот, братья, какой порядок в нашей земле установили злодеи ляхи!

В это время из Ивановских ворот верхом выехали воеводы князь Звенигородский, Алябьев, Биркин и дьяк Семенов, окруженные стрельцами. Толпа пропустила их к лобному месту.

Но вот на площади началось движение. Раздались голоса: «Минин! Минин!».

Гаврилка увидел над толпой дородного, широкоплечего Козьму в железной стрелецкой шапке. Минин спешно взбирался по лестнице на лобное место.

Погладив бороду, оглядел собравшихся, выпрямился. В темнозеленом кафтане, подпоясанный красным кушаком, властным жестом прекратил шум.

Раздался его мощный голос:

— Граждане нижегородские! Настало время нам, последним людям — посадским, крестьянам, сиротам и богомольцам, — поднять знамя яростной брани. И вы, нижегородские люди великого и среднего рода, не будьте глухи! Слушайте!.. Лишились рассудка паны, посчитав матушку-Русь безответной... Нам ли

вздыхать над могилами? Не быть похнему!

Толпа взволновалась, послышались крики: «Не быть! Не быть!».

Минин скинул шапку и, подавшись вперед, продолжал:

— Вот я перед вами... такой же мужик, тяглец, как и вы!.. но, знайте, не сробел бы я перед Жигимондом... Сказал бы ему: «Жигимонд, уймись! В польской крови утопишь честь свою! Земля наша сильна пахотой и бороньбой, но также сильна она и обороной... Многие лета бывало у нас на Руси, что меняли мы соху на меч, и сила наша оттого возрастала!».

Несколько голосов закричали на всю площадь: «Справедливо!».

— Увы, братья! — продолжал Минин. — Нашлись на Руси предатели среди первых людей, знатные, родовитые, кои, властью прельстившись, продались королю. Стали под польские хоругви! Огнем, по их наущению, паны истребили Москву. Но явится час—познает король, что напрасно понадеялся он на измену бояр. Никто не может спасти панов от народного гнева. Он у нас здесь!.. — Минин распахнул кафтан, ударив себя рукой по груди. — Вот тут у нас... вот тут! Огонь здесь! Дышать трудно!

Заклокотала площадь. Послышались рыдания. Строгим взглядом обвел Козьма толпу. Его голос гремел:

— Не он ли, злоехидный Жигимонд, тшился покорить Смоленск в один месяц?! Изменники выдали ему план крепости. Смоленск простоял не один, а двадцать два месяца. Он пал, когда уже некому стало защищать его. Матушка-Русь сильнее тысячи смоленских крепостей! Крест целую вселенскому нашему собору, всем вам, братья по крови: стоит нам похотеть — и всех прибывших в Москву иноземцев дружно выметем из нашего дома. Стеною пойдем на врага!

Рыдания становились все громче; блеснули в воздухе сабли.

— Враги пытаются поссорить нас с Украиной, — продолжал Минин. — Они мутили казачество против нас. Они страшали украинные города москвитянами... Но к нам, в Нижний, прибыли ка-

зачьи сотни с братским поклоном. Они поведали нам, что под Москвою в казачьих таборах идут великие расстрои, ляхи-натравливают их на московских земских людей, но, как ни велики междуусобия, на сторону ляхов переходов нет. Нам обещают помощь и другие города... Сойдемся же в единую рать, великую, многонародную, посрамям силою знавшихся панов!

— Что же нам делать? — слышались голоса.

— Захотим помочь Московскому государству, так не пожалеть нам имени своего! Не жалеть ничего! Дворы продавать, все отдать! А денег не станет, — воскликнул на всю площадь Минин, — заложим жен своих и детей, чтобы ратным людям скудости ни в чем не было! Благословенна наша твердыня! Чинить расправу будем безо всякого милосердия! Измены яд уничтожим! Не опустим меча, доколе ни одного врага не останется на нашей земле!

Словно скала рушилась — раздались крики одобрения. Тысячи рук простерлись к Козьме. Народ повалил к лобному месту, оттеснив к церковной ограде воеводу с его охраной.

На лобное место вскочил судовой кормщик Данилка и обнял Козьму.

— Пусти! — сказал Минин. — Дело еще не сделано... — И снова обратился к народу: — Вот мое богатство!.. Все, что имею, все отдаю в походную казну... Давайте и вы!

Минин бросил на стол сверток с деньгами и драгоценностями. Нефед влез на лобное место с большим узлом на спине. Положил его на стол, развязал. В узле: бровные меха.

В это время старый житничный ключник Федор Ресницын, став рядом с Мининым, воскликнул:

— Видели, братья? Что нам в нашем богатстве?! Что нам в довольстве?! Если придут ляхи в наш город и возьмут его, — не так ли сотворят с нами, как и с прочими градами? Козьма! Народ с тобой!.. бери!

Старик снял с себя крест и отдал Минину: «Возьми!». Козьма обнял деда. Седая голова Ресницына легла ему на плечо.

На лобном месте появилась в темно-малиновой ферязи и в парчевой кике Марфа Борисовна. Она сняла с себя богатое ожерелье и шитую серебром сумку и сказала:

— Кто из нас не исполнится плача и рыдания? Кто холодно внемлет Козьме Захарычу? Остался я после мужа бездетна. Есть у меня двенадцать тысяч рублей. Десять тысяч отдаю в сбор, две оставляю себе. Придите и возьмите!

Она спокойно положила на стол сумку и ожерелье, поклонилась народу и сошла с лобного места.

Минин, увидев в толпе Гаврилку, поманил его. Когда парень протискался к нему, он приказал принести ящик и позвать дьяка Юдина да двух стрельцов с бердышами.

Пожертвования обильно посыпались со всех сторон.

На кремлевском бугре загудели соборные колокола. Минин поставил стражу около стола. Велел зорко следить за казной, а Мосеева и Пахомова назначил счетчиками собранного.

Старик Ресницын обратился к народу: кому быть хранителем пожертвований?

— Козьме! Козьме! — загудела толпа.

Минин поклонился:

— Поднимем родные поля и посадки на лютых врагов! Но мы должны найти храброго вождя, честного воеводу.

Князь Звенигородский, Алябьев и Биркин привстали на стременах, вытянули лица.

Спокойно глядя в их сторону, Минин сказал медленно, как бы вспоминая:

— Есть такой человек. Ратное дело ему заобычно, и в измене он не явился. Крепкий, стойкий воин!

Народ зашумел, слышались крики:

— Назови! Назови!..

— Я говорю о бывшем зарайском воеводе, князе Дмитрие Михайловиче Пожарском. Народ его любит. Кровь свою проливал, отстаивая Москву. Безо всякой корысти шел на брань. «Пускай наши имена забудутся, — говорил он, — но останется жива родина!» — Таков воевода Пожарский... Решайте! Ваша воля!

Смелая речь Минина и общий громовой голос народа: «Согласны!», показали князю Звенигородскому почти мятежом. Он нагнулся, шепнул Алябьеву. Тот крикнул стрельцам, чтобы очистили дорогу. Мелкой рысью направили воеводы коней к Ивановским воротам.

Дорогой князь гневался: почему — Пожарский? Есть люди выше его, родовой. Он же — худородный стольник, мелкий чин. Пожарские — люди не рядные, больших должностей никогда не занимали; а род князей Звенигородских — старинный и почетный.

— Не по роду возвеличивает его Козьма... Меры не знает... — поддакивал Биркин.

VII

Утомленный сходами, Козьма сидел за столом в земской избе, опустив отяжелевшую голову на руки. Дьяк Юдин скрипел пером. Несколько женщин осторожно укладывали описанное: ризы, золотые серьги, ожерелья, пуговицы от кафтанов, золотые и серебряные монеты, кованые ларцы, нательные кресты, чаши паникадильные.

На воле, около земской избы, Гаврилка подбадривал дрожавших от холода земляков, мирских разоренцев и бобылей. Еще днем их вооружили на воеводином дворе пищалами и бердышами. В сермягах, в вывороченных мехом наружу полушубках, в портах из войлочного сукна, в треухах и бараньих шапках, — они робко поглядывали кругом, слушая Гаврилку. А он, заломив шлем на затылок, кричал полным голосом:

— Гей вы, кречеты! Шилды, балды, закоулды — по-поляцки да по-немецки, а по-нашему — кровопивца и злодея, со двора тебя сгоню. Малая птичка воробей, да и та клюется, а мы покрупней воробья...

Он выхватил из ножен громадную саблю. Ребята попятнулись. Сталь блеснула весело.

— Стоять будете у рогаток на Муромском выезде и в иных местах. Никого никуда! Прибывающих — в земскую избу. Воевода вздумает бежать — и его не пускайте. Замышляют иные уйти из Нижнего... Берегитесь передатчиков! Бе-

жать будут — бейте их, а в поле — ни-ни!

Гаврилка проверил стрельбу из пищалей:

— Слушайте, ребята-молодцы!

— Фурни пясть на лопасть!¹

— Виль бухальцем на сторону!²

— Торни к ноге дюже!³

— Широким кверху: положь на плечо могуче!

— Сними с могуча плеча!

— Повернись боком!

— Открой пальцем корытцо!

— Ударь по лопатице!

— Вводи кочетки!

— Шелкни вдруг!

— Пяться назад!

— Виль вперед!

— Ступайте, ребята, врознь!

Эхо гулко повторяло команду Гаврилки, замирая в оврагах.

Парень бегал вокруг смолян, толкая их под локти, ворчал, озабоченно поглядывал в сторону земского двора. Там его дожидались балахнинские бобыли. А завтра должны войти в город чувашки из Чебоксар: народ валит в Нижний со всех сел и починков. Ветлуга гонит жилецких людей. В глухих лесах тоже зашевелились. Не так давно осаждавшая Нижний, по наущению самозванца, мордва известила, что и она пристает к ополчению.

Из земской избы вышел Минин. Высокый, в коротком бараньем кафтане, в сапогах из бычьей кожи.

К нему подошел стрелецкий десятник. — Козьма Захарыч! Воевода не пускает нас обучать земских людей.

— То-то и оно. Великий почет не живет без хлопот!

— Уж больно он горд, кичлив.

— Многое честолюбием разрушает... Бей вторично князю челом: Минин просит отпустить стрельцов!..

Стрелецкий десятник подался назад, пораженный властным, суровым голосом Козьмы. Раньше так земский староста не говорил.

¹ Положи ладонь (руку) на приклад.

² Вильни (повороты) ружьем в сторону.

³ Жми к ноге крепче.

Вчера нижегородские городовые дворяне и купцы слезно клялись на кресте и евангелии итти со всем народом заодно, а сегодня многие из них — напятную, замкнулись в своих теремах, в земскую избу не показываются. Нижегородский воевода не пускает стрельцов помогать ополчению, преградил дорогу в город крестьянам, беглецам из боярских вотчин, велит возвращать их обратно вотчинникам. Не зря получил от короля чин сокольничьего, не зря приходится родственником королевскому угоднику Михайле Салтыкову!

Быстро они стали забывать слова приговора: «Быти всем в любви и в соединении, и прежнего междуусобства не творить, а Московское государство от врагов наших, от польских и литовских людей, очищать неослабно до смерти своей, и грабежей и налогу народу отнюдь не чинити!..».

Ночь уходит, бледнеют края небосвода. В предрассветной тишине — скрип полозьев и крики возниц... Минин насторожился, вглядываясь в темноту. Прислушался. По с'езду двигалась толпа. Женский плач. Причитания юродивого. Везли колокол, снятый в Печерах с согласия архимандрита Феодосия: треснутый, не годный для службы.

Минин быстро зашатал навстречу обозу.

— Гляди! Гляди! — подскочил к нему с кулаком чернец. — Так-то ты спасаешь веру?!

— Чего ради ты непорочное вергаешь в бесчестие! — вопила похожая на ведьму кликуша. — Горе нам! Горе!

— О грехе помысли, Козьма! — подняв сучковатую клюку вверх, кричал полуобнаженный юродивый. — Господь бог разгневаётся на нас!..

Минин оттолкнул его; кони выбивались из сил, волоча сани по окаменелой от холода глине.

— Ну-ка, православные, сюда!.. — Козьма уперся обеими руками в колокол.

Поднялся неистовый вой. Несколько парней подошли к саням, навалились на колокол.

— Ой, Козьма, Козьма!.. — вздыхал

около Минина седой старик. — Не того мы ждали, не того...

Причитая, он с силой упирался в колокол.

— Не слушай слабых! Разум делай вождем своим, — сказал Минин.

Колокола подвезли к литейным ямам близ Благовещенской слободы на набережной. В земляных стенах ям, вырытых по приказу Минина на прошлой неделе, были выложены из камня пятнадцать печей, прочных, связанных железом снаружи и внутри, густо вымазанных салом. Они плотно прикрывались железными дверцами. На дне ям громоздились кучи бронзы, куски свенных сюда разбитых заштатных колоколов¹.

Рожком, висевшим на груди, Минин созвал своих помощников: вологодских литцов и котельников². Приволокли бревна, доски, толстые мочальные канаты. Спустили блоки с четырех громадных столбов, связанных между собою бременчатыми перекладинами. Дружно принялись сваливать колокол в яму. Дробильщики, дюжие ребята, несмотря на холод, работали без шапок и в одних рубашках.

Плетью разогнали кликуш и юродивых. Привели пленного шведа. Собрали кузнецов, литцов, котельников.

В пушкарской избе — совет. Пришли мастера устюжского литья: дюжие ребята с подстриженными затылками, с закопченными лицами и черными от работы руками. Минин усадил их на почетное место, под образами. Устюжские литцы и котельники начали высмеивать обычай воевод: брать в поход пушки из попутных крепостей. «Можно ли, — говорили они, — пешему полку возить с собою крепостную пушку, да еще на пососных (обывательских) подводах? Не лучше ли отливать «легкий наряд» и брать зелье и всякие пушечные запасы и пушкарей с места, оснастив войско заблаговременно? Каждому коню в походе «мочно взять» не более пятнадцати пудов, а в крепостях орудия «сидя-

¹ В те годы колокола большей частью отливались из бронзы.

² Литцы и котельники — рабочие литейщики.

чие», тяжелые, да и непригодные к легкому полевому бою, и народу — прислуги — при них требуется много».

Минин внимательно выслушал устюжан:

— Добрый совет — дороже денег... Поход наш будет велик, скор и многотруден. Крепостей в дороге малое число, и те давно обобраны. Легкость «наряда» — половина успеха. Наши полки должны быть подобны соколиной стае, сшибать врага на ходу...

Затем он поднялся. Сказал:

— Неприятель всегда и везде с нами: на носу, на плечах, на пятках — везде он!.. Ямы оберегайте пуще своего глаза, засечную стражу¹ с пищалью поставьте.

Низко всем поклонившись, Минин в сопровождении вологодских и устюжских мастеров пошел по набережной.

Вечером при свете факелов и раскаленных печей началась работа. Люди дружно поднимали куски бронзы, клали на весы, взвешивали, потом скатывали их и сваливали в огонь.

Литцы и котельщики, просунув в отверстия дверей длинные железные прутья, ворочали куски металла в печи. В ямах было так жарко, что литцы снимали рубашки, работали по пояс голыми. Выхватив из печи раскаленные железные прутья, совали их в землю. Треск огня, шипенье металла, крики рабочих... Вокруг литейных ям распространился едкий запах гари.

Минин следил за ловкою работою устюжан и вологжан, изредка бросая озабоченные взгляды на каменные желоба, пристроенные к печам: через три дня по ним потечет расплавленная масса. Еще и еще раз оглядывал формы, приготовленные из трех слоев глины и проволоки. После длительного обжигания они были способны выдержать любое литье. Устюжский старшина-мастер для пушек крепости велел формы пушек сковать железными обручами. Козьма подмигнул шведу: «Гляди, что

делают!». Швед растерянно улыбался, не понимая Козьмы.

Старший устюжанин весело повел глазами:

— Они должны знать!.. Щелкали их новгородцы нашим-то нарядом...

Кузнец Митька Лебедь насмешливо добавил:

— Били, да мало... Опять, слышь, полезли к нам?

Минин сразу стал серьезным.

— Королевича суют нам в цари, — сказал он тихо.

— Ишь ты! Говорю — мало били...

Швед вежливо улыбался, угадывая, что разговор касается его.

Блоки не переставали скрипеть. На весы вталкивали все новые и новые куски бронзы и меди. Над литейными ямами повисло красное зарево, пугавшее обывателей...

VIII

Зима наступила прежде времени. В конце октября разбушевалась снежная буря. Намело горы снега. Под ним скрылись кустарники, изгороди, надворные постройки.

Спустя пять суток блеснуло солнце.

В теплом мухояровом охабене, сгорбившись и прихрамывая, с посохом в руке, Пожарский вышел за околицу. Итти по сугробам с простреленной ногой трудно, но и дома сидеть невозможно.

Снежная белизна заслепила глаза.

Пожарский, устало улыбнувшись, снял шлем, провел ладонью по курчавой голове. Преждевременные морщины на лбу разгладились. Сел на ствол поваленной бурею ели. Склонил голову. Во время болезни многое в самом себе осудил он. Что честь боярская? Что гордыня вельмож? От царей, кроме шапки Мономаха, ничего не осталось. Да и та... убереглась ли от рук панов? Кто ныне истинно богат? Тот, кто не жалеет ничего. Кто знатен? Тот, кто не шадит жизни ради государства.

Опять заныла рана. Вернувшись в дом, Пожарский сбросил с плеч охабень, снял шлем и прилег на постель. Печальными глазами стал вглядывать-

¹ Засечная стража охраняла засеки, рвы, валы, окраины.

ся в широкую голомень своего боевого меча на стене.

Не этим ли мечом он разил врагов под Зарайском, не желая присягать Тушинскому вору? Не этот ли меч был свидетелем того, с каким презрением он отверг предложение Ляпунова перейти к Тушинскому вору? Ответил так: «В вас сокрыт не общий земский интерес, а токмо личные своекорыстные и честолюбивые замыслы». Зарайск не изменил. Но... бояре сделали свое. Не он ли, Пожарский, хотел помочь московским бунтарям, восставшим против панов и бояр? Не он ли бил поляков на Лубянке, у Введенского острожка? И вот теперь, хоть больной и израненный, но жив, и меч его, верный, неразлучный товарищ, — с ним.

Вздрагивая, Пожарский задремал.

Старушка мать перекрестила его, приговаривая:

— Недужный ты, сынок... Куда уж тебе бродить! Лежи-кась, а я тебя святой водицею покроплю.

Туманное серое утро. По берегу Волги тянутся три крытых кожею возка. Их сопровождают вооруженные всадники. Одеты неказисто, пестро. Зорко оглядывают окрестности. Дан наказ — беречь возки пуще своего глаза. Везде рыскают ляхи и прочие грабители.

В возках нижегородские послы: местный дворянин Ждан Петрович Болтин, игумен Печерского монастыря Феодосий и «изо всех чинов всякие лучшие люди».

Пожарского разбудила не отходившая от него целый день старая мать.

— Батюшка, Митрий Михалыч!

Пожарский открыл глаза, потянулся. — Ты все около меня? Бедная!.. Иди отдохни.

— Да нет, сынок!.. Народ на дворе какой-то из Нижнего... Называют себя послами... Не поймешь, что говорят... и кто такие?.. Будто и поп с ними...

Пожарский быстро поднялся. Надел охабень, шапку и, опираясь на посох, вышел во двор. На крыльце всей грудью вдохнул крепкий, пахнущий со-

снами воздух. С любопытством посмотрел на неизвестных ему людей:

— Чего ради, граждане, пожаловали ко мне?

Послы поклонились низко, до земли.

— Любезный наш воин и заступник! Видим мы, Московское государство возмущено, и грады многие опустошены, в прочих же во всех велие смятение, и всюду проникают злодеи, и царствующим градом, Москвою, латинцы обладают... И, по многие дни совещавшись, мы, всякие люди, пришли к тебе, пресветлый наш Димитрий Михайлович. Не допусти погибели государства Российского. Посланы бо мы всем народом нижегородским... Приими же мирской приговор земских наших, служилых и жилецких людей...

Дворянин Ждан Болтин с поклоном подал Пожарскому бумагу.

— Ныне мы тебе преданнейше бьем челом, хотим видеть тебя вождем нашим, наистаршим воеводою нижегородского ополчения.

Все опустились перед Пожарским на колени.

— Низко кланяюсь и я вам, дорогие нижегородцы! Но заслуживает ли такой великой чести побежденный и раненый воин, не столь родовитый и искусный в ратном деле, како иныи, более именитые полководцы?..

— Не приказано нам уйти от тебя без заручного твоего согласия... Никого нам иного и не надо!

Пожарский задумался. Потом, поклонившись, сказал:

— Прошу в покои, дорожные люди, отогрейтесь... Там и побеседуем... Токмо одно знайте—не гожусь я в воеводы... Не просите меня.

Когда расселись на скамьях, расставленных около стен просторной светлицы, Ждан Болтин с дрожью в голосе снова повел речь о том, что нет более заслуженного и верного воина на Руси, нежели Димитрий Михайлович, что осуждения достойны прежде бывшие шаткие воеводы бояре Шереметевы, князь Лыков и Салтыков, коих князь Звенигородский, лукавства ради, тщится возвести на место главных военачальников и спасителей родины. Нет веры им, как

нет веры и самому Звенигородскому. Только двум истинным героям верит народ: защитнику Смоленска — боярину Шеину и ему — Пожарскому. Но защитник Смоленска пленен поляками. Остался один любезный народу воевода — Пожарский.

Когда нижегородцы исчерпали свое красноречие, а князь оставался попрежнему непреклонен, наступила гнетущая тишина. Слышны были только подавленные вздохи и кашель послых.

Вдруг со скамьи поднялся одетый бедно, в сермягу, обутый в лапти Гаврилка. Он вышел на середину светлицы, стал против Пожарского и, с сердцем бросив шапку на пол, голосом, в котором звенели слезы, воскликнул:

— Митрий! Погибаем, вить! Чего ж ты?! Ополчайся!

Дальше не мог говорить. Слезы поползли у него по щекам. Слезы блеснули и в глазах Пожарского. Он порывисто поднялся с места, подошел к парню и крепко его обнял.

— Так ли вы тверды, как сей юноша? — спросил он тихим, растроганным голосом.

— Так! — раздалось в ответ. Послы поднялись и окружили Пожарского.

— Чуваши, вотяки, татары и иные народы сему делу по своей вере клятву дали, неужели мы отступимся? Что ты! Пощади, князь!

Некоторое время длилось раздумье Пожарского.

— Да будет так! — вдруг сказал князь. — Ополчаюсь! Не пристающий к защитникам родины — бесчестен. Об одном прошу преименитый Нижний-Новград. Изберите человека, коему бы у сего великого дела хозяином быть, казну собирать и хранить. Я думаю: Минин Козьма наиболее достоин сего.

— Добро, батюшка, добро! Он староста наш, выборный наш человек, — ответил, низко кланяясь, Ждан Болтин. — Скажи, отец родной, что передать от тебя народу?

— Острый меч решит судьбу. В ночь на понедельник буду в Нижнем.

После отъезда из Мугреева нижегородских послых Дмитрий Михайлович вышел в конюшню. Заботливо осмотрел

своего коня, потрепал по гриве, похлопал по бедрам. Вспомнился голубоглазый парень из Нижнего, его горячность и слезы. «Молодые войны верною опорой будут...».

В Нижнем князя Пожарского ожидала многолюдная встреча. Как только конь его переступил городской вал, затрезвонили колокольни, прогремели пушечные выстрелы. У заставы вышло навстречу нижегородское духовенство в полном облачении, с хоругвями, и впереди всех протопоп Савва и игумен Феодосий. Козьма Минин вместе с посадскими, с пушкарями и с'ехавшимся со всех сторон крестьянством встречал Пожарского хлебом и солью на Нижнем базаре.

Громадная толпа собралась вокруг долгожданного воеводы. Шествие медленно направилось по с'езду в Верхний посад, к кремлю. У Спасо-Преображенского собора, окруженные дьяками, дворянством и стрелецкими начальниками, стояли, поджидая Пожарского, князь Звенигородский, Биркин и Алябьев. На лицах — приветливые улыбки.

Звонари, которым, по приказанию Козьмы, поднесли по чарке водки, превозносили себя — пасху устроили в хмурый ноябрьский день!

Назавтра Пожарский медленно шагал из угла в угол по просторной с'езжей избе, строго наказывал своему помощнику дьяку Юдину:

— В Нижний принимать всех. Из Нижнего никого не выпускать. Усилить стражу у застав. Бойтесь перебежчиков и доносчиков. (И шопотом). За дворянами присматривайте, кои к нам не примкнули.

Затем принялся за грамоты в соседние города. Пожарский говорил — Юдин записывал:

«Господину Смирнову Василию из Курмышского города и уезду дворянам, и детям боярским, и земским старостам, и целовальникам, и всем посадским людям, и новокрещеным татарам, и Чуваши, и Черемисе, и крестьянам, и всяким служилым и жилецким людям Дмитрий Пожарский и Василий Юдин

по крестьянскому общему совету челом бьют...».

Пожарский просил курмышские власти о присылке в Нижний на совет от всех званий и чинов по два, по три человека «лучших людей», «дабы приговор свой отписать своими руками и правити в любви и согласии безо всяких сердечных злоб...».

Целые дни и ночи Пожарский писал грамоты; грамоты развозились конными пушкарями и стрельцами, толпившимися около с'езжей избы, по окружным городам и селениям, как по Волге, так и в Заволжье.

IX

На Нижнем базаре, вдоль Горшечно-го и Женского рядов, около изб, расселись торговки с горячими калачами в укутанных тряпьем ящиках и со сбитнем в медных кувшинах. Под таганами на земле—тлеющие угли. Приятно щекочет нос сосновой гарью. Торговля не идет. Э-эх, прошли времена! То-то было раздолье! А теперь?.. Нигде хмельного гуляки не увидишь. Самые записные питухи — и те за работу взялись.

В хлебном ряду пооживленнее. Но, когда присмотришься: народ неинтересный. Стрельцы, ополченские десятники, нагружающие хлеб на подводы для своих; земские подъячие.

Да, в Нижнем Нове-граде появились «мы» и «они».

«Мы» — сидели по лавкам, ларям, амбарам; «они» — толпами бродили по с'езду, по набережной, трубили в дудки, месили лаптями грязь, палили из пищалей в Волгу, пускали стрелы вдоль берега. «Они» жмутся друг к другу, невзирая на веру и племя. И едят у «них» басурмане и язычники из одних мисок с православными. Ай, Козьма, Козьма! «Мы» слушали, плакали от его слов, всю душу ему свою открыли, никакого добра не пожалели для него, а он... Не будь его — не появились бы и «они». А теперь он будто и не причем—повинен земский сход. Не его приговор, а схода. Мало того—сход распустили. Избрали совет «от всей земли»... А кто «вся земля»? Нижегородцы, ар-

замасцы да пришлые «выборные» из десятка городов, мордовские, татарские и иных языков старшины. Вот тебе и «совет всей земли»! И Пожарского и даже князя Звенигородского, Биркина и Алябьева в этот совет Козьма втянул. — Вот и торгуй! Наживай богатство!..

Немало подозрительных болтунов выпороли на с'езжей.

Особенно строго наказывали за сокрытие имущества. Двух дворян не пощадили.

Посадские довольны ополченской властью: с великою строгостью она преследовала грабителей и разбойников. На-днях двух ополченцев за воровство судили всенародно; сами ратники потребовали казни для них. Обоих утопили в Волге. Никогда не было такой тишины на посаде и в уезде, как теперь. Стрелец Буянов со своими молодцами по несколько раз в день об'езжал город и окрестности, оберегая покой посадов. Всем об'явлено, чтобы крестьян не обижать, к бедным проявлять милосердие, помогать им. Зазнаваться и ополченцам не дозволено.

— Эй, подходи, которые!.. Калачи горячие!.. С'ешь — три дня сыт будешь!..

— А на четвертый помрешь!

— Ну, ты, бродяга!.. За душой ни гроша, а туда же... с разговором лезешь...

Становилось оживленнее. Загудели и колокола в кремле.

— Болезная, подкинь угольков! Утреня кончилась.

— Подайте, Христа ради, красавицы, молоденькие... Пожалейте старца...

— На! Бог с тобой! Помяни покойную Агриппину, Софью, Давида... Абрама да Ольгу.

— Спаси Христос!

— Бог спасет!

Проглянуло солнце сквозь облака, осветило ровные ряды лавок, амбаров, ларей... Стало веселее. Запел гудошник:

Что ни кули-ик кули-икает,
Ни молоденький кня-азь по лу-ужку гуляет!
И он ни один кня-азь гуля-ает, — со своими полка-ами...
Со любезными полка-ами, больше с каза-аками...

— Стой! Чего врешь?

Песня прекратилась.

— Дай грошик! Будь милостив!

— На, вот тебе!

Гаврилка показал гудошнику кулак.

— Пошто грозишь?

— Не ври! Казаки казаками, а нас чего забыл?

— Кого нас?

— Земщину, мужиков... Ну, да ладно, до трех раз прощаю... Хватай!

Подслеповатый гудошник ловко подцепил денгю.

— В иное бы время попало тебе. Почесал бы ты лопатки, а ныне, ради праздника... леший с тобой, дыши!

Бабы встрепенулись:

— Какой праздник? Введение прошло. Ты уж зря-то не болтай, не мути. Купи калач!

— Хлебни сбитню. Горячий. Сердце ожжет...

— Мое сердце обожженное... Не проймешь. Гляди-ка на Ивановские ворота! Что такое?!

Все притихли.

— Козьма! Воеводы!.. Протопоп Савва!.. И тот верхом. Что такое?!

— Говорю — праздник... Вишь, народ валом валит...

— Куды?

— В литейные ямы, под Благовещенье... От щелчка дошли до кулака, от кулака до полка, от полка до ополчения... Будет ляху похлебка в три охлебка! Поняли?

— Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его.

Вздохи. Охи. Кресты да поклоны, а Гаврилки уже и след простыл.

По Ивановскому с'езду верхами спустились Минин, Пожарский, Звенигородский, Алябьев, Биркин, протопоп Савва, а вокруг кольцом буяновские стрельцы.

Позади воевод на верблюдах, на тшедушных конях — прибывшие вчера три башкирца, мордовские всадники, татарские мурзы, чувашские старосты и другие. Весь совет.

Нижним базаром направились в Благовещенскую слободу. (Парень не соврал, — в самом деле — к литейным ямам). По следам всадников с криками

побежали ребятишки. Стаи голубей и галок взлетели над головами. Ожились торговки: «Калачи, горячие калачи!», «Сбитень, сбитень!».

Направо — черная присмирившая Волга... Канун ледостава. Медленно, скучно движется «сало», кружится в воде, жметя к берегам, оседает под толщей прибрежной ледяной коры, крепя у берегов ледяное поле — «утару».

Рыбаки еще копошатся на берегу. Неохота свертывать сети. На рыбу поднялся спрос.

Каждое утро посматривает нижегородец на Волгу — два-три хороших заморозка, и вся она покрывается льдом.

Гудошник, неожиданно появившись из-за угла, снова запел во все горло:

Прошло время дорогое,

Прошло лето и весна,

Не видала я дружка.

От литейных ям исходили нестерпимая жара и едкий запах расплавленного металла. Громадные клинчатые меха при нажиме на верхнюю стенку издавали пронзительный свист — то вырывался воздух в просверленные отверстия. Мехи приводились в движение либо руками рабочих, либо вращающимся колесом.

Пожарский, глядя на рабочих, неодобрительно покачал головой:

— У меня дома кузница поставлена на реке — и людям легче, и силы более.

Козьма почесал затылок.

— Эге! Благодарствую, князь, что надоумил! Стар, видимо, становлюсь, малоумен. На что бы лучше — Почайна! Горная стремянь. Силища!

Биркин пожал плечами:

— Горд ты, Козьма-Захарыч. Без нас все делаешь. На себя понадеялся.

Звенигородский напомнил:

— Стрелёц Ивашка Лаврентьев сказывал, чтоб ты меня опросил. А ты?

Минин кликнул старшину вологодских литцов. Спросил его совета.

— Хорошо-то хорошо, да не совсем, — медленно ответил старшина. — А как в гору колокола возить? Почайна с горы бежит.

— Зачем в гору? У подошвы.

— А песок? Да болото? Нешто там

печь станет? Да и Волга рядом. Кто знает, какой паводок будет!

Пожарский добродушно рассмеялся:

— Выходит, ты, Козьма Захарыч, прав.

Звенигородский насупился. Биркин от'ехал в сторону, занялся разговором с лесорубами.

Вологодский мастер быстро подбежал к подводе. Дернул вожжи — две лошади вывели подводу из ямы. Старшина сбросил рогожу.

Новенькая бронзовая пушка с искусно выточенной казенной частью и стволом, но с неотрубленной прибылью¹ лежала у ног воевод.

Пожарский слез при помощи Буянова с коня и, слегка прихрамывая, подошел к подводе. С отеческой нежностью он провел рукой по холодной гладкой поверхности орудия, снял шлем и перекрестился. Его примеру последовал и Минин. Глаза обоих встретились. Пожарский взволнованно сказал:

— Спасибо, Минич! Хорошо!

И снова заботливо прикрыл орудие рогожей.

Минин соскочил с коня, взял Пожарского под руку и, слегка поддерживая его, сказал:

— Айда, Митрий Михайлыч, к печам!

Сделав над собой усилие, чтобы одолеть слабость, Пожарский твердой поступью стал спускаться в литейную яму.

Ополченцы низко поклонились ему. Он приветливо ответил тем же.

— В чем нужда у вас? Говорите!

Откликнулись котельщики:

— Дров мало... Подумай-ка, расплавить сто пудов, сколько надо? Три либо четыре сажени в день. А у нас всего десять. Не более что на три дня, а кусков хватит на месяц.

Козьма успокоил: лишь бы река стала, — на той стороне, у села Бор, лежит пятьдесят саженьей. Заготовлены для церквей, но сход богомольцев и протопопы отдадут их ополчению.

Когда вернулись к коням, не нашли ни воеводы Звенигородского, ни Бирки-

на, ни Алябьева. Протопоп Савва шепнул — воевода обиделся: почему без него все делается?

Пожарский и Минин переглянулись, молча сели на коней.

По дороге в кремль Козьма посоветовал Пожарскому дать Биркину дело: бездельники во все времена живут сварами и подвохами.

— Собери земский сход, он и решит: кто и что у нас повинен делать. Власть нижегородских воевод пусть вершит свое дело, а ополченская — свое...

Дьяк Василий Юдин устал рассылать челобитные верховым, понизовым и северным — поморским городам. «Чтоб всем было ведомо всюю землею — общестать, покамест еще свободны, а не в рабстве и не в плен разведены». Сколько раз сходили с его пера эти слова!

Спасибо Ляпунову! Умел покойный писать грамоты. Одну из них год назад привез в Нижний Биркин.

В ней говорилось:

«В преименитый Новгород-Нижний всему христианскому народу: Мы, господа, про то знаем подлинно, что на Москве всему христианскому народу гоненье и теснота большая от бояр и от польских и литовских людей. И мы боярам московским давно отказали, и к ним о том писали, что они, прельстясь на славу века сего, приложились к западным и жестокосердым, на своих людей (овец) обратились. И на том, господа, мы, сославшись с калууженскими и с тульскими и с михайловскими и всех северных и украинских городов со всякими людьми, давно крест целовали, чтоб нам за московское государство с ними и со всею землею стоять всем за один и с литовскими людьми биться до смерти...».

— Поторопись! — раздался голос за спиной Юдина.

Вошел Роман Пахомов, румяный, остроглазый и насмешливый.

— Ты не заснул ли, дьяче? Грамота готова?

— Вот, бери.

— Засиделся я в Нижнем. Мосеев давно ушел в Вологду, а я все ни с места.

¹ Прибыль — лишек металла на дульной части пушки (после литья срезывается).

На Пахомова возлагалось дело серьезное и опасное. «Бог не выдаст, свинья не съест!». Помолился на церкви, вскочил на коня, скрылся в снежной мгле.

Живой, прозрачной завесой окутала вьюга кремлевскую гору, Волгу и Заволжье. Снег щекотал лицо; дышалось легко.

Из иноземной слободы, под Печерами, пришли старшины поляков, плененных при Грозном. Жаловались на воеводскую избу. Воеводы-де заставляют ратников сдать оружие; в ополчение поляков и немцев не возьмут.

Минин отправился к Пожарскому. Князь сказал, что подобного наказа не давал. Вызвали Биркина — теперь он был помощником у Пожарского. Биркин заявил, что не верит немцам и полякам: ненадежны. «Ты, Пожарский, человек у нас новый». Страшал князя не только иноземцами, но и татарами и мордвой. Заподозрел смолян.

— Смоляны? — удивился Козьма.

— Соседями с Литвой были и с Польшей.

По уходе Биркина Минин сказал:

— Вот о чем я думаю, Митрий Михайлыч. Старшина Казимирка Корецкий, что приходил к тебе, бывал со мною в походах, ранен, сражался против панов. Я спросил его: «Не расхотел ли ты поляком быть?». А он мне — с великой гордостью: «Поляком был — им и помру. Но правда — выше рода. Как можно отречься от польской крови? Мне дорого свое хорошее, да не дорого худое. Как и вы, так же страдаем мы, поляки, от панского ущерба Московскому государству». Гляди сам, Митрий Михайлыч, — ладно ли будет отторгнуть их: поляки тоже воевали заодно с нами. Кто они? Нищие, сироты, загнанные к нам своими господами!

— Добро! — смущенно молвил Пожарский. — Честные войны нам дороги ныне. Напрасная обида и в мирное время приносит государству вред, а в войну подавно.

Пришла пора избавиться от Биркина.

Властолюбивый, самочинный, мнивший себя умнее всех, он пытался за-

вести в Нижнем ляпуновские порядки. Повсюду шныряли его люди, подслушивая и выпрашивая, визнавая, кто чем дышит. Совсем по-ляпуновски! Минин опасался, как бы простой, доверчивый князь Пожарский не оказался в его руках. «Сколько зла причинили народу эти умники, потерявшие честь! — думал Минин. — Спасая дом от огня, трудно уследить за притворными спасителями, грабящими твое добро». Он сам, Козьма, помог Биркину стать ополченским воеводой. И не зря. Теперь увидел, что Биркин — недруг.

В скором времени Козьма собрал земский совет. Гаврилка, Олешка, Осип и Зиновий обежали воевод, дьяков, атаманов, старост, протопопов, татарских, мордовских и иных старшин. В кремле сошелся многолюдный, разноплеменный совет.

Козьма привел с собой укутанных в меха, не успевших еще отдохнуть с дороги, татарских наездников. При них была грамота из Казани.

Татарские мурзы, оставшиеся верными царю Шуйскому, писали, что с июня 1611 года в Казани нет воеводы, а сидит дьяк Никанор Шульгин, захвативший всю власть. Казанский же воевода, боярин Василий Петрович Морозов, ушел с войском в Москву к Ляпунову, где и переметнулся на сторону Заруцкого; казанцы соединились с подмосковными воровскими таборами. Дьяк Шульгин вздумал склонять жителей к измене.

Мурзы просили нижегородцев прислать в Казань послов, дабы те образумили Шульгина и уговорили казанцев присоединиться к нижегородцам «для очищения Московского государства от воров».

Пожарский потребовал тишины.

— Граждане, — сказал он негромко, расстегнув ворот своей голубой шелковой рубахи, — пошлем в Казань бывалого мужа — Ивана Ивановича Биркина, — да из духовного чина протопопа отца Савву, да несколько посадских человек и иереев.

Козьма облегченно вздохнул. Его желание исполнилось: Биркина убрали из Нижнего.

Великое нижегородское посольство вскоре отправилось в Казань во многих возках, в сопровождении сильной конной охраны.

После отбытия посольства Пожарский велел вернуть оружие польским и немецким ратникам ополчения. В земской избе он благодарил их за верность Московскому государству, которую они доказали раньше, защищая Нижний Новеград от польских и воровских шаек. Иноземцы поклялись служить правдой.

Х

Нижегородское войско росло и крепло. Минин все дни проводил в ополченских таборах. Татьяна Семеновна притихла, молчит; на лице холодное безразличие. Пробовал Козьма Захарыч разговаривать с ней, но безуспешно. Запуганный Нефед жметя к отцу, остерегаясь матери.

За обеденным столом ели молча; иной раз Татьяна Семеновна, ни к кому не обращаясь, нудным голосом начинала перемывать кости нижегородским богатым. Будто осуждает их, а похоже на упрек Козьме.

— Мало говорят, да много делают. Куда нам, простачкам! Нам для других бы стараться! Самим ничего не надо. Все отдали в казну. Ото всего отказались.

Говорила ядовито, с явным желанием задеть. А Козьма отмалчивался, ел, обдумывал: как распределить жалованье в ополчении? Крестьяне, холопы и бобыли против прежних порядков:

— Не давать вотчин дворянам и служилым! Нешто это по-божьему — мы будем кровь проливать, биться до последнего, а нас будут потом меж собою дворяне, как скотину, делить?

Что ни минута, у крыльца верховые; вызывали Козьму на волю. Приходили пешие ратники. Кому — сапог и лаптей, у кого нет оружия, кто жаловался на пищу.

Конь, вычищенный и оседланный, стоял у ворот. Нужно в земскую, в вое-

водскую избы, да кузницы нельзя оставить без присмотра.

Вместе с Пожарским Козьма ежедневно навещал Марфу Борисовну. Женщины и девушки расшивали знамена. Пожарский выводил на бархате рисунки и буквы. Золотные узоры на знаменах немало были политы слезами вышивальщиц.

Все шло хорошо, только жизнь в родном доме стала невыносимой. Не того ждал от семьи Козьма!

Чем выше поднимался он в глазах народа, чем сильнее становилась его власть и шире слава, тем больше людей набивалось в друзья. Вчерашние враги, явные недоброжелатели называли «братом». Тот же Охлопков, закоренелый недруг Козьмы, ни на шаг не отходил от него.

Эх, Волга, Волга! Чего ты не видала на своем веку? Но доводилось ли видеть тебе, чтобы мужик сломил дворянское чванство?

На сходе в воеводской избе Минин сказал:

— Прошу прощенья у знатных родов! Мы — не царская власть и земли давать не можем. Не могут вожди ополчения уподобиться Тушинскому вору!

Дворяне задумались. В самом деле, — достойно ли боярину или дворянину получать вотчины из рук всесословного земского совета? Признает ли эти вотчины за ними будущий царь?

Согласились на жалованье. Другого выхода не было.

Пожарский, опасавшийся распри, наедине крепко обнял Минина.

— Спасибо, Минич! Не чаял я! Не чаял!

Жалованье разверстали по статьям: первой — пятьдесят, второй — сорок пять, третьей — сорок и самой меньшей — тридцать рублей.

Казакам жалованья положили больше. Запашек у них нет. От родных мест удалены, дома их нарушены военными походами. Голые скитальцы!

Пожарский отказался от ведения денежных дел.

— Мое дело — война. Не хочу уподобиться Ляпунову, Заруцкому и Тру-

бедному. Смешав золото с огнем, они гасили огонь и обращали в тлен золото. Золото в руках Минича принесет больше пользы.

Вот и февраль.

Крепкие морозы одели деревья в жемчуг. Небо синее, чистое. Церковные вышки кажутся прозрачными. Уныло разливается в воздухе великопостный благовест.

Через край было погуляно, попито, нагрешено в масленицу. Теперь — дни покаяния и молитв.

«Господи и владыко живота моего, дух праздности, любоначалия и празднословия не даждь ми... Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу твоему...».

Однажды ночью жителей Нижнего Нове-града разбудил шум, крики и топот коней. Накинув тулупы, в валенках выбежали на волю: конные люди во мраке!

Это из Ярославля прибыли всадники с грамотой: Заруцкий, умыслив помешать соединению нижегородского ополчения с северными городами, прислал в Ярославль казаков.

Гонцы донесли, что по следам казаков идет большое войско с атаманом Просовецким во главе, чтобы захватить Ярославль и другие северные города.

Пожарский и Минин, в медвежьих тулупах, ввалились в воеводскую избу, где Алябьев беседовал с гонцами. При появлении ополченских вождей все поднялись со своих мест. Монахи и стрельческие начальники подняли шум. Чего медлите? Ополчению давно пора выйти из Нижнего. Троице-Сергиевская лавра много раз отписывала о том же. Сам отец Дионисий и келарь Авраамий Палицын торопят Пожарского и Козьму.

Козьма крикнул могучим голосом:

— Чего шумите? Уймьтесь! Хочу говорить!

Он спросил присутствующих:

— Крест воеводе целовали?

Взметнулось:

— Целовали! Целовали!

— Внимать будете?

— Будем! Будем!

В избе наступила такая тишина, что слышен писк мышей в подполье.

— Говори, Митрий Михайлыч...

Поднялся Пожарский.

— Не могу сметать дело на живую нитку. Монахи Троице-Сергиевской лавры и келарь Авраамий — святые отцы, а в ответе перед вами не они, а мы. Наши деды говорили: «Десятью примерь, однава отрежь!». Сгубить наше войско — навеки потерять Москву. Будем ждать Ивана Иваныча Биркина с подмогой из Казани, тогда и пойдем. А для угона Просовецкого от Ярославля я пошлю вам воинов с вернейшим воеводой, братом моим Дмитрием Петровичем Пожарским-Лопатой.

Худенький, русобородый юноша вышел на середину избы. Отвесил низкий поклон.

— Бью челом земским людям! Вот я здесь перед вами, Лопата-Пожарский... И клянусь послужить народу, сколь сил хватит, нелицеприятно!

Раздался голоса:

— Бывал ли в боях-то?

— Как не бывать! Барывался с латинскими полками и побивал их. Под Волоколамском и в иных подмосковных местах бился не однажды.

Вмешался Козьма:

— Честное имя — надежная порука. Бьем тебе челом, князь! Веди воинов в Ярославль. Не посрами чести брата своего!

Выступил Лопата-Пожарский с войском ночью, в конце февраля. Рать составлена из опытных нижегородских, дорогобужских и верейских бойцов. При расставании Минин пообещал: как только «придет Казань» и соберутся гонцы, посланные под Суздаль, Владимир и Юрьев-Польский, так и все ополчение тронется в поход.

Вскоре после ухода князя Лопаты вернулся Пахомов. Он оповестил нижегородцев о мученической смерти Гермогена. Бояре по наущению панов добивались от патриарха, чтобы он послал грамоту нижегородцам, запрещающую ополчаться против короля. Гермоген с негодованием ответил:

— Да будут благословенны те, которые идут на очищение Московского го-

сударства, а вы, окаянные московские изменники, будьте прокляты!

Гермогена перестали кормить. Девятнадцатого февраля он умер голодной смертью в кремлевском подземелье.

По словам Пахомова, поляки, московские бояре, Заруцкий, Трубецкой, шведы и новоявленный псковский самозванец — все встревожились при известии, что на берегах Волги поднимают восстание в защиту Москвы «нижегородские мужики».

Владимирская дорога опасна для похода. Шайки поляков, шаткость тамошних служилых людей, духовенства, обнищание и голод затрудняют передвижение полков Пожарского по этой дороге.

Минин верхом об'езжал площади, базары и окраины, усердно призывая народ отомстить за мученическую смерть Гермогена.

В ополчение добровольно вступали все новые и новые толпы горожан.

XI

Снаряжение войска близилось к концу. Пора было подумать и о выступлении в поход. Но каким путем двинуться к Москве?

После донесения Пахомова решено было отказаться от Суздальской дороги. Правда, в воеводской избе, на сходе, князь Звенигородский упорно настаивал на Суздальской дороге, говоря, что она — кратчайший путь к Москве. Воевода убеждал собравшихся не доверять гонцу Роману Пахомову. Со страха парень наговорил разных небылиц.

Ему возразил Пожарский:

— Как можешь ты, Василий Андреевич, давать такой совет? Или неведомо тебе, что Просовецкий движется к Ярославлю? Вор Заруцкий умыслил отрезать нас от северных городов и Поморья. Север и Заволжье — наша опора, — в те места не проникла рука зорителей. Надлежит твердой ногой стать в Ярославле, стянуть туда все силы, очистить от воров ближние ростовские и суздальские земли, наладить дружбу с Новгородом и шведами, дабы не грозили с тыла, и оттуда навалиться на

Москву. Вот мой совет. Нам подлинно известно, что ляхам в Кремль подвезли продовольствие и усилили ратную их часть. И хотя велика сила нашей любви к родине, но не надо хулить и военную силу поляков. Они храбры и искусны в боях.

Пожарского поддержали воеводы Алябьев и Лысгорь-Соловцев, калужские воеводы Бегичев и Кондырев, Свиньин из Галича, стрелецкие сотники, казацкие атаманы, чувашский старшина Пуртас, татарский мурза Гиреев, черкасский атаман и другие.

Минин сидел в дальнем конце стола, помалкивал, не вмешиваясь в спор военачальников.

Но вот обратились к нему. Поднялся со скамьи, поклонился.

Кормить ратников, идя по берегу Волги, легче, нежели на опустошенной Владимирской дороге. Воины должны быть хорошо одеты и накормлены! Лучше Ярославля стоянки не придумаешь.

Скромная повадка Козьмы утешила знатных господ. Нет ничего страшнее мужика, который лезет вперед. Делай благие дела, да вида не показывай, что они — плод твоего ума. Помни, что «мужичья кость собачьим мясом обросла». «Сядет царь, мы стеной окружим его. Будь покоен, смирение зачтется тебе!».

Эти мысли Минин ясно читал в глазах бар.

Итак, решено: Ярославль! Выйти из Нижнего, подождать Биркина. Если же он в середине марта не вернется из Казани, то двинуться, не ожидая его.

Тревогу вызывал город Курмыш.

— Доколе мы не изведем у себя всех ненадежных людей, — говорил Пожарский, — дотоле нам нечего уходить из Нижнего. Курмышские дворяне и воевода кривят. Курмыш у нас в затылке — можно ли оставлять его в руках нерадивых правителей?

На сходе Пожарский бросил упрек князю Звенигородскому: как он не может заставить курмышского воеводу Елагина покориться нижегородскому приговору? Елагин денег на ополчение не шлет, хоть и собирает везде, елико можно.

— Не пристало тебе, Василий Андреевич, допускать таковое бесчиние. Или ты не воевода?

Пожарский послал в Курмыш молодого стрельца Афоньку Муромцева и крестьянина Фильку Фебнева с такой грамотой:

«По указу стольника и воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского, да дьяка Василия Юдина, велено в Нижегородском уезде, в селе Княгинине и Шахманове, да и в Курмышском уезде в селе Мурашкине, да в селе Лыскове, приехав, взять у приказных людей приходные книги, что с тех сел каких денежных доходов по складу, и в селе Княгинине и Мурашкине и в Лыскове и в Шахманове тамошних и кабацких и иных каких денежных доходов в сборе есть, и те все доходы выслать тех же сел со старосты и целовальники в Нижний Нове-град, дворянам и детям боярским и всяким служилым людям на жалованье. И для земского совету быть в Нижнем Нове-граде старостам и целовальникам и лутчим людям; и велено им во всем слушати Нижегородского указу, а на Курмыш денежных и всяких доходов не давати, а платити всякие денежные доходы в Нижнем для Московского походу ратным людям на жалованье. О том наперед сего из Нижнего к тебе писано ж; а ныне ты прислал в село Мурашкино и во Княгининскую волость и в Шахмановскую, и в Лысковую волость править всякие денежные доходы и подводы под стрельцов Юрия Шипилова. А из под Москвы бояре в Нижний пишут же, чтоб с Алатыря и с Курмыша и с Арзамаса всякие денежные доходы сбирати, а собирая, отдавати дворянам и детям боярским и всяким служилым людям на жалованье, а дав жалованье, посылати их под Москву, прося у бога милости о победе и одолении на польских и литовских людей. И ты, господин, вперед с Курмыша в дворцовые села в Мурашкино и в Шахманово и в Лысково, и в Княгининскую волость для денежных доходов сборщиков посылати не вели, и смуты в том не чини. И ты, господин, ныне ссору и смуту делаешь, что посылаешь из Курмыша детей боярских правити для доходов.

И тем, господин, кровь вчинаешь и ссору чинишь. Кого тебе на Курмыше жаловать? А хотя и есть кого, и тебе Курмышом одним не оборонить Москвы. А ведаешь, господин, сам, что все города согласились с Нижним, понизовые и поморские и Рязань, и всякие доходы посылают в Нижний Нове-град. А какое учинитца худо и взачнетца кровь твою ссору, и то все бог взыщет на тебе, и от земского совету и ото всея земли отомщение примешь. А которые деньги были в сборе с Мурашкинской, и в Лысковской, и в Шахмановской, и во Княгининской волости, и те деньги послать в Нижний Нове-град с целовальники и со крестьяны. А послали мы с сею описью нижегородского стрельца Афоньку Муромцева да Мурашкинской волости крестьянина Фильку Фебнева.

Курмышский воевода не внял приказу Пожарского, был он верным слугою московских бояр и тайным сообщником нижегородского воеводы князя Звенигородского.

Козьма шепнул Пожарскому:

— Смени! Предай сыску. Довольно возились с Елагиным! Не поймешь: самодур или враг?

Сезжая изба наполнилась кандальниками. В Нижнем и окрестностях шныряли польские согладатаи и люди, распускаящие «смутные слухи». Этих людей ловил сотник Буянов, допрашивали пристава и два попа, — среди пойманных согладатаев немало попадалось монахов и странников. Добытое сыском сказывалось Минину и Пожарскому. Они от имени совета и чинили наказание.

Минин был безжалостен к изменникам и нередко осуждал Пожарского, склонного к уговорам и молитвам там, где нужна была сила.

— Будешь плох — не поможет и бог! — говорил Минин. — Гибнет Русь! Губи изменников без всякого потворства, беру грех на себя... Гляди, князь! Как бы за твою доброту не поплатиться жизнью.

Из Казани вернулся протопоп Савва, бледный, исхудалый, и поведал, что Иван Иванович Биркин, нижегородский

посол, ляпуновский помощник, громче всех ругавший поляков, — изменил! По приезде в Казань примкнул к Шульгину, слуге Владислава. Вернуться в Нижний не захотел.

— Никто мне не верил, — вздохнул Козьма. — А ты, Митрий Михайлыч, нередко стоял за него...

— Но не ты ли, Минич, натолкнул меня взять его в помощники?

— И не напрасно. И в Казань советовал отправить. Искусшал. Испытывать крепость стебля в тихом месте не след. Надо поставить его там, где дуют переменчивые ветры... Коли устоит — крепок, а начнет гнущься, припадать на разные стороны — плохо, не надежный.

Весь посад пришел в волнение, узнав об измене второго воеводы. Как-никак, а изменил самый первый человек в ополчении — помощник старшего воеводы. У него тайны ополченского лагеря. Шульгин — сообщник поляков — может выведать эти тайны у Биркина, продать панам.

Разгневанный Козьма места себе не находил.

Кому верить? Бояре осрамились в Москве, опозорили себя навеки; казацкие атаманы, осаждающие засевших в кремле поляков и бояр, якшаются с вором Сидоркой, хотят провозгласить его царем, Заруцкий тянет на престол маринкиного щенка, сына Тушинского вора. По городам, селам и деревням изменяют воеводы, дяки и пристава, даже попы: присягают и Владиславу, и Сигизмунду, и шведскому королевичу, и псковскому вору Сидорке...

Первою мыслью Козьмы было: подослать в Казань людей, чтобы они убили Биркина. Но Пожарский, услышав об этом, пришел в сильное волнение. Грозил, — уедет из Нижнего, откажется от воеводства в ополчении.

Тогда Минин надумал послать в Казань стойких посадских людей, попов и татарских мурз, чтобы распространили слух о непобедимости нижегородского ополчения и чтобы широко оповестили казанское население о готовности ополченцев постоять за правду до смерти.

Пожарский одобрил. Решено было крепче объединиться с ближними горо-

дами, сильнее вооружиться, лучше одеться, обуться, больше запастись пищи, посылнее откормить коней и двинуться к Ярославлю, «положась на волю божью» и на то, что казанцы образумятся...

Поздно вечером, возвращаясь из воеводской избы, Минин зашел к Марфе Борисовне. Дверь открыл Гаврилка. Марфа Борисовна легла уже спать. Услышав голос Минина, быстро оделась и вышла из опочивальни навстречу гостю.

Минин поставил в угол посох, сел на лавку, вздохнул:

— Хваленый наш радетель общего дела, ляпуновский выкормыш Ванька Биркин, переметнулся, сукин сын, на сторону ляхов.

Марфа Борисовна всплеснула руками: — Биркин? Иван Иванович? Да верно ли, Козьма Захарыч? Нет ли поклепа? — Протопоп Савва донес. Человек честный.

Марфа Борисовна села у стены против Минина, бледная.

Минин поднялся с места, заходил широкими, размашистыми шагами из угла в угол по горнице.

— Вот что, — сказал он, остановившись против вдовы, — уходить надо! Чего ждать? Пускай остается Звенигородский со своими поскребышами, а потом, когда бог поможет нам выполнить земское дело, расквитаемся и с ним.

— Уходить? — побледневшими губами повторила Марфа Борисовна.

— Точно. Пора. Для чего ты нам деньги давала? Через несколько дней выступим. Пока реки не разлились... Митрий Михайлыч готов. Решили.

Марфа Борисовна взяла его за руку.

— Родной, Козьма Захарыч, как же мы-то тут без тебя останемся?

— Без меня остаться не страшно, а вот без Москвы...

Козьма подошел к двери и крикнул:

— Ортемьев!..

Дверь распахнулась — влетел Гаврилка.

— Эк, ты скорый какой, — засмеялся Минин. — Вот, братец! Дождались мы с тобой праздничка. Собирайся.

Гаврилка расширившимися глазами взглянул на Минина.

— Чего зенки вытарашил? В Москву пойдем.

Парень взялся руками за голову, хотел что-то сказать, но запутался и, низко поклонившись Минину, побежал в сени.

Проводив гостя, Марфа Борисовна пошла к Гаврилке. Он сидел на полу и при свете ночника с большим усердием точил о камень саблю.

— Парень, что ты?

Гаврилка оторвался от работы, посмотрел на вдову хмуро:

— Чего не спишь?

— Да как же спать-то? Слышал, что Козьма Захарыч сказал?

— Не глухой. Как не слышать! Давно пора. Народ роптать начал.

— Убери саблю. Не скоро, ведь, не сегодня, да и не завтра... Чего ж ты?!

— Не мешай! Иди почивать, матушка. Бог спасет!

Марфа Борисовна покачала в задумчивости головой и ушла на свою половину...

Из Вологды, куда были посланы смоляне Новожилов, Угрюмов и нижегородец Петр Оксенов, пришел ответ, что «как пойдут ваши ратные люди, и мы с теми людьми пойдем головами своими». Стали прибывать богато оснащенные ратники с Понизовья, из Вычегды, куда для сбора зерна и людей были посланы четыре служилых дворянина и Родион Мосеев. Пожарскому удалось привлечь в ополчение еще несколько опытных воевод, среди которых был и двоюродный брат его, Роман Петрович Пожарский. Он и стал ближайшим помощником Дмитрия Михайловича.

Огненные земский совет, именовавшийся то городским, то земским, назван был «советом всея земли».

От Лопаты-Пожарского в начале марта было получено известие, что вступившие в Ярославль казацкие отряды взяты в плен; город перешел в руки нижегородского ополчения.

Появившиеся в Нижнем казанские «сироты» и калики-перехожие рассказывали, что народ не послушался из-

менников Шульгина и Ивана Биркина. Казанцы порешили — снарядить ополчение в подмогу нижегородцам для «доброего единения к очищению Москвы от супостатов».

Вестникам в Нижнем не доверяли. Не подосланы ли Биркиным и Шульгиным?!

Во дворе Троицко-Сергиева монастыря, на берегу Волги, поставили стрельцов с приказом строго следить, чтобы монахи не спаивали ополченцев. У зеленого места¹ в кремле располагалась казацкая стража, охранявшая боевые припасы. На Ямском взвозе бегали пристава, проверяя проходящих и уходящих ямщиков с конями.

День и ночь пыхла винокурня под Егорьевской башней над Волгой. Минин велел наварить вина и пива в поход. (Время весеннее, распутица, заморозки).

В хлебопекарнях печи трескались от сильного нагрева. Женщины резали каравай на сухари, увязывали их в коробы. Песни хлебопеков далеко разносились по набережной.

На городском валу зорко следили за уходящими и прибывающими в Нижний людьми казацкие и татарские наездники.

Марфа Борисовна, плача, шептала Гаврилке:

— Не вини меня, не суди за слезы. Пошли вам господь бог одолеть супостатов. Рада-радешенька, что отдала Козьме Захарычу свои денежки... Мне что? Уйду в монастырь и там проведу остаток дней моих.

Гаврилка с испугом схватил ее за руку.

— Тебе ли говорить про монастырь? Вернусь из похода, опять буду служить тебе верой и правдой, опять денно и ночью охранять тебя. Родная Марфушка, кто осмелится осудить тебя?

Она не могла говорить — печаль давила грудь. Вытерла слезы, встала и, выйдя в соседнюю горницу, принесла новую, богато расшитую рубаху.

— Тебе на дорогу... Пускай она охранит тебя от вражеских стрел...

¹ Зеленое место — пороховые погреба.

За окном белели пушистые ветви вербы в цвету. Слышался благовест. Звон большого колокола, густой и ровный, покрывал голоса мелких колоколов.

— Прощай, родная, прощай!.. Завтра уходим!..

Обнялись. Маленькая — притихла в сильных объятиях парня.

— Берегите Козьму Захарыча!.. Берегите Митрия Михайлыча!

Это были ее последние слова при расставании с Гаврилкой.

На Верхнем и Нижнем посадах ратники лобызали своих жен, матерей, сестер, отцов, малых деток; старики благословляли ратников.

В кабаках и на площадях под заунывную музыку гусель слепые певцы тянули песню:

Ах, не ласточка, не ясен сокол,
Вкруг тепла-гнезда увиваются;
Увиваются стар-пожилой муж
Со женою верной, доброй матерью,
Со хозяйкою домовитою,
Вкруг надежды их — сына милова, —
Он идет от них в сторону,
Опясавшись саблей острою.
Ах, не бор шумит, не река льется;
Обливается горячими слезами,
Возрыдаючи, молода жена,
Расставаясь с красным солнышком,
Провожаючи друга милова;
Он идет от ней в дальнюю сторону,
Опясавшись саблей острою.
Не труба трубит и не медь звенит,
Раздается речь добра молодца:
«Ах, тебе ль вздыхать, родной батюшка,
Перестань тужить ты, родимая,
Не крушись, не плачь, молода жена,
Береги себя, сердцу милая!
Ах, неужели вы не знаете,
Что на матушку нашу родину
Пришли варвары непотребные?
Кровожадные, как змеи, шипят,
Страну нашу разорить хотят,
Города привести в запустение,
Села красные все огнем пожечь,
Стариков седых всех мечу предать,
Молодых девиц всех в полон побрать.
Ах, неужели вы запомнили,
Что за вас же я и за родину
Полечу теперь в поле ратное?
Все удалые и могучие,
Дети верные царства русского,
На врагов итти приготовились;
Уж оседланы кони добрые,
Уж опущены сабли турецкие,
Уж отточены копыта меткие;
Рать усердная лишь приказа ждет,
Чтоб пуститься ей в путь назначенный.

Я ль остануся, как расслабленный,
Ах, утешьтесь и порадитесь;
Не наемник вас защищать идет,
Волей доброю мы идем на бой;
Не прельстят меня ярким золотом,
Ни камнями самоцветными;
Не продам за них милой родины,
Отца, матери с молодой женой!
Не ударюсь я во постыдный бег
Не от тучи стрел, не от полымя —
И рассыплюсь злые вороги,
Не осмелятся напасть опять,
Уничтожится сила вражия,
И окончатся брани лютые —
И родимый ваш возвратится к вам!..».

Вокруг гусяров собирались женщины, слушали песню и тихо плакали.

В лучах весенней зари серые лица слепых базарных певцов зажигались вдохновением; никогда старикам так не хотелось взглянуть на мир, как в эти дни.

ХП

Вот он — долгожданный час!
Пушечный выстрел над Волгой, и
дружный набат посадских колоколен.

Плавню колышутся златотканые знамена — труд многих томительных дней и ночей. Не просто знамена, — прощальное напутствие матерей, жен, дочерей, сестер.

В палисадниках, где полным цветом распустились вербы, стоят посадские женщины, бледные, строгие, с детьми на руках, прислушиваются к ударам набата. Вон и Марфа Борисовна — бледная, одета скромно. Серьги, жемчужное запястье, украшения — все отдано ополчению. Только простой серебряный крест остался на темном охабене.

Куда ни глянь, — булат, железо, медь. Собрано и наковано кольчуг, лат, щитов — с избытком.

Из-под нахлобученных на лоб железных шапок сурово глядят лица вчерашних мирных жителей. У одних видны только глаза, а лицо скрыто чешуйчатой завесой (бармицей), спускающейся на плечи и грудь (египетского покроя шлемы-мисюрки). У других лицо открыто, сквозь козырьки продеты железные полоски, защищающие нос. Смолянку нетрудно узнать по ерихонкам с медными наушниками и затылочной пластиной. Нижегородские ратники в вы-

соких синих шишаках и в мелкотканной кольчуге.

Минин одел войско с отличием не по чину и званию, а по городам, и многие дворяне сравнились в одежде с посадскими и деревенскими людьми. Кое-где бросались в глаза иногородние всадники-дворяне в богатых кюяках—доспехах из ярко начищенных медных блях, нашитых на нарядные кафтаны, и в шлемах с накладным серебром. Сабли у них гурские, тоже нарядные, в серебряных ножнах, обтянутых бархатными чехлами. Но преобладало в ополчении бедное дворянство, прибывшее в Нижний из разных мест,—жалкие, усталые люди, разоренные «от польских людей», потерявшие все, даже семьи.

Протопоп Савва, отправив в Спасо-Преображенском соборе службу, вышел на площадь, прокричал молебен перед густою толпою ополченцев, благословил коленопреклоненного Пожарского, крепко обнял его.

Колокольный гул повис над городом, над Волгою и окрестными полями и лесами. К нему примешались многочисленные рожки и дудки бирючей, ржанье коней, лязганье железа.

От кремля по главной улице и до окраины Верхнего посада развернулось войско.

Пожарский выехал из Дмитровских ворот, одетый в дощатую броню, именную зеркалом, в остроконечном шишаке и голубом плаще, перекинутом через плечо. На коне — пурпурная попона. Воеводу окружали стрелецкие и иные военачальники, татарские мурзы, мордовские и казацкие старшины. Среди них в овчинном полушубке, с мечом на боку, в железной круглой шапке — Козьма. Под ним—дареный посадскими друзьями горячий вороной конь. Возле — неразлучные спутники Мосеев и Пахомов, вооруженные с ног до головы: дали клятву быть верными телохранителями Минина.

Гаврилка приветливо поклонился Минину и Пахомову. Козьма залюбовался им: закованный в латы грозный воин, румяный, с открытым, веселым лицом.

Гаврилка торжествовал. Вот когда сбываются его желанья! Слезы Марфы

Борисовны, провожавшей его, польстили — значит, любит. Солнце, знамена, войско, Пожарский, Минин, вооруженные земляки—все радовало его, все веселило. Свершилось то, чего он так горячо ждал с той самой поры, когда, после штурма Смоленска, покинул родные места, о чем, гонимый, бездомный, мечтал в темных ночлежках и попутных деревушках, в полях и проселках, скитаясь по замосковным местам.

«Последние люди», недавно ходившие в сермягах, рваные, приниженные, теперь—грозная сила; вооружены лучшими саблями вологодской и устюжскойковки. Приятно сжимать гладкие ложа пищалей, опираться на резные рукояти сабель и мечей. В Москве Гаврилка довольно нагляделся на польских и немецких рыцарей, а, наглядевшись, понял, что значит для воина хорошее оружие.

«Выборный воевода всей земли» обехал войско, внимательно осматривая каждого воина, каждого начальника, каждый полк, затем рысью промчался со своими приближенными вдоль табора ратников к головной части ополчения.

Навстречу выехал Минин. Пожарский кивнул головой. Козьма отделился от ополчения и с Мосеевым и Пахомовым поскакал вниз по с'езду к месту переправы — туда, где Ока сливается с Волгой.

На Оке кипела работа: монахи, женщины и подростки устилали оттаявший под солнцем ледяной путь еловыми лапами, соломой; засыпали песком лужи; набрасывали тяжелые тесины на толстые бревна, ровными рядами покрывшие закраины у берегов.

Минин спустился на лед. Озабоченно осмотрел помост над закраиной. Крикнул кузнецам, чтобы скрепили доски железом, тревожно покачал головою:

— Глянь-ка! Родион, река-то!

Мартовское солнце припекало. С гор бежали ручьи. Закраины ширились, надувались, подтачивая лед.

Вот и второй пушечный выстрел! Грохот прокатился по улицам и оврагам.

Минин прикрыл ладонью глаза от солнца, чтобы лучше видеть, как из верхней части города начнет спускаться

ополчение. Сердце его забилося: наверху, на дороге, сверкнули знамена; заблестело оружие, доспехи. Послышались удары боевых литавр.

Минин облегченно вздохнул. Гора с плеч! Пошли! В последние дни он сильно устал. Опасался, как бы не вышло задержки, как бы не придумали недруги помехи земскому делу. Князь Звенигородский, хозяин уезда, воевода, во всеуслышание пригрозил: «Пойдете, а назад не вернетесь, и торговлишки лишитесь, дома ваши захиреют, дети по миру пойдут».

«Как ни хитри, а правды не перешигаешь» — думал Козьма, любясь нижегородским войском.

— В Москву!

Близко! Подходят! Спустились на Волжскую набережную.

Минин въехал на бугор. Мосеева послал на середину реки наблюдать за переправой, а Пахомова — на противоположный берег.

Из-за прибрежных ларей и домишек выехал Пожарский. Конь его шел неровно, но воевода сидел прямо, озабоченно поглядывал на реку. Рядом — молодой воин на горячем белом коне, с развернутым знаменем вождя.

Позади воеводы нарядно одетые всадники с распущенными знаменами поместной конницы и городского войска. Малиновые, зеленые, желтые полотнища, расшитые парчой и травами, закрывают рослых воинов, с трудом сдерживающих скакунов.

Через плечо у каждого — берендейка с патронами, рог с порохом, сумка для оружия и пуль.

Войско шло по-новому, рядами, а не толпой.

Пожарский подготовил его так, чтобы в бою оно не бросалось, по татарскому обычаю (как это было заведено прежде), нестройною, густою ордою, стремясь к рукопашной схватке. В случае неудачи такая тактика приводила к тому, что войско бросалось назад, сменяя собственную пехоту и обозы.

Дмитрий Михайлович выучился кое-чему у шведов и поляков. Биться по-старинному — огненным и лучшим боем — настрого запретил, приучив конницу и

пехоту к правильному наступлению, чтобы одна помогала другой, а пушки помогали бы им обейм.

Весело приветствовал Минин Пуртаса, ехавшего на низенькой волосатой лошаденке впереди чебоксарских всадников, едва не касаясь ногами земли. Чуваши, одетые пестро, не все имели огнестрельное оружие — у многих были луки.

За чуваши прошел смешанный пехотный полк, составленный из марийцев, мордвы, удмуртов. После них последовала низкорослая, подвижная татарская конница — движущийся лес копьев. Ее вел мурза Гиреев. Потом — казаки, сотня запорожцев, украинские гайдамаки, которыми предводительствовал Зиновий. Он весело крикнул Минину: «Здорово, братику! Гляди, каких славных-та лыцарей до себе приняи!» И с гордостью кивнул на товарищей.

За конницей и пехотой потянулись телеги с легким нарядом и ядрами. Среди смоленских пушкарей, под началом Гаврилки, был сын Козьмы — Нефед. А в самом хвосте ополчения длинной вереницей растянулся обоз с продовольствием, с полотнищами шатров, с досками разборных мостов, с запасными одеждой и доспехами.

— Родион, — сказал Минин подехавшему Мосееву, — в Балахне бей челом. Хлеба еще надо сколько продадут, и в Василеве рыбы не достанем ли? Боюсь, нехватит нам и до Юрьевца.

Минин поставил дело так, чтобы не обирать силою встречные города и селения, как то водилось за царскими войсками.

Ополчение благополучно перешло Оку.

XIII

Шли к Ярославлю по правому, нагорному берегу Волги.

Недолго стояла ясная погода. К вечеру небо нахмурилось. Дохнуло холодом с северной стороны. Того и гляди — снег! Вороньи стаи, вспугнутые передовыми отрядами всадников, подняли шум над Волгой.

Ополчение растянулось на далекое пространство вдоль Волги. Леса сменялись оврагами, овраги—равнинами, равнины — холмами. Порою Волга скрывалась из глаз, но вдруг дорога сворачивала, и войско снова выходило на высокое побережье Волги.

Иногда Пожарский, чтобы пересечь извилины дорог, сократив путь, приказывал разгораживать плетни и прокладывать дорогу через огороды, мелкие кустарники и речушки. Конные помогали пешим собирать раскидные мосты. Работа шла дружно, бойко.

Минин поехал к Пожарскому.

— Гляди, князь, — кивнул он в сторону ратников, — как работают похозяйски, согласно!

— Дивное дело! Не видал я в прежних войнах подобного.

— А что они получают за то — неведомо! Да и не думают они о себе, идя в поход...

Пожарский промолчал. Да! Он думал о себе, о дворянстве. Думал! Он шел в Москву, чтобы очистить ее от поляков. Восстановить добрый порядок. «Добрый порядок»—это возвращение к власти бояр, ограничивающих государя, как то было при Василии Шуйском.

От будущего царя Пожарский мечтал взять «письмо», чтобы «ему, царю, быть нежестоким и непальчивым, без суда и без вины никого не казнить, мыслить о всяких делах с боярами и думными людьми сопча, а без их ведома тайно и явно никаких дел не делать». Пожарский и Голицын так думали о будущем царе. Вступая на престол, царь «должен дать клятву блюсти и охранять православную веру; по собственному умыслу не издавать новых законов и не изменять старых, не объявлять войны и не заключать мира; важные судебные дела вершить по закону, установленным порядком; свои родовые земли отдать родственникам, либо присоединить к коренным землям».

У Козьмы, человека посадского, незнатного, иное в голове: как и другие мелкие тяглые люди, он думал о большом «единоцарственном вселенском соборе», который бы всенародно избрал доброго, хорошего царя, облегчил бы

тяжелую долю посадских мелких людшек, дворянских холопов и крепостных крестьян.

К вечеру добрались до Балахны. В беспорядке разбросанные домишки, несколько ветряных мельниц и много церквей. Не зря поговорка: «Балахна стоит, полы распахня». Ни крепостных стен, ни высоких валов. Много претерпела Балахна от польско-литовских людей.

Навстречу вышли посадские власти с хлебом-солью. Старичок в потертом кафтане поднес Пожарскому лукошко с деньгами, низко поклонился.

— Приими, князь, от посадских трудников и сирот. Бог не убог, а Микола милостив — помог. Собрали, что могли, на ратное дело... Не обессудь.

С великой радостью принял Козьма дар Балахны и бережно убрал в денежный ящик, который охраняла буяновская сотня.

— Болящий ждет здравия, а мы — добронравия. Дай бог здоровья балахнинским сиротам, — перекрестился он, убрав деньги.

И тихо сказал Буянову на ухо:

— Гляди крепко за казной. Нет ли здесь лихого человека! Опасайся!

Тучи разошлись. Солнце село. В глазах зарябило от окрашенных закатом перистых облаков. На том берегу темнея сосновый бор, хмурый, неприветливый. Усталость давала себя знать. Непривычные к кольчугам мирные горожане и деревенские жители на ходу торопились освободиться от доспехов. Тридцать верст за один день — немалый труд. Многие воины уже давно идут налегке.

Не успел Пожарский с головною частью войска перейти по мосту крепостной ров и миновать деревянную стену (острог), как к нему приблизилась толпа бежавших из-под Москвы бедных дворян с Матвеем Плещеевым во главе, отложившихся от подмосковных атаманов. Просили принять их в ополчение — оборванные, полубольные.

Взять таких воинов — взвалить обузу на себя; отказаться — нанести беднякам, на глазах у ополчения, великую обиду.

Пришлось согласиться на их просьбу.

— Бог спасет, Митрий Михайлыч! Не покаешься. Послужим честно!

Кланяются Минину, принимая от него теплую одежду, доспехи и оружие.

На земляных буграх появились толпы балахнинских жителей, ребятишки, монахи с хоругвями; крик радости, набат, монастырское песнопенье огласили вечерний воздух.

— Добро, братцы, добро! — сквозь слезы кричат направо и налево ополченцы, входя в Балахну.

После молебствия на площади Пожарский, усталый и разбитый, дорвался до ночлега, приготовленного в воеводской избе. Но не сразу удалось лечь. Осадили военачальники. Явился Козьма. Нужно рассудить: как распределить людей, приставших к войску, сколько кому положить жалованья. Пришел и воевода новоприбывших дворян, Матвей Плещеев.

Глубокой ночью Пожарский остался, наконец, один, охраняемый буяновскими стрельцами.

Козьма пошел по лагерю. В Балахне не разместились все; раскинули шатры за городом. Козьма ежился от холода. Мартовские заморозки давали себя знать. Пахло талой землей и вербами. Глаза и глотку ел дым костров, разведенных между шатрами. Составленные «горю» пики, сведенные в кучу телеги, пушки и лошади, жевавшие сено, постепенно погружались во мрак.

У одного из костров кучкой сидели ратники. Минин слез с коня, спрятался за шатер. Среди чувашей, черемисов, татар и удмуртов увидел Гаврилку, татарского начальника Юсуфа, чувашско-го — Пуртаса.

Юсуф. Звенигородский — шайтан, Биркин — шайтан... Им голову долой!

Гаврилка. А как по-татарски голова?

Юсуф. Голова — баш.

Гаврилка. Ну, Пуртас, а по-чувашски?

Пуртас. Голова — пось.

Гаврилка. А по-твоemu, мордвин?

Мордвин. По-нашему — пря.

Тут Минин неожиданно вышел из-за шатра, сказал:

— Так вот, братцы, баш да пось, да пря, да русская голова всех шайтанов одолеют. О том не тужите. Айда по шатрам — спать! Дорога у нас дальняя, наговоритесь. Это ты, Гаврилка, тут заводишь? Ложись!

Ратники неохотно разошлись. Минин остановил Гаврилку.

— Не слышал ли жалоб от ополченцев? Не ропщут ли? Сам не пал ли духом?

— Что ты? Одного желают: к Москве скорей!

— А татары, чуваш?

— Ропщут: чего для не дал убить воеводу в Нижнем? Не надо было его оставлять.

Глаза Минина хитро улыбались:

— Стало быть, не угодил я?

— Куды там! Одному тебе и верят из всего воеводства. Черемисы да чувашы только за тобой пошли, спроси Пуртаса.

Отпустив Гаврилку, Минин пошел дальше, заглядывая в шатры.

Подкрался верховой:

— Эй, человек! Чего бродишь?! — крикнул грозно, подняв плеть.

— Не узнал? — тихо рассмеялся Минин.

Верховой соскочил с коня, подошел вплотную.

— Ба! Да это ты, Козьма Захарыч?

— Я самый. Спасибо тебе, Михаил Андреич! Служишь правдой!

— Почитай весь стан обехал, только двоих нашел, что не спят: ты да я, не считая стражи.

— Устали, не ближний путь.—И, понизив голос, Минин спросил: — Нет ли каких лиходеев? Не болтает ли кто против нас?

— Нашлись три прасола, болтали... Мол, Козьма — парень не дурак, деньгу любит. Пустили козла в огород... казну ополченскую доверили...

Минин крепко сжал руку Буянову:

— И что?

— Побили мы их, да на с'езжую в Балахне.

— Добро — не попались мне. Я бы им... — Козьма задохнулся от гнева.

— Бог им судья! И меня будут помнить всю жизнь.

— Ты смотри... Михаил Андреич! Спаси бог, — распря! Все погибнем! Ну, поезжай! А я пойду к себе в шалаш.

— Нешто ты не с князем?..

— На виду у дворян и князей? Достойно ли нам равняться? Ворчать будут. Ну, езжай. С Мосеевым да с Пачомовым приходи; я там — на краю, у церквы.

— Дай бог тебе здоровья, Захарыч! Береги себя!

Буянов вскочил на коня, скрылся в темноте, Минин торопливо зашагал по скользкой дороге.

Рано утром окрестности Балахны огласились огушительным боем литавр. Трубачи возвестили утреннюю зорю:

Гой еси вы, дружина храбрая!

Не время спать, пора вставать!

На телегах развезли по полкам хлеб и вареное мясо. Около шатров поднялось шумное оживление. Разговоры, смех, звон котелков, кувшинов с теплым квасом. (Нижегородцы хорошо умели варить пиво и квас. Даже иноземцы, приезжавшие в Московское государство, восторгались нижегородским пивом.)

Спасибо Балахне! Хорошо встретила, по-родственному.

После трапезы, помолясь, двинулись дальше.

Погода ясная, безветренная.

Следующая остановка — в любимом Козьмою поселке Василево¹, вотчине Василия Шуйского. Раскинулся поселок на высоком берегу, над Волгой, в соседстве с дремучим лесом. Направо, налево — волжские просторы, ширь.

На откосе из-под снежного покрова обнажилась земля. Река притихла, закраины отошли от берегов чуть не до середины реки: так и жди — ледоход! Вороны, срываясь с высокого нагорья, спускаются на Волгу. В вечернем воздухе шелестят знамена.

Минин стоит на откосе, вспоминает, как в детстве ходил сюда из Балахны к родной тетке. «Когда война кончится,

поселиться бы навсегда в Василеве, отойти от бояр, дворян и всякой служилой суеты...».

И люди в Василеве крепкие. Вместе с ними Козьма бил панов, пытавшихся обратиться Василево в свою вотчину. Вместе с василевцами зарывал панские кости в могилы, на память внукам насыпал высокие курганы.

И теперь!.. Не успело ополчение приблизиться к Василеву, как несколько десятков дюжих, коренастых парней с секирами на плечах вышли навстречу Пожарскому. Стали поперек дороги: «Батюшка воевода, прими! Постоим головою».

Козьма прямо от Пожарского увел их к себе. Он долго в этот вечер бродил по василевскому берегу. Свою силу Козьма видел и сознавал. Но не мог отделаться от тяжелого чувства. Примирив врагов непримиримых, сам не мог примириться с мыслью, что стоит ниже бояр — как был тяглемом, так им и останется, и самый последний ополченский дворянин не считает его себе равным.

Вспомнился ему один храбрый василевский ратник, Сенька Сокол, бывший в войске Алябьева под Балахной. Любимые поговорки его были: «Пускай во все повода!», «Дуй в хвост и гриву!». На своей сивой лошаденке, закинув над головою меч, он врезался в самую гущу поляков, обращал их в бегство. «Главное дело — не робь! Греха на волос не будет!» — приговаривал он, возвращаясь из сечи и отирая кровь на лбу. «Не уподобиться ли и мне Сеньке и не пойти ли в открытую после изгнания ляхов?!».

Спрашивал о Сеньке Козьма у василевских парней. Говорят, ушел куда-то с ватагой бурлаков. С какой бы радостью Козьма встретился с ним и поговорил по душам. Но где его найдешь?! Ах, как хотелось бы кому-нибудь все высказать! Но нет. Надо молчать, молчать! Князь Дмитрий Михайлович — хороший человек, но поймет ли он? Не испугается ли того, что сказал бы ему он, Минин?!

И здесь вокруг одного из костров, кучка ополченцев!

¹ Ныне Чкаловск.

У костра, как и в Балахне, Гаврилка с ратниками.

Допытывается:

— А как будет красный, по-вашему?

Татарин Юсуф отвечает:

— Кызыл.

— А по-вашему?

— Якетере...—отвечает мордвин.

— Ешкарге, — торопится сказать черемис, не дожидаясь вопроса.

Увидав Козьму, ратники разошлись по шатрам.

— Чего ты, беспокойная душа? — спросил Козьма Гаврилку.

Гаврилка опустил глаза:

— Хочу по-ихнему знать... Все языки хочу знать!

— Какой мудрец! Мы и так друг друга хорошо поняли. Все заодно идем. Разноплеменность не мешает. Душа у всех одна.

Снова, после ночлега, шло ополчение под знаменами, по лесным и полевым дорогам. Появились первые больные. Их положили на телеги. Суетились знахари с травами и настойками. За каждого вылеченного получали чарку водки и деньги.

Все труднее итти по весенней дороге, заиндевелой утрами и вечерами, сырой днем; особенно трудно переправляться через овраги и речки с пушками, возами и телегами.

Козьма собрал самых голосистых певунов из нижегородских бурлаков да гусельников, пустил их впереди. Ратники подхватили песню. Было приятно касаться локтями друг друга, сливать свой голос с голосами товарищей, чувствовать, что ты не один. В подневольной барщине не испытывал этого чувства никто из бедняков, обреченных ныне в брону.

Выезжали на Сафат-реку
 На закате красного солнышка
 Семь удалых русских витязей,
 Семь могучих братьев названных.
 Выезжал Годено-Блудович,
 Да Василий Казимирович,
 Да Василий Буслаевич,
 Выезжал Иван Гостиний сын,
 Выезжал Алеша Попович млад,
 Выезжал Добрыня молодец,
 Выезжал и матерой казак Илья Муромец.

Лицо Минина, густо обросшее бородой, покраснело от напряжения: его голос звучал громче всех. То и дело он взмахивал рукой, как бы давая знак, чтобы пели дружнее.

Так подошли к Юрьевцу.

Юрьевские посадские дали ополчению отряд хорошо вооруженных, тепло одетых, удалых ратников, вручили Минину казну, собранную среди жителей города и уезда.

Ополчение расположилось на отдых в сосняке, над Волгой, против впадения в нее Унжи.

В стан Пожарского прибыли верхами юрьевские татары со знаменами в головном ряду. Просили взять под Москву.

В 1552 году Иван Грозный подарил Юрьевец астраханскому царевичу, женившемуся на русской княжне. Тогда переселилось сюда из Астрахани немало татарских семейств. Их потомки теперь предлагали Пожарскому помощь. Пожарский обнял, крепко поцеловал татарского старшину.

Это был маленький, седенький старичок, с темными, печальными глазами. Он складывал желтые, морщинистые руки на груди; тонкие, потрескавшиеся губы его шептали проклятия.

Три года назад к Юрьевцу подошли поляки. Их вел пан Лисовский. Татары, соединившись с русскими посадскими и крестьянами, вступили в бой с Лисовским. Но они были плохо вооружены, им пришлось отступить в унженские леса. Уходя из родного города, жители сожгли его дотла. Была зима, и немало народу погибло от стужи в дремучем лесу, особенно малых детей. Татары поклялись Аллаху отомстить панам.

Старичок-старшина встал со скамьи и низко, до самой земли, поклонился Пожарскому:

— Не откажи взять наших всадников!

Князь сказал, что ни русский, ни татарин, ни чувашин, ни мордвин и никакой другой народ на Русской земле не может считать себя в безопасности, пока паны хозяйничают в Московском государстве.

На широком поле, за городом, конница юрьевских татар показала пример военного боя. В многоцветных полосатых халатах, в остроконечных, подбитых мехом, шапках, татары, пригнувшись к шеям коней, с гиканьем и свистом рассыпались по полю. Быстро разделились на два лагеря. Замерли на месте, ожидая сигнала.

Вдруг пронзительно, разноголосо зашвистели, затрубили дудки. Раздался неистовый крик наездников. Обнажились изогнутые сабли и ятаганы, ощетились пики. Наездники обеих сторон беспорядочной массой стремглав ринулись навстречу друг другу и, скрестив сабли, замерли на месте один против другого.

Все это было проделано стремительно и ловко. Пожарский и Козьма помчались к месту сшибки наездников и, втиснувшись в их толпу, не могли удержаться от похвал. Однако Пожарский посоветовал нападать на врага не враспынную, а сомкнуто, держаться ближе друг к другу. Он осмотрел оружие наездников, велел лучше отточить копья. Ополченцы окружили татар. Все были довольны новыми союзниками.

У Юрьевца Волга делает размашистый поворот. Впереди — остановки в селе Решме, Кинешме, на Плесе и Костроме. А там и Ярославль!

Когда ополчение уходило из Юрьевца, была полная распутица.

В почерневших от сырости улочках звенела неумолчная капель, сверля и подтачивая рыхлый снег вблизи посадских хибарок. На тесовых кровлях выступила древняя прозелень мхов.

Дорога испортилась. Ноги людей и коней проваливались сквозь рыхлый наст. Лошади еле-еле вытаскивали из снежного месива дровни с нарядом.

С Волги налетали резкие, но теплые ветры, — с такою силою, что пришлось опустить знамена.

— Ветер-вешняк, братцы, не просто так, — зиму раздувает... Ему вдвое силы нужно, — говорили ратники.

— Место нагорное, чистое, — тут-то ему и потеха!

Посыпались шутки и прибаутки. Диводивное: распутица ноги ломает, гложет сырость, донимает мокрота, а на душе весело. Прошли полторы сотни верст, осталось до Ярославля два ста с пятьюдесятью. Одно у всех на уме: «Скорее бы!». К просторам привыкли. Часто повторяли слова Пожарского: «Меч решит судьбу!». Зачем идти в такую даль, как не за победой? Только бы дружба!

Братские встречи по деревушкам и починкам укрепили в ратниках сознание своей силы. Многие из дворян тайно осуждали Пожарского: зачем рядом с собой ставит простолюдина, бывшего говядаря?

Вздыхали: «Господи! Когда же кончится сие позорище?».

И будто в ответ им, под взмахами рук Козьмы, ополченцы буйными головами запевали все новые и новые песни.

Пожарский тоже пел! Зрение не обманывало дворян — князь вместе с черным людом и Козьмою пел мужицкие песни!..

В Решму из Владимира прискакал голец от тамошнего воеводы Измайлова. Сообщил: подмосковные бояре, Трубецкой и Зарудкий, привели к присяге псковскому самозванцу-вору Сидорке все казачье ополчение. Минин и Пожарский собрали совет.

Пожарский велел поблагодарить воеводу за известие и передать ему, что вору Сидорке присягнули Зарудкий и Трубецкой, а не казаки: «Довольно с казаков и прежних воров».

В Кинешме ополчение отдыхало. До Кинешмы дорога оказалась очень трудной. Ее пересекали овраги и речки, выступившие из берегов. Всадники, рискуя утонуть, переправляли пехоту на своих конях. Наскоро сооружали паромы, затем снова разбирали их. Ополченцы, по пояс в воде, вытаскивали на берег бревна и тесины. Снова складывали их на дровни, везли дальше.

Поминутно раздавался над водой могучий голос Минина, подхватываемый голосами бурлаков:

Ой, раз, ой, раз!
Еще раз, еще раз!

Взглянись, друг!
Возьмись вдруг!
Да ух!

Много хлопот доставила высокая гора при селе Нагорном, вблизи Решмы. Падали люди, скатывались вниз кони, ломая себе ноги; в глине увязали сани и телеги, приходилось их брать «на руки».

И везде, в трудные минуты, появлялся Минин:

Ой, матушка Волга,
Широка и долга!
Укавала, уваяла,
У нас силушки не стало!
Взглянись, друг!
Возьмись вдруг!
Да ух!!!

Отдых в Кинешме показался праздником.

По просьбе Минина жители Кинешмы выслали в Плес артели лесорубов, плотогонов и плотников: соорудить большие паромы для переброски ополчения на луговую сторону. Начался полный ледоход.

Ополчение готовилось к переходу в Кострому.

XIV

Накануне переправы у Плеса Минин собрал в избе древних ведунов-знахарей. Мосеев и Пахомов стали около избы, никого не пускали к Минину. На грязном дощатом столе коптил ночник. Сошлись три седых, убогих старца и две плесовские вешуньи-старухи. Косматые, темные от грязи, старухи застыли на месте, глупо улыбаясь. А старцы держались угрюмо, сидели, тяжело посапывая волосатыми ноздрями.

Минин стоял посредине избы.

— А ну-ка, добрые люди, погадайте! Сподобит ли господь нас, грешных, побить ляхов, очистить от них Московское государство? И что будет со мною после того?

Сел на койку в темном углу. Оттуда донесся его голос:

— Говорите без утайки, все, как есть. Будет ли благодать божия над нашим великим делом или суждено погибнуть на поле бранном, не победив врага?

Три старца поднялись, подошли к Минину. При свете ночника стали рассматривать его ладони. Потом отошли в сторону, начали между собой перешептываться. Один из них достал из-за пазухи траву, сжег ее, тщательно собрал пепел и подошел к Козьме:

— Плакун! Плакун! — зашипел он. — Плакал ты долго, выплакал мало. Не катись твои слезы по чисту полю, не разноси твой вой по синю морю. Будь ты страшен злым бесам, полубесам и недругам! А не дадут тебе покорница — утопи их в крови. А уйдут от твоего позорища — замкни их в ямы преисподние. Будь мое слово при тебе крепко и твердо. Век векам!

Кончив заклинание, он осыпал Козьму пеплом.

Подошел другой старец, тихо проговорил:

— Убит огненный змей, рассыпаны перья по Хвалынскому морю, по сырому бору Муромскому, по медвяной росе, по утренней заре... Яниха, шойдега, бираха, вилдо!

На смену ему приблизился третий старец. Он спросил Козьму:

— Что видишь?

— Ничего.

— Ничего и не останется.

— Как так?

— Покорись королю, покорись московским боярам, не то погибнешь...

— Погибну?!

— В Костроме сложишь голову.

— Откуда ты знаешь?

— Костромские мы... пришьлые люди.

— Кто вам-то сказал?

— Филин-вешун на соборном погосте. А чтобы того не было, коли не отступишься и пойдешь дальше, вот выпей из баклажки нашего винца-сырца, и никакая напасть не возьмет тебя.

Минин дал им серебра и вытолкнул всех вон, за дверь.

Долго при свете ночника разглядывал зеленую, мутную жидкость, налил ее в черпак. Покачал головою, нахмурился, пить не стал. Вышел на волю.

Луна. Воздух прозрачен, — отчетливо видны кустарники и бугры по ту сторону реки. После прокопченной, курной избы и вонючих колдунов легко дышит-

ся. Внизу шуршат льдины, теснясь у подножия обрыва. Вся река в глухом беспокойстве. Торопливой массой движутся льдины. Вчера совсем было очистилась река, уже хотели спустить паромы, но вдруг прорвало затор повыше Плеса, у островов, и опять пошел лед.

Минин тихо побрел вдоль берега: «Кострома? Почему колдуны предрекают гибель не в Москве, а в Костроме?». До его слуха долетел голос Романа Пахомова. Заглянул в овраг. Прислушался — шамканье знахарки:

— Аль полюбил кого?

— Полюбил, ей-богу, полюбил! Сызмала полюбил! — слышался плачущий голос Пахомова.

— А ты бога не поминай... Заговор — дело грешное.

Минин спустился вниз, подошел к знахаркам. Пахомов, узнав его, отскочил в сторону.

— Здешние они... Калякал я тут с ними, — смущенно проговорил он.

— Здешние-то они здешние, — сказал Минин, — а ворожить не умеют. Костромские старички лучше их ворожат.

Старухи зашипели, полезли, размахивая руками, к Козьме:

— Слушай их больше! Слушай! Знаем мы этих старичков. Ты спроси — откуда они? Кто они? Почто забрели в Плес?

— Почто? Ворожить. Вон и зелье мне дали пить. От несчастий.

Старухи беззубо захихикали:

— Гляди! Гляди сам в оба!

Козьма сунул в ладони вещуньям серебряные монеты.

Вернувшись в избу, вылил из черпака заговорное зелье в баклажку. Велел позвать Буянова.

— Милый мой, — сказал Козьма. — Объявились тут трое знахарей-шептуннов... Слышал ли ты о них?

— Знаю. Костромские коновалы, а главного звать Гераськой. Коней они у нас пять голов загубили травами. Казаки хотели их утопить.

— Возьми баклажку. Здесь отравы: дали ее мне. Заставь их выпить. А до того пытай: чьи они, кто их послал сю-

да? Зачем? А отраву дай! Пускай выпьют!

Буянов, осмотрев баклажку, покачал головой, вздохнул:

— Проклятые!.. Ладно. Выпытаю.

Волга за ночь очистилась ото льда.

В первую голову погрузили на плоты коней. Кони упирались, становились на дыбы. Собравшиеся на берегу ополченцы на разных языках покрикивали на них, помогали коноводам вталкивать их на мостки, соединявшие берег с паромами. Минин, красный, потный, в расстегнутом кафтане с силою подхлестывал длинной плетью особо норовистых, сердито ругаясь. На пароме коней крепко привязали к лежням (перилам). С конями на паром встали казаки и татары.

После этого с берега по бревнам спустили крупные и мелкие пушки. Провожатыми сели Гаврилка, Олешка, другие смоляне. Промокшие насквозь, деловито придвигали они вплотную одну пушку к другой, протирали дула куделью. На этот же плот Минин приказал сесть и своему сыну, пушкарю Нефеду.

Погрузив наряд, Козьма повел к Волге ратников.

Многолюдная артель плесовских гребцов вызвалась помочь ополчению в переправе. Вздыхались над водой сотни длинных, тонких весел. Трудно одолеть суводь¹ разлива. Плоты и паромы то стремительно относило в сторону, то начинало кружить на одном месте. Гребцы, обливаясь потом, еле справлялись с водой.

Минин зорко наблюдал за переправой с берега, озабоченно покачивал головой — волновался.

— Спасибо плесовским! Знатно помогли!

Ополченцев благополучно перебросили на луговую сторону, а их уже насчитывалось не менее тридцати тысяч.

Следующую ночь пришлось заночевать вдали от жилищ, в прибрежной рамени.

Тревожная ночь! Вода прибывала очень быстро. Испуганно ржали кони,

¹ Суводь — водовороты во время половодья.

косясь в сторону реки. Не давало покоя шуршанье воды в прутьях.

Разве уснешь в такую ночь? Поневоле — в шатрах разговоры.

«Снег тает дружно — быть урожаю», — говорят нижегородцы, снимая шеломы и крестясь в сторону Волги. Чуваши добавляют: «И ягод будет много!». Мордва и черемисы тоже согласны: разлив большой — хорошо!

А о том, что война помешает полевым работам, говорить не хочется.

Перешли на вранье.

Ополченец, с секирою за спиной, рассказал о деревенской колокольне, будто есть на ней дивный колокол: позвонят о рождении, а он гудит до самой пасхи.

Лицо его было серьезное, хотя все кругом рассмеялись над его словами.

— Так врать умеют только монахи, — сказал Гаврилка, подойдя к толпе шутников.

Находившийся среди ополченцев монах обиделся. Рассмеялись еще веселее.

— Давай-ка я расскажу, слушайте, оживился Гаврилка. — Был один постник. В самый великий пост поймали его — пек на свечке яйцо перед иконой. «Что ты делаешь?» — закричали ему, а он: «Сатана меня соблазнил». Чорт подслушал, не вытерпел и закричал: «Врет! Сам-то я впервые вижу такую штуку. Смотрю и учусь!».

Монах злобно плюнул: «Еретик!»

— Один врал — не довра, — хитро причмокнул Олешка, — другой врал — переврал, а третьему ничего не осталось...

— Ври, парень, и ты! Чего-нибудь да осталось... — раздался голоса.

— Про панов я... — смущенно заговорил Олешка. — Сидят в осаде в кремле паны, — ни войти, ни выйти, — и скучно им. Давай врать, чтобы забыть свою неволю. Пан Гонсевский расхвастался: «Нешто Москва умеет стрелять! Они только легучую мышь пугают. А мы — прямо в цель. Вот возьмите меня. Был я на охоте, бежит дикая коза. Я выстрелил так ловко, что пуля попала в правое ухо, а вылетела в копыто задней ноги!».

— Как же это так? — закричали ратники.

— Да так, — улыбнулся Олешка. — Когда он стрелял, коза задним копытом ухо себе чесала. Пуля и прошла сквозь копыто. Тут пана Гонсевского перебил пан Доморацкий: «Нех ясно-вельможный пан вспомнит: я насилу задний копыт притянул к уху; без меня козе не достать!...».

Но вот около ополченцев остановился проезжавший верхом Буянов, подозвал Гаврилку, поведал ему: в Плес из Костромы пробралась соглядатаи-колдуны и подсунили Минину отраву. Да не удалось убить Захарыча! Буянов заставил их выпить зелье. Все трое богу душу отдали, покayавшись перед тем, что подсланы дьяками костромского воеводы Шереметева.

— Теперь не зевайте, — сказал Буянов. — Может, придется вспугнуть Шереметева огнем.

«Бояре задумали погубить Минина!». Эта весть передавалась из уст в уста. Послышались проклятья, угрозы. До самого утра бушевали ратники, требовали отдать им на растерзание костромского воеводу.

Рано утром забили литавры, загудели трубы, оживив лес, подняв ратников, — войско стало готовиться в дальнейший путь.

Ой, посеяв мужик да у поли ячень:
Мужик каже—ячень! жинка каже—гречка!
Ни нов мини ни словечка!
Нехай буде гречка.
Нехай, нехай, нехай, нехай, нехай
буде гречка!.

Эхо разносило басистое, озорное, дружное «нехай!» по окрестностям.

Не отстали и нижегородские ратники. О чем могли петь нижегородские сироты и земские бобыли, как не о родной своей Волге?

Ах ты, Волга моя, Волга-матушка!
Хорошо Волга разливалась,
Со крутыми берегами сополнялася,
Потопила Волга зелены луга,
Поняла Волга все доли, горы!

Песни песнями, а из головы не выходит мысль: «Козьму Захарыча хотели отравить». Еще дороже он стал ополченцам. Возросла и окрепла в по-

ходе их ненависть: к полякам, боярам-изменникам и их прислужникам, вроде костромского воеводы. В самом ополчении нашлись высокородные князья, о которых поползли недобрые слухи.

Недавно на одном из привалов князь Черкасский обвинил Минина в гордости и непочтении к князьям: проезжая, не кланяется. А надо бы, при встрече с князьями, слезать с коня и кланяться в пояс, по доброму старому обычаю.

Минин остановил проходивших мимо ратников и казаков, спросил их:

— Хотели бы вы, други, чтобы я, Козьма, ломал шапку перед князьями ополчения, подобно холопу, как того требует ныне этот князь?..

И указал рукою на Черкасского.

— Не хотим! Ратоборствуй без унижения!.. — закричали ратники и казаки.

— Того не хотят войны. Могу ли я послушаться их? Что люди, то и я.

Князь Черкасский позеленел от злости, скрылся в своем шатре.

И опять князьям мерещится Болотников! А в ополчении — немало его соратников. Рта им не зажмешь. Со слезами рассказывают о погибшем от рук бояр народном герое.

.....
Когда войско вышло в открытое поле, вдали, на бугре, показались два всадника, мчавшиеся навстречу ополчению. Приглядевшись, можно было разобрать — мужчина и женщина. Несутся прямо к воеводе. Подъехали. Сказали ему что-то. Раздался бой литавр, приказ «остановиться!».

А дело в том, что стрелец костромского воеводы, Константин Симонов, и стрелецкая дочь Наталья прискакали с тревожными вестями.

В Кострому пришла грамота от московских бояр, в которой говорилось:

«...Мы ныне, видя то разорение, зело душою и сердцем скорбим и плачем, и молим, чтобы всемогущий и вся содержащий в Троице славимый бог наш послал дух свой святой в сердца ваши всех православных крестьян, чтобы вам познати истину, а от воровские смуты отстати и к великому государю нашему царю и великому князю Владиславу

Жигимондовичу всяя Руси вина свои принести и покрыти нынешнюю своего службою».

Воевода Иван Петрович Шереметев, единомышленник семибоярья, послушавшись князя Мстиславского и своего родственника Федора Шереметева, решил держаться присяги, данной боярами польскому королевичу Владиславу, и объявил нижегородское ополчение и вождей его «мятежниками».

Он велел городской страже запереть ворота, не впускать никого, а пушкарям — не сходить со стен, быть готовыми встретить «бунтовщиков» огнем.

Но... боярская воля — одно, мирская — другое. Многие из посадских людей и с'ехавшиеся в крепость ближние селяне восстали против воеводы и не допустили пушкарей к стенам. Воевода послал против них стрельцов; те тоже перешли на сторону мелких людей. В городе начались волнения.

Константин и Наталья, подкупив воротников, поскакали из крепости уведомить о случившемся нижегородское ополчение.

Выслушав их, Козьма сказал спокойно:

— На всяку беду страха не напаешься. Наше дело правое — пойдем, Митрий Михайлович, чего там! Народ не выдаст.

Решили итти к Костроме, положившись на честь и разум «последних людей».

.....
Иван Петрович Шереметев, костромской воевода в страхе поглядывал из окна вышки дубового воеводского дома на площадь.

Воеводиха забила в угол с двумя малолетними детьми, испуганно таращившими глазенки на отца.

— Подлые!.. Изменники!.. — иступленно кричал воевода.

В дверь постучали. Вошел дьяк, растрепанный, с подбитым глазом.

— Кто тебя так?

— Не слушают! Заиграли трубы Пожарского, и словно бы все ума лишились. Сбили воротников. Хлынули навстречу нижегородцам... Какая-то баба меня кочергой... Насилу вырвался.

— Далеко ль они? — спросил воевода, придя в себя.

— Близко. С Успеньева собора видно.

— Велика ли шайка?..

— Господь ведает!

— Да не упрямясь, батюшка, выйди с образами. Поклонись! Встреть их!.. — заплакала воеводиха. — Что тебе?!

— Чтобы я, Шереметев, да поклонился воровским людям?! И принял бы, как равного, наемника холопьев, бесчестного князька? Никогда тому не быть!

Шереметев бегал из угла в угол, точно безумный. Может ли он унизиться, став на одну доску с «опоганившим княжеское достоинство» Пожарским?

— Да разве он — князь? Собака он! Вор! — вопил Шереметев. — Беги!.. Прикажи огнем встретить мятежную орду! Где архимандрит?! Натравь его!

— Заперся в соборе. Испугался народа. Многие дворяне и купцы с ним. Богу молятся!

Шереметев махнул рукой:

— Нашли время молиться!

— Тише! — всплеснула воеводиха руками. — Господь покарает нас! Образуемся, Ванюша!

На воле усиливался рев толпы. Народ, вооруженный дубинами и рогатинами, вливался через Спасские ворота в крепость. Повалил к дому преданного воеводе стрелецкого сотника Жабина, выбил дверь, ворвался внутрь дома.

После этого толпа осадила ненавистную с'езжую избу, где много несправедливых расправ творил костромской воевода. Разгромив ее, ринулась в Пушкарское дворовое место, разбила оружейные сараи. В руках у восставших появились самопалы и копья.

Воевода окаменело стоял на месте, ожидая смерти.

— Прощайте! — бормотал он. — За родину погибаю!..

В городе началась распря: одни — за Владислава, другие — за нижегородцев; но последних было больше, они и взяли верх. Устроили на валу сход; решили убить захваченного в плен Шереметева, а Пожарскому открыть ворота. Сход потребовал казнить воеводу на площа-

ди, всенародно, как изменника, с оглашением его злого умысла против нижегородского ополчения.

Навстречу ополчению пошло посольство. Во главе его костромичи пустили красивую, дородную крестьянскую девушку с хлебом-солью. Красавицу нарядили в дорогой охабень, убрали лентами и украсили голову усыпанным красными камнями кокошником. За нею заковыляли, опираясь на посохи, седобородые посадские старосты. Дальше — шумная толпа посадских, ремесленников, бобылей и всяких иных жилецких людей.

Вожди ополчения приняли хлеб-соль, долго кланялись красавице-крестьянке.

Старосты отвесили ответный поклон — до самой земли:

— С господней помощью мы Ивашку Шереметева, замышлявшего против вас, сняв с воеводского места, посадили в клеть, где оный и находится под нашими приставами. Бьем тебе челом; Митрий Михайлыч, и тебе, Козьма Захарыч, — поставьте нам воеводу достойного, который прямил бы не королевскому заморышу, а общеземскому святому делу! И многие из наших людей просят принять их под твою хоругвь, Митрий Михайлыч... особенно юноши.

У городских ворот ополчение ждала новая толпа.

Посадские становились на колени, женщины плакали при виде усталых, но бодро шагавших ратников. Норовили сунуть им в руки хлеб, либо пирог, а кто вареную курицу, кусок вареного мяса.

Из-за реки Костромы приплыли было монахи Ипатьевского монастыря, чтобы поднять костромичей против Пожарского. Узнав, что воевода сидит под замком, а архимандрит заперся в соборе, в страхе разбежались.

Гаврилка, Осип, Олешка и Зиновий, по прибытии в Кострому, пришли к Пожарскому с челобитием.

— Отдай нам Шереметева на расправу! Он хотел погубить Минина, а мы его хотим погубить!

Пожарский усадил парней, сказал: — Шереметев ли послал колдунов? Не оговорили ль они своего воеводу?

Мы того не знаем. Будет суд. Как он скажет, так тому и быть должно.

Сдав коня ополченцам, Пожарский вместе с Мининым пошел посмотреть на Шереметева. Приказал земским старостам освободить его. Тот всхлипнул, стал на колени. Хотел что-то сказать, но не смог, мешали слезы.

Козьма посмотрел на него презрительно: «Блудлив, как кошка, труслив, как заяц». Не любил Козьма таких людей.

— Ну, вставай!.. — усмехнулся он. — Не стыдно ли, воевода, раскисать от слез... Не баба!

Пожарский посмотрел на Минина взглядом, просящим снисхождения к воеводе. Козьма хорошо знал мягкий нрав Дмитрия Михайловича. Отвернувшись от князя, он сокрушенно вздохнул:

— Не верю я таким слезам. Накнулся рылом на кулак, вот и плачет.

Наверху, в воеводском доме, Пожарский спросил Шереметева:

— Ради чего ты пошел против народа?

Шереметев молчал, низко опустив голову.

— Отвечай, Иван Петрович!.. — грубовато потряс его за плечо Козьма. — Умел бушевать, умей и отвечать!

— Не знал я...

— Чего не знал?

— Что у вас такая сила... Да и страшился.

— Чего страшился?

— С мужиками итти заодно. Стыдно!

— А с королевичем, стало быть, не страшно и не стыдно итти против своих? — гневно спросил Пожарский.

Козьма напустился, сжал кулаки. Стукнуть бы воеводу по голове — из него и дух вон! Пожарский загородил собою Шереметева.

— Больше ты — не воевода, — холодно произнес он. — Помолись на иконы и покинь с миром воеводскую избу. Уступи место нашему человеку — князю Роману Гагарину, и дяку из посадских тяглецов, Андрею Подлесному. Вот и весь наш сказ. Эти люди с нами заодно идут против польских панов.

.
Накануне выступления ополченцев в Ярославль прискакали гонцы из Суздаля, уведомившие, что их древнему городу угрожают шайки атамана Просовецкого. Дмитрий Михайлович отправил туда своего двоюродного брата, Романа Петровича, с войском, чтобы стать в Суздале «твердой ногой» (любимое выражение Пожарского).

— Вот истинный друг наш! — говорили нижегородцы о Пожарском. — В опасные места отсылает братьев своих, ставя благополучие родины выше любви к родне.

Дивились люди, ибо то было большою редкостью в княжеских родах... Но не трудно догадаться: Пожарский посылал братьев на передовые битвы ради своего же спокойствия. В братьях он был уверен более, чем в ком-либо другом из воевод.

XV

В Ярославль!

Высланные Мининим из Костромы люди заранее подготовили переправу.

Встреча в Ярославле была еще радужнее, чем в других городах. И то сказать, — сколько страхов натерпелись ярославцы, пока дождалась ополчения! Давно поляки зарятся на Ярославль как на ключ к северным городам, еще не тронутым войной. Южную Московию и украинные города они давно разорили и разграбили.

Пока ополчение шло из Нижнего, враги не дремали. Вокруг Ярославля появились крутные отряды, враждебные нижегородцам.

Посланные Заруцким казаки заняли Углич. В самом тылу ополчения, в Пошехонье (сто верст от Ярославля) сумел укрепиться другой сообщник Заруцкого — атаман Василий Толстой. На северо-западе — подосланные поляками разбойничьи шайки взяли приступом богатый Антониев монастырь, близ Красных Холмов. В Тихвине, также в тылу ополчения, засели шведские наемники — немцы, хорошо вооруженные, закаленные в боях войны. Это, пожалуй, самый опасный враг. На юго-востоке, в Перея-

славле-Залесском, тоже неспокойно. Кольцо врагов.

Из Москвы получены неутешительные вести: подмосковное ополчение и вправду присягнуло третьему Ажедмитрию—вору Сидорке.

Да и в самом Ярославле таятся скрытые сторонники королевича Владислава и Сидорки. Были и такие, что, слоняясь по кабакам и базарам, расхваливали атамана Заруцкого.

Немедленный поход к Москве, как об этом думали на земском совете в Нижнем, оказался невозможным.

Явилось и новое затруднение.

Ярославские старосты, не предполагавшие, что нижегородское ополчение останется в Ярославле на долгое время, не приготовили ни жилищ, ни запасов продовольствия.

Настали тяжелые ополченские будни. Похолодало: дули сильные ветры. Начались болезни. И немало ратников умирало.

Тайные слуги поляков сеяли смуту среди плохо устроенных ополченцев и в дворянских полках: «Умираете от голода и мора того ради, что князюшка ваш Митрий восхотел сам на царский престол сесть!..». Ругали Козьму, намекая на его своекорыстие.

Минин и Пожарский решили созвать в Ярославле земский совет, как в Нижнем.

Настоящая зима! Небо серое, холод, пронизывающий насквозь ветер; снег, жесткий, похожий на крупу, больно хлещет в лицо.

Убежавшие из-под Москвы бояре — Василий Петрович Морозов (бывший казанский воевода, в отсутствие которого дьяк Шульгин да Биркин захватили власть в Казани) и князь Владимир Тимофеевич Долгорукий, — пробираясь к воеводскому двору, на земский сход, вздыхали:

— Все спуталось, хоть бы помереть, что ли! Глаза бы не глядели...

— Полно, батюшка, Василий Петрович, поживем еще...

— Да уж какая жизнь!.. Раньше, бывало, не с каждым боярином рядом ся-

дешь. А ныне с поганим мясником единым духом дыши... на одной скамье томись... Так и умереть недолго... от срама... Ох, ох, ох!

— Наказал господь бог! За грехи наказал, — царей плохо слушались...

— Доколе терпеть?

— Царя выберем и заживем, Василий Петрович, попрежнему. Я верю. Ей богу верю! (А сам чуть не плачет.) Господь-батюшка все отнял: и дом в Москве, и вотчины, и животы¹ наши, и рабов, и скотину, но боярского сана и бог не отнимет... Наше вернется! Ох, ох, ох!

Долгорукий тихо сказал:

— Вот видишь реку... Которосль... Как она втекает в Волгу, так мы с тобой волеемся в Боярскую думу. Пускай очистят Москву! Сиди, куда посадят, терпи, покуда терпится. Потом бояре свое скажут. Куземка, видать, мужик не глупый... И ладно! На пожаре всякая тварь, льющая воду, полезна.

Морозов молчал: «Чего зря болтать?». Не сядет после смуты Пожарский, худародный князь, выше него, Морозова, в Боярской думе, и не может мужик Козьма остаться у власти, коли бояре вернутся на свои места! Одно обидно: нет обитых атласом саней, убранных персидскими коврами. Катайся, курам на смех, в розвальнях. Уж лучше пешком, чем в розвальнях, на посмешище «черни».

На воеводский двор, к земскому сходу, бояре явились с видом смирения и покорности.

Просторная изба, прилегающие к ней горницы и сени полны народу. При виде бояр находившиеся в избе расступились. Пожарский поднялся из-за стола и провел Морозова и Долгорукова в передний угол под образа.

Поклонившись всем, бояре сели. Как ни старался князь почетнее усадить их, все-таки под боком у Долгорукого оказался Козьма.

— Но, я вижу, — терять времени, братья, не след... — продолжал Минин, не обращая внимания на высокородных соседей. — Знатным воеводам надлежит очистить и Антониев монастырь, и Уг-

¹ Животы—имущество.

лич, и Пошехонье, и Переяславль-Залесский, ибо военная мудрость их тем паче поразит врага, чем прытче они с войском в те грады устрелятся.

Из толпы вышел невзрачного вида, одетый бедно, в лаптях, неизвестный ратник и крикнул смело:

— А из Понтусова¹ зорения засесть бы нам в Великой Устюжне да город у Белого озера построить. На самой дороге. К Ярославлю в те поры немцам не пройти. В болотах увязнут и в лесах пропадут... да и нам бить их удобнее станет...

Ратник вздернул плечом, осмотрел всех, переминаясь с ноги на ногу.

Наступило молчанье.

Буянов толкнул Гаврилку, посланного на сход смоленскими пушкарями, и оба, Буянов и Гаврилка, крикнули:

— Митрий Михайлыч, приметь! Дело говорит.

Раздалось много голосов в защиту смелого ратника.

Козьма дождался, когда стихнет шум, сказал громко:

— Золотые слова. Немцу поперек дороги стать — первое дело.

Выступали и князя. Одоевский с добродушной улыбкой взглянул на ратника: «До Белого озера и Устюжны едва ли не триста верст от Ярославля. Не опасно ли так далеко угонять ополченцев?».

Козьма спросил, ни к кому не обращаясь: «Земля наша?». И сам себе ответил: «Наша!».

И затем загремел:

— А по своей земле ходить можем и за пять, и за десять сот верст. Дальше поставим охрану — больше своей земли бережем.

После этих слов Козьмы князя выступать не решились.

Пожарский обратился к боярам; они сидели — потели, вздыхали, закатывали глаза к небу.

Самого царя Бориса так не смущались, как мужиков, — точно языки прилипли.

Завертелся на своем месте Долгорукий.

— Не цари мы и не царевичи, и не королевичи...— смиренно вздохнул он.— Како решите, тако и станет. Бог вам судья!

— Истинно рек! — встряхнул курчавою головою боярин Морозов. — Ныне такое дело... Не Боярская дума!

Решено: к Антониеву монастырю против разбойничьих шаек, подкупленных польскими панами, послать войско под началом князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского да князя Троекурова, а с ними, по совету с Козьмой, Пожарский решил послать стольников, стряпчих и многих дворян. Дмитрия Петровича Лопату-Пожарского — в Пошехонье. Очистив Антониев монастырь и Пошехонье, воеводы должны идти на Углич, общими силами выбивать людей Заруцкого.

Устюжну-Железнопольскую тоже решено было занять, а при Белом озере построить «новый город», защиту государства от шведов, назвав его Белоозерск. Выслать туда сотню стрельцов, а с ними — землекопачами — костромских плотников и плененных Лопатю-Пожарским в Ярославле казаков.

Сход назвали «общим всея земли советом».

Пожарский прочитал грамоту к вычегодцам «о всенародном ополчении городов на защиту государства, а беззаконной присяге князя Трубецкого, Заруцкого и казаков новому самозванцу и о скорейшей присылке выборных людей в Ярославль для земского совета и денежной казны на жалованье ратным людям».

Грамоту ратники выслушали со вниманием. Пожарский дал ее подписать боярам, дворянам, посадским и килецким людям, выбранным в совет.

Вначале расписались бояре Морозов и Долгорукий. Пожарский на десятом месте. Он расписался и на пятнадцатом, вместо Минина: «В выборного человека всюю землею, в Козьмино место, князь Димитрий Пожарский руку приложил».

Грамоту подписали пятьдесят человек. В конце схода дьяк Василий Юдин объявил об устройстве «для разбора мно-

¹ Граф Яков Понтус де ля Гардин — шведский оккупант, захвативший Новгород на севере.

гих дел и челобитий» ряда приказов: Поместный, Разрядный с дьяком Вареевым; Сибирью и ведомством Казанского дворца (Восточный приказ) ведать дьяку Семену Головину; Монастырским приказом — Тимофею Витовтову (он же и судья духовных дел); Денежным двором ведать дьяку Сухотину; Посольским приказом — дьяку Савве Романчукову; Судный приказ — дьяку Аксенову.

Иные дворяне, едва услышали о «Поместном приказе», как тут же подошли к Пожарскому с низкими поклонами и льстивыми речами, намекая на верстание их деревнишками и землями.

— Рано! — улыбнулся Пожарский.

— Без земского и ратного совета в земле не вольны мы, — добавил, поклонившись, стоявший рядом Козьма.

Вскоре ушли из Ярославля ратники под началом князя Черкасского и Лопаты-Пожарского.

Козьма Минин, освободившись от многих забот, начал готовиться к походу на Москву: собирал коней, запасал продовольствие, одежду. Ездил в поля, водил с собой ополченцев помогать крестьянам хлеб сеять. На окраине Ярославля соорудили литейную яму, стали отливать новый наряд. Опять заработали устюжские литцы и котельники, а к ним примкнули и мастера литейного дела из Вологды.

Рязанец Сенька Жвалов, приживальщик в доме Пожарского, маленький, худой мужичонко, с подслеповатыми глазами и растерянной усмешкой на губах, отодвинул засов.

Раздался голос Минина:

— Спать лег сам-то?

— Да нет, Козьма Захарыч, из бани пришел.

Козьма по доскам, перекинутым через лужи, прошел в маленький домик, скрытый в густой заросли яблоневого сада.

Дмитрий Михайлович, красный после бани, с мокрыми, расчесанными на прямой пробор волосами, в белой рубахе с расстегнутым воротом сидел за столом и ел из большой долбленой чаши щи.

— Какие вести, Минич?

— Только что из поповской избы... Ладят одно: царя да царя им! «Сами, дескать, в своей грамоте, писали, что в Ярославле хотите выбрать законного государя».

Пожарский покачал головой. Потом сказал:

— Думал и я о том... Нельзя было о царе не помянуть в грамоте, дабы нас не сочли престолоискателями. Однако, до царя ли нам теперь в Ярославле?

— То-то и есть, Митрий Михайлыч, зря написал. Не наше то дело — царь. Нам, с божьей помощью, хотя бы землю от врагов очистить... твердою ногой в родном дому стать... Много находится охотников до престола, и между ними распря. Царя в Ярославле выбирать не будем, а попов уговорим, дабы не поминали с амвона о божиих помазанниках. Ныне попы — беспастушное стадо. Им начальник нужен. Ему бы сидеть с нами в земском совете и творить волю земской избы заедино. Смуты станет меньше и совет от того возвысится в глазах богомольцев.

— Дело говоришь, родной... Дело, — отодвинув от себя чашу и обтирая полотенцем усы, произнес Пожарский. — Нет у нас церковного порядка... Издавна духовные чины привыкли к освященному собору¹. Избрав собор, отложим избрание царя...

— И на дальние времена, — досказал Минин.

Тут Пожарский, с опаской осмотревшись кругом, тихо проговорил:

— Был в Ростове добрый и смиренный митрополит Кирилл. Его — при Ажедмитрии выжил из епархии Филаретка Романов, подхалим и пролаза... ненавистник Василия Васильевича Голицына... Ныне Кирилл в лавре. Виделся я с ним, когда из Москвы меня привезли туда раненого. И по сию пору не может забыть обиды от Романовых.

— Послушен ли? — нахмурившись, спросил Козьма.

— Овца!.. Слова против нас не молвит.

¹ В своем роде особая палата из выборных лиц духовного звания, принимавшая участие в делах государственного управления.

— А к пастве тверд? Будут ли его слушать? Это — главное.

— Будут.

Минин задумался:

— В крайности, есть у меня люди, помогут.

— Обрадуется старик! Забыли его, похоронили...

— Это и ладно, — улыбнулся Козьма. — От кого получит мзду и место, тому и предан будет. Так водится.

Пожарскому показали слова Минина грубоватыми.

— Нет. Он не корыстолюбец, — сказал Пожарский, слегка покраснев. — Разумный пастырь.

— Разные попы есть... Знаю... Многие и нам помогают, народ против панов ведут... Не мало и добрых пастырей...

Минин собрался уходить, Пожарский вдруг остановил его:

— Да! Забыл сказать!.. Морозов мне сегодня шепнул: «Биркин из Казани подходит... уже недалеко от Ярославля, а с ним татарский начальник Лукьян Мясной...».

— Не к добру то!

— Раскаялся, будто... На помощь идет.

— Не верю, Митрий Михайлыч.

— Что так?

— Смуту идет чинить. Крест могу целовать в том... Опасайся его, не верь.

В глубокую полночь Козьма ушел из дома воеводы, князь проводил его до ворот. Оба были встревожены известием о приближении Биркина.

Минин не ошибся.

Явившись в Ярославль, Биркин начал каяться, обеляя себя. Протопоп Савва, корысти ради, начал-де смуту в Казани, добываясь митрополичьего престола. А он, Биркин, да казанский дьяк Шульгин — честные люди. Остальные все — воры и обманщики.

Начало не предвещало хорошего.

Снаряженное казанцами войско было тепло одето, обуто и хорошо вооружено: состояло оно из дворян и посадских, которым Биркин насулил «золотые горы». Вместе с казанцами пришел отряд та-

тарской конницы, предводимый отважным наездником Лукьяном Мясным.

Биркин дал клятву Пожарскому в «прямом стоянии за земское дело». Но не прошло и недели, как он начал охаивать порядки «нижегородских мужиков».

Поживиться в Ярославле нечем. Предстоявший поход на Москву ничего, кроме лишений, не сулил казанским дворянам. Войско Биркина, привыкшее в дни боярского и польского владычества к легкой наживе, громко роптало.

Узнав, что выборов царя в Ярославле не будет, Биркин во всеуслышание на собраниях ратников назвал вождей ополчения обманщиками.

Возросли ропот и споры: кто за Пожарского и Минина, кто за Биркина. Дошло до кровопролития. В окрестностях города осмелели разбойники, обижали крестьян. Казанские дворяне напали из засады на стрельцов, уходивших ловить разбойников.

Козьма терпел-терпел и призвал на воеводский двор Биркина и Лукьяна Мясного.

— Чего добиваешься, Иван Иванович, мутя народ? — спросил Минин, сумрачно глядя на Биркина.

Биркин с усмешкой пожал плечами:

— Вольно же вам!..

— Умей грешить, Иван Иванович, умей по чести и каяться.

— Перед кем каяться? Надо мной никого нет, — надменно ответил Биркин.

— Есть. Мы над тобой! — рявкнул Козьма, надвинувшись на Биркина. — Митрий Михайлыч и я. Понял?

— Ты?! — позеленел Биркин, подавшись назад. — Уйду от вас... Чем лапту кланяться, поклонюсь лучше сапогу.

Пожарский, бывший в горнице, спокойным голосом ответил:

— Одумайся, Иван Иванович. Обижать не нас, а государство.

Козьма повернулся к татарскому начальнику:

— А ты, Лукьян, тоже с ним?

Мурза встал, приложил ладонь к груди.

— Татары сказали: «Помогать!», — я и буду помогать. Зачем пойду в Ка-

заны? Меня ругать будут в Казани. Без Москвы что делать будем? Кто защитит нас?!

— Стало быть, остаешься? Так и запомним — казанские татары радеют о государстве лучше казанских дворян.

Мурза покраснел, молча кивнул головой и сел.

Биркин, сутулясь и злобно глядя на мурзу, вышел из воеводской избы.

На следующий день Биркин и казанские головы повели свое войско в обратный путь, на Казань.

Боярин Морозов (бывший казанский воевода) пришел к Козьме с поклоном. Забыл и честь боярскую.

— Бог спасет тебя, Козьма Захарыч, спасибо, что прогнал Биркина! Будь проклят он веками! Он и дьяк Шульгин! Воры они, воры! Меня обворовали.

С отрядом стрельцов, смелым налетом, Минин окружил разбойничью шайку, много бед причинявшую ярославцам, и полонил атамана шайки, Петра Отяева. Судили на площади и отправили под сильным караулом, в цепях, на Соловки «для неисходного сидения» в земляной тюрьме. Отяев тоже был некогда вельможею, — стольник Тушинского самозванца, — состоял в его свите вместе с тушинским патриархом Филаретом Романовым и многими боярами, окружавшими Лжедмитрия второго.

Вслед за этим получены были отрадные вести от Черкасского из Красных Холмов. Неприятеля удалось выбить из Антониева монастыря. Воры в страхе бежали на юг. Отряды Заруцкого тоже были изгнаны из-под Углича — многие казаки побратались с ополченцами. Лопата-Пожарский отогнал неприятеля от Пошехонья. Переяславль-Залесский был занят ополченским воеводой Наумовым.

Приехал в Ярославль митрополит Кирилл. По просьбе Пожарского, приказал попам молиться «о даровании побед земскому вселюдскому воинству».

Власть Пожарского и «совета всея земли» окрепла. Недовольные притихли. Об избрании царя в Ярославле и речи не было. В Кирилле Минин и Пожарский нашли себе истинного друга. На первом же собрании церковного со-

вета Кирилл потребовал от иереев полной поддержки нижегородского ополчения.

XVI

Пала огненная стрела в Волгу. Загремел гром. В наступившей затем тишине послышалось ворчанье реки. По улицам бежали люди, коровы, овцы. Поднялся сильный ветер, закружились столбы пыли, — потемнело в глазах, трудно дышать. Все утонуло в мареве сухого бурана. В стены домишек хлестало песком, будто градом. Опять молния, и снова оглушительные раскаты грома.

Хлынул ливень. Забушевали потоки дождевой воды в канавах.

К дому Пожарского осторожно прокрались два человека. Постучали в ворота. Вышел Сенька Жвалов.

— Кто такие?!

— Сенька, отвори!.. Ошалда!

Ворота открылись. Сенька шепнул:

— Дома нет..

— Все одно. Пусти. Вишь, погода!

Проскочили в сени. Зашептали. Стрелец Ошалда, сенькин свояк, прислал их сюда, а зачем, — то должно быть ему, Сеньке, ведомо.

— Он у Козьмы. — Сенька вплотную прильнул к пришедшим. — Послы грамоту из Северного Новгорода привезли... Геннадий да князь Оболенский... склоняют к немцам...¹. Признайте, мол, королевича Филиппа царем, тогда неопасно вам будет идти к Москве... В спину никто не ударит. Хотят признать...

— Вертят, крамольники!.. Царь Дмитрий — свой. Ему присягнуло под Москвой все наше войско.

— И Заруцкого с казаками хотят побить, — сказал Сенька Жвалов.

Удар грома потряс хибарку, молния сверкнула в щелях. Все трое, оробев, принялись креститься, встали на колени.

— Что же это? Мало терпели казаки под Москвой, мало стояли за вас, а вы казаков собираетесь бить?

— Э-эх, парень! Митрий Михалыч аж побледнеет, едва о подмосковных ка-

¹ Шведов тогда тоже называли немцами.

заках говорить учнут. Проклятые, кричит, аспиды! губители! изменники!

— Мы изменники? Чего же ради я на Дону семью голодную оставил? Не ради ли Москвы? А вы, злодеи, хотите нас перебить... Креста нет на вашем князе! Сам он — губитель, изменник! Заруцкий, наш батько, открыл нам ваши замыслы!

— Тебя как звать-то?

— Обрезка...

— А тебя?

— Стенька. Степан. Мы под Москвой с вашим стрельцом Ошалдой спознались. В ляпуновском войске...

— Знаю... Он говорил. Пришли не во-время — князь у Козьмы.

— А Козьма тоже против нас?

— Наговаривать не стану. Он супротив Заруцкого, зовет его польским пособником, а казаков жалеет. Спорит с князем. «Ошибаешься, говорит, Митрий Михалыч, они те же мужики».

Донец облегченно вздохнул:

— Все дивуются! И как они сошлись — Пожарский да Минин? А что казаки те же мужики, Минин говорит правду. Темны. Ощупью бродим. Друг друга бьем впотьмах. Обнищали, голые, скудные... Заруцкий говорит — гибель казакам приходит... Князя да купцы с Волги смерть несут беднякам... И все — Пожарский... Короны добивается.

В тишине долго слышалось затрудненное дыхание казаков.

Сенька Жвалов сказал:

— А что дадите?

— Заруцкий тебе землю, денег даст.

— Коли не врешь,—согласен. Только свяжите меня и суньте в чулан. Будто я и не при чем.

Так и сделали. Сенька Жвалов принес толстые мочальные жгуты. Связав, казаки положили его на солому, в чулан. Заготовили кинжалы, спрятались в темных углах.

Гроза сменилась теплом и тишиной. Дождь перестал. Пахло освеженной зеленью из сада. Далекие молнии вспыхивали реже.

Обрезка и Степан, затаив дыхание, поджидали в сенях Пожарского. Но ста-

ло светать, а князь домой не возвращался.

Опасно сидеть в сенях: к Пожарскому рано собирались военачальники, мог притти телохранитель его, стрелец Буянов. Сенька стал просить казаков, чтобы его развязали, уходили бы подалше.

Запричитал во весь голос:

— Не надо мне вашей земли и денег. Пропади он пропадом, Заруцкий!

Обрезка и Степан всполошились, развязали Сеньку, стукнули по затылку, бросились бежать.

Всю ночь на дому у Козьмы шли переговоры с новгородским игуменом Геннадием, князем Федором Оболенским и прибывшими вместе с ними новгородскими дворянами и посадскими.

На столе перед Пожарским лежала грамота новгородцев. Они писали о смерти шведского короля Карла IX и о согласии нового короля Густава-Адольфа и вдовствующей королевы, его матери, отпустить на «Наугородское государство» королевича Карло-Филиппа. А еще о том, чтобы нижегородцы «Литовского короля и сына его Владислава, и маринкина сына, и ведомого Псковского вора, раздьякона Матюшку (Сидорку)» на государство не хотели бы и конечного разоренья в Российском государстве тем «не всчинали бы, а похотели бы на Российское государство государем, царем и великим князем всей Руси государского сына Карло-Филиппа Карловича, чтоб в Российском государстве была тишина и покой и крови крестьянской престатие (прекращение)» и чтобы нижегородцы стояли «с немецкими людьми заодно».

Пожарский сказал, что этого дела решить не может, а доложит о грамоте совету всей земли.

На другой же день созвали совет.

Дьяк Василий Юдин нараспев прочитал грамоту новгородцев.

Первым повел речь митрополит Кирилл. Говорил сердито о том, что церковный совет не может благословить на царствование человека хоть и королевской крови, но не принявшего греческого вероисповедания.

После него к послам обратился Пожарский.

От лица земского совета он заявил, что русские не верят иностранным царям, напомнил о судьбе Василия Васильевича Голицына с товарищами, плененными Сигизмундом.

После Пожарского заговорил Минин:

— Бьем челом и низко кланяемся королю Густаву и пресветлой королеве и благодарим их за милостивое согласие отпустить на московский трон доброго, пресветлого королевича! Однако, как ему править нами, как судить, оберегать от врагов и всякие дела делати? Не случилось бы того же, что было с королевичем Владиславом? Польский король хотел дати на Российское государство сына, манил с год и не дал, а что над Московским государством учинили польские и литовские люди, — вам ведомо.

Порешили, что земский совет согласен на избрание королевича русским царем. Условия: 1) скорейшее прибытие его в Новгород; 2) принятие православия.

Сделано было так не спроста: о том Минин и Пожарский договорились накануне. В сговоре принимал участие побывавший в Новгороде посол нижегородцев, Степан Татищев. Под шведским управлением «отнюдь в Новгороде добра нечего ждаты». Он же уверял, что после смерти мужа шведская королева не легко согласится на отъезд малолетнего сына в Москву.

Обращение королевича в православие тоже не простое дело для королевы. Словом, переговоры затянутся, тем временем ополчение двинется к Москве и начнет бои с поляками. Это не будет мешать переговорам с Швецией.

В этот же день, вечером, Пожарский тайно принимал возвращавшегося по Волге из Перми австрийского царского посла Иосифа Грегори. Пожарский и Минин заготовили австрийскому императору Матфию грамоту. Пожарский от своего имени просил царя воздействовать на польского короля: чтобы прекратил войну и мирно договорился с Москвою. За это Пожарский обещал избрать на московский престол цесаре-

ва брата — Максимилиана. (Знал, что Максимилиан зол на короля Сигизмунда, перебившего у него польский престол.)

Посол Иосиф Грегори оказался веселым малым. Минин поил его русской водкой: «Пей, Осип, еще есть! Пей, не жалей!». Водка очень понравилась Иосифу. Он был смешон. Малого роста, в курчавом, спускавшемся ниже плеч парике, толстый, кривоногий. После каждой рюмки долго кашлял; на глазах выступали слезы. Откашлявшись, поглаживал себя по затянутому в бархат животу, простодушно улыбался.

Козьма крикнул гусярлов и гудошников. Грегори пришел в восторг, когда подвыпивший Козьма вместе с плясунами пустился в присядку. Попробовал сам, да не удержался, повалился на пол. Его подняли, усадили, заугощали до того, что он уснул за столом.

Пожарский и Минин, переглянувшись, вызвали дьяка Еремея Еремеева. Тот пришел — высокий, худой щеголь с большими усами и бритой бородой, похожий на польского пана. Козьма кивнул в сторону спящего посла, подмигнул:

— С Осипом поедешь... К его королю Матвею. Грамоту повезешь.

Пожарский сказал строго:

— Только гляди! Неровен час, новгородцы узнают. Грамота важная, государственная. Собирайся! Послезавтра — в путь!

На другой день уехали новгородские послы, а на следующий день, под охраной стрельцов, — Грегори и Еремеев.

Проводив их, Пожарский сказал с улыбкой:

— Ну, Козьма Захарыч, куда мы столько царей будем девать?

— Посмотрим, Митрий Михайлыч, может, сами раздумают.

Оба весело рассмеялись.

Еще роса не сошла с травы, как из дома Минина в одежде странников, в лаптях и с котомками за плечами тронулись в путь Мосеев и Пахомов. Минин послал их к Москве — разведать, что там?

Козьма Минин вышел на крыльцо.

У обоих на глазах слезы. Эту ночь Минин спал беспокойно, часто просыпался, а во сне разговаривал, поминая Нижний, короля Жигимонда, Григори, Новгород, митрополита Кирилла... И теперь лицо его было бледно.

— Прощай, прощай, Захарыч!

— Добрый путь! Храни вас господа!

Родион и Роман быстро зашагали по направлению к Московской дороге.

В Ярославле появился Авраамий Палицын: приехал от Троице-Сергиевой лавры торопить Пожарского с выступлением на Москву; говорил: «сам святой батюшка Сергей преподобный» надоумил прибыть в Ярославль.

Минин посоветовал Пожарскому похолодней обойтись с Палицыным.

Украинские казаки, прибывшие с жалобой на Заруцкого, донесли Козьме: «Не батюшка Сергей преподобный надоумил Палицына, а закадычный друг келаря, с которым вместе он бражничают, подмосковный атаман Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Его войско от голода и нищеты изнемогает». К Москве подходит со многими эскадронами польских гусаров искусный в боях, грозный королевский воевода Хоткевич. Все под Москвой напуганы им. А больше всех перепугался Авраамий. Не он ли присягал королю, получал подарки от него, и не он ли изменил ему тотчас по возвращении в лавру? Из страха перед королевской мстостью и в Ярославль прилетел: не верит, что упавшие духом казаки Трубецкого одни могут отразить Хоткевича.

Эти же украинцы рассказали и о том, что Заруцкий тайно от своего собрата, князя Трубецкого, ездил к Хоткевичу в лагерь под Рогачев с изменническими умыслами. Казаки узнали об этом, откачнулись от него и грозят его убить.

Наконец-то! Минин всегда считал князя Трубецкого честнее Заруцкого. Но Козьме было известно и то, что князь не любит его, Козьму. «Мужик хочет честь взять у меня!» — гневно воскликнул Трубецкой, узнав о выступлении ополчения из Нижнего.

Одарив украинцев, Пожарский и Козьма отослали их обратно в Москву.

Пусть расскажут правду о нижегородском ополчении украинцам и донцам. «Пусть казаки видят в нас братьев, а не врагов! Скоро придем и вместе с вами выгоним панов из Москвы!».

Ополчение начало готовиться к походу. По улицам шли толпы ратников, прибывавших из разных мест. День и ночь горели горны в кузницах. На площадях башмачники шли и чинили сапоги и бахилы. По улицам, в направлении к лагерю, двинулись подводы с рожками, лаптями, с мешками хлеба, круп, с сеном, лопатами. Около них шагали полковые артельщики и стрельцы.

В полдень, двенадцатого июля, около с'езжей избы собрались литейщики и пушкарни. Тут же Буянов со своими молодцами. Ждали князя, которому в последние дни недужилось (снова разболелись незажившие раны).

И вот показался он в дверях, придерживаемый под руку караульным с'езжей избы, казаком Романом.

— Приветствую вас, граждане! — поклонился князь собравшимся.

В эту минуту из толпы выскочил казак Степан и, размахнувшись ножом, направил удар в князя, но попал в казака Романа, который загородил собою Пожарского.

Не поняв, что случилось, Пожарский шагнул вперед, к пушкам. К нему подбежал Буянов:

— Князь! Уйди, тебя хотят убить!

Толпа набросилась на Степана и, если бы не Пожарский, его разорвали бы на части.

В с'езжей избе Степан кричал, ругался, назвать сообщников не желал. От него пахло вином.

Козьма допрашивал его:

— Своей ли волею, либо по наущению?

Пришел Пожарский. Стал просить, чтобы казака сняли с дыбы. Посадили его на скамью. Несколько минут рассматривал его: молодой, простоватый парень, смотрит исподлобья.

— Не ты ли напал на меня? — тихо спросил Пожарский.

— Я, — ответил парень сердито.

— За что, не зная меня, поднял нож?

— Ты умыслил сгубить казаков! Хочешь быть царем, а нас отдать в вотчины.

— Я не против природных казаков. Многие разбойники, изменники величают себя казаками. Ты — донец?

— Да.

— Тебя обманули. Царем я быть не хочу. Я иду защищать Москву. Могу ли о чем ином помышлять для себя?

Молодец склонил голову, задумался.

Минин положил ему на плечо руку:

— Степан, не упрямясь! Открой добром: кто тебя послал?

Казак поднял глаза и смущенно ответил:

— Батька наш... Иван Мартыныч... Заруцкий.

— Мотри! — погрозились Козьма. — Крест целовать заставлю! Правду ли говоришь?

— Спроси товарища моего Обрезку... Да Ошалду, стрельца вашего... да княжьего слугу спроси, Сеньку Жвалова... Он — свояк Ошалды.

Пожарский и Козьма переглянулись.

— Говорил я тебе, Митрий Михайлыч! Не послушал? — с досадой произнес Минин. — Не по сердцу он мне.

— Я приютил Жвалова из жалости, одевал, заботился, как о брате, ел с ним из одной чаши... Не оговариваешь ли его? — спросил Пожарский, не веря тому, что услышал.

— Заруцкий посулил ему дворянство и деньги. Спроси стрельца Ошалду. Мы хотели тебя убить ночью.

Пожарский побледнел.

Вернувшись к себе, Пожарский позвал Сеньку, спросил с напускным добродушием:

— Ты знаешь казаков Обрезку и Стеньку?

— И не слыхивал, что за люди! — не моргнув глазом, ответил тот.

— И стрельца Ошалду не знаешь?

— И того не знаю.

Пожарский вздохнул. Сотник Буянов, войдя, сказал:

— Козьма Захарыч приказал увести Жвалова в с'езжую.

Пожарский устало махнул рукой:

— Веди!

XVII

Перед тем, как выступить на Москву, Пожарский послал в помощь подмосковным казакам (против гетмана Хоткевича) два отряда.

Первый тронулся в путь семнадцатого июля. Его повел умный и осторожный воевода Михайла Самсонович Дмитриев — рода незнатного, но честный, крепко преданный земскому делу человек.

Второй вышел из Ярославля спустя десять дней, под началом неугоминого Лопаты-Пожарского.

Дмитриеву было наказано стать в Москве у северной стены Белого города, близ Петровских ворот, а Лопате — у Тверских ворот, не смешиваясь с казацкими таборами, которые стояли поблизости, у стен Китай-города, между реками Яузой и Неглинной.

Дорога между Ярославлем и Москвою ожила. Среди лесов, на постоялых дворах встречались одинокие всадники, передавали друг другу на ухо вести. И так — от перегона к перегону. И вести доходили, наконец, до ушей Минина и Пожарского.

Близился час выступления в поход и коренного войска.

Ратные люди украинских городов с братской готовностью откликнулись на призыв ярославского правительства. Собрали казну, вооружились и пришли к Москве, чтобы стать заодно с нижегородцами. Раскинули лагерь у Никитских ворот, но здесь их стал теснить Заруцкий, о чем сообщали гонцы. Со слезами умоляли они Пожарского поспешить к Москве.

Двадцать восьмого июля Козьма Минин призвал Буянова, велел выпустить из тюрьмы казака Степана и всех его сообщников, покушавшихся на жизнь Пожарского. Сеньку Жвалова, бывшего слугу князя, и пятерых стрельцов Минин в цепях разослал по северным городам. Степана, Обрезку и других казаков, бывших с ними, велел взять с собой в Москву для дальнейшего дознания.

В полдень в Волгу выстрелила пушка — поднялось нижегородское войско.

— В Москву!

Все эти дни парило. Ратники сняли с себя доспехи, а кто и рубахи.

Пожарский, об'езжавший ополченские таборы с новыми своими помощниками — князьями Андреем Хованским и Петром Барятинским, любуясь, смотрел на мускулистых, загорелых людей.

Князья говорили:

— Только бы, упаси владыко, бунта не было... Измаялись мы с народом. Дай ты, господи, поскорее поразить ляхов!

В который раз рассуждали о том, что, мол, после победы над поляками надо тотчас же распустить ополчение, водворить на свои места посадских, крестьян, беглых холопов, казаков, татар, мордву и прочих «низких людей».

Козьма, обходя войско, весело похлопывал воинов по голым плечам:

— С такими воинами как не побить панов?

Гаврилка и его друзья — Олешка, Осип и Зиновий — накануне вдосталь хлебнули пива у Буянова на дому. Много говорили о будущем. Пели грустные деревенские песни. Хозяйка дома всплакнула. Всем стало тяжело. Думалось почему-то, что никогда не вернуться дням вольного приволья, которые пережить были в Ярославле и в походе вдоль Волги.

Панов ратники не боялись. Тут дело ясное: враги, грабители, которых надо бить. А как быть с боярами да дворянами? Как избавиться от них? На этот вопрос и Козьма не умел ответить. Теряется, путается, твердит одно:

— Очистим Москву, а там бог укажет. Унывать не след. Лишь бы земля осталась нашей.

Население Ярославля высыпало за город.

Гудошники затянули песнь об уходящем ратнике:

Ах, не бор шумит, не река льется.
Обливается горячими слезами,
Возрыдаючи, молодая жена,
Расставаяся с красным солнышком,
Провожаючи друга милова...

Голоса певцов плачут, надрываются в ярославских равнинах:

Уж оседланы кони добрые.
Уж отточены копья меткие,—
Рать усердная лишь приказа ждет,
Чтоб пуститься ей в путь назначенный...

Двинулись. Все глуше звон посадских колоколов:

Ах, прости-прощай
Уж ты, батюшка мой, Ярославль-город!

Дойдя до Сотемского стана, Пожарский, передав начальничество над войском Козьме Минину и князю Хованскому, с малою дружиною свернул с Московской дороги в сторону, на Суздаль — поклониться могилам своих предков. Таков древний обычай воевод, уходивших в опасную войну.

Обещал нагнать ополчение в Ростове.

Войско вошло в густой сосновый бор. Колеистая, размытая дождями, теперь окаменевшая от засухи, дорога. Грохот колес, топот конницы и пехоты. Трудно расслышать соседа. Накалившиеся на солнце мечи и копья остывали в тени.

Тридцатого июля ополчение вступило в древнейший озерный город Ростов.

Жители усыпали полевыми цветами путь перед конем Козьмы, забрасывали платками и домотканными дорожками.

Воевода со всем дворянством оказал Минину и Хованскому великокняжеские почести: дворяне били челом, клянясь в верности земскому ополчению.

Козьма удивил высокородною сановитостью. Будто с малых лет был воеводою; но, когда монахи запели псалом «Помилуй мя, боже», Козьма, сидя на коне, не утерпел — стал баском подтягивать пению.

Приставам, с усердием принявшимся разгонять народ, — как это бывало при проездах высоких особ, — громко крикнул, чтобы не мешали народу приветствовать ополчение.

В Ростове Козьма принял гонцов из Белоозерска: просили выслать на Белое Озеро еще отряд ратников.

Козьма дождался приезда Пожарского. Обсудили челобитие гонцов и послали на Белое Озеро еще одного из воевод ополчения, Григория Образцова,

с большим отрядом разноплеменных ратников и нескольких пушкарей с нарядом.

Из Москвы прибыло полсотни донцов под началом атамана Кручины Волкова. Волков донес Пожарскому, что под Москвой многие казацкие атаманы примкнули к нижегородцам. Заруцкий, покинутый казаками, в страхе бежал в Коломну с двумя тысячами преданных ему сорви-голов.

Донцы возмущенно говорили о том, как Заруцкий пытался войти в союз с гетманом Хоткевичем и вместе с ним напасть на войско своего союзника, князя Трубецкого.

Замысел Заруцкого открыл польский ротмистр Хмелевский, служивший в войске Трубецкого. Несколько поляков, находившихся на службе в подмосковных войсках, по совету Хмелевского, взяли на себя посредничество между гетманом Хоткевичем и Заруцким и, убедившись в изменнических умыслах Заруцкого, раскрыли их казацкому кругу.

Предатель сбежал во-время, не то сидеть бы ему на колу.

Пожарский и Минин, как и прежних казацких гонцов, обласкали Волкова, одарили деньгами и сукнами его спутников, уверив казачество в своих братских чувствах к нему.

Донцы, довольные, ускакали в Москву.

Четырнадцатого августа нижегородцы вошли в Троице-Сергиеву лавру.

Здесь их дожидались новые гонцы из подмосковных таборов, скорее звали в Москву. Не сегодня-завтра Хоткевич должен появиться под ее стенами.

Пожарский выслал отряд князя Туренина, приказав ему раскинуть лагерь у Пречистенских ворот (Чертольские).

Однажды, на заре, в монастырь прибыли облеченные в дорогие доспехи иноземцы: Адриан Фрейгер, Артур Эстон, Яков Гиль и другие. Просили принять на службу в ополчение собранный ими за границей полк. Хвалились орудиями, каких ни у кого нет.

В толпе иноземцев Пожарский с удивлением признал проходимца француза

Якова Маржерета, участника панских налетов.

Пожарский и Минин приняли заморских рыцарей пышно, со знаками внимания. Но тут же, за чаркою вина, старались вызнать истинные намерения гостей.

Выяснилось — у иноземцев широкие планы «спасения Москвы». Они предлагали перевозку в Московию большого количества наемных солдат на нескольких английских и нидерландских кораблях. Было намечено и место высадки этих войск — Архангельск.

Козьма, притворившись опьяневшим, тайком ловил каждое слово их откровенных речей, лез целоваться, а когда пиршество кончилось и он остался наедине с Пожарским, то сказал ему деловито:

— Пошли, князь, в Архангельск кого понадежнее. Чует мое сердце: недоброе замышляют. Тянет их на наше богатство, дьяволов! Архангельск! Ах, сукины дети! В Архангельск захотели!

На другой же день Пожарский послал несколько сотен ратников в далекий Архангельск с приказом бить из пушек всякое иноземное не торговое судно; поднять архангельский народ на защиту города, буде придет нужда.

А иноземным гостям поднесли обширный ответ, в котором, между прочим, говорилось:

«... Мы, бояре и воеводы, и чашники, и стольники, и дворяне большие, и стряпчие, и дворяне из городов, и приказные люди, и дети боярские, и стрельцы, и казаки, и всяких чинов служилые люди, и гости, и торговые, и всякие посадские и жилецкие люди, также разных государств цари и царевичи, которые служили прежним государям в Российском государстве, и царства Казанского и Астраханского в иных понизовых городов князи и мурзы, и Татарове, и Черемисы, и Чуваши, и Литва, и Немцы, которые служат в Московском государстве за разум и за правду, и за дородство, и за храбрость к ратным и земским делам стольника и воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского-Стародубского; да и те люди, которые были в воровстве с Поль-

скими и Литовскими людьми и стояли на Московское государство,—видя Польских и Литовских людей неправду, — от Польских и Литовских людей отстали, и стали с нами единомышленно против Польских и Литовских людей: и бои у нас с ними были многие, и многих Польских и Литовских людей мы побивали, города от них очищаем к Московскому государству».

В конце грамоты Пожарский писал: «... А только будет за грех наш, по таким случаям Польские и Литовские люди учнут становиться сильнее, и мы тогда пошлем к вам о ратных людях на наем своих людей, наказав им подлинно: сколько им людей нанимать, и договор велим учинить, почему и каким ратным людям на месяц или на четверть года найма дать. А ныне нам наемные люди не надобны и договора о них чинить нечего. А о том бы вам к нам любовь свою об'явите, о Якове Маржерете к нам отпишите: каким обычаем Яков Маржерет из Польской земли у нас об'явился, и в каких он мерах ныне у вас, в какой чести? А мы знаем, что его, за его неправду, что он, не помятуя государей наших жалованья, Московскому государству зло многое чинил и кровь христианскую проливал. Ни в которой земле ему, oprичь Польши, места не будет!».

С разочарованием приняли эту грамоту иноземные щеголи, поверившие было, что ополченские воеводы и впрямь с радостью встретили их предложение о помощи.

— Знайте! В заморских хартиях никогда не писали правды о нас, — с язвительной усмешкой заявил им Козьма на прощанье.

Смущенные такую внезапною к ним перемену, заморские торговцы военной силой торопливо убралась из лавры...

Пришли из Москвы Мосеев и Паховов. Они сказали Пожарскому и Минину, что под Москвою с нетерпением ждут Пожарского, что настало время ополчению итти к Москве.

Накануне выхода ополчения нижегородские хлебопеки всю ночь соревновались с монастырскими хлебопеками: кто

больше напечет хлеба. Козьма приходил на пекарню подбадривать нижегородцев. Ловкость монастырских хлебопеков удивила его. У них и работа шла спорее, и хлеб был вкуснее.

Утром в день выступления из лавры Козьма, глядя на горы хлебных караваяв, сказал землякам, покачав головою с укоризной:

— Вернемся в Нижний, расскажете, как вас побороли сергиевские монахи. Срам!

XVIII

На северной окраине Москвы, в глубоким рву, расположились бесприютные обыватели. Куда ни глянь: дети, горшки, вороха тряпок среди обгорелых столов и скамеек.

Торговцы печеным хлебом и квасом. Мыкаются попы, промышляя панихидами по убиенным. А подле — гадалки; у этих дело идет побойчей — каждому хочется знать, что его ждет впереди. Кто говорит, что король идет на выручку полякам, осажденным в кремле; кто — не король, а гетман Хоткевич; кто — свейский король. Болтовни много, а верного ничего не известно.

— Ну, ты, черноперая лисица! — крикнул цыганке под'ехавший на коротконогой татарской лошаденке казак. — Погадай: скоро ли придут?

Бросил монету.

— Скоро, красавчик, скоро... Ветер мешает. Встречь дует! Чей ты?

— А тебе на кой? — огрызнулся казак.

— Кого ждешь?

— Спроси, кого они ждут? — казак кивнул в сторону сидевших в рву людей.

Молчок. Люди наострили уши. Как ни плохо в Москве, а надежда на избавление от поляков не покидала.

— Чего там! — выкрикнул из толпы плачущий голос. — Весь город чает... Истомились! Надоели нам паны!

Казак подхлестнул лошадь, ускакал. Нижегородские гонцы выполнили свой долг с честью. Народу стало известно, что войско Пожарского идет к Москве, что оно решило победить или умереть. Женщины вылезали из рва и,

держа детей на руках, смотрели на север.

Парни забрались на верхушки сосен Сокольнической рощи, не отрывали глаз от Сергиевской дороги.

Снизу спрашивали:

— Видать? Аль оглохли! Чего молчите?

Дорога пустынна. Разве иногда стремительно проскачет одинокий всадник да прочернеет фигурка странника, и снова кругом — мертвое безлюдье, скованное тишиной.

Минин и Пожарский остановили ополчение в пяти верстах от Москвы, среди леса, на берегу Яузы.

Лазутчиков разослали по городу. Пахомов и Мосеев ушли на разведку в казацкие таборы.

Утром лазутчики вернулись. По их словам, москвичи с нетерпением ждут нижегородцев, чтобы примкнуть к ним.

После этого Пожарский вступил в Москву.

У заставы ополчение встретил Трубецкой, веселый, нарядный, на белом коне, окруженный своими атаманами. Встреча была дружественной, но на приглашение Трубецкого стать лагерем у него в таборах, восточнее кремля, Пожарский ответил отказом. Сухой, надменный Трубецкой сделал вид, что обиделся, повернул коня и ускакал в свой табор.

Ополчение расположилось в соседстве с посланными ранее нижегородскими полками — у Арбатских ворот. Здесь, с помощью московских разоренцев, в одну ночь возвели сильное укрепление. На другой день Трубецкой опять прислал приглашение соединиться с ним на Яузе; но и это было отклонено Пожарским.

Князь и Козьма рассудили по-своему: Хоткевич движется с запада по Можайской дороге, — и войска надо ставить на западной стороне. Уйти на восток — к Трубецкому, — значит, открыть Хоткевичу свободный доступ к Кремлю. (Хоткевич vez продовольствие осажденным полякам.)

Нижегородцы заняли Белый город от Тверских до Пречистенских (Чертольских) ворот полукругом, крепко окопав-

шись и огородившись со стороны ожидаемого Хоткевича. Работали круглые сутки. Трубецкой и келарь Палицын сделали еще одну попытку переманить Пожарского в казацкие таборы.

Козьма сказал:

— Развалить ополчение задумал он да меня на кол посадить, а самому властвовать. Хитер тушинский боярин, а мы того хитрее. Не пойдем к нему!

— Не пойдем, — согласился Пожарский.

Польские паны пустили слух, будто Пожарский пренебрегает казаками, а земские люди держат камень за пазухой против оборванной, полуголодной казацкой гольтыбы: от этого и не хотят соединиться. И Трубецкой говорил то же.

Келарь Авраамий Палицын приезжал в стан нижегородцев, упрашивал Козьму быть уступчивее, не погнушаться — съездить к Трубецкому в ставку с поклоном:

— Ты, Козьма, не прекословь князю ни в чем... Тебе же лучше будет. (И шепнул на ухо.) Гляди, как бы его царем не выбрали! Запасайся его милостью.

Козьма ответил уклончиво:

— Буду делать то, на что бог наставит. Ни Трубецкого, ни иных вельмож не почту выше бога.

Поляки, засевиши в кремле, сеяли раздор в дворянско-казацком подмосковном лагере. Подкупленные панями люди сбивали народ на признание царем то Сидорку (Ажедмитрия III), то «маринкиного сына», детище Тушинского вора, то короля Сигизмунда. Пугали москвичей королевскими войсками, гетманом Хоткевичем, атаманом Заруцким, шведами, божьим гневом, чортом, дьяволом...

Гаврилка надумал выкупаться в Неглинке-реке, разделся, вошел в воду. Собрались на берегу казаки Трубецкого. Давай издеваться:

— Ишь, от'елся! Брюхо подвяжи, утонет!

— Ладно! При нас останется! — ответил Гаврилка. — А у вас и тонуть нечему...

— Богаты... купцами одеты, накормлены, вот и жиреете, а мы тут за вас стоим и голодаем...

— Нас правда кормит, а не купцы. Правда и одевает, — вылезая из реки и хлопая себя ладонями по богатырской груди, засмеялся Гаврилка.

Стал неторопливо одеваться. Казаки сели поближе, на камни, оценивали его кафтан, рубаху, сапоги.

— И у атаманов наших таких-то нет,— завистливо щуря глаза, говорили они.

— Не ворует воевода — ратникам хорошо. Наши воеводы, Митрий и Козьма, — отцы родные. А Заруцкий да Трубецкой—«благослови бог деток до чужих клеток». Есть что воровать — живете, а нет — зубы на полку. Не купцы нас кормят и одевают, а порядок. Бедность у вас от воровства атаманов.

— А наши атаманы ругают ваших... Не поймешь!

— А наши ваших. Ты смотри сам — где лучше... Туда и иди! Вот он, кафтан-то! Гляди!

Казаки переглянулись. Пощупали кафтан.

— Да. Видать, у вас больше порядка. Позавидуешь.

Вскоре в стан Пожарского Гаврилка привел восемнадцать донцов, пожелавших поступить на службу в ополчение. Козьма выдал им жалованье вперед, одежду и сапоги. Казаки благодарили. Не ожидали такого приема: вперед жалованье, одежду и сапоги!

И каждый день повадились ополченцы купаться в Неглинке. Пусть и холодна вода. И каждый день повадились казаки ходить туда же.

Пожарский и Минин объезжали на конях Москву. Деревянный город сожжен дотла. Белый превращен в развалины.

— Вот она, Польша-то! — вздыхал Козьма, с трудом сдерживая слезы.— Что наделали, дьяволы!

Обгорелые стены, груды разбитых кирпичей, мусорные кучи, осколки горшков, обуглившиеся бревна. Кое-где из остатков домов сложены тесовые чуланы, слышен детский писк, говор людей.

— Уходить бы им отсель, — кивнул Буянову Козьма.— Опасно здесь.

— Приказывал. Не хотят. «Коли Москву не отстоите, так погибнуть и нам всем»— говорят. Не уходят!

На почерневших от пожара, унылых деревьях каркало воронье. Вечерние зори окрашивали шатры ополченцев, шлемы и одежду воинов. Вдали виднелись красные стены Китай-города, сверкали купола кремлевских соборов. Гордо высился Иван Великий.

— Горе тебе, опустошитель! — тихо молвил Пожарский, глядя на запад. — Будешь опустошен и ты!

С колокольни Ивана Великого карательные увидели большое войско, двигавшееся по Можайской дороге.

— Гетман!

Кому же итти по этой дороге, если не королю либо гетману Хоткевичу!

Эта весть подняла дух польского гарнизона. Струсь собрал воинов на площади.

«Скоро вся Москва станет нашей. Нижегородские мятежники дорого расплатятся за дерзость».

Гарнизон кремля стал готовиться к вылазке в тыл нижегородцам.

И бояре приободрились. Довело до отчаяния страшное сидение в осажденной крепости, среди обезумевших, голодных людей!

Гетман Хоткевич был знаменит. Таких полководцев в Европе немного. Гетман не знал поражений.

Бояре и вся именная знать отслужили молебен в Успенском соборе о здравии «русского царя-самодержавца королевича Владислава» и «о умиротворении исстрадавшейся от смут Московской земли». Служил Игнатий.

XIX

Войско гетмана в походе шло четырехугольником, который со всех сторон окружали повозки, связанные цепями. За передними повозками, внутри четырехугольника,— пушки, в середине — пехота, а за нею — тяжелая панцирная конница.

Легкая конница гарцовала вокруг четырехугольника.

Впереди войска, на вороном коне, — суровый, непобедимый гетман Хоткевич.

Верховой «пахолик»¹, именовавшийся «бунчуковым», вез перед ним громадную булаву, украшенную наподобие турецкого бунчука драгоценными камнями и лентами.

Разноплеменную конницу, делившуюся на хоругви, или эскадроны, вели знатные шляхтичи, ротмистры.

Тут и закованные в тяжелые латы неповоротливые немецкие ландскнехты, и польские панцырники, и венгерцы — кто с длинными копьями, кто с палашами, иные с саблями, кинжалами и боевыми молотами. У многих за спиной карабины, а за кушаками пистолеты.

Около ротмистров гарцовали пахолики в кафтанах из волчьих шкур, с орлиным крылом за спиной.

Легкая конница Хоткевича была набербована из немцев, венгерцев, валахов и убежавших из Сечи запорожцев. На прекрасных конях они следовали рядом с тяжело двигавшимся коренным войском, с трудом сдерживая своих скакунов.

Широко раскинулись по обе стороны Москвы-реки таборы нижегородцев и казаков, заслонив путь к кремлю.

Хоткевич ошибся. Он думал найти под Москвой жалкие остатки ляпуновского ополчения. Вышло иначе: перед ним оказалось большое, сильное войско.

Он отдал приказ остановиться.

Вечерело.

Поляки раскинули табор на Поклонной горе, окружив шатры возами. Саперы возвели земляные укрепления. Навалы втащили пушки.

Осторожный и умный, Хоткевич укреплял свой тыл.

Нижегородские ратники не сдержались. Тянуло поближе посмотреть врага. Что за противник? С кем придется потягаться силою?

Подползли к самой воде, вглядываясь в польские таборы. Следили, как, спустившись вереницею с высокого берега, гусары поили коней.

— Ах, мышь-перемышь! Кони гладкие да большие!

— Нашими овсами, чай, откормлены.

— А сами, ровно коты: усатые.

— Без бороды что за человек? В нем той силы нет.

— А кому богу молятся?

— Ежели в иконы палят, стало быть, не нашему.

— Трудненько нам, братцы, будет.

— А, по-моему, легче вора ловить, нежели вором быть.

— Слышите, смеются!

— Смеялась верша над болотом, да сама там и осталась..

— Сесть бы в челнок, мышь-перемышь, да приплыть бы к ним, да испробовать бы... Думается, и не доживешь до завтра... Нутро горит.

Трубецкой стоял в Замоскворечьи на том же берегу, где и Хоткевич, близ Крымского брода. Нижегородцы — на московском берегу. У нижегородских воевод возникло подозрение — не замышляет ли Трубецкой вместе с гетманом пойти на ополченцев. Но от него явились послы, передали обещание атамана действовать против поляков заодно с нижегородцами. Атаман дал слово ударить полякам в тыл. Тут же послы передали Пожарскому просьбу Трубецкого о воинской помощи.

Пожарский не послушался Козьму, который убеждал не верить Трубецкому, человеку ненадежному, холопу Тушинского самозванца. Пожарский отобрал пять сотен казаков и отправил их на ту сторону Москвы-реки, к Трубецкому.

Рано утром берег вблизи Девичьего монастыря огласился воем резких, пронзительных фанфар. Польские литавры звучали оглушительно. Грянули выстрелы пушек.

Минин и Пожарский стояли на сторожевой вышке. Видно, как по берегу спускается к реке огромная масса польского войска. Сверкало оружие в лучах восходящего солнца. Всадники, имея за спиною по одному пехотинцу, спустились в воду. За ними поползли через реку громадные, сооруженные за ночь плоты с пехотой.

¹ Оруженосец.

В действиях гетманского войска чувствовался опыт полководца.

Открыто, на виду у неприятеля, оно совершало переправу через реку.

Вот когда обнаружилось предательство Трубецкого.

Он мог напасть на эскадроны поляков с правого фланга и помешать их переправе. Но упорно бездействовал; равнодушно наблюдал за тем, как поляки перебираются на московский берег. Его приближенные издевались над гонцами Пожарского:

— Богаты вы пришли из Ярославля, сами и отражайте гетмана...

Трубецкой не сдержал слова. Минин оказался прав. Атаман бездействовал и в ту тяжелую минуту, когда искusstная польско-венгерская конница стала теснить бросившихся ей навстречу всадников нижегородского ополчения.

На Девичьем поле произошло первое столкновение нижегородцев с поляками.

Пожарский, видя, что ополченским всадникам не побороть превосходной конницы поляков и венгерцев, отдал приказ спешиться.

Началась жестокая сеча. Польские гусары свирепо набросились на пеших нижегородцев. Но ополченцы, пронзая вражеских коней длинными копьями, посеяли великое замешательство в эскадронах противника. Кони опрокидывались на спину, давили людей. В самый разгар боя и полякам пришлось спешиться. Брошенные седоками, лошади бешено заметались в толпе, становясь на дыбы, брыкаясь задними ногами, навводя ужас на сражающихся.

Хоткевич вводил в бой все новые и новые отряды пехоты.

Бой разгорался.

В такой сече пушкарям делать нечего. Гаврилка, Осип, Олешка пошли врукопашную. Подобрались к группе шляхтичей, хоронясь среди конских трупов, и, по команде Гаврилки, грянули из самопалов.

Из засады выбежала толпа разъяренных венгерцев. Ребята поняли: попали в западню.

Венгерцы бились саблями. Смолене — копьями, мечами и кистенями. И те, и другие озверели. Рослый воин, у кото-

рого Гаврилка мечом вышиб саблю, вцепился ему в руку зубами, рычал, как зверь. Силой этот человек обладал необычайной. Спасибо, выручил Олешка! Навалялся на венгерца, уложил его кистенем.

Многие смоляне пали в этой стычке. Сипу рассекли плечо. Он побежал в лагерь, обливаясь кровью.

Была солнечная, тихая погода. Звон железа, стон и вопли раненых разносились далеко окрест.

Присланные Пожарским в помощь Трубецкому пять сотен казаков, увидав, что нижегородцы в беде, переправились через Москву-реку и вновь пристали к ополченцам. Вслед за ними, на глазах у Трубецкого, лучшие его атаманы Филат Межеков, Афанасий Коломна и другие с большою толпою казаков тоже бросились вплавь на ту сторону Москвы-реки, в помощь Пожарскому. Они наказали передать Трубецкому: «По вашим ссорам настает гибель Московскому государству и войску».

Дружно врзались в толпу поляков с правого фланга, остановив их наступление. Расстроенные польские эскадроны, понесшие громадный урон под напором ополченцев и казаков, принуждены были убраться в свой лагерь.

Осажденные в кремле поляки сделали вылазку в тыл нижегородскому ополчению. Худые, похожие на скелеты, с факелами в руках, пошатываясь от слабости, как пьяные, пошли на ополченцев. Их страшные крики пугали ополченцев сильнее, чем стрелы и мечи. Втискиваясь в толпу ратников, костлявые рейтары падали от толчка собственных ударов — так обессилены были голодом. Корчились на земле в судорогах, умирали, проклиная москвитян.

Ополченцы двинулись на них стеной; немногим из рейтаров удалось скрыться в кремле.

Темная, непроглядная ночь. Гетман Хоткевич сидит на походной скамье в своем шатре.

— Для первого знакомства, — говорит он, улыбаясь, — мы были достаточно учтивы с москвитянами. Мы — хозяева на правом берегу. Казацкий сброд

Трубецкого — не воины, — их региментарь не расположен ссориться с нами. Мой приказ — доставить четыреста возов с продовольствием героям-соплеменникам в кремль.. Есть человек — он проводит караван в южные ворота кремля...

На усатых лицах польских военачальников — усталость. У некоторых на головах повязки. Цветные, с позументами, кафтаны порваны, на них следы крови.

Слово гетмана — закон: четыреста возов в кремль.

Заскрипели тысяча шестьсот колес. Затопали восемьсот обозных коней. Раздался голоса четырехсот возниц и шестисот сопровождавших обоз всадников. Караван тронулся в путь.

Князь Трубецкой будто не видит.

По Замоскворечью проходили поляки, но он пальцем не шевельнул.

Караван благополучно достиг южных ворот кремля.

Шестьсот всадников конвоя возвратились, мимо казацких таборов, в гетманский лагерь.

— Добре! — сказал Хоткевич. — Завтра приведем в кремль нижегородского мясника. Пускай рубит мясо для королевских людей.

Двадцать третьего августа осажденные сделали вылазку из южных ворот Китай-города, переправились через реку и без труда взяли в Замоскворечьи русское укрепление у церкви святого Георгия (в Яндове), вздернув на ее колокольне польское знамя. Обороняли это укрепление воины прежнего лятунского ополчения, начальником которого был Трубецкой; никто из его лагеря не помешал полякам занять этот острог.

Такое поведение князя не могло укрыться от зоркого глаза гетмана Хоткевича

— Будем считать, ясновельможные паны, что Москва — наша, — сказал он, осматривая с вершины Поклонной горы окрестности кремля. — На правом берегу княжеские люди не мешают нам, боятся гнева божьего. И, мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что Пожар-

ский будет благодарен нам за побитие Трубецкого на этом берегу, а Трубецкой не пожалеет, если мы уничтожим Пожарского на том берегу.

Было ясное утро. Среди зелени садов и кустарников величественно шли воды реки Москвы. Медленно плыли по течению бревна от раскиданных мостов и отбившиеся от берега челны. Стрекотали сороки, перелетая с места на место, норовя приблизиться к возам с фуражом.

Пожарский и Минин, узнав о ночном маневре поляков, решили переправить часть ополчения на правый берег реки.

В этот день, 23 августа, войско Хоткевича, бросив свое укрепление, двинулось с Поклонной горы к Донскому монастырю¹, чтобы охватить кремль и Китай-город с южной и юго-восточной сторон, не защищенных русскими.

Пожарский перекинул на правобережье два полка отборных воинов, захватив с собой пушки.

Трубецкой и на этот раз не помог нижегородцам.

Хоткевич, узнав о дерзкой переправе нижегородцев на правый берег, хозяином которого он считал себя, пришел в бешенство. Он двинул навстречу Пожарскому лучшие эскадроны гусаров.

Вихрем налетела железная польская конница на ополченцев. Удар был необычайной силы. Ополченцы бесстрашно приняли его. Они стали плотной стеной, и об эту стену с грохотом и звоном разбилась польская конница.

Началась жестокая битва.

В тылу у нижегородцев — река, впереди — озверелая вражеская орда. Оставалось либо победить, либо всем погибнуть.

Пожарский показывал ратникам пример бесстрашия.

— Наша правда. Бейтесь до смерти!

Берег покрылся трупами людей и коней. Гусары спешили, дрались врукопашную.

Вдали поднялись облака пыли. Шла польская пехота, высланная гетманом в помощь коннице.

¹ Пересекли Замоскворечье через нынешнюю Якиманку, Ордынку и Пятницкую улицу.

Ободренные гусары с остервенением накинулись на ополченцев, но тут вступили в бой и ополченские пушкари, заговорили обе их пушки.

Трубецкой вместо того, чтобы ударить в тыл пехоте и тем решить победу, покинул хорошо укрепленный Климентьевский острог. Его немедленно заняли поляки.

Хоткевичу видно из острога, как нижегородские пушкари бьют его пехоту. По его приказу на русских ринулись стоявшие в запасе немецкие ландскнехты и венгерцы.

Минин зорко следил за ходом сражения. Видел: поляки жмут ополченцев к реке. Собрав толпу ратников, велел готовить переправу в тылу у Пожарского. Бой продолжался уже пять часов.

С прибытием немцев и венгерцев боевая удача перешла на сторону Хоткевича.

Отважно отбиваясь от врага, нижегородцы благополучно вернулись на левый берег Москвы-реки.

Последним покинул правобережье Пожарский.

Гетманские конники пустились вплавь через реку и снова пошли в атаку. Им удалось прорвать ополченский фронт, оттеснив правую часть ополчения к Москве-реке.

Трубецкой видел, как под ударами панской конницы падали одно за другим знамена нижегородцев, как тщетно выбивались из сил воеводы и ратники ополчения, стараясь «свалить с себя» гетмана.

Разгневанный бездействием Трубецкого, Козьма послал Мосеева и Пахомова на ту сторону реки—пустить слух среди казаков: если-де помогут ополчению, то весь гетманский обоз будет отдан казакам.

Казаки отказались от награды. Войско Трубецкого, как один человек, по призыву Палицына, тронулось на помощь нижегородцам. Москва-река покрылась всадниками. Радостными возгласами встретили помощь ополченцы.

Пожарский выхватил у знаменосца знамя и поскакал в самую гущу боя:

— Не жалейте себя! Умрем все!

Два ополчения, нижегородское и казачье, соединившись, с оглушающей силой ударили по гетманским эскадрам.

Польское войско дрогнуло, стало отступать, теряя людей и коней, оружие и знамена, оставив на поле брани множество убитых и раненых. Одних только венгерцев Буянов насчитал шестьсот человек.

Бой затих.

Опасность все же не миновала. Тогда Минин, пользуясь тем, что поляки расположились на отдых, переправился со своими ратниками на Крымский берег Москвы-реки и с необычайной силой ударил в тыл на польскую пехоту и конницу.

Громадный, без шлема, с развевающейся бородою, высоко подняв саблю, бурею несся он по нагорью впереди своего отряда. Его всадники, с копьями наперевес, скакали вслед за ним. Противники столкнулись грудь с грудью. Панская пехота разбежалась врассыпную под сокрушающим натиском москвитян. Конница поляков вступила в бой, но вскоре стала подаваться назад. Кони вошли в реку, а нижегородцы продолжали наступать, давя, кроша врагов.

Сам гетман Хоткевич в панике поскакал по полю, оставив обоз и шатры в добычу нижегородцам, преследуемый тучей стрел и пуль.

Победа на стороне Минина была полная. Имя его затмило имена всех подмосковных воевод.

Пожарский приказал пушкарям и стрельцам произвести «великую пальбу» по отступавшим войскам Хоткевича. Стрельба продолжалась два часа. От грохота пушек не слышно было голоса, и дым носился, «как из великого пожара».

Разбитые поляки сначала отступили к Донскому монастырю, а затем и вовсе ушли из-под Москвы.

Лазутчики донесли, что Хоткевич «хребет показал», побежав по Можайской дороге в Польшу.

После боя, снимая с себя броню и латы, Минин сказал, устало улыбаясь:

— Побили многих наших, а меня и смерть не берет. Впереди всех был, и жив.

★

Разгром Хоткевича дал возможность нижегородцам обратить все свои силы против поляков, засевших в Китай-городе и кремле.

В эти дни в Москве появились друзья кремлевских бояр: бывший костромской воевода, спасенный Пожарским от народного гнева в Костроме, Иван Петрович Шереметев, а с ним Петр Шереметев, князь Григорий Шаховской и Иван Засекин и дворянин Плещеев. По указке кремлевских бояр, выполнявших волю польских панов, они стали натравливать казаков на земских людей: «Вы, несчастная гольгтьба, разоренные люди, ничего не имеющие, должны бороться, воевать, добыть мечом заслуженное вами благоденствие. Нижегородская земщина отолстела, разжирела. Глядите сами, как они одеты, как едят. Сытый голодного не разумеет.

Тушинские бояре призывали: «Всех земских ратных людей переграбить и от Москвы отженуть». Но их речи не встретили сочувствия у казаков.

Как оплеванные, бродили тушинские вельможи из шатра в шатер, тщетно стараясь поднять казацкое войско против нижегородцев. Не много нашлось охотников сориться с крепким, стойким нижегородским ополчением. От глаз казаков не укрылось и то, что в нижегородском ополчении бедняков-крестьян больше, чем у казаков, что, стало-быть, дело не в бедности...

Трубецкой и Заруцкий жалованья казакам не платили, принуждая их саблей добывать себе хлеб. В грабежи втягивались и честные казаки. Козьма Минин, переманивая их, выплачивал хорошее жалованье. Это выбило оружие из рук сообщников кремлевских бояр.

Трубецкой в эти дни заявил о своем старшинстве среди подмосковных вельмож: он-де первый человек в России, боярин! Пускай — тушинский, но боярин! У него в войске больше половины тушинских воинов, — признавайте ту-

шинский чин наравне с древними чинами.

Двадцатого сентября Пожарский, надеясь на согласие Трубецкого, послал от себя письмо польским панам в кремль, убеждая их сдаться. Письмо было на имя полковника Стравинского и хорунжего Будилы; начальника их, Струся, Пожарский презирал за его прежние разбои, не желал с ним иметь никакого дела.

Полковник Мозырский, хорунжий Осип Будила, трокский конюший Эразм Стравинский, ротмистры, поручики и все «рыцарство», сидевшее в осаде, отвели на другой же день:

«... Письму твоему, Пожарский, которое мало достойно того, чтобы его слушали наши шляхетские уши, мы не удивились по следующей причине: ни летописи не свидетельствуют, ни воспоминание людское не свидетельствует, чтобы какой-либо народ был таким тираном для своих государей, как ваш, о чем, если бы писать, то много бы нужно было употребить времени и бумаги... Чего вы не осмелитесь сделать природным вашим государям, когда мы помним, что вы сделали нескольким из них в последнее короткое время? Теперь свежий пример: ты, сделавшись изменником своему государю, светлейшему царю Владиславу Сигизмундовичу, которому целовал крест, восстал против него, и не только ты сам — человек невысокого звания или рождения, но и вся земля изменила ему, восстала против него».

Польские паны, говоря, что лучше умрут, нежели позволят себе изменить царю Владиславу, с ядовитой насмешкой писали:

«... Мы не закрываем от вас стен. Добывайте их, если они вам нужны, а напрасно царской земли шпынями¹ и блинниками² не пустошите. Лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей. Пусть холоп попрежнему возделывает землю, поп пусть знает церковь, Кузьмы пусть занимаются своей торговлей, — царству тогда лучше будет, не-

¹ Шпыни — озорные люди, насмешники, издевающиеся над всем.

² Блинники — мелкие ремесленники, торговавшие на базарах и площадях блинами.

жели теперь при твоём правлении, которое ты направляешь к последней гибели государства...».

«... Король польский хорошо обдумал с сенатом и Речью Посполитой, как начать ему войну и как усмирить тебя, архимятежника...».

«... Коли ты, Пожарский, кроме находящихся при тебе своевольников и шпыней, соединишь к себе еще вдвое больше бунтовщиков таких, как ты, то и тогда, при божьей к нам милости, не получишь пользы...».

Пожарский и Козьма посмеялись над ответом панов.

— Не целовал я креста Владиславу. Паны меня не обманут, и никого в том не обманут, — сказал Пожарский. — Не думают ли они, что гетман Хоткевич вернется?

— Пусть холоп попрежнему возделывает землю, а Кузьмы пусть занимают своей торговлей, — с горькой усмешкой повторил Минин. — Бояре и паны думают, что холопы и Кузьмы недостойны защищать свою землю. Не так ли, князь?

Об ответе панов уведомили Трубецкого.

— Холопы! Мужики! Куземки! — ворчал Минин, распоряжаясь насыпкою новых туров у Пушечного двора¹, на подступах к Китай-городу и кремлю. — Буде! Натерпелись! Попомните же вы холопов и Куземок!

Кипела работа. На телегах возили землю, камни, бревна. Нижегородские и костромские землекопы, плотники и кузнецы снимали с себя зипуны. Несмотря на холод, работали в одних рубахах. Ратники дружно перетаскивали на носилках землю и камень. Валы вырастали один за другим. Тысячи людей уминали землю ногами.

Такие же туры насыпали около Девичьего Георгиевского монастыря и у церкви «Всех святых» в Кулишках.

К вечеру поднялись со своих мест пушкарки, затинщики и гранатчики. Пожарский нагнал коней и людей подво-

зить орудия к новым укреплениям. Гаврилка с нарядом занял место у Пушечного двора. Навел дула пушек на кремль, заботясь о том, как бы при стрельбе не задеть Спасской, да не сбить Никольскую башню, да не попасть в Благовещенский монастырь. Дворцы да боярские дома, придет нужда, понастроят, а вот Успенского собора да Ивана Великого — не построишь.

Ночью Пожарский отдал приказ стрелять.

Земля содрогнулась от дружного залпа всех выставленных против Китай-города и кремля пушек и пищалей. За первым последовал второй залп, потом — третий, четвертый. Никогда Москва не слышала такого оглушительного «стенного боя», как в эту ночь.

Полетели в Китай-город и кремль ядра каменные, железные, каленые и дробные (картечью), разрывные и зажигательные...

Минин, соскочив с коня, помогал пушкарям и рассыльщикам подносить ядра к орудиям. Шапка с него свалилась, волосы растрепались, борода взломатилась. Освещенный красными молниями, он бегал от одной пушки к другой. Его голос прорывался сквозь грохот палубы.

Вот когда нижегородцы поняли, почему Козьма так рьяно заботился о литье наряда. Вот когда и Гаврилка стал важным человеком в войске. Правда, пушкарем он был ополченским, доморощенным, в Пушкарском приказе не значившимся, земли в пушкарских угодьях не имевшим, но все же — настоящий пушкарь. Его наряд бил без промаха.

Особенно страшен был огненный бой ночью, когда в осенней темени небо озарялось кровавыми молниями пушечных залпов, а после громового грохота вдруг падала зловещая мертвая тишина.

Приблизившись к Гаврилке, Минин сказал ему тихо:

— Порадей напоследок! Пускай помнят нас бояре! Бей еще! Люблю ночь! Я хотел бы умереть ночью!

— Возьмем кремль, — улыбнулся Пожарский, потирая руки, — и дело наше с тобою сделано.

¹ В районе Неглинной, ныне Пушечная.

Минин молчал.

Среди бояр и дворян пошел ропот: «Грешно по святому кремлю бить огнем»; но на общем ратном собраньи решились: «Можно!».

Двадцать второго октября ополченцы и казаки с песнями пошли на приступ Китай-города.

Китай-город был взят, а двадцать шестого октября сдался и кремль.

В воскресенье двадцать седьмого октября назначен был торжественный вход в кремль нижегородского ополчения. Пожарский со своим войском пошел с Арбата, где была его ставка, Трубецкой с казаками — от Покровских ворот.

Когда войска собрались у Лобного места на Красной площади, архимандрит Троице-Сергиевской лавры Дионисий совершил молебен.

Нижегородцы двинулись к Фроловским (Спасским) воротам. Впереди ополчения верхами ехали Пожарский и Минин. Позади них молодые знаменосцы верхами же везли распущенные ополченские знамена, среди которых выделялось нарядное знамя князя Пожарского. За ополченскими знаменами пешие ратники несли опущенные книзу польские знамена, отбитые у Хоткевича.

За знаменосцами стройными рядами следовала ополченская конница — нижегородцы, казаки, татарские наездники, мордва, чуваша. Среди чувашей — раненый Пуртас.

Затем растянулись пехота, артиллерия, обоз в сопровождении духовенства с хоругвями.

Едва Пожарский и Минин в'ехали через Спасские ворота в кремль, как к их ногам побежденное польское «рыцарство» с угрюмой покорностью сложило свои знамена.

Кремлевские бояре: и Мстиславский, и Шереметев, и Воротынский, и Романовы, и другие льстиво кланялись Пожарскому и Минину, называя их своими «спасителями».

В это утро засучили рукава и кремлевские звонари. Вновь загудели колокола на Иване Великом.

Трубецкой ввел казаков в кремль через Боровицкие и Троицкие ворота. Он занял лучшее помещение в кремле — Большой Цареборисовский дворец.

Пожарский и Минин об'ехали кремль, расставили стражу, приказали полякам убрать трупы и кости, всюду валявшиеся в кремлевских садах и на улицах, и удалились в новое свое жилище — Воздвиженский монастырь, неподалеку от лагеря нижегородцев.

Пожарский занял келью из двух горниц, Минин — келью в одну горницу.

XXI

После благодарственного молебна в Успенском соборе Трубецкой устроил пир в просторной палате Цареборисова дворца.

Поставленные полукругом вдоль стен столы покрыты снятыми с древков боевыми польскими знаменами, а скамьи — дороною парчою и бархатом. На столах отобранные у пленных поляков царские суеи¹, братины², ковши, кубки и чарки, серебряные с бирюзовой эмалью. Холопы входили и выходили в палату непрерывною вереницею, неся на широких блюдах свинину, кур, рыбу, пироги.

Сотни свечей в стенных и настольных подсвечниках освещали исписанные изображениями святых стены палаты.

За столами возлежали важные, седобородые бояре; ополченские воеводы с загорелыми, обветренными лицами; самодовольные казацкие атаманы и есаулы; вертлявые дьяки и робкие люди духовного звания.

Тесно и душно, зато — весело, и в вине да в пиве — полное приволье.

Радовало все: и то, что очистили Москву от панов, и что у каждого имеются заслуги перед государством и в будущем ждут награды, повышение по службе, вотчины, крепостные людишки и прочее.

Но приятнее всего сознание, что будущему царю не удастся итти по стопам Грозного и Годунова. Теперь боя-

¹ Суея — бутыл, штоф.

² Братина — большой ковш.

ре не позволят собою помыкать, как прежде, и царя выберут, какого хотят, и крестоцеловальную грамоту заставят его подписать, какую хотят.

Ярославские бояре Морозов и Долгорукий, пришедшие в Москву, перешептывались:

— Кого?

— Воротынского!..

— На кой бес?!

— Тебя!.. Князь ты!.. Долгорукий!.. Родовитый!

— Зачем врешь?.. Ты не думай... я не пьян...

— Мишку... Романова. Казаки за него... Вот что!

— И Шереметев за него...

— Знамое дело. Тушинцы за тушинцев... Родня!

Везде за столами ползали шопоты. Шептались о том, что «во все города Российского царствия, опричь дальних городов, посланы тайно, о всяких людях мысли их про государево обирание¹ проведывати верные и богобоязненные люди,—кого хотят государем царем на Московское государство во всех городах».

Пьяный казацкий есаул, напившись «до зела», ударил кулаком по столу и крикнул, что было мочи:

— Мишку! Мишку! Ро-ма-но-ва! Радейте.

Какой-то монах зажал ему рот:

— Храни, господь, уста твои!

Казак укусил его до крови за палец. Монах заплакал.

Морозов и Долгорукий лукаво переглянулись:

— Слухай! Сукин сын!

— Этак-то!.. Что я говорил? Ка-а-заки!

Кто-то из ополченских воевод в ответ на возглас есаула закричал:

— Митрея!.. Пожарского!.. Его хотим!

Прохрипело с разных сторон:

— Псдавись! Митрея, да токмо Трубецкого!

Кое-где ухватились за сабли.

Бесчинство умножалось. Один из дьяков воеводе Войейкову бороду медом

залепил, ругал его матерно. Монахи запели отходную боярину, свалившемуся под стол.

Пожарский выпил всего две чарки. Козьма пил много, но не пьянел; пристально вглядывался в окружающих, иногда спрашивал у соседа—князя Черкасского: «Кто сей?». Князь называл нехотя: «Сицкий, Лыков».

Знать сидела в золотканных кафтаных, в шелковых рубахах, а поверх кафтанов — атласные и бархатные накидки — козыри¹, — обшитые золотыми и серебряными галунами: в парчевых ферязях с золотыми петлицами поперек груди.

Но тут же сидели люди, одетые беднее. При царях запрещалось входить во дворцы в охабнях, а теперь — можно. Козьма Минин был в простой суконной однорядке. Некий пьяный князь в самый разгар пиршества влез в палату в шубе и горлатной шапке, что ранее почиталось великим грехом.

Пожарский морщил лоб, видя такое бесстыдство. Он привык к порядку во дворцах, к чиновничеству и затрапезному благонравию. Бывал у царя Бориса, у Шуйского. Тошно смотреть на эту шумную, пеструю толпу, собранную Трубецким.

Всем ясно, для чего Трубецкой созвал этих разношерстных людей. Недаром есаул выкрикнул его имя. Недаром по Москве ходили слухи о том, что царем будет избран Трубецкой.

Князь ошибся в расчете. Никто не поддержал казаков, выкрикнувших его имя. И в земском совете, составленном из людей «великого и среднего рода», также никто не заикнулся о нем.

Да один ли Трубецкой?

Кто из знатных бояр не думал о царской короне? И кто из них не раскаивался теперь в своей близости к полякам? Мстиславский откровенно признал себя недостойным царского трона. На него глядя, и другие отказались от честолюбивых умыслов. Федор Иванович

¹ Козырь — самая щегольская часть одежды. Отсюда, вероятно, выражение: «ходить козырем».

¹ Избрание на престол.

Шереметев написал записку другу своему Мстиславскому:

«Выберем на царство Мишу Романова. Он молод и еще глуп!».

Сожженная поляками Москва оживала. Потянулись из лесов и деревень сбежавшие во время пожара жители. По всем дорогам поползли к Москве возы. Скорее бы наладить дом для себя, для семьи, для детишек. Довольно мыкаться без крова, без власти.

Скорее бы царь!

Минин думал о них. Глядел на бояр, а думал об этих людях. Вот кто исстрадался по миру, по труду, по богомолью. И везде в городах, в деревнях тоскуют о том же.

Но много ли их в земском соборе, созванном наскоро в Москве? Обман начался. Бояре говорят от лица «всей земли». И выберут на царство — Михаила. Шереметев не ошибся. Им нужен послушный царь.

— Что задумался, староста? — покосился в его сторону Трубецкой.

— Не мало дум у меня, князь... Всех не расскажешь... Пустая голова, что бесснежная зима. На то и голова, чтобы думать. На то и зима, чтоб снег шел.

Трубецкой насупился. Погрозился.

— Не хитри, староста! Грешно.

— Что делать! Все дела свои во грехах творю. Ладно уж! На том свете сразу за все отвечу.

Трубецкой фыркнул:

— Моли бога, чтобы не на этом.

Морозов, покачиваясь, приблизился к Козьме, наклонился к его уху:

— Встань перед князем! Уважь!

Минин посмотрел на него сердито:

— Проспись, боярин!

— Что-о-о? — Морозов закачался, его подхватили под руки дьяки.

— Мятужник! — вскрикнул он визгливо.—Вон!..

Иван Шереметев приподнялся с своего места и, прищутив глаза, погрозил кулаком Минину.

— Вспомнишь мне Кострому!—крикнул он злобно.

Козьма, встав с места, обратился к Трубецкому:

— Аль ты не хозяин здесь? Аль ты

не князь, не воевода? Аль не видишь—твоего гостя обижают?

Покачиваясь из стороны в сторону, к месту спора подошел князь Долгорукий, а за ним потянулись и другие бояре.

— Уйми его!—крикнул Минин.

Пожарский поднялся, в сильном волнении, взял Минина за руку.

— Нетрезвый он... Во хмелю... Не шуми, Козьма Захарыч! Успокойся!

Минин сжал кулаки. Лицо его покраснело.

Долгорукий закричал:

— Не Ярославль тебе тут и не Нижний, а Москва. Довольно! Знатно похозяйничал!

Со всех сторон посыпались на Козьму насмешки.

— Глядите! Не ошибитесь! — крикнул он и, с силой растолкав вельмож, пошел вон из палаты.

Морозов пьяно всхлипнул, заревел на всю палату:

— Никогда не забуду!.. Жалованье из его лап получал. Весь род мой он опоганил!

— И мой!

— И мой!

— И мой!—раздалось со всех сторон.

Выйдя из дворца, Минин взял у гайдука фонарь и хотел итти из кремля. Его остановили Буянов и Мосеев, дежурившие у крыльца.

— Опасно, Минич! Врагов объявилось у тебя много. Убить замышляют... Пойдем с нами.

Пошли втроем.

На дворе слякоть. Днем падал обильный снег. К вечеру потеплело. Теперь—непроязная грязь.

Стража у кремлевских ворот узнала Минина и, обнажив головы, почтительно ему поклонилась.

XXII

В Стрелецкой слободе на уцелевшей от пожара улице — песни и пляски.

У дома стрелецкого сотника Буянова толпа стрельцов, ополченцев и казаков окружила двух запорожцев.

На улице не була,
Не бачила Дзигуна,

Не бачила Дзигуна,
Трохи не вмерла,
Дзигун, Дзигунец,
Дзигун — милый стрибунец...

Лихо вскидывая носками и кружась, ударили вприсядку чубатые молодцы.

А рядом, примостившись на обгорелом бревне, распелись в обнимку хмельные волгари:

Я за то люблю Ивана,
Что головка кудрява...

Куда ни глянь — всюду веселье.

Казак и кузнец Митька Лебедь сцепились в борьбе: кто кого?

Устали, еле дух переводят, красные, потные, а уступить никто не хочет. Нижегородские ратники стоят за Митьку. Казаки пригибаются к земле, с досадой хлопают себя по бедрам, сердятся на слабеющего товарища. Кузнец берет верх. Еще усилие... и казак валится на землю.

В круг выходит высокий, плечистый мордвин. Толкает Митьку. Хохот. Митька пятится:

— Полно! Устал. Чего пинаешь?

Мордовские наездники, снующие в толпе, издеваются над кузнецом:

— Эй ты! Задира Тимофеич! Обожди-ка!

Все оглянулись на голос. На пороге буяновского дома — Минин. Черные глаза полны задора. Он в зеленом кафтане, без шапки, с ковшом у губ. Выпил, поставил ковш, быстрыми шагами подошел к мордвину.

— Ну, господи благослови! Потягаться!

Мордвин нахлобучил остроконечную меховую шапку на лоб, уперся ногами в землю, пригнулся, обхватил Минина. Тот мягким, неторопливым движением обнял его через плечо.

Топтались на месте, упершись друг в друга.

Из буяновского дома вылезли ополченцы. Тут и Гаврилка, и Олешка, и Осип, и нижегородские гонцы, и Пуртас.

Пляски и песни утихли.

Кто кого?

Долго боролись они, яростно, отчаянно, — изодрали кафтаны, но устояли оба, не поддались ни один.

Минин обнял мордвина, облобызал его и повел с собой в дом.

Снова зазвенели бубны, взметнулись песни, загудели гудошники, пустились в пляс казаки.

Гаврилка вынес из дома саблю.

— Минич подарил...

Нижегородцы горящими глазами рассматривали широкое, острое лезвие.

— Иди, говорит, на Украину, там воюй с панами...

— Стало быть, не вернешься в Нижний?

— Нет, братцы, не вернусь. Прощайте!

Один из запорожцев вонзил гаврилкину саблю в землю, надел на нее свою баранью шапку и — давай кружиться вокруг нее. К нему присоединились казаки. Да и Гаврилка не отстал от них...

Минин, просунув голову в крохотное оконце, громко крикнул:

— Веселей, братцы! Наш день! Гуляйте!

Выбежали из дворов стрелецкие жены и девушки. Закружились в хороводе.

Заплетися, плетень, заплетися,

Ты завейся, трава, ты завейся, трава,

Ты завейся!..

Бойцы — конные и пешие, — вчера закованные в броню, сегодня в кафтанах и теплых рубахах, увлеченные стрелецкими девушками, вихрем закружились в шумном хороводе.

— Наш день! — из уст в уста передавались слова Минина.

Счастье

ПОЭМА

А. ЖУЧКОВ

★

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Зимой здесь тихо и морозно,
Прохладно в солнечную осень,
Весной всю ночь пылают звезды,
Легко кружась у дальних сосен
Иль уплывая на восток.

А лето, как заря, румяно,
Богато медом, спелой вишней,
И много летом на полянах
Цветов веселых и душистых,
И травы шумные кругом...

Когда закат отзолотится,
Луна выходит и в раздумьи
Роняет голубые листья
На избы старые, на гумна
И отражается в прудах.

Раскинув плавники, как руки,
В прудах глубоких хорошея,
С налету бьют седые щуки
Утиным носом в отраженье,
Чтоб проколоть луно насквозь.

Здесь зори журавлям гадают,
Здесь на рассвете и под вечер
Играет утка молодая,
И расправляет ветер плечи
Перед полетом в камышах.

Кто приезжал сюда зимою
Иль приходил, усталый, в мае,
Пленнились здешней красотой
И говорили все, вздыхая:
— По землям счастьем бы тут быть...

Но глянут люди на поселок,
И сердце затоскует снова:
Стоял он, старый, невеселый,
Поодаль от садов вишневых,
В нем счастья не было и нет.

И то сказать: какое счастье —
Спокон веков богатство края
Сбирал помещик самовластно, —
В его амбары и сараи
Без счета сыпалось зерно.

И часто осенью глубокой
Полуголодные крестьяне
Крест-накрест забивали окна
Дырявых изб и по полянам
Тянулись тихо к большаку.

Потом помещика прогнали,
Забрали землю, хлеб, скотину,
Но враг заморский, небывалый,
Через пески и море сине
Опять помещика привел.

Печально о примятых травах,
Что молча слушали рыданья
О страшных пытках и расправах,
Поет камыш в своих преданьях
Перед рассветом на прудах.

Когда же битвы отшумели,
Вздыхнул поселок облегченно:
Почти утроились надель,
И барский дом многооконный
Расправой больше не грозил.

Теперь бы жить и деток нежить,
 Побольше сеять, избы строить,
 Но счастью здесь мешали межи,
 Да кулаки, нахмутив брови,
 Капканы ставили свои.

Еще пугали недороды:
 То вдруг жара, то вдруг ненастье, —
 Так жили люди год за годом,
 И каждый ждал, вздыхая, счастья
 И раньше времени старел.

А больше всех о счастье думал
 Степан Чекмень в своем поселке.
 Он на людей смотрел угрюмо,
 Он говорил: «Живем без толку:
 Землей богаты — счастья нет!».

Услышит про цыган премудрых,
 Про колдунов иль ворожеек, —
 Котомку за спину и утром,
 Едва рассвет заголубеет,
 Уйдет полями напрямик.

Неделю нет, а то и больше,
 Потом придет из дальней дали,
 Не спит, не ест, вздыхает горше
 И думу думает: «Не зря ли
 Народ к Чапаеву водил?».

Людей встречал на свете много,
 Но все твердили: «К счастью, милый,
 Покажет рубль тебе дорогу,
 А без богатства жизнь постылой
 Была и будет на земле...».

И нынче — лишь пригрело малость —
 Опять ушел Чекмень из дома.
 Жена бранилась и ругалась,
 Молилась, плача, на иконы,
 Но не послушался Чекмень.

Да разве усидишь на месте?
 Удержат разве брань и слезы?
 В поселок долетели вести,
 Что счастье мужиков в колхозе...
 А как понять его — колхоз?

Ни на рублях, ни на копейках
 Такого слова не писали;
 Ни колдуны, ни ворожейки
 Ему его не называли.
 Пойми, попробуй разгадай!

Какой уж день его нет дома,
 Жена измучилась, устала,
 Не раз к пригорочку крутому
 Она ходила, дожидалась
 С грудным ребенком на руках.

Ей стали сны плохие сниться:
 То видит гром, то видит стужу,
 То будто бы большая птица
 За облака уносит мужа,
 А чаще видится пожар...

Но вот шаги... Гремит щеколда!
 Она шарахается к двери,
 И что ж, — глазам своим не верит,
 Ее бросает в жар и в холод, —
 Явился милый муженек.

«Степан! — зовет она, — желанный.
 Да ты ли? Прямо не узнаю».
 И крепко пыльного Степана
 Анюта в сенцах обнимает
 И в избу старую ведет.

«Ну, слава богу, слава богу.
 Садись-ка, занемог, наверно?».

Чекмень:

А что ж? Не ближняя дорога,
 Верст сто до города примерно,
 Гляди, и больше, коль в обход.
 Сынок здоров ли?

Анна:

Как цветочек...

Чекмень:

Пускай растет теперь скорее,
 Не зря отец его хлопочет;
 Наступит в жизни просветленье,
 Кажись, разгадочка нашлась.

Анна:

Нашлась?

Чекмень:

Я думал сам об этом,
 Но в ясный день зимой и летом
 Я видел только бездорожье.
 Не верилось, что жить так можно,
 Ведь братья вместе не живут.

Анна:

Сыночку б счастья хоть немного...
 Сбылось бы!

Чекмень:

В городе сказали,
Что к счастью нет другой дороги.

Анна:

Кто же решился смело?

Чекмень:

Сталин!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Под вечер потемнели дали,
Под вечер тучи всполошились,
И ветер бешено ударил
По небу крыльями большими.

А на земле, забыв о грозах,
О тучах, черных и бескрайных,
Шумят и спорят о колхозе
В избе накуренной крестьяне.

Их всех Чекмень перебулгачил.
«Пора, — твердит он, — счастье
будет!

Сильней мы станем и богаче.
И наши дети выйдут в люди...».

Но что ж, слова его напрасны,
Как будто искры в дождь и стужу,
Они, осмеянные, гаснут
В крестьянском шуме неуклюжем.

А больше злятся ашкардарцы:
«Какое счастье, что надумал!?
Дороги считаны по пальцам,
Березой мечены и дубом!!!».

У них глаза по-волчьи светят,
Играют слаженные плечи,
И пуще всех доволен этим
Милентий Павлович Заречный.

Остер Милентий, будто ножик, —
Блеснет поодаль и зарежет.
Его не трожь! Он жить не может,
Чтобы свои не видеть межии...

Вот он встал и повел опять речь
Перекатами, бережком дальним.
Он кричит: «Мужики, не перечь!
Нам бы только себя уберечь
От сумы и от песен печальных.»

Счастье, видишь, придумал Чекмень!
А мы прожили век и не знали!
Расплетай неплетеный плетень,
Дом с крылечками выстроит Сталин!

Дескать, будет еда не еда,
Жизнь не жизнь, — золотые денечки,
Меду бочка! И водочки бочка!
А не то, чтоб кисель и вода.

Что ж, гадайте теперь, мужики, —
Ладно ль петля-то к шее придется.
Мы ведь что... мужики, дураки,
Мягче валенка, тише колодца!».

«Да не пойдем мы!
Да куда нам! —
Кричат в три горла ашкардарцы, —
Еще нам в гроб ложиться рано.
Чекмень, наверно, посмеялся!».

За ашкардарцами другие
Кричат:
«Немыслимо неволить!
Законы нынче не такие,
Закон не даст нас обездолить!».

А на улице мечется ветер,
Он врывается в окна, стучит у дверей
И швыряет сердито с высоких поветей
Прошлогоднее сено, ковыль и пырей.

Побуревшее небо от пыли прогоркло.
Тяжеленные тучи висят над землей,
Собираются ветры за дальним
пригорком,
Предвещая прохладу и дождь
проливной.

А на улице шумной гармонь
ошалела —
Заливается звоном заволжских ладов,
И румяные девушки в кофточках
белых
Называют страданьем измену, любовь.

Парни хлопают часто и глухо в
ладоши,
За басами гармоники ходят в
припляс,
И лопочут чубатые: «Я ль тебя
брошу,
Золотая росиночка, ягодка, сласть!..».

Ашкадарцы с собрания выходят на
ветер,
Как всегда, деловито и прямо домой,
Картузы нахлобучив и спрятав
кисеты,
Даровые кисеты с зеленой каймой.

Окажись не Чекмень, а другой на
собрании,
Белый Лог в этот раз не пошел бы
в колхоз.
Горевали б, как прежде, о счастье
крестьяне
И попрежнему жили и думали врозь.

Но Чекмень! Ему верят... он вместе
с народом
Перенес и лишения, и бури, и гром.
Сняв картуз, к Чекменю быстрым
шагом подходит
Самый бедный в поселке Ломакин
Пахом.

Он фамильицу вывел, вздохнул
облегченно
И сказал, улыбаясь: «Колхозный
теперь!
Да чего вы дивитесь? Колхоз наш
законный.
Чай, у нас не одна с ашкадарцами
дверь.

Мы нуждой с малолетства себя
сокрушали...
Никогда не носили рубах без заплат...
Путь-дороженьку к счастью нашел,
видно, Сталин,—
Мужики! или кто этой вести
не рад?!».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Разошлись мужики по домам,
А уснуть на рассвете не могут:
То им чудится хлеб в закромах,
То вдруг сердце охватит тревога.

Берегли и любили они
С малолетства свое лишь на свете:
Свои избы, загоны, плетни
И загадки свои, и приметы,

Зорю тихую, ясный закат
И звезду над своею избою,

И теперь нелегко отвыкать:
Только вспомнишь—и сердце занает.

Не в березовый лес, не в извоз
Мужики порешили поехать.
Даст ли счастье поселку колхоз?
Может, выйдет из счастья прореха?

И Чекмень на рассвете не спит,
Ему вспомнились гулкие годы —
Запах дыма и грохот копыт,
Боевые друзья и походы.

Блеском сабель мелькают в уме
То одна, то другая картины.
Вот он мчится на рыжем коне
По широкой, туманной долине.

Справа, слева чапаевцы с ним,
И всех ближе Милентий Заречный.
Он тогда был совсем молодым,
Узколицым и хмурым, как вечер.

Кони дыбятся, дико храпят,
Но, послушные свисту нагаек,
Словно птицы, несутся опять,
Побуревшую пыль подымая.

Неразлучными были они:
Где Чекмень, там всегда и Заречный.
И казалось, что их породнил
Грохот гулких сражений навечно.

Но, когда отгремела война,
Потускнела сердечная дружба,
Как тускнеет на небе луна
В декабре перед снегом и стужей.

В богатен Заречный полез,
Дорогой себя шубой укутал,
К пятистенке пристроил навес,
А потом потянулся на хутор.

И нельзя подступиться к нему
Без земного поклона, без лести.
Норовит он любого в хомут,
Будь то друг его, сват или крестник.

Сапоги он скроит из блохи,
Он привык, чтоб его величали,
Чтобы только его петухи
На заре и под вечер кричали.

Чтобы праздники только ему,
А другим невеселые будни,
Чтобы ворохом хлеб в закрому,
На столе чтобы водка и студень.

Он плевал на людскую нужду —
Пусть погибнут и старый, и малый,
Лишь бы сам в духовитом меду
Калачом разруганным плавал.

«Он чужой, он не друг мне, он зло!
Лиходей он, Милентий Заречный.
То, что было, бывшем поросло,
Далеко все осталось, далече».

И Чекмень утомленной рукой
Закрывает лицо, чтоб забыться,
Но, как прежде, тревожен покой.
На рассвете, как прежде, не спится.

Жарко телу, и мелкая дрожь
Донимает горячие руки.
Хоть бы гром прогремел, хоть бы
дождь
Проливной, говорливый и крупный!

Он оделся и вышел во двор:
Может, легче на воздухе будет.
Может, тихий весенний простор
Его сердце прохладой остудит.

Уже вспыхнул рассвет голубой,
Пробежал ветерок по деревьям,
И заря над широкой рекой
Золотые рассыпала перья.

А в поселке повсюду народ
И глядит на зарю, и вздыхает.
Больше всех у шабровских

ворот:
Тут и дед, и старуха глухая.

«Ай не спится?» — спросил их
Чекмень.
«Нет, Прокофьич... Чего-то не
спится...».
«Да, когда уж... забрезжилась
день...
Скоро солнце в окно постучится...».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Обманули!!! Обманом хотят.
Обошли нас, об'ехали, — видим!
Прямо в сердце колхозом грозят.
Мужики, не давайте в обиду!
Ой, кормилец наш, тронцын
день!!!».

От двора да к другому двору
Разговор, перемешанный с пылью.
Бабы бают, что гром не к добру,
Перебил злому коршуну крылья;
Девки бают, что праздник пропал.

А Заречный бушует в избе,
У него голова разломилась.
Он состарился, он похудел.
«Обманули! Скажи-ка на милость,
Обманули! Да как это так?!».

И Заречный сразмаху об стол
Тяжеленным стучит кулачищем:
«Вот и радостный праздник
христов.

Подожди, еще сделают нищим!
Обманули! Да как это так?!».

Но уж полдень... С зеленой горы
Наплывают безглазые тени,
В небе черная птица парит,
Задыхается луг от цветенья:
Шум на хуторе стал затихать.

Ашкадарцам извечно любя
Эта троица с травами, с ветром.
У Заречного тоже гульба
Затевается в горнице светлой.
Что ж, Заречный
Не хуже других!

Дубовый стол большой-большой
Столешником накрыт.
В избе светло и хорошо —
Гостям в ней только быть.

Заречный хмур, но все же рад
Компании своей.

«А ты поближе, ближе, сват,
Чай, ты мне всех родней.

Не к году праздник, да куда ж
С молебнами пойдешь?
А ты поближе, сват, уважь,
Закусишь и попьешь...».

А стол уже уставлен весь
Закусками, едой.
Здесь гуси есть, и куры есть,
И лук есть молодой!

Глядят сазаны на людей:
Бери, не откажи!
На синем блюде холодец
Смеется и дрожит.

Шумит изба. Как на лугу,
Трава покрыла пол,
И чашки весело бегут
Из шкафчика на стол.

Одни с оранжевой каймой,
Другие без каймы,
Одни с резьбой золотой,
Другие без резьбы.

Сошлись в кружок и разошлись,
Налитые вином,
И, покачнувшись, поднялись
Над праздничным столом.

Прошлись чашки третий раз.
Народ заговорил:
«Чай, нынче троица у нас.
Господь благословил!».

Шабер, Тереха-тугодум,
По селам первый гость,
Кричит, шатаясь: «Милай кум!
Не сладит Сталин, брось!».

Достал гармонь из сундука
Старшой хозяйский сын.
У ней атласные бока,
Золочены басы.

Ну, прямо птица, — не гармонь!
За эти голоса
Весною ранней отдан конь
Да мерочка овса.

Первее всех Заречный сам
Притопнул каблуком.
Давно Милентий не плясал
В компании такой.

За ним кума, звеня серьгой,
Вспорхнула со скамьи.
У ней платочек голубой,
Ботинки-соловьи!

И кум с кумой пустились в пляс,
Дивись, честной народ!
Кума смеется, щурит глаз
И песенки поет!

Гармонь баском,
А кума голоском:

«Не гляди, не тоскуй,
Улетел воробушка,
Поцелуй, поцелуй,
Поцелуй зазнобушку!».

Гармонь баском,
А кума голоском:

«Эх, кум-куманек,
Муж тебе помеха ли?
На денек, на денек,
На денек заехал бы!».

Все шире пляска, шире круг,
В избе и гул, и звон.
И хочет вырваться из рук
Веселая гармонь!

Но сын хозяйский — молодец!
Он крепко сжал ее.
Пускай напляшется отец,
Пускай возьмет свое!!!

А в потемках у двора
Распекает детвора:
«Троица, троица,
Тесом крыши кроются!».

А в потемках у двора
Пьяный мельник заорал:
«Да какая троица,
Скоро жизнь расстроится!».

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Белом Логе троицын день
Нынче тоже справляют крестьяне.
Всюду песни, и с водочкой всклень
Над столами смеются стаканы.

Тихий праздник иль с гулом грозы—
Раньше так никогда не бывало.
Ашкадарцы — известно — тузы!
Ну, а здесь и на хлеб нехватало.

А сегодня, гляди, разошлись,
Будто свадьба блеснула колечком.

Спозаранку лихой гармонист
Водит девок по берегу речки.

Как малинник, поселок расцвел:
В переулках народ, на дороге.
Лишь Чекмень никуда не пошел, —
Без вина в сердце радости много.

«С места тронулись, — думает он, —
Зашумела река, забурилась.
Вдарит молния, грянет ли гром,
Не удержишь теперь этой силы».

Вечерет... Качает жена
Озорного кудрявого сына,
И звенит в полутьме у окна
Нежный голос ее соловьиный:

«Баю, баю, баю,
Закройка-ка глазки и ложись.
Тебе я песенку спою
Про участь горькую свою,
А ты запомни на всю жизнь
Певунью-песенку мою.
Баю, баю, баю...»

В моем безрадостном краю
Теперь, кого ни вспомяни,
Все жили в лютой нищете,
А мне, несчастной сироте,
Горчее всех казались дни,
Горчее всех, не утаю.
Баю, баю, баю...

Кругом осталась я одна,
Как в поле черная копна,
У богатеев день-денской
Давлюсь работой и тоской.
А темной ночью слезы лью,
О смерти плачу и молю.
Баю, баю, баю...

А ты не хмурься, голубок,
Тебе я песенку спою
Про золотистый бережок
Да про зелененький лесок.
Усни и рученьку свою
Положь на рученьку мою.
Баю, баю, баю...

Расти, мой птенчик, поскорей
И смейся солнцу веселей.
Ты будешь жить да поживать,
Цветы и яблоки срывать.

Тебя, росиночку мою,
От всех врагов я отстою.
Баю, баю, баю...».

Встал Чекмень, в тихом голосе дрожь,
И позвал, наклонившись к кровати:
«Мать, а, мать, хорошо ты поешь.
И откуда запевки взяла ты?»

Прямо реки шумят и текут.
Ты весной, знать, когда новолунье,
Птичью грусть и людскую тоску
Собрала в свои песни-певуньи».

Растерялся, запутал слова
И, широкими вздрогнув плечами,
Стал несчетно жену целовать,
Будто только вчера повенчались.

А н н а:

Любишь, Степа, сынка-то, скажи?
Мал сыночек, да дорого стоит,
И какую он выберет жизнь,
Не пойму я своей головою.
Может, доктором будет большой,
Может, век свой загубит напрасно,
Может, век проживет сиротой
Без отца, без родительской ласки.

Ч е к м е н ь:

Ты про что это?
Это ты зря..

А н н а:

Знаю, Степа, да время какое!
О тебе мужики говорят
Беспокойно, уж так беспокойно.
Ты на хуторе вовсе не мил.
Ашкарцы косятся, ругают.
А Заречный расправой грозил,
Пьяный, правда, да кто его знает.
Как подумаю, грудь холодит,
Отнимаются руки и ноги.
Ведь не сладишь со всеми один.
Отступись ты, не стой на дороге!

Ч е к м е н ь:

Без причины пугаешь меня.
Не один я... помощников хватит.
Камышовы, Орловы, Ломакин,
Да и власть нам — прямая родня.

★

Да в потемках ковыль золотой,
Да кольцо, чтоб манило любого,
А родителям нужен покой,
Чай с вареньем и доброе слово.

Все по-своему: так почему
Жизнь губить мне Чекмень заставляет?
Не пойму, ничего не пойму,
Будто псы в голове моей лают».

И Заречный прилег у плетня.
Он хотел отдохнуть и забыться.
Но не может волнения унять —
Душит кашель, болит поясница.

Он, кряхтя, подбежал к лошадям
И схватил жеребенка за шею:
«Никому вас ни в жисть не отдам.
Сам себе не могу быть злодеем».

Он расплакался, щеки в слезах,
И с тоски, зная, с кипучей досады,
Лошадей он целует в глаза
И, зажмурившись, ласково гладит.

Он бы так простоял дотемна,
Ненавидящий всех и угрюмый,
Но во двор постучали, бранясь,
Ашкадарцы, его одномуны.

1-й ашкадарец:

Пьем, Милентий, который уж день,
Распоясав рубахи, гуляем.
Нас теперь догола хоть раздень,
Раздобрели — во всем уступаем!
Отдаем себя сами губить.
Дураки мы, Милентий, ей-богу!

Заречный:

Аль напасти?..

2-й ашкадарец:

Да что говорить:
Крылья режут нам, путают ноги.

Жмет колхоз-то... Слышал, что ему
Понаслали бумаги, законы, —
Как бы нам не сосватать суму,
К Чекменю как бы с низким

поклоном...

Распивай тогда чашками мед
Темной ночью в зеленом овраге.

Весь колхозу, должно, отойдет
Чернозем наш по этим бумагам!

Заречный:

Чернозем наш?! Ты вправду, Аким,
Не похмелье в тебе беленится?..
Что ж молчите, Аким, мужики!!!

1-й ашкадарец:

Что молчать-то? Отходит земляца...

Заречный:

Это как же? Да мы не дадим
Разорять наши гнезда сорокам,
Коли надо, паши на груди,
Волосатой моей и широкой!

Чернозема не трожь и не трожь!
Ты, Чекмень, не ходил за ним,
слышишь?!

Ашкадарцы:

Кой-кого бы, Милентий, на нож!
Сразу стали бы люди потише...

Ашкадарцы глядят на него,
А Заречный кричит еще злее:
«Не отдам я, покуда живой!
Сколько лет черноземом владею.

Не отдам чернозема, шабры.
Не привык я к стыду и к
бесчестью!».

От досады бледнеет Заречный,
И на лбу набухают бугры.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Полетели повсюду слушки
Без дорог и по разным дорогам,
Полетели слушки-петушки
Мимо старых плетней кривоногих.

Ой, беда, ой, Калуга, Рязань,
Против счастья пошел партизан.

А один-то слушок всех горластей,
Прямо в дождь угодил он, в ненастье.

Истомился слушок, похудел,
Изнурило дождем, изломало,
Но к Василию все ж долетел
На заре, когда все еще спали.

З а р е ч н ы й:

Надо дело решать, мужики...

В а с и л и й:

Не тяните. Еще подождете —
Опростают до дна сундуки,
Разлучат и с едой, и с работой.

Добывали одно к одному,
Ночь ли, полночь — себя не жалели.
А скажите на милость: кому?
Лежебокам хромым, лиходеям?!

Не тяните — таков мой совет.
Промахнемся, коль путаться станем...
Он, Чекмень, здешних мест или нет?

2-й а ш к а д а р е ц:

Белологский, сызмальства смутьянит!
Мы все думали: так это... дым.
И обман его поняли поздно:
Весь поселок метнулся за ним,
Каждый двор в Белом Логе

колхозный.

Повалили, заразы, гуртом!
День пройдет — и лесочек все реже.
Отрезают у нас чернозем,
И луга беспременно отрежут.
Все Чекмень, в Белом Логе он
главный!

В а с и л и й:

Что же в песнях его величать,
Не тяните, народ православный.
Время грозное... Надо кончать.

Коювода долой — и, глядишь,
По домам разойдутся крестьяне...
Избы долго не могут без крыш:
Свалит ветром, размоет дождями.
Так в одной и в другой стороне.

З а р е ч н ы й:

Да ведь Сталин!

В а с и л и й:

Везде не достанет, —
Чай, нас много, народ мы,
крестьяне!!!

Приглядится, подумает власть
И уступит, оставит, как было.
В двадцать первом году против нас
Не смогла и московская сила!
Не тяните, таков мой совет.

2-й а ш к а д а р е ц:

Ждать чего уж, — все жданки поели.

З а р е ч н ы й:

Может быть, самовар подогреть?..
Кум, да ты хоть попробуй варенье...

1-й а ш к а д а р е ц:

Благодарствую. Дай-ка табак.

З а р е ч н ы й:

Как же дело решим, дорогие?

2-й а ш к а д а р е ц:

Что ж решать-то, выходит, что так.
В нашем деле решенья простые...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шумны сборы! Куда ни взгляни, —
Все народ! У ручья жеребята
Воду пьют из железной бадьи
И пугливо косятся на маток.

Шумны сборы! Кипит Белый Лог,
Льется в роще напев соловьиный,
И звенят у зеленых дорог
Кольца дуг, и вздыхают осины.

Первый раз собираются здесь
Вместе в поле порой этой ранней,
Даже в сказках чудесней чудес
Никогда не слышали крестьяне.

«Ну и день, мужики, ну и день —
Каждый лист тебе радует сердце, —
Говорит, улыбаясь, Чекмень. —
Видно, к счастью денек загорелся!».

Он идет вдоль рыдванов, телег —
Хорошо ль лошадей запрягают?
Но запряжка на совесть у всех:
Дуги—свечи! — прямой не бывает.

А Пахом даже розовый бант
Впутал в гриву гнедухе ушастой
И подкову припрятал в рыдван —
Он нашел ее, — стало быть, к
счастью.

И по полю тебя не помчат
На тачанке буланые кони.

Ты не выйдешь в походном строю,
Не отдашь командирских приказов.
О тебе только песни поют
Да слагают рассказ за рассказом.

Ходит молча над речкой луна,
На басах гармонисты тоскуют,
И жалеет, жалеет страна
И героем тебя именует...

Да...
Тебе из могилы не встать,
И руки не протянет Заречный,
С Чекменем чтобы выйти опять
Зашумевшим сраженьям навстречу.

Нет той дружбы, менявшей судьбу,
Слишком много в амбаре сусеков,
Свой рысак с островками на лбу,
В сундуках кружева, словно реки.

Эта сила бесчестья и зла
Солнце прятала, рушила камни,
Поколенья сводила с ума
И гремела литыми замками.

Ее, плача навзрыд, за столом
В серебро наряжали невесты,
Зазывали поклонами в дом,
Задобряли словами и лестью...

Но, бессовестной, ей нипочем
Ни родство, ни душевная дружба, —
Она тешит себя грабежом,
Страшным бедам и пагубе служит.

Волкодавы ее берегли,
Неразрывные цепи да вилы.
На земле нет кусочка земли,
Где б она не была, эта сила.

Ты, Чапаев, в потемках души
У Заречного зверя видал ли?
Хочет счастья людей он лишить.
Все врагами Заречному стали!..

Тяжка встреча,
Погибельна встреча.
Тухнут, гаснут
Зеленые свечи...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Привезли Чекменя—чуть живой:
Ни спросить, ни ответить не может,
Не Чекмень, будто кто-то другой —
Плечи вдавлены, рот перекошен.

Он на птицу похож, что в траве
Умирает от лапы звериной,
И в беспамьятстве к голове
Вскинуть силится крылья-махины.

Как их вскинешь? Дороги пылят,
Бьются черные ветры у стога,
Ходят кругом в глазах тополя,
Наступают на руки и ноги.

А поджав голубые бока,
В берегах заливных, камышовых,
Поворачивается тихо река
С мелкой рыбой и с рыбой большою!

И все меркнет—и речка, и падь.
Чекменя, как безглазую глыбу,
Волокут мужики на кровать,
Затаив круговую обиду.

Стало тихо на миг, а потом,
Дрогнув крышей, горбатой и давней.
Заметалась изба, и крылом
Загудела широкая ставня.

У кровати рыдает жена,
Плачет сын, растопырив ручонки,
И качает кривая стена
Беспокойные тени ребенка.

И тяжелые лапы тоски
Давят плечи мужицкие больно:
«Как же будем?—кряхтят мужики.—
Не довел нас, оставил средь поля...

Видно, счастьем опять не бывать,
Не дружить ему, видно, с народом.
Видно, всем нам в нужде умирать
Раньше годом, позднее ли годом...».

А под утро упала роса
На густую траву, на потемки,
И в траву, и в пруды набросал
Май душистый венков расплетенных.

В эту пору ни птица, ни конь
Не тревожат степного покоя,

Не гуляет по роще гармонь,
Не трезвонят березы листвою.

Тишина... И в такой тишине
К Чекменю вдруг вернулось сознание.
Он глазами повел по стене,
А в глазах его—скорбь и страданье.

Он дрожащей рукой поманил
И шабров, и родную Анюту
И промолвил: «Ну, вот, отслужил...
Видно, смерть мою вымолил хутор...

Берегите колхоз пуще глаз,
За старшего Пахома возьмите...
И еще мой последний наказ:
С ашкадарцами—мир... не мирите...

Счастье будет... немного вам ждать...
Счастье здесь, мужики, оно близко...
А придется... в Москве побывать...
Поклонитесь вы... Сталину низко...».

Ждали все, что накажет Чекмень
Черным камнем ответить за камень,
Но, вздохнув, он упал, словно тень,
И глаза обернулись белками...

И поселок заплакал с утра
И с пригорка, почуяв сиротство,
Разлетавшимся машет ветрам
Журавлями высоких колодцев.

В переулках, у речки народ,
А другие спешат по дороге,
Что к избе белотрубой ведет,
К черным плитам заместо порога.

В зиму лютую ночью и днем
Тихо избу качают метели,
А весной заблудившийся гром
Голубыми копытами целит.

У избы чернобыльник, зола,
А когда-то здесь яблоня пела,
А когда-то шумела, цвела
И качалась парусом белым.

Только яблоню шашкой в плечо
При закате густом и широком
Полюбивший разгул и почет
Зарубил офицер черной сотни.

Помнят все — и сосед, и родня —
Долго яблоня вечером летним
Умирала, стараясь поднять
Молодые, зеленые ветви.

Если яблоню ту офицер
Не срубил бы серебряной шашкой,
И она бы грустила теперь
О хозяине в час этот страшный.

Он холодный лежит на столе,
Полусогнуты желтые руки.
И, хоть гром донесется с полей,
Он не встанет и шагу не ступит...

Холм могильный. Тоска и печаль.
Тихо с кладбища люди уходят.
В их неровной походке, в речах
Горше горюшка не было сроду.

«Сколько маялся мил человек, —
Грустно молвит Ломакин Орлову, —
Всю-то жизнь, весь свой крохотный
век

Дождался он счастья людского.

И, гляди, как неладно пришлось!
Показалось лишь солнышко в небе,
Отгостил наш Степанушка, гость,
Будто вовсе в поселке и не был.

Не придет, не откликнется он,
И следа нет на травах кипучих,
Иль такой на земле есть закон,
Что погибель и жизнь неразлучны?

Ты гляди: умирает зерно,
Буйно в поле хлеба колосятся,
Гибнет снег говорливой весной,
Начинают цветы распускаться.

И, чем пуще ручьев его звон,
Тем цветы веселей и пахучей,
Иль такой на земле есть закон,
Что погибель и жизнь неразлучны?

Орлов:

Сплоховали мы сами тогда,
Надо б сгрудиться возле Степана!

Ломакин:

Сплоховали...

Орлов:

И вышла беда.

Ломакин:

Сплоховали...

Орлов:

А гром-то и грянул...

Так идут они мимо кустов,
Мимо речки глубокой и мутной,
А на кладбище в чаще крестов
Причитает и плачет Аня:

«Кабы знала я, сокол ты мой,
Я б тебя от врага защитила,
Я б тебя напоила водой,
Что спасает от вражеской силы...

Я бы слово в народе нашла,
Наговорное, крепкое слово,
Я б в обиду тебя не дала,
Друга милого, друга родного.

Наказала бы буйным ветрам,
Чтоб тебя берегли от напастей,

Наказала бы страшным громам,
Жгучим молниям, звездочкам ясным.

Ой, да как же мне век доживать,
Ой, куда мне теперь прислониться,
Ой, куда же мне горе девать,
Из какого колодца напиться?

Встань, Степанушка, встань, дорогой,
Без тебя мне и горько, и страшно.
Встань, желанный, пойдём-ка домой,
Все разбросано в горнице нашей».

И Анята, бессильна, бледна,
Над печальной могилой склонилась:
Больше жизни на свете она
Темнобрового мужа любила...

Незабудками, разной травой
Нарядили могилу крестьяне,
Окаймили дубовой листвою
И речным, нетускнеющим камнем.

Выше всех она, краше, родней,
Ее видно за всеми крестами.
Куст рябины бушует над ней,
И колышется алое знамя.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Июнь! Цветы, куда ни кинь,
И травы, травы сплошь.
Гремят в оврагах родники,
Бежит с пригорка рожь,
Все волнами да волнами,
Впереглядку с васильками,
Огоньками.

Июнь! Лишь солнышко взойдет,
Блеснет река в лучах,
На гибкой ветке запоет
Соловушка тотчас:
То про радость, то про горе,
То засвищет, то заспорит,
Речке вторя.

Июнь! — Закаты все нежней,
Кричат птенцы кругом,
И, захмелев от теплых дней,
Буянит в речке сом,
Озорной, большеголовый,

В чешуе блестящей, новой,
Сторублевой.

Июнь! — Березка у двора
Стоит, не шелохнет.
Июнь! Желанная пора:
Цветет все и поет,
И пригорки, и лощины,
И веселая калина,
И малина!

Только некогда людям глядеть
На цветы, на июнь густотравный,
Только некогда людям сидеть
И в напевах июнь этот славить.

Испугались сперва мужики:
На распутьи Чекмень их оставил,
Без него, как без правой руки,
Правишь прямо, а едешь в канаву.

Но принялся за дело Пахом,
Он поселок в несчастьи не бросил.

Распахали в два дня чернозем,
И теперь травы сочные косят.

Глянь налево, направо взгляни —
Все колхозный народ белологский:
Широченные плечи у них —
Молодые, высокого роста.

Труд их спорится: ряд лишь прой-
дут —

Сто возов сразу падает сена,
Бабы граблями сено гребут,
Словно воду зеленую пенят!

А Пахом, знать, и часу не спит:
Сам везде он—в поселке и в поле,
То к колодцу, то в кузню спешит,
То подсолнухи с девками полет.

Вот опять он обходит косцов,
Косы пробует—выщербов нет ли.
И всем ласково смотрит в лицо
И дает по-хозяйски советы.

«Отдохнул бы,—ему говорят.—
По одной хоть цыгарке раскурим».
«Отдохнул бы, да руки горят»,—
Отвечает Ломакин, прищурясь.

Но Орлов, его друг дорогой,
Кум двухразовый, в песнях
подладчик,
За плечо ухватился рукой
И Пахому твердит, чуть не плача:

«Кум, а, кум, и откуда взялась
Эта сила... огнем все сжигаем!
Что народ, что работа у нас,
Я гляжу и томлюсь, и вздыхаю.

Как тут счастьем, Пахом; не бывать—
Рассветнет лишь, мы тучей выходим,—
Прямо армия, воинство, рать!
Сталин знал, видно, силу в народе».

«Кум, а может, приедет взглянуть...
Ничего там про это не слышно?».—
«Далеко к нам... Далекий к нам
путь...»

А гляди, и приедет, Порфиша!..».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Безутешно о муже скорбя,
Разуверилась в счастье Анюта,
Испугала Анюту борьба,
Надломил ее зореньку хутор.

«Где же счастье-то?—шепчет она
В тишине предрассветной и лунной,—
Без кормильца куда я годна
С малолетним дитем неразумным...».

Вдарит дождь иль июньский туман
Белой пеной завалит поселок,
К ней с туманом приходит Степан
Со своей неразлучной котомкой.

Дверь откроет и, будто живой,
У родимого станет порога,
Вытрет лоб запыленной рукой
И промолвит: «Теперь уж немного...».

Хочет мужа Анюта схватить,
Но в тумане Степан пропадает,
Лишь луна на Анюту глядит
И простенок в избе освещает.

Уговаривал каждый ее,
Но не слышит она уговоров,
Плачет в голос—и только свое:
«Хоть бы смерти мне тихой и скорой».

Оживить бы Анюту, но чем?
Где найти ей лекарство от скорби?
И каких ей придумать речей,
Чтоб забылось бескрайнее горе?

«Богатеть надо... — думал Пахом.—
Сеять, строить, косить неустанно,
Чтобы все улыбалось кругом —
И народ, и леса, и поляны».

Кабы знал он на свете траву,
Он на тройке за ней поскакал бы,
В чаще леса нашел бы, во рву,
Из бездонного моря достал бы.

Он за пазухой вез бы ее,
Чтобы всю сохранить до листочка,
Поливал бы из теплых ручьев,
Освежал бы прохладою ночи.

Но такой не расти, знать, траве
Ни при громе глухом, ни без грома.

Оттого седины в голове
Стало больше теперь у Пахома.

Полдень. Молча Анюта лежит.
Потемнело лицо от печали,
А сосед на скамейке сидит
И притихшую люльку качает.

С т а р и к :

Ты бы встала, Анюта, прошлась
Да умылась холодной водицей,
За шитво бы, Анюта, взялась,
Чай, в своей ты избе, не в больнице.

А н н а :

Пропаду я...

С т а р и к :

Не бросит народ.
Ты крепись, пересиливай горе.
Надо жить. Сын, Анюта, растет,
Станет он помогать тебе скоро.

А н н а :

Ну, а если народ—по домам,
И начнет опять властвовать хутор?

С т а р и к :

Не печалься, подумай сама—
Разве жизнь пересилишь, Анюта?
Ты, к примеру, возьми ручеек,
Он, родившись, плутает, плутает,
Но окрепнет и камень пробьет,
Потому что в нем сила живая.

А н н а :

Дай напиться. В груди запеклось...

Встал старик и поплелся устало,
Но, когда он ей воду принес,
Как ребенок, Анюта рыдала.

И, наверно, сгорела б она,
Как июньская ночь на рассвете.
Но вчера вдруг Анюта ушла,
Вся наряжена, вся в сатинете.

«Далеко ли решила лететь,
По какому пути-перепутью?
Да уж будем за сыном глядеть...»—
Говорили соседи Анюте.

«Видно, к брату...—решили они.—
Брат желанный сестрицу не бросит.»

Но напрасно, нигде у родных
Нет Анюты и не было вовсе.

Степь... Леса, и все больше сосна.
Мчится поезд, и смотрит Анюта
У раскрытого настезь окна
На костры запылавшего утра.

Ходуном ходит пыльный вагон,
И, железного шума пугаясь,
То сосна, то береза, то клен
От вагона бегут, спотыкаясь.

А колеса вагона стучат,
И июнь, примостясь на подножке,
Едет красное лето встречать,
Озорной, молодой и хороший!!!

Рыжеусый, высокий тверяк
Поглядел и промолвил Анюте:
«И чего убиваешься так?
Поспала б хоть какую минуту.

Все цветет... А ты кличешь тоску.
Слышишь, тетка, далеко
спешишь-то?». —
«За советом я еду... в Москву
Из поселка. Беда у нас вышла...».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ой, красивая наша Москва!
Машут флаги, несутся трамваи.
И плывут площадей острова,
Фонари золотые качая.

Дом над домом и рядом дома,
Перед домом дома и за домом.
И нигде не гуляют грома
Веселее московского грома.

Никогда ни пред кем головы
Не склоняла Москва и не склонит.
Много пушек литых у Москвы,
И конца нет победным знаменам.

Самолет над Москвою парит,
А где Сталин проходит с друзьями,—
Там рубиновым светом горит
Мавзолей, — это солнце и знамя!

Но тому, кто в Москве не бывал,
Трудно сразу: как море закрутит.

Только поезд к вокзалу пристал,
Зашаталась от страха Анюта.

«Как бы к Сталину, милые, мне?» —
Окликает Анюта прохожих.
«Да ведь Сталин, родная, в
Кремле». —
«Далеко ли? Пешком теперь
можно?».

«Так вот прямо иди и иди,
Недалеко, совсем недалеко».
И Анюта идет и глядит
На людей, на зеркальные окна.

Вот и Кремль. Шумно море садов,
Бьет волною в зубчатые стены.
И ложится на крыши домов,
Затихая, зеленая пена...

Часовой не ответил сперва,
А потом стал расспрашивать строго:
Что да как, да какие дела
Привели по далекой дороге?

Расспросил про своих, про чужих
И ушел, заскрипев сапогами,
Самый старший из всех часовых,
Перетянутый туго ремнями...

Возвратился, и вместе они
По дорожке пошли по кремлевской.
Лунный свет им глаза серебрит,
Осыпают их лунные блески...

Сталин ждал уже... Трубка его
Синим дымом едва лишь дымится.
Кипы книг на столе, и тесьмой
Перемечены в книгах страницы.

Всюду строгая скромность видна.
Ни богатства здесь нету, ни блеска.
Стулья, стол, три квадратных окна,
И льняные на них занавески.

Вот отсюда ведет он страну
Через волны, сквозь бурю и ветры,
Вот сюда рвутся люди к нему
Со всего необъятного света.

Он взволнован. На смуглых щеках
И румянец, и северный холод,

И разящая грозы рука
Мнет у куртки зеленый приполлок.

Весь — стремленье, — рожденный на
свет
Гулким громом да молнией быстрой,
Сталин знает законы побед,
Их суровость и путь их кремнистый.

Но всегда весть о смерти бойца
Хмурит взгляд огневой и орлиный,
И невидимым жалом резца
На челе углубляет морщины.

Нет на свете любви горячей,
Чем любовь его к рыцарям дела,
Нет на свете любви, чтоб сильней
Согревала, звала и велела!

Полный силы, с зовущей рукой,
Он у всех и всегда пред глазами,
С ним идут пограничники в бой,
Голубыми сверкая штыками.

Тянут полную сеть рыбаки,
Рубят лес вековой лесорубы,
И в подземных пластах горняки
Добывают с ним уголь и руды.

В поднебесьи с ним летчик летит,
Корабли с ним штурмуют ненастье,
Покоряя стихию воды
Его волей, железной и страстной!

В деревнях, где подсолнух цветет,
В городах и на шумных заводах, —
Всюду Сталина любит народ,
Потому что он — сердце народа.

Потому что он свято хранит
Свою клятву великой могиле,
Потому что не знает гранит
Крепче силы, чем Сталина сила.

Он — учитель наш, друг и отец,
Самый смелый он, самый мятежный,
Созидатель, ученый, боец
В своей строгой военной одежде.

Он взволнован... Луна сквозь окно
Поседевший висок освещает,
На паркетном полу возле ног
Лунный луч одиноко играет.

«Да. Чекмень...» — тихо Сталин сказал
И хотел раскурить свою трубку,
Но в дверях, утирая глаза,
В этот миг появилась Анята.

Как отец, ее Сталин обнял,
Как отец, приласкал ее Сталин,
Как отец, уговаривать стал,
Чтоб забыла Анята печали.

Гладит голову, сам говорит
Задумчиво и ласково с нею:
«Вы не плачьте, не век же тужить,
Будьте, Анна Петровна, смелее.

Ничего, что не степь здесь, а Кремль.
Отдыхайте с дороги, устали...».
Растерялась Анята совсем.
Да неужто и впрямь это Сталин!

То поправит Анята платок,
То зеленую кофту потянет,
То зардеет, как алый цветок,
То, как белый цветочек, завянет.

А н н а:

Не суди меня строгим судом,
Из поселка я... Может, и знаешь.
Далеко мы. Там степи кругом,
И дорога к поселку степная.

Много дел у тебя и забот,
Государство — громада громадой.
Ведь куда ни взгляни — все народ,
И везде поспевать тебе надо.

До меня ли твоей голове,
До моей ли заботы докучной...
Но сынка моего пожалей,
Без отца он остался, голубчик.

Ничего не придумала я,
Мне все видятся тучи да ветер.
На тебя вся надежда моя,
Укажи мне дорогу на свете...

Сталин нежно в глаза ей взглянул,
И в глазах ее, неба синее,
Он увидел и степь, и страну,
Что с годами сильнее и сильнее.

«Тяжело вам... — промолвил он
ей. —

С горем сладить — не с радостью
сладить,
Горе старит без срока людей,
Но отчаиваться не надо.

Кровь Степана не зря пролилась,
Не пройдет она даром, бесследно:
Есть земля, есть советская власть,—
Значит, будет в колхозе победа».

Он сказал, что совсем не одна
Она с сыном на свете осталась,
Что помогут колхоз и страна
И что сам он поможет ей — Сталин.

Завели разговор про войну,
Про широкие степи, заводы,
Про великую нашу страну
И про светлое счастье народа.

Рассвело. В Белом Логе сейчас
Пастухи выгоняют скотину,
В речке радостно плещется язь,
И в камыш заплывает гусыня.

Просыпаются птицы в садах,
Умываются люди в поселке,
И последняя меркнет звезда
Вдалеке над зеленым пригорком.

А в степи с первым блеском зари,
Молодецкие плечи расправив,
Ряд за рядом идут косари
В наступленье на сочные травы.

И никто, ни один человек
Ни в степи, ни в поселке не знает,
Что сегодня Анята в Москве
Золотистое утро встречает.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вьются птицы, куранты поют,
И нарядно в Кремле, и уютно.
Тихим шагом идут по Кремлю
В полдень солнечный Сталин
с Анятой.

«Погостили еще бы у нас.
Воля ваша, неволить не стану.
Час счастливый вам, добрый вам
час...» —
Говорит на прощание Сталин.

«Погостила б, да сын меня ждет,
Еще птенчик...—сказала Анята.—
А теперь больше в поле народ,
И домой не приходят по суткам.

Ведь, страда.. Скоро рожь будем
жать.
Рожь-то нынче густая, густая...
Ой, да как же складнее сказать,
Не училась, вот слов и не знаю.

Что я в детстве видала? Нужду.
Вспомнишь песни, в них горе и
скука...».

И она поклонилась вождю
И пожалала приветливо руку.

И опять, будто в лад и не в лад,
Застучали колеса вагонов,
И страна побежала, как сад,
Вся в цветах и в кипеньи зеленом.

Две вечерних зари отцвело,
Отцвело два рассвета румяных,
Вот уж солнышко третье взошло,—
И навстречу бежит полустанок.

Белотрубый, садами богатый,
Он пылает в июньских лучах,—
Погляди, они всюду сейчас,
На заборах, на крышах горбатых.

На деревьях они, на росе,
В придорожной траве пожелтевшей,
На собаках, что весело брешут,
На раскинутых крыльях гусей.

И все больше и больше лучей,
Оттого, знать, в глухом полустанке
Золотая кайма на тальянках,
Золотые глаза у людей.

«Это Каменка?». — «Каменка,
да...». —
«Тут сходить мне, приехала, милый.
Утро нынче... В зеленых садах
Все как есть зацвело, задымилось!».

И Анята пошла через лес,
Отдыхать в полустанке не стала:
Далеко до родных ее мест,
Да и ноги совсем не устали.

Лес все гуще, трава зеленой,
Над травой проносятся утки.
Заблудившись, бежит за Анятой
Говорливый, бездомный ручей.

То замрет он, застрявши в траве,
То, пробившись на чистое место,
Зазвенит—и ему соловей
Отзывается радостной песней...

В полдень кончился лес, а ручей
Убежал от Аняты к озерам,
Наклоняясь, степные просторы
Зашумели теперь перед ней.

Здесь стоять бы и молча смотреть
На траву и на то, как в ложину,
Отливая зеленым и синим,
Брызнув травами, падает степь.

Вдоль дороги ромашки бегут,
Ветерок одуванчики пенит.
И, раскинув ладони, плывут
Через степь молчаливые тени.

А под вечер над степью закат
Склонит крылья свои золотые,—
Но нельзя ей, Аняте, никак...
Заждались ее дома родные.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Первым встретил Аняту сосед:
«Ой, Анята, откуда явилась?
Ветер начисто вымел твой след,
И изба без тебя покосилась.
Видно, братцу ты очень мила...».

А н н а:
Жив сыночек?

С т а р и к:
Растет, веселится.

А н н а:
Я в Москве ведь, Кириллыч, была,
Поднялась и слетала, как птица.

С т а р и к:
Ты здорова ль, Анята? В Москве?
До Москвы на коне не доскачешь.

А н н а:
А была, вот... И виделась — с кем!
Только вспомню, и сразу расплачусь.

Я от горя совсем извелась.
 Дай-ка, думаю, к Сталину,
что же...
 Если он мне совета не даст,
 То никто мне тогда не поможет.

Век я буду Москву вспоминать...
 Все, Кириллыч, сбилось, как
гадала.
 Ой, родимая матушка-мать,
 Ой, какой человек этот Сталин!

Снял безухую шапку старик
 И на север приветно махает,
 И Анюте опять говорит:
 «А у нас перемены, родная...»

Увезли ашкадарцев вчера,
 Четверых, и Заречного тоже,
 Видно, писан дворец им
острожный,
 Видно, яблоня их отцвела...».

Но слова не идут, как на грех,
 Его сердце другое волнует:
 «Ты, Анюта, счастливее всех,
 Дай, Анюта, тебя расцелую!».

А к избе все подходит народ.
 Сын давно на руках у Анюты,
 Он в ладоши от радости бьет,
 Он веселый, как летнее утро.

Люди просто не верят себе, —
 Стала смелой Анюта и бойкой,
 Разговор говорливый и
громкий,
 Брови туже, глаза голубей.

За вопросом Анюте вопрос:
 Отчего, уходя, не сказала —
 Как Москва, есть в Москве ли
колхоз,
 Как приветил в Москве ее
Сталин?

День идет, и беседа идет,
 Все душевней она и шумнее.
 Вдруг затих белологский народ,
 Словно грозы в степи
загремели.

Лепетала еще детвора,
 Но и дети, нахмурясь, замолкли.
 По степи быстро шли трактора
 И махали флажками поселку.

«Это он, это Сталин прислал! —
 Задыхаясь, Анюта вскричала, —
 Он колхозу помочь обещал.
 Это Сталин! Родимый наш
Сталин!».

А старик, что Анюту встречал,
 Зачарованный поступью властной,
 На завалинку сел и сказал:
 «Здравствуй, счастье, крестьянское
счастье!!!».

Скоро вечер. Задумался лес,
 В травы падают темные пятна,
 Бьется бронзовый голубь
заката
 В тихой заводи синих небес.

В полушалке пунцовом Анюта
 Далеко при закате видна,
 Убирает могилу она
 Огоньками степных незабудок.

Рядом сын ее. Детской рукой
 Наклоняет он ветку рябины.
 Будто парус широкий и синий,
 Подплывает к ним вечер
степной.

Положила Анюта цветочек
 И сказала, на сына взглянув:
 «Поскорее расти, мой сыночек,
 Да люби, как отец твой,
страну...».

И опять принялась убирать
 И травой, и цветами могилу.
 Над Анютой и маленьким
сыном
 Догорает июньский закат.

Обступили могилу крестьяне —
 Всех родных им роднее Чекмень.
 Голубую, как речка, сирень
 Озарило победное знамя.

ЭПИЛОГ

С той поры пронеслось много лет.
За горой, на реке Ашкадаре,
Ненавистного хутора нет, —
От него только камни остались.

Волчий вой ашкадарцев заглох,
Не буянят они, не гуляют,
Но счастливо живет Белый Лог
И героев своих прославляет.

Нынче лето не лето, — заря:
В сажень рожь, а местами и выше.
Степь шумит, и по рощам горят
Широченные зарева вишен.

Что пшеница, что звонкий овес,
Лишь качнутся — зерно проливное.
Побурев от дождей и от гроз,
Шумно пенится просо густое.

Разбежались арбузы кругом.
Их под осень вдвоем не поднимешь.
Золотистым покрылись пушком
На пригорке медовые дыни.

Перепутались травы, как дым,
Желтым облаком ходит подсолнух,
И над этим обильем земным
Раскаленное плавает солнце.

Бикин впадает в Уссури

ПЬЕСА В 4 АКТАХ, 8 КАРТИНАХ¹

М. ЧУМАНДРИН

★

Действующие лица:

Матвей Девятков
Лука Робинзон
Досун
Яту
Юцай
Холонка
Ея-Син
Софья
Милицционер
Творогов
Батрак Отравленова
Командир
Летчик
Пшеничный
Сигдэ
Мао-Ши
Иван Семенович (Моцидзуки)
Баська
Старый рыбак на Ханке (Антон)
Внук
Сарафанов
Отравленов
Мать Архелая
Красноармейцы
Удэхейцы
Староверы

Дело происходит ранней весной 1932 года в районе староверческих поселений, почти на самом водоразделе Сихотэ-Алинского хребта, в глухой тайге, за четыреста километров от железной дороги, за сто — от ближайшего телефона.

¹ Репертуар БДТ им. Горького в Ленинграде и театра Ленинского комсомола в Москве. Постановка пьесы в этих городах без согласия автора и названных театров воспрещена.

АКТ ПЕРВЫЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Берег озера Ханка на самой границе. Солнце на закате. Местами на берегу еще лежит снежок. Опрокинутая ледка на льду. На льду то там, то здесь — проталины.

Внук у костра. Пробует варено. Рыбак чинит сеть, сидя на дне лодки.

Внук. Ну, дед... Уха — прямо Торгсин...

Рыбак. Ну, коли, значит, ужинать — давай ужинать...

(Собирает сеть, аккуратно складывает ее. Идет к костру. Моет руки снегом. Вытирает сетью. Присаживается на корточках. Начинается ужин.)

Рыбак. Давно что-то ты на деревню не ходил... У вас нынче никакого собрания? Может, политшкола? Танцы, может?

Внук. Нету собрания... Ой, проглодался, душа с меня вон!

Рыбак. Живем мы с тобою одиноко и дико. Ни к нам никто, ни ты к кому. Пошел бы к ребятам!

Внук. Да нет, я не обижаюсь. Товарищи у меня есть, на заставу, в крайнем случае, можно... Вообще, не обижен, был бы сам хорош, а люди найдутся.

Рыбак. Не бормочи за едой. Пища требует уважения.

(Продолжительное молчание. Петька ест быстро, ладно, но, как птица: он непоседлив, оглядывается, поминутно меняет позу. Шум пролетающей утиной стаи. Петька хватает ружье, стреляет, почти не целясь.)

Внук. Однако шестая утка. После ужина надо собрать. Я пишу очень уважаю.

Рыбак. Пошел бы к ребятам!

Внук *(с недоумением)*. А что? Может, и вправду пойти?

Рыбак. Там у меня за иконой кiset, возьми денжат, — семечков полузгать захочешь, ландрину купи... Девчата, знаешь, это уважают.

Внук *(мечтательно, даже откладывая ложку)*. Девчата это уважают.

(Пауза.)

Хороша наша весна.

(Пауза.)

Вчера—или это почудилось мне, или на самом деле — ландышами запахло, дед! Не веришь?

(Пауза.)

А то... я иду потихоньку, а она стоит на крыльце, перед крыльцом — березки, они еще голые, синие. Она смотрит на них, не видит меня, шепчет что-то, вся покраснела, и щеки, как солнце...

Рыбак. Кто такая?

Внук *(мечтательно)*. Этого я не скажу тебе, дед...

Рыбак. Пойди, приоденься, лопотина у тебя справная...

Внук. Это правда, одежка у меня справная, показаться не стыдно.

(Над их головами слышится шум пролетающей утиной стаи. Вот испуганно вскрикнула одна. Петька схватывает, но опускает ружье.)

Летите, хватит, не буду больше, счастливый путь!

Рыбак. Темнеет... Шел бы пока!..

Внук. А уток собрать?

Рыбак. Я соберу сам. Иди, иди!

Внук. Ну, тогда я моментом...

(Исчезает за кустами. Старик поднимается, спускается по льду. Выжидаяще смотрит вдаль.)

Рыбак. Один ты у меня, Петя, — наследник моего царства. Некого больше любить мне, Петя, — только ты, один только ты...

(Из распахнутой избы доносятся слова песни):

Не павать грачихе да соловьем,
Не жить одинокому да вдвоем!
Не бывать подлещику чебаком,
Не жить одинокому да вдвоем!
Не летать гусыне да соколом,
Не жить одинокому да вдвоем!

Рыбак. Все у меня было, нечего бога гневить. Марфа моя была богатырь,

до пятидесяти лет мужики любовались, и сам я здоровый был, а вот детей не дал мне бог. Обидел.

Внук.

Не бывать безногому плясуном,
Не жить одному да вдвоем!

(Выходит переодетый). Дед, прощай!
До утра не увидимся-а! (Уходит.
Поет):

Мы до самой смертыньки не умрем,
Не жить одному да вдвоем...

Рыбак. Слава тебе, христе-спасе!..

(Из тальника слышно негромкое гоготанье гуся. Старик отвечает ему нежным утиным криком. Плеск воды в проталинах становится все слышнее. Наконец, на сцену выходит небольшой, сухонький человечек в ватной китайской курме и ушанке из шкуры аксиса.)

Рыбак. А где Моцидзуки, Иван Семеныч?

Иван Сем. Он в Кхуцин будет. Он на побережье пойдет.

Рыбак. Его ведь народ ждет в верховьях. Сарафанов ждет, Серафим, мать Археляя, лоухинские старoverы, — народ! Где Моцидзуки? Хозяин-то самый — где?

Иван Сем. Мне и вам надо ходить на верховья.

Рыбак. Хорошо, предположим. А где Моцидзуки? Это же непорядок!

Иван Сем. Господин Моцидзуки будет. Как вам писал господин Сарафанов, вы мне сообщайте.

Рыбак (нерешительно). Я, конечно, хорошо знаю вас, но все ж-таки, я не имею права, Иван Семеныч...

Иван Сем. (медлительно). «Мой сын — четыре года»...

Рыбак (тихо смеется). Ну вот, давно бы так...

(Торопится к лодке, сует под нее руку, достает небольшой термос.)

Не промокнет, Иван Семеныч, хоть на самое дно.

Иван Сем. Гарнизоны?

Рыбак. Пожалуйста!

Иван Сем. Список фамилия?

Рыбак. Все, все.

Иван Сем. Фотография?

Рыбак. Господи, да разве я пешка?

(Пауза.)

Иван Семеныч, тут письмо есть от Серафима, знаете? С верховья? Возьмете?

Иван Сем. (берет письмо). Господин Моцидзуки передавал благодарность. Мы ходить на Сихотэ-Алинь должен.

Рыбак. Четыреста верст, Иван Семеныч. Апрель месяц — все расплылось, по тайге не пройти. Помилуйте старика, шестьдесят четвертый год!..

Иван Сем. Довольно болтовня!

(Вздрагивает, указывает глазами на ватную безрукавку старика и его валенки.)

Рыбак. Промокли? Ах, я, старый дурак! В избу не пожелаете? Приемыш у меня, внук, — так он ушел в деревню, живу я в сторонке, никто не увидит...

Иван Сем. Нет. Приносите хлеб. Мясо.

(Рыбак сбрасывает с себя безрукавку, валенки, торопливо бежит босой к избе. Иван Семенович переодевается, забирается под лодку, выглядывает оттуда. Что-то тоненько напевает: мотив странный, точно поет человек, лишенный слуха. Он напевает долго и монотонно, свернувшись на месте, как кот. Слышны шаги старика. Японец вскакивает.)

Рыбак. Не обессудьте, мяса не запас. Про вас предупредили поздно. Рыбки — пожалуйста...

Иван Сем. (резко). Меня не интересно рыба! Спирт?

(Рыбак виновато разводит руками. Иван Семенович выдергивает чашку.)

Глупый человек. Русский.

Рыбак. Только нынче сказали про вас, Иван Семеныч... Может, утку испечь?..

(Японец не отвечает, жадно набрасывается на еду. Рыбак молча следит за ним.)

Иван Сем. (с набитым ртом). Сюда, на границу, новый начальник при- был?

Рыбак (уже весело). Как же, с двум орденам! Такой любезный! Жена у него молодая, ну только не из русских, видать...

Иван Сем. Почему вы рад?

Рыбак (опешив). Что ж за радость, Иван Семеныч?

Иван Сем. (отбрасывая чашку ногой). Хэ! На концессия много японские солдаты ждут. Несколько дней ждать, и потом большой пожар начинается. Он от Кхуцин пойдет, к Сихотэ-Алинь поднимается, к железная дорога, советская власть начинается от дым и огонь задыхаться. Хэ! Этот большой материк совсем напрасно в руках советов находится.

Рыбак. Хорошо, Иван Семеныч, а как же дальше? Ну, допустим, свергнули, а дальше? Кому все это пойдет, Иван Семеныч? Вы уж не томите меня.

Иван Сем. (резко). Люди? Где ваши люди? Вы плохо работаете. Где ваш внук? Почему вы его давно-давно вербовать не имеете? Молодой человек, член коммунистической молодежи, он лучше вас: молодой, умный, энергия много! Спать нельзя. Торопиться должен. Ни один час нельзя терять.

Рыбак. Да я боюсь при нем рот разинуть: донесет. Вы знаете, нынешняя молодежь!..

Иван Сем. Строительство двадцать шесть? Вы узнавал?

Рыбак. Сил нет узнать, засекрети- ли. Извините!..

Иван Сем. Глупый собака! Вы свой кусок хлеба плохо заработал.

Рыбак (внезапно меняясь). Эй, помолчи!

(Японец отступает к лодке.)

Скажи спасибо, что тебе самому дают хлеб! Пес, макака, — чего ты разинул пасть на чужое добро? Справимся без тебя, посмотри! У меня промысла были по всему побережью, семнадцать кунгасов, пароходы «Антон» и «Марфа». Деньги и в Чите, и в Иокогаме, и в Шанхае, а в Сан-Франциске меня так и звали — царь Антон. Я рыбаков во как

держал. (Сжимает кулак.) Без вас жи- ли — проживем без вас!

Иван Сем. (точно готовясь к прыжку). С советская власть, да?

Рыбак (внезапно пораженный в самое сердце). А-а, советская власть!.. (Раскачивается, точно от зубной боли.) Дурак, вот истинно, что сбесился на старости лет, обезумел... Не погубите, ваше благородие. Ну куда, куда мы без вас?..

Иван Сем. (брезгливо). Старый собака!..

(Пинает его ногой. В это время из ку- стов выскакивает внук. В руках у него берданка. Он растерянно смотрит то на японца, то на старика.)

Рыбак (неистово). Петюшка, уйди от греха!

Внук. ...Как же так получается?.. Или ты, вправду...

Рыбак (шатаясь, поднимается на ноги). Петя... Как тебя угрозило? За- чем тебя принесло?!

Внук. Что же это получается? По- забыл деньги... Прихожу сюда, — что же я вижу? Или ты, вправду, не дед мне?..

(Рыбак направляется к нему.)

(Негромко.) Отойди! Я за себя не ручаюсь...

(Медленно идет к японцу. Тот угро- жающе поднимает термос. Секундное за- мешательство. Этим пользуется японец, он сбивает парня с ног, прыгает ему на грудь, бьет камнем по голове. Пальцы Петьки разжимаются.)

Рыбак (диким голосом, бросаясь к японцу). Убьешь!

Иван Сем. Уже есть. Убивал. (Старик стоит, ничего не слыша. Япо- нец встает, разминается. Грозно.)

Молчите вы почему? Глупый ста- рик, э?

(Старик медленно идет прочь. Иван Се- менович снова что-то монотонно и фаль- шиво мурлычет, поглядывая по сторо- нам. Старик возвращается с веревкой.)

Рыбак. Петька, Петька... Или ты — маленький? Ну, что ж с того, что оби- дели, Петя?! Брось, пройдет!.. Думал—

повернем на старое, отберем обратно промысла, я стар, ты будешь у меня за хозяина... Опять наша фамилия загремит по всему Зеленому Клину. Ну, что ж, что комсомолец, — ты сирота, чей, откуда — неизвестно, а тут бы я сделал тебя хозяином, полным наследником всего царства... Ай, Петька, Петька, — дурак!..

Иван Сем. Глупый старик. Ваш император Иван Васильевич Грозный для идея свой сын убивал. Почему вы болтал глупости? Я могу стрелять вас за этот опасный мысли.

Рыбак (помолчав). Да, теперь — все! (Кричит.) Не об ком теперь думать, некого жалеть. Давай, Иван Семенович, давай! Веди к Моцидзуке, пусть приказывает. Глотки рвать буду, вот этими самыми руками рвать! (Опускается перед Петькой.) Дурак ты, дурак, Петька, — не любил ты меня, пошел против. Разве ж не дурак? (Всхлипывает.)

Иван Сем. Прошу молчать! Внука — сын вашего сын, да? Ваш кровь, да? Это не ваш кровь, правда?

Рыбак (еле слышно). Ах, Петька, Петька!..

Иван Сем. (встряхивая старика.)

Надо ходить на Сихотэ-Алинь. Седьмого числа от побережья на Сихотэ-Алинь десять офицеры пошли. Они подробный план имеют, карта имеют, деньги имеют. Оружие будут в Самарга у наша концессия Саито-сан брать.

(Пауза.)

Завтра утро надо ходить.

Рыбак (поднимая голову). Да неужто не вернется прежнее время, скажи! Где теперь все твое царство, Антон? Где все это, Иван Семенович... Иван Семенович, где?

Иван Сем. Советский власть — совсем опасный угроза, он стоит и не дает дорога нам. Вы должны много работа делать. Вы должны молчать. Ваш император Иван Васильевич для идея свой сын убивал. Вы держать язык в зубах должен. Господин Сарафанов и господин Серафим Нилович должен охотники агитировать, должен императорский армия приглашать... Наша концессия и там, и здесь, и везде много солдаты имеет...

Рыбак. Эх, Петька, попался ты под руку, туда тебе и дорога. (Вытягивается.) Так точно, пошли к Моцидзуке, прикажите — глотки рвать буду!..

★

КАРТИНА ВТОРАЯ

Имба Сарафанова. Софья стоит, опершись о косяк двери, глядя куда-то в пространство. Творогов чинит в углу хомут.

Софья (задумчиво). Я ведь из бедных дочерей. И меня силой выдавали за сарафановского Ваньку. Да ты и сам знаешь, брательник-то мой и посейчас в батраках, у того же Отравленова.

(Пауза.)

Все мои дядья, все тетки обступили перед свадьбой меня: «Теперь ты богато заживешь...». (Помолчав.) И вот зажила! (С силой.) Посмотри на меня, получше смотри! Или я стара? Некрасиво? Дура? Почему же так несчастно идет моя жизнь? Почему никто не обоймет меня? Не скажет мне хорошего слова? Не взглянет на меня?

Творогов. Как так — «не взглянет»? Глупая!

(Софья в бессильной ярости мечется по избе. Потом замирает у окна.)

Софья. И вот ты еще бродишь за мной... Ну, например, женишься, — как же ты будешь жить?

Творогов. Женюсь, а работать буду у Сарафанова! (Обиженно.) Я ведь — батрак, вечный работник. Это не то, что ты! Всего у тебя хватает, сама хозяйка, здоровая, тебе троих таких свекров мало, как Авдей.

Софья. Замолчи, убью!

(Схватывает его за плечо, выталкивает за дверь, вслед ему летит хомут. Софья

молча начинает прибирать постель. Из-за двери доносится негромкий голос Творогова.)

Творогов (*из-за двери*). А уж как бы мы с тобой хорошо жили, Софьюшка. Я бы работал, как лошадь, за семерых. Ухаживал бы за тобой всю жизнь, как за невестой.

Софья. Уйди! «Мужик»!.. Какой ты мужик,—за восемь лет Сарафанов тебе жалованья не заплатил!.. Забывай думать!.. (*Горделиво.*) Я, может, пропадаю, да не дешева...

Творогов. Мать у меня добрая, вежливая...

Софья. Не доброта мне твоя нужна, а чтобы жил человек и не было в душе его никакого страха!..

(*Пауза.*)

Уйди! Закрой дверь.

(*С улицы доносится хлюпанье колес по грязи, негромкий оклик, фырканье лошадей. В избе появляется Авдей Сарафанов.*)

Сарафанов. Где Творогов? Ну, Софья, тогда — ты. Распрягай коней! Софья. А я и не запрягала...

Сарафанов. Софья-а!

Софья. Двадцать пятый год Софья.

Сарафанов. Не дури.

(*Софья медленно оборачивается, идет навстречу к нему.*)

Сарафанов. Ох, сатана! Не введи меня во искушение...

(*Со двора доносится возглас Творогова: «Авдей Сергенч!». Сарафанов уходит. Софья накидывает на дверь крючок.*

На дворе опять слышатся голоса, под-езжает еще телега, фыркают кони, огрызнулась собака. Софья стоит у двери, прислонившись к притолоке. Запевает):

Софья.

Скакал казак через долину, через Кавказские
края,
Скакал он, путник одинокий, кольцо
сверкало на руке.
Кольцо казачка подарила, когда казак
пошел в поход.

Она дарила — говорила, что через год буду
твоя.

Вот год прошел, казак стрелюю к себе
в станицу прискакал.
Навстречу шла ему старушка, с насмешкой
речи говорит:
«Напрасно ты, казак, стремишься, напрасно
мучаешь коня —
Тебе казачка изменила, другому сердце
отдала...».

Сарафанов (*дергая дверь снару- жи*). Софья, не дури!

(*Софья срывает со стены берданку, громко щелкает затвором.*)

Голос Отравленова. Отворяй, отворяй, хозяйюшка! Принимай гостей, промерзли!

(*После некоторого колебанья Софья откидывает крючок, все еще не выпуская берданки из рук. В избу входит Отравленов, двое стариков, сзади всех — Сарафанов.*)

Сарафанов. Гляди, с ружьем! (*Грозно.*) Я тебя честью прошу, в самый последний раз: бросай свою дикость, а то я тебя в сельсовет сведу.

(*Софья молча вешает берданку на гвоздь. Сумрачно смотрит на гостей.*)

Отравленов. Все не кончится ваше сражение? Ай, люди, человеки!.. Чтоб вам ежа против шерсти рожать!..

Софья. Откуда вас нечистая сила приволокла? Ждали вас? Звали?

Отравленов. Слышал, Сергенч? Уж выходит, ты и не хозяин в своем дому?

Софья. А ты бы помолчал, козел. Веник-то — вот он...

Сарафанов. Сонька!

Софья. Ты меня не куплял. Я тебе не Сонька.

Сарафанов. Ах, зверь, ну и зверь!

(*Бросается к Софье, она опять срывает берданку с гвоздя. Авдей отскакивает прочь.*)

Отравленов. Ай, Сонюшка, ай, орел!

Сарафанов. Не грехи, дура, при господах стариках.

(Староверы молча оглаживают бороды. Отравленов петушком поглядывает на Софью.)

Софья. Я не виновата, что всем вот взяла: ростом и красотой, и походкой. (Вызывающе прихорашивается.) Чего он ко мне? Спросите, за что я ему каждую ночь по морде да по морде?

Отравленов. Ай, Сергеич, — видать, любишь медок, а?

(Сарафанов, хлопнув дверью, выходит из избы.)

Отравленов. А ты бы нам покуда самоварчик, Софьюшка... Хотя и тепло, а все же настылись. Ночевали в Фазаньей пади. Просыпаюсь, лежу в бараке: шумит, шумит!.. Неужели, думаю, это наш Бикин? Безо времени, безо времени водица пошла. Уж когда сюда шли — прямо потоп. (Прислушивается.) Вода идет по льду, а послушай, что творится на перекате.

1-й старик. Ни на саях, ни в телеге.

Отравленов. Ранняя, очень ранняя нынче вёснущка.

Сарафанов (появляясь в избе). Угомонила, дьяволица? Никакая чума ее не берет, господа старики. (К староверам.) Ну, промежду прочим, давайте таскать. А ты, Сонька, поберегись! Я сокращу тебя, не посмотрю, что зубата.

(Софья не отвечает.)

Ты много за собою принесла моему Ваньке? Баретки да полушалок? А теперь как все одно — княгиня. Последнюю юбку сдеру! (К старикам.) Ну, довольно! (Уходит.)

Творогов (из-за двери). Видишь, все над тобой смеются, измываются. А у меня мать вежливая...

(Софья бросает трубу об пол. Творогов замолкает. В избе появляется Досун — охотник-удэхеец. Он ставит ружье к стене, присаживается на корточки, раскуривает свою крохотную трубочку с длинным мундштуком. Софья замечает Досуна. Изумленно смотрит на гостя.)

Софья. Досун? Чего это ты надумал? Один?

(Досун важно молчит.)

Софья (распахивает дверь). Яту, Ющай, Холонка! Давайте в избу. (К Досуна.) Что ж ты их, идол, на холоду оставил?

Досун. Его сиди там. Палатка делай. Мало-мало спи.

Софья. Тебя мало-мало палкой надо!

(Досун важно молчит. В избе появляется Сарафанов, весь перепачканный в глине.)

Сарафанов. Скоро там у тебя? (Замечает Досуна.) Давно прибежал?

Досун. Мало-мало недавно.

Сарафанов. Что ж так? Дела, что ли, какие?

Досун. Мао-Ши говори: «Деньга давай». Совсем плохо стал.

Сарафанов. «Совсем плохо стал»! Я говорил тебе: давай пушнину мне. Не связывайся с китайцами. На китайце ведь креста нет, он без стыда, без совести.

Софья. Зато на тебе крест, у тебя совести много...

Сарафанов (пересиливая себя). И много должен?

Досун. Сорок рубля и десять рубля. Пять года плати. Пять раз сорок рубля плати — его говори: мало. Его говори: девка давай — двадцать рубля считай нет. (Помолчав.) Жалко.

Сарафанов. За двадцать рублей, конечно, жалко. Разве ж это цена? Большая девка-то?

(Досун высовывается в дверь, что-то кричит резким, гортанным голосом. На крыльце лает собака. В избе показывается вся семья Досуна. Впереди матери и сестры, как и подобает мужчине, важно выступает Ющай, проворный, ладный мальчишка лет тринадцати. Он тоже с ружьем. Он присаживается рядом с отцом, берет его трубку, тянет ее. Держась за подол материна халата, робко выступает двенадцатилетняя Холонка.)

Сарафанов (рассматривая девочку, как вещь). Ну! Я-то думал — девка. Зачем она Мао-Ши? Ишь, какая заморыш...

(Яту присаживается в отдалении от мужчин, тоже начинает раскуривать трубку.)

Сарафанов. Закоптили, косорожие. Сам не курю и вам не велю. *(Пикает Яту ногой.)* А ну — кому сказано?

Софья. Смелый! И до чего же ты пес, Сергеич?!

Сарафанов. Боже правый, да приberi ты от меня этого дьявола!

Софья. Днем «приberi», а ночью — полезешь? Опять табуреткой огрею, истинный господь.

Сарафанов. Сонька!
(В избу вваливаются давешние староверы. Опять впереди — Отравленов.)

Отравленов. А ну-ко, Сонюшка, полей теплой водички, мыльца душистого распахуй...

Софья. Черного кобеля не отмоешь добела.

Отравленов. Веселая у тебя сношенька, Сергеич, не то что моя холера!
(Пытается обнять Софью. Софья сильно толкает его в грудь. Отравленов ударяется о косяк двери.)

Софья. До чего подлые старики! Ей-богу, возьму да и уйду в сельсовет, к Девятову.

Сарафанов. Снюхалась!

Софья. Тебя не спрошу. *(Другим голосом.)* Собирать на стол, что ли?

Сарафанов *(проходит за стол)*. Эти вот... тоже!.. Как с нуждой — так к Сарафанову, а с пушницей — к китайцу. Да что к китайцу! *(Вскакивает.)* К Робинзону, в кооперацию!

Отравленов. Неужто с пустыми руками явились? *(К Досуну, строго.)* Где пушнина?

Досун. Плохо, совсем плохо пушнина есть: стреляй много — Мао-Ши отнимай все. Теперь ходи сельсовет — бумага писал: Мао-Ши плохой люди есть.

Сарафанов *(выскакивая из-за стола)*. Ах, плохой люди?! Все ж-таки в сельсовет?! Тебе сельсовет — родной дом?

Отравленов. А ты гони этого туземчишку по горбу. Чего они вшей распустили?

Софья. К тебе придут — ты и гоняй, а здесь без тебя найдутся...

Сарафанов. И погоню!

(Выскакивает из-за стола. Досун быстро поднимается на ноги. Дверь неслышно распахивается, и в избе появляется Мао-Ши, мордастый китаец, одетый в лохмотья. Он что-то резко кричит Досуну. Досун медленно выходит из избы. Яту — следом за ним. Китаец задерживает Холонку. Юцай хватает сестренку за руку, но Мао-Ши резко отбрасывает мальчика. Юцай выхватывает нож. Китаец дает подножку, Юцай падает. Китаец пинком выбрасывает его за дверь.)

Софья. Да ты куда пришел, бандит?

Мао-Ши *(улыбаясь и приседая)*. Мадама, Мао-Ши тебе гость.

Софья *(хватает его за глотку)*. Куда ты пришел, нечистая сила?!

Сарафанов *(оттаскивая ее)*. Не мешай торговать девку.

Софья. Торговать девку?

(Срывается с места, распахивает дверь, исчезает. Следом за нею незаметно скрывается и Холонка.)

Сарафанов. Я измучился с этим демоном, убить ее мало, — сами видите, господа старики...

Отравленов. Совсем напрасно, Сергеич: преотличный товарец. А то верно: уступил бы ты ее мне, я человек в годках, не обижу...

Сарафанов. Непродажный товар. Садитесь.

(Староверы, точно по команде, крестятся. Рассаживаются.)

Отравленов *(не переставая креститься)*. Она тебе житья не даст. Глядишь, ночью возьмет да и придушит...

Сарафанов. Свят-свят!..

Отравленов. ...вытащит за ноги на чужой огород, да и бросит, как чушку...

Сарафанов *(дико оглядывается по сторонам)*. А ты чего, Мао-Ши? Садись закусывать. Не сюда — к двери!

Отравленов. И Серафим чего-то... Не испужался ли часом?.. *(Про-*

хаживается по избе.) А сношенька у тебя с огоньком, Сергеич, чисто орловская кобылка.

Один из староверов. Задом бьет...

Отравленов. Надо не кнутом, а овсом. Это глупого учат таской, а умного — лаской...

Сарафанов (беспокойно выглядывая в окно). Убегла. Теперь до ночи не жди, завьется в тайгу. Как ее тигры не задерут! Ну, что у тебя, Мао-Ши?

Мао-Ши. Японская нитка носи, шелка носи, мало-мало цпирта носи. Пушнина собирай, мак собирай...

Сарафанов. Зачем тебе девка-то? Мала.

Мао-Ши. Новый баба надо. Старый баба совсем плохой стал. Двадцать года есть — совсем старый стал, плохой...

Отравленов. Ой, Сергеич, проводишь сноху! И не достанется ни тебе, ни людям.

Сарафанов. И то грозитя уйти.

Отравленов. Без хозяина и товар плачет... Небось, к Девятову сбирается?..

Сарафанов (ударяя кулаком по столу). Дождется он у меня! Я сверну ему дурную башку! Обожди, вот еще немного...

Отравленов. Еще немного, мы полегонечку — спихнем их, пойдем в Уссуре, вырежем всех, никого не оставим даже на племя! Мы их истребим, как ангел господень Содому и Гоморру...

1-й старик. «С мученики в чин, с апостолы в полк, со святители в лик... Боишься пеши той? Дерзай, плюй на все, небось... О, братие и сестры! Полно вам плутати. Елицы есте добрия, свое спасение возлюбите! Радейте, не ослабейте».

(Стук в дверь.)

Господи Иисусе, помилуй нас!

Сарафанов. Аминь!

(Входит мать Архелая, маленькая сморщенная старушка лет семидесяти, сестра Отравленова, изможденная, коричневая от старости, с длинной крючковой палкой. Снимает валенки. Остается в одних чулках. Долго крестится.

Староверы встают, кланяются ей в пояс.)

Мать Архелая. Садитесь, греховодники, бражники. (Все рассказываются. Она проходит в угол, садится.) Бражничаете, сидите обутые, потеряли всякий стыд. (Грозно к Мао-Ши.) А ты чего здесь, язычник?

Мао-Ши (приседая и улыбаясь). Мадама, тебе сладкий вино принеси!.. Здравствуй!

(Подает ей бутылку наливки.)

Архелая. С диаволовой печатью?..

(Рассматривает бутылку. Однако прячет ее в бездонный карман полушубка.)

Отравленов. Закуси, Лаша, чем бог послал!..

Архелая. Привезли?

Сарафанов. Привезли, мать Архелая.

Архелая. Нашли того человека? Ничего не наказывал мне?

Сарафанов. Нашли, мать.

Архелая. Нынче святые великомученики Дисан, Мариан, Авдиес и двести семьдесят прочих. Забыли? Бражничаете? Нет того, чтобы с трепетом пасть пред лицо господя?!

Отравленов. Обожди, Лаша, не пужай! Потрепетали — хватит. Не нынче-завтра Васька приедет. Все ж-таки сын!

Архелая. Нет у меня сына. Трубокур, пьяница — не сын мне. (После паузы.) Пулемет-то дали?..

Сарафанов. Дали, только не собирать его.

Архелая. Василий соберет. (Пауза.) Ну, бражники, нечего! Не виляйте хвостом! Знаю, что хотите... Бог простит.

(За столом начинается оживление.)

Сарафанов (к Мао-Ши). Когда придет Моцидзуки? Заждались. Говорят — генерал?

Мао-Ши. Пять день и пять день.

Сарафанов. Через две пятидневки? Поздно.

Отравленов. Председателем выберем Серафима...

Сарафанов. Тронется река, по реке пойдут катера, — куда мы денемся?!
(На дворе голоса. Все бросаются к окнам. Мао-Ши мгновенно срывается с места, поднимает крышку, спускается в подвал.)

Голос за дверь. Здоров, Досун! Давно не видались...

(Досун говорит что-то, слов его не слышно.)

Сарафанов (расслабленно). Он, сатана!..

(Распахивается дверь. В избе появляется Матвей Девятков — уполномоченный рика. С ним — милиционер.)

Матвей. Доброго здоровья, старики! Приятного аппетита, Авдей Сергееч.

Сарафанов (глухо). Спасибо, если не шутишь.

Отравленов. Разве так встречают гостей, Сергееч? Табуреточку, товарищ Девятков! Спиртику! Для почину — выпьем по чину! Вот как надо, Авдей!

Матвей. Ищу-ищу Пшеничного с утра...

(Пауза.)

Опять, видимо, запьянствовал...

(Пауза.)

Ребятишки говорили, к тебе какой-то китаец пошел. Не Мао-Ши?

Сарафанов. Наверно, про Досуна. Все они на одну личность. Выпьешь?

Матвей. Значит, ошибка. Что это вы, старики, в будний день, а? (Показывает на стол.) Мать Архелая? Давно не видались? Ну, как здоровье? Поправились?

Отравленов. Вёснушку встречаем, скоро за пашеньку приниматься, Матвей Иванович.

Матвей. Приехали, что ли, откуда?

Отравленов. Да, нынче вёснушка ранняя, по всем приметам будет лето форменное, факт.

Милиционер. Так, значит, товарищ Девятков...

Матвей. Начинай, начинай, а я покуда погреюсь...

Сарафанов. Будто не холодно... Матвей. Тем более. (Милиционеру.) Где-то я там Творогова видал, да и Досуна возьми: вот тебе и понятия.

Сарафанов. Что такое, свят-свят?!

(Старики беспокойно переглядываются. Милиционер зовет Творогова и Досуна. Они входят в избу.)

Сарафанов. Да ты, никак, с обыском, Матвей?

Матвей. Э, Сергееч, ты не знаешь этого Мао-Ши. Хитер, как чорт. (Милиционеру.) Ну, начали!

(Наливает чаю. Сарафанов встает с места.)

Матвей. Сиди, не беспокойся. Понятия имеются — закон соблюден. Ну, а ты, Досун? Что у тебя за дела?

Досун. Наш уд старый закон есть: знакомый люди ходи. Один ходи, другой ходи, все знакомый люди ходи. Никого обижай не могу.

Матвей. Удивительный закон. Ко мне — зайдешь?

Досун. Тебе — главный люди. Тебе последний ходи.

(Милиционер и понятия уходят. Сарафанов делает шаг за ними.)

Матвей. Я же советую сидеть, угощать гостей.

(Выразительно кладет руку на стол. Сарафанов садится.)

Извините, мать Архелая!

1-й старик. «Плоть у него смрад и зело дурна. Огнем пышет изо рта, а из ноздрей и из ушей пламя смрадное...».

Отравленов. А ты бы помолчал, старичок. Видишь, люди с делом.

Сарафанов. Или уж у тебя стыда нет, Матвей? Пусти показать!

Матвей. Отдыхай после дальней дороги. Ах, какой ты нервный человек, — пожилой, а нервный.

Сарафанов. Не по-соседски, не по-соседски, Матвей!

Матвей. Наоборот! Пойдет по деревне слухок, кто-нибудь напишет в район нехорошие сплетни. А мы: «Извините! Авдей Сергееч Сарафанов, се-

редняк, является честным советским гражданином». Я удивляюсь: как ты сам не понимаешь своих интересов?

Сарафанов (с ненавистью и страхом). Ты бы уж не измывался, Матвей... Я тебе в отцы гожусь...

(Входит милиционер.)

Матвей. Ну что? Сплетни?

Милиционер. Так точно, сплетни, товарищ Девятов: ящики с карабинами, семь винтовок «Арисака», две цинки патрон, коробка с запалами для гранат... Гранаты, — опять же японские, восемнадцать штук.

(Сарафанов привстает было на скамье, потом валится обратно. Отравленов всплескивает руками, делает изумленное лицо, покачивает головой, грустно и укоризненно смотрит на Сарафанова, отодвигается от него. Старики оглаживают бороды.)

Матвей. Не по-соседски, не по-соседски, Сергеич... (Меняя тон.) А ну, господа хорошие, в ту комнату! Марш! (Староверы тянутся в комнату. Археля остается на месте.)

Матвей (милиционеру). Закрой на крючок!

(Милиционер закрывает дверь. Матвей вынимает револьвер, приподнимает дверь в подвал.)

Матвей. Вылезай, вылезай, Мао... пыль, грязь...

(Тишина.)

Матвей. Ну! (Щелкает курком.) Что ж ты подводишь старого человека? Лезешь в чужой погреб, сидишь там?.. (Мао-Ши вылезает весь грязный, с длинным ножом в зубах.)

Матвей. Открой рот!

(Нож падает к ногам китайца. Милиционер обыскивает его.)

Милиционер. Бумаги какие-то, не по-нашему. Паспорт... Даже — два. Вроде — лекарства.

(Передает все это Матвею. Археля уходит к старикам.)

Матвей. Сведи в сельсовет, хорошенько смотри за ним. Творогов, и ты проводи его!.. Я скоро приду.

(Милиционер и Творогов уводят Мао-Ши. В избе тихонько появляется Софья. Она манит к себе Матвея. Матвей подходит к двери.)

Софья. Ты ничего не говорил сверку?

Матвей. Нет.

(Пауза.)

Спасибо!

(Пауза.)

(Софья, опустив глаза, молча играет пуговицей его полушубка.)

Софья. Ты арестуешь стариков? Посади их! Отправь в район!

Матвей. А как? Нас двое, ну, трое,—вот и все вооруженные силы.

Голос из-за двери. «...от исполнения церковного отсекшеся, от всепагубного сына геенны, пагубного сосуда сатанина...».

Софья (подумав). Тяжело тебе...

Матвей. Да, пожалуй.

Софья. Не сносить тебе головы.

Матвей. Все может быть. (Торопливо.) Теперь скройся!

Софья (вдруг). Я бы ушла к тебе...

Матвей (растерянно). Что это тебе вздумалось? Удивительная вещь...

Софья. Ты молодой и смелый...

(Исчезает.)

Матвей (полушопотом). Соня... (Идет к двери, сбрасывает крючок.) Ну, Сергеич, а ты уверял меня... На твоём месте я бы за самого себя не поручился, не только за Мао-Ши. Он, оказывается, был здесь, в погребе. Это он подбросил оружие. Ты поссорился с ним, что ли? Нет? Странно... Ну, извини за беспокойство.

Отравленов. Ай, сволочужка, ну и сволочужка! Вот уж темная личность!

Матвей. Честного крестьянина-средняка хотел подвести под тюрьму, — ведь это провокатор, не так ли?..

Отравленов. Определенно провокатор. Ну, спасибо, спасибо, Матвей Иванович. *(Крепко жмет ему руку.)*

Матвей. Не за что. Извините, что помешал вашей беседе — такая уж наша должность!

(Прощается со всеми. Особо — с Архелай. Она, не жидая, смотрит на него. Матвей уходит.)

Старик. «Не непотребно нам от них вин опасение имети, да некое бы что зло пострадати...».

Архелая. Да замолчи ты, ради Христа! *(Дико.)* Ай, разнюхал! Ай, обобрал! *(С неожиданной силой ударяет кулаком по раме, стекла вылетают.)* Нет, ты еще попадешь на веревку, попрыгаешь на качелях!..

Отравленов. А мы ему сапожные гвоздочки под ногти, гвоздочки под ногти!..

Сарафанов. И Сонька... Где эта проклятая Сонька? Господи, буди милостив ко мне, грешному!

(Падает на колени, истово молится. В дверь просовывается голова Пшеничного.)

Отравленов. Милуша, родной наш, — сюда! Серафим Нилыч!

Пшеничный. Застукали? Характерно, очень характерно. *(Озирается.)* А, божьи люди! Я же толковал вам: пришла, мол, бумажка из района. Какие вам еще факты?

Сарафанов *(не переставая креститься, с тоской)*. Если б все были такие партийные, как ты, Серафим...

Пшеничный. Ай, старóверы-старóверы, не проходили вы настоящей политической школы, как ваш покорный слуга... Приветствую, бабушка!

Сарафанов. А ты? Какой же ты после этого авангард? Партийный должен итти передом, а ты прячешь морду под хвост? И нашим, и вашим?

Пшеничный. Вы не понимаете тактики, товарищ Сарафанов, извините меня.

Сарафанов. Велика птица — грош!

Пшеничный. Напрасно, товарищ Сарафанов. Велика, не велика, а мне между тем говорят: «Не суйся в огонь, бе-

реги свою голову, не натвори дуростей...».

Отравленов. Уж не Матвей ли? Пшеничный. Не Матвей, нет! Что здесь? *(Пренебрежительно.)* Какой-то Девятюв, какой-то там Робинзон. Разве это настоящий масштаб? Не-е-ет, другие есть люди, но только не в нашей глуши.

Отравленов. Ты, Сергеич, не трожь нашего уважаемого Серафима Нилыча. Партеец, все знает, культурная мощь...

Пшеничный. Я, товарищ Сарафанов, в партии состою с одна тысяча девятьсот двадцать пятого года. Два раза исключали за несогласие. Вы, небось, в навозе копались, а ваш покорный слуга сидел в тюрьме. Ученый!

Отравленов. Вот, дай бог, придет мой Васька, племяш. Он — военный спец, а вы при нем — все одно, что комиссар...

Сарафанов. И вот обобрал нас этот бродяга!.. Везли, старались — для кого?

Отравленов. А мы гвоздочки под ногти, гвоздочки под ногти...

Сарафанов *(ревет)*. Деньги платили, жизнью рисковали, — все отнял, анафема, сгори он ясным огнем!

(Тишина.)

Отравленов. Разобранный пулемет, — да что ж один пулемет! Ружьишки у нас плохие, а у них целый ружейный завод!..

Сарафанов. Что же делать, старики?..

Пшеничный. Увольте! Это не мое дело! Ничего я не слыхал, никакого оружия не знаю, я от военной службы и то освобожден по болезни!..

Отравленов *(жадно)*. Откладывать нельзя, Сергеич!.. Пока они еще беспечные!.. Пока они еще не обдумались!.. Пока не догадался никто!..

(Дрожая, встает. Все встанут за ним.)

Архелая *(идет в передний угол, заставленный складнями. Молится. Молься, говорит)*. Сбирайте мужиков, собирайте туземцев, отдавайте животы своя к ноги божии! Скоро лед пройдет, в горду узнают, запаздывать нельзя. Не

знаешь ни дня, ни часа, егда придет господь... Упустили демона Мотьку! Живьем захватить всех — вот вам и оружие, и все!..

Пшеничный. Только без меня! Я не слышал ничего, я ничего не знаю...

Отравленов (ласково). А не позднею ли, Серафим Нилыч? Попался на крюк — ложись на жаровенку... Нет уж, нынче святые великомуче-

ники, — как ты говоришь, Лаша? — Дисан, Мариан и двести семьдесят прочих? Ну, вот и начнем, благословясь. Да воскреснет бог!..

Сарафанов (во весь голос). «Пулемет»... Что ж с того, что есть пулемет?!

(Сбрасывает со стола все, что на нем есть. Всеобщее смятение. Тишина.)

★

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Площадь, барак сельсовета, кооператив, заколоченная фанза, в отдалении колодец, качели. Совсем в стороне, вдали, — крепкие, ладные избы староверов.

Матвей и Лука Робинзон сидят у колодца на бревне. Светает.

Матвей. Вторые сутки живем, как будто бы на вулкане.

Робинзон. А уж про Отравленова и не говори: он и лавочник был, и мельник, и вообще контрабандист.

(Пауза.)

Прямо и не знаю, что делать...

Матвей. И вот теперь, видишь, они обосновались здесь. Был здесь когда-то старый скит, в мирное время, — своего рода монастырь.

(Пауза.)

Земли тут много, сорок седьмая параллель, неопишуемая красота, золотые горы, а рядом — японцы, капитализм.

(Задумывается, глядя в сторону деревни.)

Робинзон. Ну, пора открывать наше партийное собрание.

Матвей. Вооруженные силы не позовем? Ничего, что беспартийный, — парень свой.

Робинзон. Зови. Парень свой.

(Матвей уходит. На небе показывается нежное зарево. В деревне поет петух. Матвей стучит в окно сельсовета. Из барака показывается заспанный милиционер, в одном белье, валенках, шинели внакидку, впрочем, при нагане.)

Милиционер. Половина четвертого.

Робинзон. Самый раз. Садись. Решения строго секретные, не подлежат оглашению.

Милиционер (преображаясь). Тогда я сбегаю, оденусь.

Робинзон. Нekoгда. Надо быстрее, — чорт их знает, что они там себе думают.

(Милиционер застегивает шинель, присаживается на бревно.)

Матвей. Сколько у тебя вчера купили спирту?

Робинзон. Сорок бутылок.

Милиционер. Появился Мао-Ши, привезли оружие...

Робинзон. Так, значит, Архелая выползла из-за своей печки? Прямо не знаю, что и делать...

(Мимо проходит пожилой старовер: по всему видать, после жесточайшей попойки. Он молча приподнимает шапку. Уходит. Все трое провожают его глазами.)

Милиционер. Из района нет ничего?

Матвей. Вторые сутки, как на вулкане... Будь телефон, хоть самый паршивый телефон...

Милиционер. А если пробраться?..

Робинзон. Во-первых, река разлилась, а под водою — лед. До района

можно дойти только тайгой, — четыреста верст, одиннадцать-двенадцать суток. И потом — кого пошлешь?

(Пауза.)

Более или менее наш народ — на лесозаготовках... Что будем делать?

Милиционер. Кто ж там? Толкачев, Лукин, Сидоркин, Вася Мухин...

Робинзон. Шесть человек...

Матвей. Серафим, и тот сбежал. Опора!

Робинзон. Ну, и слава богу, что сбежал. *(Помолчав.)* У них полсотни кулаков, зверье. А нас вот трое. Ну, ладно: будем считать батраков, таких, как Творогов, предположим. Так ведь их три человека, и они боятся открыть рот. Удэхейцы? Надо сегодня же послать Досуна по стойбищам, он приведет, но когда? Прямо теряется голова — что будем делать?

Матвей. А мы?

Робинзон. Или мы уходим с Досуном и поднимаем охотников, потом наступаем на село. Или остаемся здесь, отбиваемся до последнего патрона, а Досун приведет охотников. Какой выход, что надлежит делать, скажите, ребята!

Милиционер. Уходить!

Матвей *(вскакивает)*. Обязательно уходить!

Робинзон *(после паузы, с весом)*. У меня в лавке порох, патроны, карабины, берданки. Да мука, да сахар, — кто же мне позволит бросить это старове-рам? Архелая не зря показалась на горизонте!

Матвей. Дня три отсидимся. Но польза? Какая польза?

(Ответа нет.)

(Мимо проходят Отравленов и Сарафанов. Они в подштанниках, валенках, полушубках внакидку.)

Отравленов. Раненько, раненько! Решили, значит, воздухом подышать? Весна, известно. Весной и заяц на слуху сидит... Ну, с праздничком вас!

(Сарафанов приподнимает над головой шапку. Проходят.)

Робинзон. Польза?

(Пауза.)

Староверов много, но руки у них наполовину голые. Они обступят нас, как волки вокруг костра, — они застрянут здесь, никакого сомнения...

Матвей *(кричит)*. Глупости, все глупости, Лука! Обязательно уходить!

Робинзон. Значит, уходить? Отдай им оружие? Оснасти их против нашей же советской власти? Обеспечь их до зубов? Куда же ты убежишь, Девятов? Как ты покажешь глаза народу? Берданки, карабины, отобранные японские винтовки, гранаты, патроны, порох, — кто же позволит мне бросить все это?! Соберись с нервами, Матвей! *(Решительно.)* Нет, не бывать тому, ребята... В крайнем случае, ребята, уходите! Я останусь один.

Милиционер. Лука Ильич, не позорьте нас, — кто же оставит вас одного?

Матвей. Кто же оставит тебя одного, Лука? *(Машет рукой.)*

Робинзон. Только вот могут поджечь.

Милиционер. Обязательно подожгут.

Робинзон. Подожгут сельсовет — загорится и лавка.

Милиционер. Обязательно загорится.

Матвей. Веселенькое дело!.. Будем сидеть и жариться на сковородке...

Робинзон *(пристально смотрит на крышу кооператива)*. Слуховое окно — видишь? Оно к сельсовету. А ну-ка! Пустые бочки — на чердак! Запасай воду!

Матвей. Как твой ревматизм? Кости не ноют случайно?

Робинзон. Не ноют, нет.

Матвей. Плохо дело. Дождика, значит, не жди. Ну, что ж, Лука, надо приниматься. *(Прислушивается.)* Все время бродят, как волки. Еще кто-то... *(Из-за сельсовета показывается Софья.)*

Матвей. А тебе чего?

Софья. Встретил! Разве так встречают женщину?

Матвей. Извини, некогда. Что случилось?

Софья. Старый кобель, Сарафанов...

Робинзон. Девятю, оставь, не до ихних кляуз!

(Матвей в нерешительности.)

Робинзон. Становь бочки, давай все порожние ведра, веревки!

Матвей. Соня, таскай воду!

Софья. Да ты послушай, что скажу!

Матвей. Недолго?

Софья *(горько)*. Не хочешь слушать? Не веришь? Сарафановская сноха?

Матвей. Соня — не-ког-да. Пойми!

Софья. Или все знаете сами?

Робинзон. Говори, все говори. Парторганизация слушает тебя! Отойди, Матвей, дурило.

Софья. Сейчас в моленной у Отравленова — заутреня. Собирается вся деревня. После заутрени сразу пойдут сюда...

Матвей. Воду, Соня, ведра! Эй, милиция! Проверь весь арсенал. Порох — в подвал! Оставь только по паре карабинов. И Софье! Патроны оставь все.

(Все начинают таскать воду. Софья стоит в стороне.)

Робинзон. А ты что?

Софья. Вас перебьют, как курей.

Матвей. Нас-то? Перекрестись!

Софья. Надо уходить в тайгу, к туземцам, они спрячут.

Матвей. А ты?

Софья. Не могу... я бы пошла.

Робинзон. «Не могу»... А у тебя ведь здесь ничего нет. У нас же — гляди — сельсовет, кооператив, советская власть. Кому мы доверим все это? Сарафанову? *(Другим голосом.)* Архелая-то у вас?

Софья. У нас. Молится. *(Еще помолчав.)* Я не пойду домой, останусь здесь. У тебя, Матвей. Не прогонишь?

(Прямо и горделиво смотрит ему в глаза.)

Матвей. Разыщи Досуна! Никому ничего не говори. Веди его сюда.

(Софья со вздохом уходит. Все таскают воду. Деревня только-что начинает просыпаться.)

Матвей. Пьянствовали до ночи, — какая там заутреня!

Робинзон. Ничего, выйдет.

(Появляется Юцай.)

Матвей. Где отец?

Юцай. Скоро придет. Его всю ночь не спит, тебе говорить хочет...

Матвей. Да и он нам здесь нужен.

Юцай. Досун, Яту, Холонка — скоро придут все, говорить тебе надо.

Матвей. Вот-вот, нам рабочая сила нужна. Таскай воду!

Юцай. Да? Хорошо.

(Берет ведро, идет к колодцу. Опять появляется Софья, а с нею вся семья Досуна.)

Робинзон. Воду!

Милиционер *(с чердака)*. Обе полны.

Робинзон. Там внизу еще есть. Пересыпь соль в ящик.

Софья. Значит, в тайгу не пойдешь? А я с тобой ушла бы, рыжий ты мой...

Матвей *(сдавленным голосом)*. Пойми...

(Жест в сторону сельсовета.)

Софья *(горячо)*. Оставь! Брось! Ведь не твое, а мы еще молодые.

Робинзон. Бре-шешь, девка, все наше!

Софья. Связалась я с тобой, рыжий, да, кажется, и не развяжусь.

(Уходит в лавку.)

Матвей *(смушенно)*. Софья, девушка, чего только тебе от меня надо?!.

(Осуждающе покачивает головой. На крыльцо выходит Робинзон. Смотрит на Досуна. Говорит так, точно перед большим собранием. Досун сидит на корточках.)

Робинзон. Так вот, родимый мой друг. Есть слухи, что к нам пробираются разные люди от японцев, намечается нечто вроде заварухи против советской власти. Пойми, Досун! Все эти староверы... Сколько лет они обирали

вас, как измывались над вами! Они не хотят, они не умеют жить честной жизнью, они помогали колчакам, интервентам и прочей нечисти империализма. А сейчас? Возьми Архелаю, — наполовину мертвец, а вылезла! Выползла из своего тайного угла! Не зря! (Другим тоном.) Чего там говорить: все понятно и так. Тебе сколько надо, чтобы добраться до Сигоу? Из Сигоу пошли ребята в Бангу, Баликан, Панцелазу. К вечеру — дойдешь? Подумай, а то и откажись, если что. Тяжело. Снегу в тайге мало, везде вода...

Досун. Мало-мало снег есть. Один солнце — ходи. Люди спи — приходи буду.

Робинзон. О-о, к ночи?

Досун. Надо приходи.

Робинзон. Вот именно: долг большевика.

Досун. Все понимай.

Робинзон. Бери в дорогу мяса, сахару, табаку, хлеба — иди. Семейство твое пускай побудет у нас, чего ему болтаться по тайге?

Досун (подумав). Яту и Холонка ходи. Люди спи — они приходи.

Робинзон. Как же так?

Досун. Давай карабинка, давай патрон. Досун и Юцай — два охотника, Красный армия, — тебе понимай?

Робинзон. Да, но как же это так?

(Пауза.)

Ну, в таком разе — спасибо, Досун, спасибо от всей нашей партийной организации. (Крепко обнимает его. Кричит.) Матвей, свешай на дорогу продуктов, на двоих. Давай мяса — всего. Запиши на мою фамилию. Собакам — юколы. Не жалея для наших славных связистов.

(Удэхейцы уходят в помещение кооператива. Робинзон стоит неподвижно, смотрит в сторону деревни. Где-то промышчала корова. Вот разнеслась песня и неожиданно смолкла. Издали послышался резкий свист, с края деревни слышится негромкое, похоже — молитвенное, пение.)

Робинзон. Ну, кажется...

(Медленно, оглядываясь, поднимается на крыльцо кооператива. Останавливается. Над крышей поднимается дымок: это Софья затопила плиту. Милиционер выходит из сельсовета: он при полном параде, тащит огромную связку разных папок. Робинзон, негромко насвистывая что-то, все еще стоит на крыльце.)

К кооперативу подходят два парня. Они донельзя пьяны, одеты пестро и безвкусно, но наряды их дороги: заграничные кашне, мягкие английские шляпы, лакированные ботинки. Все это в грязи.)

1-й парень. Любуйся, любуйся, Лука, последний нынешний денечек. До вечера не доживешь, Лука, нет.

Робинзон. Где это вы надрались чуть свет?

1-й парень. Не на свои, слава богу! Сарафанов!.. У тебя не найдется ваську?

2-й парень. Холодненькова-а...

(Спотыкается, падает. Роняет из-под полы револьвер. Лука бросается к нему. 1-й парень — на Луку. Лука отшвыривает его прочь, подбирает револьвер. У другого парня отбирает обрез, выгребает из их карманов патроны.)

Робинзон. А ну ты, потверезей, забирай его и аллэ — шутить нечего!

1-й парень. Но-но-но!

Робинзон. Кто против?

(Парни, молча, сопя, спотыкаясь, уходят. Робинзон смотрит им вслед.)

Робинзон. Да...

(На крыльцо выходит Матвей, милиционер, удэхейцы.)

Милиционер (мечтательно). У нас под Бахчисараем хороши места, ничего не скажу. Но с этими — не сравнить. Там и ребенок проживет, никакого страха, никакого труда... А здесь и сила нужна, и много смелости, и хороший глаз. Смотрите — сопки, все равно — тучи! Смотрите — лес, все равно, как на самой границе!..

Матвей (милиционеру). Пройдись пока, посмотри кругом.

(Холонка и Яту спускаются с крыльца. Матвей молча прощается с ними. Хо-

лонку поднимает за локти и крепко прижимает к груди. Робинзон передает ему револьвер и обрез. Матвей молча рассматривает оружие.)

Матвей. Солнце поднимается. Лука — видишь? Сколько простору на нашей земле, сколько радости, сколько забот...

(Уходит. Издали слышится пронзительный свист. Сигнальный выстрел. Яту и Холонка исчезают.)

Робинзон (сурово). Ну, кажется, началось. (Поднимая руку, точно для клятвы.) И, как Бикин впадает в Уссури и не пошелохнется вовек, не поколеблется наша советская власть...

Голос Матвея. Лука, пойдя, взгляни — все ли сделано так?

Робинзон. Иду. Посмотрю — все ли сделано так?

(Уходит. На улице несколько мгновений томительная тишина. Еле слышны голоса из кооператива. Издали доносится пьяная песня. Из-за угла сельсовета показывается голова парня. Он пугливо оглядывается, потом присматривается к кооперативу. Ничего не замечает. Выходит из-за угла. В руках его карабин. Песня все ближе. Звуки баяна. Показывается Сарафанов, за ним — Отравленов. Дальше бредет, поддерживаемая под руки одним из стариков, Архелая.)

Сарафанов. Попрыталась советская власть?

(Выходит вместе с Отравленовым на середину улицы.)

Эй, Робинзон! Мотьяка! Вы, там! Посчитайте, сколько вас?

Отравленов. Ой, Сергеич! И шея толста, и сабля востра. Не храбрись попусту!

Сарафанов (отстраняя его). Эй, гарнизон!

Голос Робинзона. Что скажете, Авдей Сергеич?

Сарафанов. Давай побеседуем. Два старика — обним помирать скоро. Не стреляй! Ведь вам со всем народом не совладать. Сколько там у тебя защитников?

Робинзон. Подавляющее большинство!..

Пшеничный (выскакивая из-за угла). Ну, уж врете, товарищ Робинзон, старый вы человек!

Голос Робинзона. Иди, сосчитай, Иуда!

Пшеничный. Товарищ Робинзон, спрячьте ружье, не могу смотреть, я и из армии освобожден по болезни. Послушайте, что скажу. Завтра с Лоухэ придет еще полсотни. Вчерашний день в Кхуцине причалил пароход из Японии, «Сидо-Мару», — видите, ваш покорный слуга знает даже название, правда? Везут артиллерию, серьезно. Куда же вам деваться против всей массы!

Голос Робинзона. Это верно, хоть и дурак, а говоришь верно.

Пшеничный. Сдаваться вам надо, Лука Ильич. Уходите в район. Можете взять с собою продуктов, ну — ружье там или два. Вы поняли меня?

Голос Робинзона. И все? И даже не тронете пальцем?

Пшеничный. Не верите? Слава богу, знаете меня целый год!

Голос Робинзона. Теперь узнали вполне. Ну, все?

(Шум, песни, топот ног совсем близко. Вот вываливается на площадь огромная толпа староверов. Кто-то играет на гармошке. Старик, тот самый, что цитировал во второй картине протопопа Аввакума, истово пляшет. В одной руке его — топор. Дьявольские крики, смех, чорт знает что.)

Старик (ревет). «О, дщи Вавилона, окаянная! Блажен, кто возьмет младенцев твоих и расшибет им главу о камень!».

Сарафанов. Тихо, вы! Здесь идут переговоры!

(Шум несколько смолкает. Только старик продолжает свою дикую пляску.)

Сарафанов. Тихо, говорю! Люди хотят сдаваться! Не мешай!

(Тишина. Люди придвигаются к кооперативу. Из окна чердака выдвигаются два винтовочных дула.)

Голос Робинзона. Подальше! А ну, кому сказано!

(Сарафанов отступает, за ним отступают и все.)

Голос Робинзона. Ничему-то вы не научились, староверы, — видать, мало биты!.. Авось, поучим.

Архелая (вдруг громко, неожиданно сильным голосом). Лукашка, послушай меня, ты не молоденький, погрешил — хватит! Господь-то... скоро он позовет тебя!

Голос Робинзона. Да мы незнакомы с ним.

Отравленов. Фараон гордился — в море утопился, а мы гордимся — куда годимся? Жалко мануфактуру, а то заложили бы петуха, погода ветреная..

Голос Робинзона. А, мануфактуру жалко? (Пауза.) Ладно, что же мы против такой массы? Только вот на каких условиях... (Грозно.) Так вот лично ты, и Сарафанов, и Отравленов, и его сыновья, и все прочие остальные, идите сюда! Складывайте оружие, где стоишь! Поднимайте руки, идите к нам. Мы перевяжем вас, в конверт, — и по первой воде отправим в район! Честь-почести. Понятны вам наши условия? Вот тогда мы и поговорим...

(Пшеничный исчезает. Крики ярости.)

Сарафанов. Да вы там смеетесь над нами, гады?!

Робинзон. Рад бы заплакать, да смех одолел!

(Сарафанов стреляет в чердак, беспорядочная стрельба из толпы. Ответный выстрел. Сарафанов падает, как подкошенный.)

Секунда тишины. Дикой вой толпы. Она рассыпается в стороны. Улица пуста. Снова за сценой поднимается гул, опять дикие вопли, гармоника. Сарафанов, неподвижный, лежит на темном снегу. Распахивается дверь кооператива. Осторожно выскальзывает на улицу Юцай. Оглядывается, бросается к сельсовету. Вдруг — выстрел, Юцай спотыкается, падает. Из двери выбегает Матвей, бежит к Юцаю, подхватывает его, мчит обратно. Новый выстрел, Матвей роняет Юцаю, поднимает его одной рукой, другой держится за голову, медленно бредет к крыльцу. Снова приближаются музыка, дикие вопли, пение староверов.)

★

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Удэхейское стойбище, расположенное на пологом склоне сопки. Несколько палаток, из которых поднимается дымок. То там, то здесь стоят лыжи, обтянутые шкурой изюбра. Группа подростков стреляет из мелкокалиберки в цель.

На сухом пне сидит старик, насвистывая в тростинку. Звук ее монотонны. Ему подпевает молодой парень-удэхеец. «Ева-а. Ева. Ева-а!». Две женщины разделяют кабана. Мужчина стругает тальник. Тонкая стружка летит из-под ножа. Женщина воздвигает берестяную палатку для роженицы. На переднем плане шаман Сигдэ стоит у свей распахнутой фанзы. Мальчик бьет палкой о сухое дерево. Звуки разносятся по стойбищу. Люди собираются к фанзе. У входа в фанзу сидит старик рыбак, тот, которого мы видели на Ханке.

Дальнейшее действие происходит в фанзе шамана.

В отдаленном углу фанзы, на нарах, сидит старуха удэхейка с грудным ребенком. Ребенок в берестяной люльке. При малейшем движении люлька звенит бубенчиками.

Старуха. Тебе расти большой, сильный, умный, как медведь. Тебе ходи тайга, тебе смотри следы, тебе понимай все. Тебе ищи берлога, бери копыте, убивай медведь, давай голова старый люди. Тебе отрезай одна щека — давай шаман. Отрезай второй щека — давай гость.

(Ребенок плачет.) Тебе не могу плакать. Тебе великий охотник. Тебе кабан убивай. Тебе медведь убивай. Тебе тигр убивай.

(Входит толпа удэхейцев. С ними рыбак. Он садится на почетное место против раскаленного каминка. Шаман под-

кладывает под локоть рыбака свернутую тигровую шкуру.)

Рыбак. Вчера я говорил вам, нынче все утро говорю, а вы молчите? Доколе же вам толковать? Я же говорил: японцы, значит, свергнули всю советскую власть, и в сельсовете, и в районе, и в Хабаровском, и везде. Красную армию — изничтожили, кооперативы — разграбили.

(Расталкивая людей, появляется Яту с Хололкой за руку. Хололка совершенно изнемогла. Яту тяжело переводит дух. С нее течет вода. Люди с изумлением смотрят на нее. Она быстро раскутывает Хололку. Присаживаются к огню, греются.)

Что же, значит, нам остается делать? Вот об этом-то я и толкую вам вторые сутки, а вы не хотите понять. Соберайтесь все, охотники! Оружайтесь чем ни попало! Спасайте советскую власть. Берите кабанину, юколу, у кого что! Идемте тайгою на Бангу, Лоуху, Панцелазу, Сигоу, по всему берегу. Давайте создадим свою советскую власть! Прогоним всех наших врагов! *(Продолжительная пауза.)* Да вы или не верите, идолы?! Сарафанова знаете? Ну, вот он и наладил меня к вам: иди, говорит, к туземцам, скажи им! Сама Архелая, святая старуха — шаман! — велела...

(Пауза.)

Ну, верно, обижали мы вас, несправедливо, — все это так. Но потом разберемся, кто виноват, кто прав. А сейчас — рухнула советская власть! Надо поднять ее, ребята!.. Забудем споры!.. Все мы — дети советской власти!

(Пауза.)

Так как же будем, а, ребята?

(Заметно беспокоится. Яту начинает что-то быстро говорить, не переставая копошиться у огня. Все смотрят на нее с удивлением.)

Рыбак *(требовательно)*. Чего она?

Яту *(нападая на него)*. Тебе правда говори нет. Тебе удэ обмани есть. Робинзон говори: советская власть

большой есть, сильный есть. Красный армия много есть. Тебе правда говори нет, старик!

Рыбак. Да что это ты бормочешь, дурная?

Яту. Досун оставал кооператив. Матвей запирали сельсовет. Сарафанов мало-мало хочу стрелял, мало-мало хочу огонь жги, а?

Рыбак. Врешь, сука!

(Пиная ее ногой, среди удэхейцев движения. Невысокий китаец толкает рыбака под локоть. Это огородник Ен-Син.)

Ен-Син. Нехорошо, Антон. Есть закон: женщина и ребенок трогать не могу. Нехорошо.

Рыбак. Отвяжись!

Яту *(горячо)*. Матвей оставал кооператив, посылал мне к наш удэ, говорил: «Бердана бери, карабинка бери. Старовера — советский власть любви нет. Старовера правда говори нет. Старовера — жулика есть...».

Рыбак. Ах ты, гадость! Шаман, сбегай за японцем!..

Сигдэ *(вполголоса)*. Японца зови не могу. Его наши удэ убить могу. Наши удэ японца мало-мало любви не могу...

Рыбак. Эх, люди!.. *(Как бы собираясь с мыслями.)* Ничего-то вы не понимаете, дикари, хижина дяди Тома... Растолкуй, шаман! *(Возбуждаясь.)* Ну, хорошо. Вы — туземцы, вы — идиоты, вам непонятно все это. Но ведь мы-то русские, культурный народ, у нас вот есть и пушки, и железная дорога, и еропланы. Верно я говорю? Растолкуй, шаман! Я же знаю, что все это обозначает. Вы знаете Сарафанова и Отравленова. Сильные, богатые. Теперь они — советская власть.

(Пауза.)

Вот стояла эта самая тайга миллион лет, прочтите в книжках, — а теперь? Самолеты летают! Трактор гудит. Лезут, лезут к вам, а вы? Чего ж вы, туземцы? Нет уж, довольно! *(Орет.)* Нанимай себе работников, торгуй, добывай деньгу, молись любому богу, —

кто может мешать? Чего вы молчите? Чего тратите время? Вы думаете, не узнали про нашу заваруху? И в районе, и в Хабаровске, и в Москве узнали, я думаю. Торопитесь, смотрите, как бы нам не проспаться! *(Вдруг запинаясь, другим голосом.)* Ну, об этом молчи, шаман! *(Вытирая лоб.)* И теперь, значит, свергли советскую власть. Сарафанов послал меня: собери, говорит, туземцев! Надо спасать советскую власть... Я вот Петьку своего не пожалел для идеи, — Иван Грозный, тот сына для идеи не пожалел! *(Совсем тоскливо.)* Так как же, ребятушки?

Е н-С и н. Где Матвей? Почему он не приходил к нам? Он — председатель. *(Яту хочет что-то сказать, но рыбак опережает ее.)*

Р ы б а к. В этом-то все и дело, ребята, что остался один Серафим, вот он — цел. Нет больше советской власти на Зеленом Клину. Зачем же я и зову-то вас? Серафим, что ж ты! Говори, чорт. *(В двери показывается голова Пшеничного.)*

П ш е н и ч н ы й. В общем, информация верна. Я боролся, понимаете ли, но что ж я один? Товарища Девятова прикончили, сапожные гвозди загоняли под ногти. Товарища Робинзона, которого вы имеете честь знать, — то же самое. Ваш покорный слуга насилу вырвался из когтей японского империализма.

Р ы б а к. Растолкуй, шаман!

П ш е н и ч н ы й. Не мешайте, Антон Антоныч. Советская власть ликвидирована вчистую. *(Захлебываясь.)* Высаживаются десанты, офицеры, оружие, самолеты. В общем, будем говорить так: конец, даю вам честное благородное слово.

(Негромкий говор среди удэхйцев.)

Тут что-то такое говорила эта баба. Яту, я имею в виду тебя! Так вы и будете слушаться женщин с темным социальным прошлым? Кто она, и кто я? Я — официальное лицо, последний осколок от советского строя, член партии. Вот!

(Достаёт партбилет, выбрасывает его на нары. Партбилет идет по рукам. Это производит впечатление. Пшеничный что-то шепчет старику.)

Р ы б а к *(вполголоса.)* Валяй, только скорее. Скажи Сарафанову: уговорю все стойбище. Сергеичу скажи, пусть не рискует сдуру: туземцев приведу — тогда другой разговор. Мы так и в'едем на ихней спинке...

П ш е н и ч н ы й. Только, Антон Антоныч: тактика. *(Раскланивается со все-ми.)* Ваш покорный слуга. *(Уходит.)*

Р ы б а к. Ну, что же? Не верили? Убедились, дикари? Видали членскую книжку? *(Не почувствовав перелома в настроении.)* Эй, ты! Сколько ты должен Сарафанову? Отвечай!

Л а у. Сорок и пять рубля...

Р ы б а к. Отравленову?

Л а у. Тридцать и пять рубля.

Р ы б а к. И ты, баба, собачишься зря. Я тебе зубы обломаю. Нам ведь все известно. Когда ты отдашь Сарафанову трех соболей?

Я т у. Говори мой мужик...

Р ы б а к. Муж да жена — одна сатана. Мао-Ши торговал у вас девчонку, — почему не отдали? Это же его девчонка. Раз платить нечем — отдавай. Порядок забыли? Я вас, дьяволов, в ГПУ посажу. Перестреляю, как собак. Это вам не у Робинзона...

С и г д э. Антон, тебе не надо кричи. Я бердан бери, Исула бери, Лау бери, мой батя бери... Лау, эй-эй!

(Резко кричит что-то. В дверях опять показывается Лау.)

С и г д э *(рыбаку).* Цпирта бери — отдавай нет, пять фунта кабан бери — отдавай нет, собака бери — собака умирай, нарта бери — нарта ломай, отдавай нет. Лау ходи, я ходи, все ходи! Говори, Антон.

(Всеобщее возбуждение.)

Л а у. Отдавай не могу. Шибко больная. Глаза болел, на охота ходи — нет...

(Возбуждение возрастает.)

(Сигдэ что-то повелительно кричит. Все замолкают.)

Рыбак. Эх, вы, нищebroды! Голопузые черти! Так вот и сдохнете с голodu. *(Поворачивает Сигдэ за плечo.)* Вот. Такой же ваш туземец, а посмотри на него. Исправный мужик, никому не должен, все ему должны, и деньжонки у него есть, и пушнина, и все его уважают. *(К Яту.)* Чтобы нынче же были и деньги Сарафанову, и соболя, и все. Я с вами агитировать не буду, я вам не Матвей и не Робинзон. *(К Сигдэ.)* Покличь там, чтоб хватили свои припасы, ружьишки, какие ни на есть, — нынче в ночь тронемся с богом...

(Яту выходит из фанзы.)

Ен-Син. Я думаю, не надо ходи. Я думаю, надо ждать Матвея, ждать Робинзона...

Рыбак. Ты что это мне мутишь стойбище? Кто ты такой? Почему ты околациваешься около туземцев? Вот ты да эта баба — вас связать, да на одну сосну. Видишь, все собираются, а ты? Умнее всех быть желаешь? Так мы лишние мозги вышибем, слава богу, ученые. Пошел вон, косоглазый чорт! *(Пинает китайца. Постепенно в молчании расходятся все. Остаются лишь рыбак, Сигдэ, старуха и не замеченная никем Холонка. Рыбак заваливается на нары. Сигдэ сидит на корточках лицом к нему.)*

Рыбак. Ну, да ведь с нами не поспоришь: мы все перевидали, нас выучила советская власть на свою голову, пораскулачила, поконфисковала, подержала в тюрьмах. Так ты веди своих туземцев. Ты здесь за попа, тебя они боятся. Какой у вас там главный бог? Скажи, мол, бог велит брать ружьишки, да и того...

(В этот момент Холонка делает шаг к двери. Рыбак замечает ее, бросается с нар, валит ее наземь, душит. Она негромко хрипит, хрип замирает. Старик брезгливо отряхивается.)

Рыбак. Э-э, не ходи босиком!

Сигдэ *(с ужасом)*. Тебе, Антон, делай нехорошо. Чего тебе делай?..

Рыбак. Ну, делов-то! Заплачу Мао-Ши, что полагается. Это ж его девка.

Я Петьку своего для идеи не пожалел, — вспомни Ивана Грозного, дура!

Сигдэ. Наши удэ могу тебе убить, Антон. Зачем девочка ломал, зачем совсем умирал? Зачем, Антон?

(Рыбак растерянно оглядывается.)

Рыбак. Не вытерпел... Ошибка... Ох, проклятое дело.. Ты только молчи, шаман!.. Так бы и передушил всех, как мышей... А ты молчи! *(Мечется по фанзе.)* Ах, чорт, все дело испортила эта гадость... *(Пинает безжизненное тело.)* И Петька-приемыш, и эта вот...

(Мечется по фанзе.)

Сигдэ. Молчи, Антон. Давай восемь бутылок цпирта! Давай карабинка! Холонка прятать буду, камень ногам привяжи, вода бросай.

Рыбак. Восемь бутылок, а? И нет в тебе стыда? Это называется — помогаешь нам? До чего ты жаден, шаман. Ну, провались ты, пользуйся моей ошибкой!..

Сигдэ. Бей рука, Антон!

(Рыбак и шаман молчаливо завертывают труп девочки в пестрое одеяло, пока-что запихивают его под нары. Незаметно появляется Иван Семенович. Он быстро оценивает положение.)

Иван Сем. Почему вы делал? Шаман, это вы делал?

(Сигдэ униженно кланяется.)

Это вы, рыбак, делал?

(Наносит старику молниеносный удар в лицо. Рыбак отброшен на нары, хватается за ружье. Иван Семенович стро-го качает пальцем.)

Вы правильную политику разрушал. Что вы делал? Охотник теперь за вас не пойдут. Нам народ нужен. Он писать командование квантунской армия меморандум против советская власть должен, японский императорский армия на этот большой территория звать. Теперь народ за вас не пошел.

(Еще раз бьет рыбака, тот опять валится на нары.)

Этот опасный инцидент ликвидировать! Я в деревня ухожу, там подпол-

ковник Василий приходит. Вы должны охотники собирать, охотники должны большой меморандум писать, наш императорский армия приглашать!

(Исчезает так же внезапно, как и появился. За ним выходят рыбак и шаман.)

Сигдэ возвращается. Начинает обрядиться для камлания. Вот он уже в полном шаманском уборе. Берет бубен. В фанзе темнеет. Сигдэ выходит за дверь. За дверьми слышится треск сучьев. В фанзу проникают отсветы от костра, — сначала робкие, потом все ярче. ярче, ярче. Костер разгорается. И вдруг в вечернем воздухе начинают разноситься жуткие, воющие звуки шаманского бубна.)

(Появляется Яту. Она ищет глазами Холонку. Слышны шаги. Яту ползет под нары, и вдруг слышен ее горький стон. Шаги замирают вдали.)

Вой бубна громче. Яту выползает, вытаскивает труп Холонки. Замирает над ним неподвижно, на корточках. Продолжительное молчание.)

Яту (раскачиваясь). Дочь мой, женщина, Холонка. Другой женщина, Яту, он нашел тебя, женщина. Ты лежишь. Тебе убивал. Тебе положил в одеяло. Тебе положил на холодный пол. В каминке нет огня. Тебе холодный, в каминке нет огня. Плохой люди убивал тебя, положил на холодный пол. В каминке нет огня.

(Вой бубна громче. Яту почти кричит.)

Кулаки убивал тебя, женщина. Антон убивал. Сигдэ убивал. На усы много черной крови. Рука его весь в крови.

Яту ходи в сельсовет, к Матвей, к Робинзон писать бумага в город.

Старуха (раскачиваясь). Я старая женщина. Сорок года живи. Еще сорок года живи. Еще десять года живи. Скоро помирай буду. Старый люди говори, раньше живи только один удэ, хорошо живи, охота ходи.

(Звук шаманского бубна приглушеннее.)

В фанзе пляшут странные тени от костра.)

Потом приходи к нам разный люди. Разный люди приноси удэ спирт, приноси табак, приноси опий. Разный люди приноси удэ нехороший болезнь. Удэ умирал. Раньше удэ много был, — как звезда, потом удэ мало стал, — как соболь. Потом приходи советский власть — сильный, как солнце. Советский власть разный люди прогони, большой лечи, доктор посылай советский власть...

Яту (кричит). Удэ много, как звезда на небе! Советский власть будет наказать Сигдэ. Сильный, добрый, большой, как солнце, советский власть...

(Закуривает трубку. Дымок поднимается над головой безутешной матери. С улицы все громче вой бубна, слышны хриплые крики Сигдэ. В фанзу проникают тени от костра: мужчины собираются на камлание. В фанзу мельком заглядывает Лау с винтовкой.)

Лау (кричит). Пошел японца бей! Пошел защищай советская власть! (Скрывается.)

(Вой шаманского бубна все громче, громче, вот он уже заглушает все звуки. Голоса женщины не слышно. Видно только, как раскачивается женщина в такт ему.)

★

АКТ ТРЕТИЙ КАРТИНА ПЯТАЯ

Чердак кооператива. На чердаке Робинзон, Софья и Матвей. Матвей, с обвязанной головой, пристроился около Софьи. Слышны редкие выстрелы. На улице беготня, крики, ожесточенные вопли. В сторонке на соломе лежит Юцай. Около люка прямо на горбылях ворочается связанный Мао-Ши.

Постепенно перестрелка замолкает. Людские голоса на улице откатываются вдали. Матвей медленно отползает на солому.

Матвей. Прострелили бочку! Течет... Надо... заткнуть...

(Пытается встать на ноги, падает. Софья мечется в поисках того, чем мож-

но заткнуть бочку. Затыкает. Бросается к Матвею. Юцай громко стонет. В люке показывается голова Досуна.)

Робинзон. Что, Досун? Смотришь, чего натворил? Родной отец?

Матвей. Где была... твоя голова... Досун...

Юцай. Ничего, Матвей... (Замечая Мао-Ши, порывается к нему.) Давай ножика, Матвей!

(Впадает в беспамятство. Софья ахает, бросается к нему, торопливо раздирает в клочья свою блузку, перебинтовывает мальчика. Он стонет, приходит в себя.)

Робинзон. Называется родной отец! Где у тебя голова, Досун? Не мог сказать мне? Неужто надо было послать на разведку, под пулю его? Малого ребенка! Дикий, дикий ты еще человек, Досун, а я-то думал!..

(Смахивает рукавом слезу.)

Софья. Хорошо, в плечо, а если б, избави бог!..

(Опускает мальчика на пол, отворачивается. Юцай стонет.)

Робинзон. Ты бы хотя постыдился, Досун...

Юцай. Горячо... Пить!..

Софья (в радостном возбуждении припадает к нему). Маленький мой... Пить! Он хочет пить.

Матвей. Раздавим кулаков, Юцай... Я тебя возьму... в Хабаровск... Небось, кончили... Звуковое кино... Посмотрим картину...

(Юцай жадно пьет, кивает ему.)

Юцай. Спать надо. Очень тяжелый голова.

(Откидывается на солону.)

Софья. Мы выходим его, Досун, не плачь!

Досун (медленно вытирая слезы). Хорошо. Не буду. Надо Матвей лечи, хорошо надо лечи...

(Спускается по лестнице вниз.)

Софья. И ты, Матвей!..

(Пауза.)

И тебя подкосило... Что же мы будем делать?!

(Медленно приближается к нему, меняет повязку.)

Матвей. Как же тебя, Лука Ильич.. прозвали Робинзоном?.. (Стонет.)

Робинзон. Не жалеют детей... Ну, вот уж этого им никто не простит!

Матвей. Заснул? Поедем в отпуск... Пройдемся по улицам... Поглядим новые дома... Постоим на высоком берегу Амура. Поедешь в Ленинград... В Институт Севера... Вернешься председателем сельсовета... Сам сдам дела: «Вот тебе власть, Юцай. Ты кровью... завоевал ее...».

Софья. Да помолчи ты, Христа ради!

(Появляется милиционер.)

Милиционер. Товарищ Девятов, пока их там мало, может, выбрать момент, да на «ура»? А? Вроде, как в атаку?

Робинзон. Раз полезли в голову дикие мысли, — не выходить! К кооперативу не допускать никого! Кооператив мы должны отстоять.

(Матвей замирает в оцепенении.)

Милиционер. Виноват, товарищ Девятов. Возможно, я не учел тактики...

Робинзон. Я знаю, о чем ты думаешь, Матвей. Но забудь: пропадем безо всякого толку!

Матвей (дрожа, поднимается на ноги). Правильно, атаку! Вы с Софьей... прикрываете... нас... А так вот — лучше?..

(Робинзон покачивает головой: нелзя.)

Робинзон. Вояка!.. Лежи! Забинтовали тебя — лежи!

Матвей. Третьи сутки! Как над огнем... Любой конец... Лишь бы... скорее...

Софья. Разбудишь! (Указывает глазами на Юцай.)

Матвей (обессиленный падает). Ты как хочешь... А у меня... нервы... не веревки... На самом деле...

Робинзон. Плохо спал эту ночь, а теперь, видать, у тебя температура.

Матвей. А ну... Пошли, Соня!..

(Пытается встать, Софья укладывает его.)

Софья. И оставим Юца? Значит, погибать ему безо времени! (Строго.) Уходи, если тебе все равно!

Матвей. Трусость... Показываем свою... трусость... Лука...

Робинзон (тихонько). Ты уже успел позабыть все: и свои обязанности, и партийную дисциплину. Как же я-то, всю гражданскую войну, пять лет? А ведь у меня тоже не веревки, а нервы.

Софья (припадая на колени перед Юцаем). Никогда мы не покинем тебя, сынок, никогда не оставим тебя...

Матвей. Подожгут, негодяи! (Сгоречью.) И ты, Софья... Эх...

(Пауза.)

Какой у нас нынче день?

Робинзон. Второй день пятидневки.

Матвей (с надеждой). Нынче... летит самолет... из Владимира... Мономаха...

Робинзон. Рейсовый самолет, с почтой и пассажирами... Сроду не садился он и не сядет здесь... Что ж с того, что летит? (Меняя тему разговора.) Ты, будто, хотел узнать, почему у меня такая фамилия?

(На улице снова возбуждение, гул голосов, крики. Робинзон устраивается у окна, Матвей с карабином ползет к нему.)

Мао-Ши. У меня оставался мадама, три маленьки сына, они ждать свой папа...

Юцай. Мао-Ши, молчать надо! Матвей, давай ножика!

Мао-Ши. Очень плохой мальчик. Я привозил пулемет «Гочкис». Ай, какой хороший машинка! (Даже закрывает глаза в восторге.)

Софья. Пулемет?!

Мао-Ши. Никто собирал не могу.

(Пауза.)

Мадама Мао-Ши кушать просил, бедный люди, весь ночь, весь день кушать забывал... Я хочу бегать домой в Шандунь...

Софья. Какой пулемет?

Мао-Ши. Я бегал домой...

Софья (хватая его за горло). Да ты скажешь, нечистая сила?

Робинзон. Чорта ли с ним?! Оставь. У нас терпенья хватит. Расскажет.

Софья. Да я, кажется, знаю и без него... Достану, Лука!

Робинзон (глядя на нее). Ушли. Попрятались. Ты бы шла обедать, Софья. Накорми Досуна, милиционера, иди, иди! (Вполголоса, когда Софья уходит.) Надо бы присмотреть за ней, Мотя, — что у нее на уме? Кооперация на замке, ключи у тебя под головами. Давать никому нельзя.

Матвей (с горечью). Что у нее на уме? В сущности... Откуда мы ее... знаем? (Стонет.) Кой чорт ее пригнал к нам?.. Кто звал?.. Чего она... здесь... ищет?..

Робинзон. Не расстраивайся, парень, доверяй, но проверяй. Ключи у тебя под головами.

Матвей. Рейсовый самолет...

Робинзон. Ничего он не поймет, подумает — праздник, гулянка, а сказать мы ему ничего не сможем. Лежи. Успокойся.

Матвей. Тишина. Теперь бы с ружьем в тайгу. Бурундуки свистят. Вот ты и рассказал бы сейчас про свою фамилию...

Робинзон. Эка привязался! Ну, ладно...

Матвей. С одной стороны — Лука... А с другой — Робинзон.

Робинзон. Родом я из Тульской губернии, Крапивенского уезда, села Драгуны, Голощаповской волости... (Вдруг, прикладываясь к карабину.) Извините, вы думаете, мы слепые и ничего не видим?

(Стреляет. С улицы доносится громкий вопль. Ругань, ответные выстрелы. Мао-Ши, не спуская глаз с людей у окна, пытается освободиться от веревки. Вот он уже почти освободился, вытянул одну руку, перевалился на другой бок, встает на колени. В этот момент в люке показывается голова Софьи. Внезапно Юцай встает на колени, Мао-Ши не за-

мечает его. Вот свободна и другая рука Мао-Ши, она тянется к карабину. Юцай с ножом бросается на китайца, ударяет его. Софья выскакивает из люка, хватая Юцай за локти, Мао-Ши в ужасе закрывает лицо руками.)

Мао-Ши. Мадама...

Софья. Лука!

(Лука бросается к ним, он и Софья крепко прикручивают Мао-Ши к балке. Матвей отползает на свое место, стонет, лежит, закрыв глаза. Софья бросается к нему.)

Робинзон. Чего ты озверел, Юцай?

Юцай. Я все равно его убей. Он Холонка обижал.

Софья. Матвей, Мотя... Ой, парень, уж про тебя-то я и не думала. Какого парня свалили!

(Всхлипывает, бесшумно достает из-под изголовья ключи, исчезает.)

Робинзон (очнувшись от скрипа половицы). Ты чего?

(Подозрительно оглядывается.)

Милиционер (внизу). А у товарища Девятова спросилась?

(Ответа не слышно. Звук хлопнувшей двери.)

Робинзон. Матвей, проснись! Матвей!

Матвей. Жжет. Голова, как дурная...

Робинзон. Откуда у нее ключи? Эх, Матвей, вот тебе и доверие! (Роемся у Матвея под изголовьем.)

Милиционер (появляясь в люке). С вашего разрешения, товарищ Девятов? Побегла куда-то с карабином. Ключи, правда, кинула.

Матвей (поднимается, шатаясь). Ну, суди меня! Я за все... отвечу перед любимым... судом... Перед любой... контрольной комиссией...

(Со стоном опускается на пол, мечется. Робинзон держит его за плечи.)

Бей ее! Из поганого ружья! Как пса... А-а!..

Милиционер. Слушаюсь, товарищ Девятов.

Матвей. Теперь я... под любой суд... нет мне... никакой льготы.

Милиционер. Какой теперь суд? Может, не доживем до завтра, может, вообще, сожгут.

Робинзон. Уйди! Доверили дуракам советскую власть, а они проспали ее,— это же и есть самый страшный суд, как не понять?

Милиционер. Так что ведь я пока беспартийный, Лука Ильич.

Робинзон. Стоим рядом, отбиваемся от одного неприятеля,— где ж ты видал таких беспартийных? (К Матвею.) Ну, успокой душу, ничего: как волка ни корми...

Милиционер (официально). Разрешите вернуться на пост. Досун прилег отдохнуть, пускай его.

Робинзон. Пускай его!

(Милиционер уходит. С улицы раздаются голоса, крики, обрывок пьяной песни.)

Пронзительный голос. Эй, начальство! Так как же? Поджаривать, или так в рот полезете?

(Робинзон целится. Голоса удаляются. Тишина.)

Матвей. Ах, Софья... А я-то уж, было... подумал, ты... человек...

Робинзон. Яту с Холонкой давно в стойбище, никакого сомнения, а к нам никого нет...

Матвей. Не уйдет она... от меня... Ах, Софья...

Робинзон. Успокой, успокой себя. Нет, не человечество они, а падаль, и ни сказок про них не расскажут, ни песен про них не споют.

Матвей (после паузы). Ну, расскажи все же... про свою фамилию... Ну, родился ты в селе Драгунах...

(Робинзон прислушивается: тоненький, осторожный стук доносится снизу.)

Милиционер (снизу). Удэхейцы пришли, Лука Ильич!

Матвей (неистово мечется). Удэхейцы пришли... Пришли удэхейцы! Вот когда они пришли!..

(Однако ожидаемого оживления внизу не слышно. Робинзон срывается с места. Потом скрип ступенек на чердак. Поднимается Робинзон, за ним Яту и Ен-Син. Яту с трупом Холонки в руках. Яту кладет Холонку на пол, подползает к Юцаю, который спит.)

Робинзон. Яту, что такое с девочкой? Мертвая! Что случилось, Яту?

Матвей *(горько)*. Ну вот, Лука, и эта... малютка... тоже... *(Тягостное молчание.)* Как вы пробрались, Ен?

Ен-Син. Сорок пять года жил. Каждый дерево знаю. Каждый тропка знаком. Староверы — совсем глупый люди. Злой и глупый — все равно: кабан.

Матвей. Как же это вы так не уберегли ее? Дети — гибнут.

(Пауза.)

Как вы думаете... поступить?.. За кого... подать голос?

Ен-Син. У нас приходила Антон с Ханки, Серафим. Говорил много.

Робинзон. А к нам? К нам-то, кто идет или нет?

Ен-Син. Не знают. Ничего не знают, Лука. Слушают, молчат. Все люди молчат.

Робинзон. А к староведам кто?

Ен-Син. Немного пошел: Сигдэ, Лау, Алешка... Пять люди.

Робинзон. Лау? Эх, парень! Ведь кулаки обобрали тебя, обколотили, как еловую шишку...

Ен-Син. Однако Сигдэ его пугал: хотел черти в палатка пускать.

Робинзон. Чертей напугался, парень, а? Не совестно?

Ен-Син. Политический неграмотный люди.

Матвей. Да. Обступает нас кулачье со всех сторон.

(Пауза.)

Ай, Холонка, Холонка, и ты...

Робинзон. Что случилось с девочкой?

Яту. Его старый люди убивал. Сигдэ убивал. Антон убивал. Ему правда любви нет. Жулика, — правда любви нет.

Робинзон *(поперхнувшись)*. М-да... Ну, иди, Ен. Не попадись только.

Впрочем, что ж я тебя учу? Скажи: все мы живы, здоровы. Кулаков этих бьем, как богатых, и перебьем всех. Собери охотников, особенно, кто состоит в кооперации: Мирована, Ботани, Узу, Семончуков, — вообще всех. Скажи: за опиум, за шаманство мы высылаем Сигдэ к чортовой матери!

(Пауза.)

А хотят удэхейцы итти на подмогу или не хотят, это ихняя совесть. Если она у них есть, — пойдут, никакого сомнения! *(Другим голосом.)* Ну, Ен, вниз! Там оставалась лапша, таймань, чай, — иди! Впрочем, минутку!

(Достает из-под соломы портфель, вынимает из него пачку открыток.)

Раздай охотникам: Ленин, Сталин, Ворошилов. Как же это может погибнуть советская власть, чудак! Раздай всем! Пусть прикрепят на стенку, смотрят и удостоверяются: жива советская власть! Ты обрати ихнее внимание: вот он сидит, смотрит вперед, как орел, держит трубку в зубах, улыбается. Вот она, советская власть!

Матвей. Ай, Лука, Лука... Вот что значит... Что значит, старый ты... коммунар, Лука...

Робинзон. Так ты не забудь, Ен. Скажи: староверы доживают последние свои часы, а мы твердо стоим на широкой, на богатой, на завоеванной земле.

(Пауза.)

Иди, подхарчись, дорога нелегка. Расскажи охотникам! *(Показывая на Холонку.)* Вот как они обращаются с вами!

(Матвей негромко смеется. Юцай просыпается, поворачивает голову к Матвею.)

Юцай. Тебя тоже стрелили, Матвей...

Матвей *(громким шопотом)*. Лука, заслони девочку... *(Деланно смеется.)* Очнулись мы с тобою, Юцай... И оба... на больничной... постели...

Юцай *(резко)*. Где Мао-Ши? *(Сразу успокаивается.)* Здесь, собака.

Робинзон *(присаживаясь на корточки)*. Ну, инвалиды? Скоро в строй?

Матвей. Ах, Лука, какая... ясная у тебя... голова...

(Светает.)

Робинзон (прислушивается). Что они, спать, что ли, ушли?

Матвей. Неужто это местная староверская выдумка? Вся вот... эта... заваруха...

Робинзон. Чьи-то длинные руки, Мотя. Здесь, подозреваю, работают наши добрые соседи с Тихого океана.

(Подходит к окну, пригибаясь, заглядывает в него.)

Никого. Скоро поднимется солнце. Весна. Кончилась и эта ночь.

(Достает из кармана блокнот, что-то пишет, щелкает на счетах.)

Матвей. Что ты там сочиняешь? Духовное завещание?

Робинзон. Кто знает, как обернутся дела. Надо набросать нечто вроде отчета, пока тихо...

Матвей (откидывается на изголовье, беззвучно смеется). Отчет!

Робинзон. Вот тут графа: «По какой статье»... Как объяснить все эти расходы?

Матвей. Ты младенец, Лука?

(Робинзон выглядывает в окно. Вдруг бросается к люку.)

Робинзон (кричит вниз). Бей ее! (Выстрела нет.) Мне неудобно отсюда! Оглох?! Бей!

Матвей (привстает на локтях. Напряженно слушает). Лука... минутку... Может, она...

Милицционер (снизу). Разрешите обождать, Лука Ильич, чего-то я никак не пойму...

(С улицы слышатся крики: «Куда поехала? Ребята, не стреляй! Отравленова убьешь!». Резкий голос Софьи: «А ну, прочь! Застрелю его!». Матвей при звуках ее голоса оживляется, падает на солому, лицо его светлеет. Сильный грохот в двери. Она распаивается с оглушительным лязгом и захлопывается снова. Слышно, как падает что-то тяжелое. Мгновение спустя — грохот гранаты. Вопли. Шаги по лестнице. Сначала показывается голова Отравленова. За-

видя Робинзона, старик пятится, но его подталкивают снизу. Он поднимается на чердак. За ним Софья, Творогов, отравленовский работник с мешком на спине.)

Робинзон (обнимает ее, всхлипывает, но в этот момент с улицы опять слышны голоса). А ну, подальше!

(Бросает гранату, шум удаляется.)

Матвей (почти шопотом). Соня... подойди ко мне...

(В этот момент Юцай замечает Холонку, открывает ее лицо, резко вскрикивает, бросается на Мао-Ши. Софья разнимает их.)

Софья. Обожди, мальчик, не уйдет он от нас...

Робинзон. Пулемет нашли?

Отравленовский работник (не глядя на хозяина). У нас его собирали два дни, да так и не собрали...

Робинзон. Специалистов, видать, нехватает?

Отравл. работник. Нехватает. Вчера ждали одного, да что-то запаздывает.

Робинзон. Кто таков?

Отравл. работник. Не знаю. Хозяин сказывал...

(Софья уже пристроилась к Матвею, меняет повязку. Он что-то негромко и горячо говорит ей. Потом вдруг обнимает и прижимает ее к себе. Она всхлипывает.)

Робинзон (Отравленову). Что ты кокетничаешь? Не ты нас поймал, а мы тебя. Кто такой, спрашиваю?

Отравленов (горестно). Кричи, Лука, — что мне до чужих? Пропадай, хоть и свои...

Робинзон. Уж не Васька ли?

(Отравленов молча кивает.)

Матвей (Творогову). Уж извини меня... Творогов... Рад... (Отпускает Софью, смущенно.) Ты бы вынул все... из мешка... Соберем...

Софья. Лежи уж!

Матвей. Соберем!

(На мгновение задерживает ее руку в своей. Софья вынимает части пулемета. Творогов помогает ей.)

Робинзон. Васька тебе кем придется? Племяш? Сын Архелаи?

Отравленов (устало). Отвязался бы ты от меня, Лука.

Робинзон (весело). Знаком, очезь даже знаком. Так, так, так. (К Софье.) А вы бы связали старичка, да и положили рядком с Мао-Ши. Только не вполне рядом, конечно. Чего это наш Мао-Ши скучный? Кормили его?

Мао-Ши. Мало-мало корми, шибко хорошо корми. Шибко хорошо отдыхай. Спасибо, Лука. Надо пускать домой. Мой пушнина ести. Опий ести. Я говорю: бери пушнина, опий бери!

Робинзон. Честное слово, сейчас некогда, Мао. Всему свой черед. (Творогов.) Ты оставяйся с нами, Творогов, а ты (работнику Отравленова) — вниз. Там тебе укажут, чем заняться.

(Пауза.)

Чего это вы раньше не собрались, парни?

Отравл. работник. Да так как-то... Вот пришла Софья, — ну, конечно, за компанию. Все ж-таки, неловко оставить. Родная сестра.

Робинзон. Родная сестра, — ай, мужики, мужики!..

Отравл. работник. Она же без отца у нас росла, самая маленькая, я ее выходил, выкормил, одна она у меня.

Ен-Син (снизу). Матвей, однако, до свидания! Лука, однако, тоже до свидания!

(Юцай подползает к Холонке. Молчи смотрит в ее лицо, покачивает ее, как бы убаюкивая.)

Робинзон (негромко, в люк). Бери мою оморочку. На протоке. Пусть только староверы не видят. По теченью как-раз часа через четыре будешь дома.

Ен-Син. Однако спасибо! Шибко хороший оморочка! Лед кончал совсем. Вода высокий.

(На улице оживание, громкие голоса. Робинзон приближается к окну с карабином. Через мгновение оборачивается. На лице его растерянность.)

Робинзон. Матвей, чего будем делать? Ведь они поджигают сельсовет.

Отравленов (орет так, что голос его покрывает весь шум на улице). Или вы спятили? На улице — ветер. Огонь перекинется сюда! И я сгорю со всеми! И вся мануфактура — тысяча метров! Керосину — тысяча пудов! Пороху — тысяча! Обувь! Швейные машины! Сахар!

Голос с улицы. А мыло серое есть?

Отравленов. Мыла тысяча пудов!..

Голоса: Туши, туши, ребята! — Мыла тысяча пудов...

Робинзон (опять прикикая к окну, смеется). Мыла жалко. Все в полном порядке.

Отравленов (другим голосом). Скажи спасибо, Лука...

Робинзон (в люк). Значит, запомни, всем староверам — крышка! Ликвидируем их, как класс! Долгов не платить, а лично их мы отправляем в тюрьму. Главное — не платите долгов, Ен-Син!

Отравленов (растерянно). Где же благодарность, Лука? (Дико.) Матвей Иваныч, что же это делается на белом свете?! Или ты уже не уполномоченный, Матвей?

(По лестнице поднимается Яту, присаживается к Софье, смотрит на сына и Холонку.)

Яту. Холонка умирал. Старый люди убивал Холонка. Шаман Сигдэ убивал Холонка.

Софья. Яту, бабонька...

(Обнимает ее. Обе плачут.)

Яту. Тебе не плачь. Тебе хороший люди. Тебе большой сердце есть.

Творогов. Большое сердце. Это ты правду сказала, баба.

Софья. И дочери не стало, и сынишка ранен...

(Яту берет карабин.)

Куда ты, девонька?

(Яту молча ложится у окна, загоняет обойму в магазин.)

Отравленов (*горестно*). Вот оно как забывается старая хлеб-соль. Я же тебя спрашиваю, Девятков: или ты больше не уполномоченный? Не советская власть?

Матвей. Это называется... возвратная пружина... Обождите, ребята, дайте... передохнуть... Голова...

Отравленов. Святой боже. Святой крепкий. Святой бессмертный...

Софья. Тише, чорт! (*Слушает.*) Самолет, Матвей! (*Почти шопотом.*) Истинный бог, самолет! (*Даже крестится.*)

(*Робинзон молча поднимает руку. Отравленов тоже напряженно слушает. Мао-Ши корчится. На лице его невыразимый ужас. Звуки мотора.*)

Истерический голос с улицы. Ероплан, старики!

Творогов. Ероплан, Софья!

Робинзон. Ребята...

(*Он, обессиленный, прислоняется к стропилу. Самолет, как слышно по звуку, обходит круг над деревней. Потом звуки мотора удаляются, смолкают.*)

Матвей (*горько*). Эх, Соня, Соня... Почтовый... Не заметил... ничего... особенного...

Творогов. Не заметил ничего особенного, Софья.

(*Отравленов тихонько смеется. Мао-Ши дышит, как рыба, выброшенная на песок. Юцай напевает что-то, покачивая Холонку.*)

★

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Изба Сарафанова. Она не прибрана, грязна. В переднем углу сидит Архелая. Слышится топот ног на крыльце. В избу вваливается группа староверов, вооруженных до зубов. Среди них выделяется статный, подтянутый человек, по виду — военный. Рядом с ним идет Пшеничный.

Военный — это Васька, отравленовский племянник. Он держится хозяином. Несколько отставая от него, идет Иван Семенович, тот, кого мы видели в первой и четвертой картинах. Он сразу подходит к Архелая, целует ей руку. Она покровительственно треплет его по щеке. Однако на лице ее никакого движения. Что-то шепчет ему. Васька не замечает ее.

Пшеничный. В общем, их нашлось человек семь: Андрюшка Лукин, Толкачев, Сидоркин...

Васька. Кто такие?

Один старовер. Да так — нищий сброд. Настоящих хозяев никого нет.

Пшеничный. Он прав — ни нашим, ни вашим. Откровенно говоря — лодыри, ни лошади у них, ничего. Подняли шум. Мы их, конечно, в амбар, поставили охрану...

Васька. Мамаша, здравия желаю!

Архелая. Ввалился в сапожищах, с папироской. Падай в ноги, басурман!

Васька. Никак не могу, мамаша, — я все же подполковник русской службы...

Архелая. Падай в ноги! (*Грозно стучит палкой об пол.*)

Васька. Не выдались семь лет, а вы с такими предрассудками. Я полагал,

вы поумнели... Как будет угодно, мамаша. (*К староверам.*) Как же это вы допустили, старики? Как же возможно, чтобы наш же брат мужик и вдруг пошел против, а? Ну, я понимаю — колхозники...

Пшеничный. Виноват, минутку! В том-то и дело, что они на рождестве поговаривали насчет колхоза...

Васька. Ах, вот какие у вас есть люди?! Так какого же вы чорта, старики? (*Меняя тон.*) Ну, пусть пока посидят, мы с ними поговорим! «Насчет колхоза»!.. Мерзавцы, совсем идиотами стали! Докладывай, Серафим!

Пшеничный. Так что письмо я отправил, Василий Васильевич, все, как было условлено. Будьте спокойны. Теперь — минутку! — коснемся регалий власти. Печать, стало быть, штамп сельсовета, — все это ваш покорный слуга передает по принадлежности.

В а с ь к а. На кой чорт мне сдалась твоя канцелярия? Ты лучше председателя сдай, да живьем!

(Пшеничный бессильно разводит руками.)

В а с ь к а. Спирту! Жрать! Затопите плиту! Четверо суток топчетесь, дураки. Никакой смекалки нет.

Г о л о с а. Осточертело...

— Одиннадцать человек уже нету...

— Всех перебьют...

— Уходить надо...

В а с ь к а. Нынче же ликвидировать председателя с его войсками! Мы идем на соединение с Лоухэ: там двое милиционеров, ячейка пять человек, — это не ваш вонючий сельсовет. Довольно дрожать хвостом! Восьмые сутки сидите, как псы вокруг конины. Хватит! Спирту, жратвы!

(Староверы торопливо выходят. Около Васьки остается только японец. Он одет в костюм, напоминающий военную форму, только со споротыми петлицами и кантами. В сторонке сидит молча, 'Архелая.)

В а с ь к а. Ну, как вы находите все это? Разве ж не безобразие?!

И в а н С е м. Я сегодня дальше итти должен. Провожатый мне дайте. Я на лодке до Алчан спущусь. Вы запоздали страшно. Правила стратегии забывали вы. Нельзя долго запаздывать. Красные армии идут из районного, я думаю, центра!

В а с ь к а. Дайте мне разделаться со здешними. Я должен очистить тыл. Они держат меня! Я не могу итти дальше. Пять суток идет торговля!..

И в а н С е м. Скоро Антон, Сигдэ придут, с ними охотники придут, мне говорили.

В а с ь к а. Придут — тогда дам туземцев, пусть везут. Это Робинзон испортил их, — вот подлый старик! Ну, я припомню ему!

И в а н С е м. Я должен сегодня, господин Василий. Японский императорский армия не может опаздывать.

В а с ь к а. Отстаньте!

И в а н С е м. Что мне вы подчинены, не забываете!

В а с ь к а. Здесь я подчиняюсь сам себе!

И в а н С е м. Так?

В а с ь к а. Так.

(Входят староверы. Кто несет спирт, кто мясо, кто что. Один ставит самовар. Всеобщее оживление, впрочем, сдерживаемое присутствием начальства.)

В а с ь к а. Тишина!

(Гомон стихает, зато слышнее становится звон посуды. Васька в нетерпении следит за приготовлениями.)

В а с ь к а. Ша! Садись! Штаб!

(Все рассаживаются. Васька наливает спирту.)

В а с ь к а *(пьет. Все следуют его примеру)*. Я послан в числе десяти. Мы шли от Куцина, Светлой, Тернея. *(Ударяет кулаком по столу.)* Потеряли восемь человек. И кто поймал? Добро бы кто, — ведь мужики! Колхозники, свои же мужики, — локти кусать хотелось, — да что ж ты поделаешь, а-а? *(Молчит.)* Какие люди! Сто раз переходили границу, учились в Харбине, Нагасаки, два полковника. Где мой товарищ, с которым мы шли до самой Уленги? И вот я сижу перед вами один. Принимаю командование. *(Опускает голову. Все сидят неподвижно.)* Правильно Моцидзуки писал: надо спешить! Пока не поздно! Пока у нас есть друзья. Вы посудите, пройдет год-два, — да какая ж сила совладеет с тою советскою властью?! Правильно японцы говорят — спать нельзя... Вот наша дислокация... *(Чертит пальцем по столу.)* Вот здесь, и здесь, и на Бейцухэ, и на Хоре, и на Имане... Только надо подниматься, как подобает. Ведь если мы будем кое-как, да если разобьют нас, — какой чорт будет нам помогать?! А на японских рыбалках еще с зимы завезены солдаты: ждут. Ребята, господа старики! Помните, не жалеть отца, жены, родного сына, если что. Мы начинаем, а люди найдутся, есть они даже и у коммунистов, в больших верхах, обиженные. Они только и ждут от японца повестки.

П ш е н и ч н ы й. Оппозиционные элементы, Василий Васильевич, ждут, — поверьте вашему покорному слуге...

Архелая. Дай-то господи! Уничтожать под корень...

Старик. Царь славы, Иисус Христос, сим побеждай...

Васька. Это ты оставь, дед! Без японцев никакой тебе царь славы — не помага.

Голоса. Ну, Вася, спасибо, что не заболел! Три года не видали. Выпьем за твое здоровье!

Васька. Пейте, угощает подполковник русской службы. А где дядя? Отравленов, спрашиваю, где?

(Молчание.)

Архелая. Увели его, Василий... Сонька проклятая!

Васька (с расстановкой). Как так могли увести? (Вскакивает, ударяет кулаком по столу.) Да что он вам, бык, что ли? А куда вы смотрели, прохвосты? Сколько время сидите вокруг вонючей лавчонки, а там — кучка, и с этой кучкой ничего не поделаешь? У вас гранаты...

Архелая. Нет у нас гранат...

Васька. Послан был пулемет!..

Архелая. Сонька... Переломать всю, до последней косточки... Пытать огнем! Живьем зарыть в землю!

Васька. А-а! Повстанцы! Да я вами и подтереться не захочу! Чорта ли в вас?! Обросли, обомшели, — под лежащий камень вода не течет... Пять суток... Сегодня же чтобы ликвидировать Девятова!

Голоса. Ты у нас герой.

— Полковник.

Васька. Сожгу к чортовой матери!

(Среди староверов возбуждение.)

Архелая. Там мануфактура. Сахар.

Старик. «Много предотечев, но и сам уже близ есть по числу еже о нем...».

Васька. Замолчи, идиот!

Старик (как бы просыпаясь). Чего ты орешь? Там пять тысяч мануфактуры, швейные машины, сахар. Все наше, не отдадим никому: ни тебе, ни им, а тем более — жечь! «Возьмем ослопы своя и воздвигнем мечи своя...».

(Васька бросается к нему, но староверы уже тянутся к ружьям. Иван Семенович удерживает Ваську.)

Васька. Пройдем по деревням, по стойбищам, в каждом — свой кооператив, везде сапоги, калоши, порох, — тысячу раз вернем!

Архелая. На чужое добро — чужая глотка.

Васька. Ну, мы с вами еще поговорим, господа старички. (Наливает спирту.) Чего не пьете?

(Все пьют и закусывают.)

Пшеничный. Удивительный здесь народ, Василий Васильевич. Ваш покорный слуга — человек не военный, освобожден по болезни, но ведь это же позор: сколько людей, а бессильны! Просто позор, честное благородное слово! Или солдат среди вас нет?

Старик. Перезабыто все, Серафим. К тому же Матвей, почитай, выгреб все до дна. (Кричит.) Чего же ты сделаешь с централкой? С картечью? С бекасинником?

Пшеничный. Позвольте, как же это так? Жалеть тут некого! Если хоть одного из них оставим в живых, — пропадем. Вы вот про мануфактуру помните, а про тех — Луку вот, Девятова — забыли? Они свернут вам голову, они ведь — не Пшеничный.

Васька. Божественное на уме? Я вас подтяну, богомолы!

(В избе показывается старовер с шомполкой. За ним идет Ен-Син. Старовер косится на стол с яствами.)

Васька (берет с окна маузер). Это чей такой?

Старовер с шомполкой. До вас, Василий Васильевич. На протоке задержал, в оморочке чего-то делал... Приплыл, что ли, откуда. Говорит, от туземцев.

Старик. Это будет огородник с ихнего стойбища, Ен-Син.

Пшеничный. Не бойся, Ен, это товарищ Отравленов, свой. Ну, как там у Антона Антоновича?

Ен-Син. Меня Антон посылал. Однако собрал охотники. Они сидят в старый барак. Спросил: куда ходить?

Пшеничный. Сколько всего?

Ен-Син. Однако... сорок люди.

Пшеничный. Сорок человек? Вот так Антон!

Е н - С и н (твердо). Сорок люди, да.
В а с ь к а (разглядывая китайца).
А не врешь?

(Пауза.)

По глазам вижу: врешь, ай, врешь, ходя! Становись к стенке! (Поднимает маузер.)

С т а р и к. Василий!..

В а с ь к а. Это их шпион! Я расстреляю его. Становись, китаец, слушай мою команду!

(Староверы молча сдвигаются к одному краю стола. Ен-Син, ничего не понимая, становится к плите. Иван Семенович, улыбаясь, смотрит на Ен-Сина. Пшеничный закрывает лицо рукою, отворачивается к окну. Васька наводит револьвер на Ен-Сина. Ен-Син вдруг падает на колени, ползет к Ваське.)

Е н - С и н. Я буду говорить правда! (Томительная пауза. Ен-Син не может подобрать слов.) Антон посылал. Я не обманывал!

В а с ь к а (пряча револьвер, смеется). Ну, значит, не врешь! Садись в сторонке...

А р х е л а я. Василий, не верь язычнику! Лжив язык и блудливы глаза его!

В а с ь к а (к Ивану Семеновичу). Вот вам и провожатый. Ты как сюда попал, — тебя Еном звать?

Е н - С и н. Оморочка...

В а с ь к а. Как на перекатах вода?

Е н - С и н. Высокий вода. Перекат молчит, однако. Камни не видал. Высокий вода, шибко высокий.

А р х е л а я (грозно). Запрещаю, Василий! Пытать! Пусть расскажет правду, как перед истинным!..

В а с ь к а. Вот, возьми их с собою, Ен! Это, брат, начальство. До барака — на оморочке, а там найди бат, возьми еще человек двух и добрось до Алчана.

Е н - С и н. Антон велел скоро назад ходить.

В а с ь к а. Здесь команду я, пойми, дура!

(Наливает Ен-Сину спирту, передает ему кусок мяса на ноже.)

В а с ь к а. А сам Антон пусть идет сюда. Мы выкурим Мотьку с Лукою, сожжем их, соберем баты, тронемся

вниз — на Митахэзу, Сигоу, Олон, до самого Бикина.

И в а н С е м. Лучше господин Антон к барак идет. Зачем — сюда, потом — туда? Без него много здесь есть.

В а с ь к а (высокомерно). Покамест этой группой команду я. (Уже заплетаящимся языком.) Вот — китайцы с нами, туземцы с нами, а там придет японская императорская армия, — кто может устоять против такой силы?

(Ен-Син осторожно отхлебывает спирту, задохнувшись, кашляет, машет рукой, присаживается у двери на корточки, раскачивается, стонет.)

В а с ь к а (хохочет). Сразу видно, не наш брат, русский, не военный.

П ш е н и ч н ы й. Что китайцы, что корейцы — насчет этого...

В а с ь к а. Знаю — никуда!.. Мао-Ши не приходил?

(Молчание.)

В а с ь к а. Или и его увели, как быка?

С т а р и к. Увели, Вася, Матвей арестовал... «Рече господь гады своя...».

(Васька, шатаясь, поднимается во весь рост, вынимает револьвер.)

В а с ь к а. А-а!..

(Стреляет прямо в лицо старику. Пшеничный выскакивает вон.)

А р х е л а я. Да будь же ты, анафема, проклят!

(Иван Семенович вдруг вскакивает на скамью.)

И в а н С е м. (Гортанно кричит). Э-э!

В а с ь к а (бросает револьвер на скамью). Ну, вот и все. Дожили. Довоевались.

И в а н С е м. Узнавали? Я — Моцц-дзуки! Подполковник Василий дисциплина имеет плохое!

(Староверы умолкают. Васька тянется во-фронт.)

И в а н С е м. Тридцать три года я в японской императорской армии служил. Я отец, мать, жена, дети забывал. Вы тоже должен отец, мать, жена, дети забывать. Я только один императорский японский армия знал. Вы тоже только

один японский императорский армия должен знать. Вы поручение узнавать строительство двадцать шесть — имели? Э?

В а с ь к а. Рады стараться, господин поручик!

Г о л о с а. А зачем кооперацию жесть?!

— Вы не велите ему!

И в а н С е м. Вы плохо стараться имеете, господин подполковник Василий. Вы не понимал ваш почтенный матушка. Вы не уважал матушка. Вы люди в своих руках держать не умел. Мы не доволен вами, подполковник Василий.

В а с ь к а. Слушаюсь, господин поручик!

И в а н С е м. Давайте мне лодка, проводник,—сейчас! Господин Антон в старый барак оставайте. Здесь половина людей оставайте—надо строительство двадцать шесть ходить.

(Пауза.)

Я командование квантунская армия сообщаю безобразие ваше. Вы не умел пропагандировать народ. Вы пугал народ. Вы дипломат плохой.

(Козыряет, выходит из избы. На мгновение возвращается.)

Ваш почтенный матушка больше знает, как вы! Слушать его, понимать его! Прошу. (Козыряет, уходит.)

(Опять появляется старовер с шомполкой.)

В а с ь к а. Ну, чего тебе?

Старовер с шомполкой. Да вон те, что в амбаре, Василий Васильевич...

В а с ь к а. Колхозники?

Старовер с шомполкой. Ну да, в амбаре. Шумят.

В а с ь к а. Шумят?

Старовер с шомполкой. Шумят, Василий Васильевич, крышу разбирают, хотят уходить к Матвею.

В а с ь к а. Да ты понимаешь свои слова? (Пинком выбрасывает его вон.) Все сожгу! И этот амбар! И этих колхозников—все! Чтобы не оставалось даже запаха!

А р х е л а я. А кооперации ты не трожь, Василий! Уж лучше уходи, если так,—не мешай воинам христовым!..

В а с ь к а. Эх, господа бога!.. Строительство двадцать шесть!

(Развертывается, страшным ударом валит ближайшего старовера с ног. Впоследствии смятение.)

★

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Трущоба в тайге. Вывороченные деревья. Кое-где снег, но ручей уже шумит. Через ручей перекинута толстое бревно. Откуда-то сбоку из тальника пробегает Ен-Син с оморочкой на голове, навьюченный сумкой, ведерком, котелком. Ен-Син ловко, точно канатоходец, пробегает по бревну через ручей. Останавливается. Через несколько мгновений, тяжело раздвигая тальник, бредет Моцидзуки.

Он останавливается на том берегу ручья. Ен-Син уже разводит костер. Спускается к ручью за водой. Моцидзуки следит за ним.

М о ц и д з у к и. Почему мы весь день на запад шел, теперь на восток повернул? Почему мы целый день на восток пошел?

Е н - С и н. Тебе не беспокойся, капитана. Тебе ночью спал — Ен-Син ходил вниз. Под самый Панцелаза — много кáрчи, вода все равно — кипяток шумит.

Оморочка разбивался, однако. Капитана пропадад, Ен-Син — пропадад.

М о ц и д з у к и. Я не могу верить, китаец, вам. Я могу стрелять вас, прошу об этом помнить. У меня точный срок на Алчан приходиться имеется.

(Пауза.)

Какая дорога впереди у нас лежит? Мы через сопка — недалеко от Ульма — пройдем?

Е н - С и н. Однако сопка — далеко, Ульма — далеко. Мы ходи прямо через Пантовая падь. Выходи на маленький протока, опять чистый вода, однако, опять клади оморочка на вода, плыви на Алчан.

М о щ и д з у к и. Хорошо. Я за вами очень близко, житаец, следить буду. Чай — скоро?

(На том берегу, за спиной Ен-Сина показывается командир. Моцидзуки внезапно отпрыгивает назад и исчезает в зарослях тальника. Секундное замешательство.)

К о м а н д и р (наставляя на Ен-Сина револьвер). Откуда вы взялись?

Е н - С и н (негромко смеется). Товарищ, однако, здравствуй!

К о м а н д и р. Посмеемся после. Кто с вами был?

(Слышен треск тальника, постепенно удаляющийся.)

Так откуда же вы взялись?

Е н - С и н. Однако смотрел следы: в двенадцать часов Красный армия уходи с места. Много люди — двенадцать люди.

К о м а н д и р. Ты не колдун случайно?

Е н - С и н. Зачем? (Достает что-то из-за пазухи.) Белый щетка Красный армия зубы чистил. Кто еще зубы чистил? Старовер — нет, удэ — нет, другой люди — нет. Красный армия чистил — тебе понимаешь?

К о м а н д и р. Так вы за нами следили?

Е н - С и н. Японец ничего не видал. Он старый, шибко уставал. Он говорил: «Охотники?». Я говорил: «Конечно, охотники. Здесь, однако, тигра ходил». Японец молчал. Я все понимал.

К о м а н д и р. Глупости, — следили! Откуда известно, что мы снялись с привала именно в двенадцать ноль-ноль?

Е н - С и н. Тебе — командир, тебе — шибко умный. Я — не командир. Часы у меня нет. Я могу ошибаться. В двенадцать, в одиннадцать — не знал. Ско-

ро май месяц. Солнце высоко стоял. Теплый солнце, однако, горячий солнце. Тебе делал след — снег осыпал, солнце грел — снег таял, понимал? Потом он, однако, делал, как лед. Блестит. Понимал? Я знал, один дорога — здесь! Красный армия ходил тропка, японец и я ходил так... (Жест.) Красный армия ходил, как олень, мы ходил, как два олень... Моцидзуки...

К о м а н д и р. Стой! Моцидзуки?.. (Резко свистит. Ему отвечает свист в стороне.) Хорошо. Мы все это проверим. Какие-нибудь документы есть?

(Ен-Син показывает какую-то бумажку.)

Об окончании огородных курсов? Так ты — огородник?

(Пауза.)

Кто у вас был заведующим на курсах?

Е н - С и н. Однако Василий Иванович.

К о м а н д и р (веселя). Правильно! А не помнишь, такая была уборщица?.. Молодая, очень симпатичная, знаешь?

Е н - С и н. Маруся, однако. Шибко хороший Маруся.

К о м а н д и р. Правильно, товарищ! Так ты говоришь — Моцидзуки?

(Появляются красноармейцы.)

Надо организовать сейчас поиски одного японца. Очень крупная и подлая птица, я расскажу о нем позднее.

Е н - С и н. Не надо торопиться, командир. Его сам попадет. Надо ходить Пантовая падь. Другой дорога нет. Однако японец нигде пройти не могу. Японец шибко уставал.

К о м а н д и р. Товарищ Сизов, товарищ Лукин, идите с товарищем... Как ваша фамилия?

Е н - С и н. Мне Ен-Син зови.

К о м а н д и р. Вот товарищ Ен-Син поведет вас... Все так — тальником, тальником. Будьте осмотрительны. Товарищ Сизов, вы старший.

(Красноармейцы уходят. Ен-Син — с ними.)

К о м а н д и р. Можно передохнуть, товарищи. (Все располагаются, кто где.)

Вот что значит большевистские темпы. Мы, именно мы, заняли магистраль.

(Пауза.)

Представьте, что японцы затеяли здесь, на нашей советской земле, второе Манчжоу-Го: вы, дескать, поднимете заваруху, позовете нас от имени всего народа, а мы, дескать, придем с войсками и создадим особую, как будто бы самостоятельную, вашу власть... Ну, вы же все читаете газеты, понимаете, как это у них принято, не маленькие. Ясно, что нам пришлось принять известные меры.

(Пауза.)

Все же один диверсант пробрался, и как-раз в ту деревню, куда нам задание. Видать, там у них — штаб... Такова — что? — такова военно-политическая обстановка на сегодняшний день.

(Задумывается над картой. Бойцы без лишнего шума располагаются на отдых. Разжигают костер, прилаживают котелки с водой, открывают консервы. В тальнике негромко ворчит собака. Командир мельком взглядывает туда.)

Командир. А самолета все нет и нет...

Один из красноармейцев. Вы не докончили прошлый раз, товарищ командир: откуда же все это пошло?

Командир. Так вот я и говорю. Когда-то был тут староверческий монастырь. Скит. Никто даже не подозревал, что есть на свете такие идиотские деревни: ни советской власти, ничего. В этих вот местах, которые мы с вами как-раз видим, работала одна наша техническая часть, проводила изыскания для будущего телеграфа, ну, и наткнулась.

(С воодушевлением.)

Представьте себе, что советские порядки здесь мы организовали лишь в прошлом году, а сейчас тридцать второй. Разве же не обидно? Тут ведь живут всякие народы, а особенно — удэгейцы, как теперь правильно называют бывших ороочонов. Какие это люди, товарищи бойцы! Ты ложись спать вот здесь, в тайге, он увидит тебя, закуриг свою трубочку и присядет над тобой:

как бы кто сонного не обидел тебя. Пришла сюда советская власть, но застала нищету, кабалу, опять-таки кулацкую эксплуатацию, засоренность всякими элементами. И вот теперь мы видим нечто вроде мятежа, организованного — что? — организованного японской разведкой.

(Внезапно раздается ожесточенный лай пса в тальнике. Хруст шагов в кустах.)

Командир *(расстегивая кобуру)*. Кто идет? *(Лай ожесточеннее.)* Кто идет?

(Из кустов показывается красноармеец, рядом с ним шаман Сигдэ, Лау. Красноармеец останавливается, собирается рапортовать. Лау делает шаг назад.)

Лау. Красный армия! О-о! Антон говорил: японцы бил Красный армия, прогнал советский власть. Ему — неправда! О-о!

(Сигдэ радостно ухмыляется. Лау, как бы не доверяя своим глазам, приближается к командиру. Останавливается.)

Сигдэ *(улыбаясь)*. О, капитана! Давно тебя искал есть. Давно дождал советский власть. Наши туземцы — бедный люди, глупый люди. Его советский власть понимай нет, капитана!

Командир. Яснее, товарищ!

Сигдэ *(отстраняя Лау)*. Наши туземцы советский власть бей хочу. Совсем глупый люди. Ничего понимай нет, капитана!

Командир. Кто ты такой будешь сам, гражданин?

Сигдэ. Мало-мало больной лечил. Бедный людь деньга давал. Мука давал. Мануфактура давал. Мне — очень хороший люди, капитана.

Командир *(к Лау)*. Так ли это, товарищ?

Сигдэ *(торопливо)*. Его слушай не надо: глупый, плохой люди, ленивый люди. Его советский власть бей хочу, капитана.

Лау *(вдруг отталкивает Сигдэ)*. Тебе, как дурной собака, был шаман — оставался шаман! Кулак. Сам спекулянт есть!

Командир (весело). А ну-ка, товарищи, подробнее! Я что-то ничего не пойму.

(Лау пронзительно кричит что-то. Из кустов выходит еще человек пять охотников. Потом вдруг треск в кустах, ожесточенная ругань. Двое охотников срываются туда, бойцы — за ними, возвращаются, ведут с собой старого рыбака с Ханки. Сигдэ делает движение в сторону.)

Лау. Сигдэ, беги не могу! Зачем болясь? Это наш Красный армия. Ты говори: защищай советский власть? Очень хорошо. Мы ходил защищать советский власть.

(Весело смеется. Удэхейцы подхватывают его смех, приседая и прихлопывая ладонями по коленям.)

Командир. Прежде всего, как тебя звать, если не секрет?

Лау. Лау зови!

Командир. Так вот, товарищ Лау, это что — шаман и старовер? Кулаки?

Лау. Его кулак есть. Антон зови. Старовера.

Командир. Значит, по их мнению, советская власть свергнута, а вы, дескать, идите ее спасать? Так я вас понимаю, товарищ Лау?

Рыбак. Да врет все! Кому вы верите, командир?!

Командир. Подними руку, попроси слова. Лау, правильно я тебя понял?

Лау. Говори, японца мало-мало бей советская власть, мало резал русский, грабил кооператив, воровал мануфактура, весь Красный армия мало-мало кончал.

Командир (в изумлении). Да-да... И неужто ты до этого дошел сам, своим умом, старовер?

Лау. Мы ходил помогать советская власть. Скоро еще ходил. Завтра ходил весь другой люди. (Берет командира за плечи.)

Командир. Куда он вас вел?

Лау. Он говори: Олон, Красный Перевал, Бикин ходи! Японца стреляй, кооператива ломай, мануфактура, конфета бери, — помогай советский власть.

(Бурный хохот красноармейцев. Удэхейцы подхватывают их смех. Старовер сжимается, боком отступает в сторону.)

Командир. Стой! Ну-ка, обыскать этих защитников советской власти!

(Рыбак бессильно опускает руки, только пальцы его хищно скрючены. Двое из бойцов обыскивают его и Сигдэ.)

Командир (разворачивая письмо). Ну, спасибо вам, господа любезные... Очень, очень кстати. И опиум? И морфий?

Боец. И деньги, товарищ командир!

Командир (считает). Триста иен? Это правильно: раз кулак пошел защищать советскую власть, то только лишь на японские иены. Логика. Товарищ Иванов, составьте акт!

Рыбак. Ах, туземец, попадешься ты мне на узкой дорожке, Иуда!

Лау (с яростью). Советский власть говори — нет? (Подступает к староверу.) Тебе, как дурной собака, правда говори нет! Смотри! (Широкий жест.) Красный армия! Советский власть! Молодой командир! На шапка красный звезда, смотри, есть!

Командир. Лау, разошли своих ребят по стойбищам, расскажи, как и что. Объясни, что скорее вот этот Бикин потечет обратно, чем пропадет, — что? — чем пропадет наша советская власть.

(Шум в тальнике. Выходят красноармейцы и Ен-Син с Моцидзуки. Ен-Син слышит последние слова командира.)

Ен-Син. Лау!

(Достает из-за пазухи пачку открыток с портретами вождей, молча передает их Лау.)

Ен-Син. Курит трубка. Смеется. Большой глаза. Товарищ Сталин. Советская власть.

(Сигдэ в бешенстве, визгливо кричит что-то.)

Командир. Товарищ Ен-Син! Красная армия не позабудет вашей честности... (К японцу.) Так вот вы какой, господин Моцидзуки. Я правильно произношу вашу фамилию?

(Моцидзуки молчит.)

Командир. Обыскали?
(Один из бойцов передает командиру найденное в карманах японца.)

Командир. Не по-нашему... Жаль. Ну, авось, разберемся. Откуда вы шли, господин Моцидзуки?
(Моцидзуки молчит.)

Командир. Не желаете отвечать?
Моцидзуки. Я очень плохо вашу вопрос понимал, э?

Командир. В Хабаровске поймете.
(К бойцам.) Итак, товарищи бойцы, наши темпы оказались кстати: мы вышли, так сказать, на главную магистраль. Теперь никто, никто не минует, — что? — никто теперь не минует нас.

(Слышится гудение самолета.)

Командир. Подбросить сучьев!
(Командир глядит на небо. Высоко вздымается черный столб пламени. Гудение все громче и громче. Наконец, самолет рокочет над самыми головами людей. Моцидзуки напряженно следит за ним. Рыбак сидит на пне с опущенной головой.)

Командир. Товарищ Иванов! К реке! К месту посадки!

(Боец бежит тальником. Рокот мотора снижается. Все слушают. Удэхейцы восторженно следят за дулом самолета. Рокот его совсем рядом. Тишина. И вдруг опять взмывает оглушительный рев, и опять тишина. Треск сучьев. Из тальника показывается летчик.)

Летчик. Э, товарищ командир, да вы здесь не сидели без дела? (Кивает в сторону пленных.) Сейчас семнадцать ноль-ноль. Пожалуй, к вечеру можно будет выбить кулаков из деревни, вытеснить к реке и уничтожить.

Рыбак (яростно). Посмотрим!

Летчик. Поздно смотреть. Теперь готовьтесь в район. ГПУ с нежностью ждет вас.

(Сигдэ униженно, рабски улыбаясь, ползет к Лау.)

Сигдэ. Теперь тебе большой люди есть, умный люди, богатый люди!..

(Лау отгалкивает его прикладом ружья.)

Лау. Советский власть, говори, нет? Смотри — есть!

(Жест в сторону летчика и командира.)

Пожимай рука, командир! Стойбище ходи буду, зови охотники буду, давать картинка буду, показать Сталина буду!
(Летчик и командир отходят в сторону.)

Летчик. По карте — неточность. Здесь не одна деревня — целых четыре. На сорок, на сорок пять километров друг от друга. По тайге тянутся люди, и все вот к нашей... (Показывает на карте.) Русские — без нарт. Старовсры, больше некому здесь...

Командир. Отдохнули!..

(Пауза.)

Значит, мы нащупали центр восстания. Ну, и много насчитали народу?

Летчик. Да, пожалуй, человек сотня будет...

(Удэхейцы смешались с бойцами, угощают их водкой, рассматривают их шлемы, шинели, винтовки, присаживаются к котелкам с чаем, угощают бойцов кабаньей.)

Командир. Ну, некогда. Мы должны опередить всех! (Бойцам.) Станови-и-ись!

(Бойцы быстро гасят костер, выливают кипяток на снег, становятся. Моцидзуки, наоборот, садится на снег.)

Командир. А вы что, господин Моцидзуки?

(Моцидзуки ложится на снег.)

Командир. Привязать его к нартам!

(Японца привязывают к нартам.)

Моцидзуки (кричит). Вы — угроза нам! Вы нарушаете мир! Вы делаете на война провокация! Э?..

Командир. Шаг-о-ом!.. (Неофициально.) Ну, пошли. Отдохнули, хватит. Мы должны опередить всех.

(Бойцы перебираются через бурелом. Двое переносят нарты с привязанным к ним Моцидзуки. Вперемежку с бойцами идут удэхейцы.)

Голос командира (за сценой). Ну, вышли на тропу. Пристегнуть собаку!..

(На реке слышен рокот мотора. Самолет поднимается в воздух.)

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Чердак. Легкие весенние сумерки. Творогов дремлет. Юцай стоит, радостно разминаясь. Матвей полулежит. Софья с карабином пристроилась у слухового окна, негромко напевая свою песню. Робинзон дремлет. Издали, с конца деревни, доносится грохот выстрела, и снова все тихо. На улице запевают тягучую, тоскливую песню.

Матвей. Ну, что, Соня? Спать, небось, хочешь? Которые сутки без сна...

Софья. Ну, как твоя голова, Матвей?..

Матвей (*перелистывая журнал*). Ну, останется шрам, вылезут волосы. Да ведь не с волосами жить, а с добрыми людьми.

Софья. Ты бы заснул.

Матвей. Юцай выздоровеет, с'ездим мы с ним в Хабаровск, побываем в Ленинграде, посмотрим на Путиловский завод. (*Перелистывает журнал*). Гляди, новые города, большие колхозы, первая пятилетка, да и у нас, — возьми хоть строительство двадцать шесть, — ничего не узнать. Да. Вот как она интересно идет, человеческая жизнь!..

(Пауза. Другим голосом.)

Окружили нас, как волки в зимней дороге. Сидят, щелкают зубами.

Софья. К чему ты это?

Матвей. Да так... Окружили, говорю, нас волки со всех сторон. Которые сутки не спим...

Софья. Поплакать захотелось?

Матвей. Ну! Этого ты не дожدهшься!

Софья. Слез-то?

Матвей. Слез.

Софья (*помолчав*). А я плакала от тебя. (*Горячо*). Вот ходишь ты, молодой, здоровый и смелый. Я смотрю на тебя из-за шторы, а ты и не взглянешь, бывало, на Софью.

Робинзон (*просыпаясь, громко*). Вот мы говорим: «Америка, Америка». Между тем, лет семьдесят или побольше, там была дикость куда похуже, чем у ваших вот староверов. Ведь подумать только, негры, такие же, например, как наши здешние удэхейцы, но только — рабы! Американцы издевались над ними, травили овчарками, стреляли, казнили без всякой вины. Но вот нашелся боевой, смелый, здоровый, как Илья

Муромец, честный и правильный старик, по фамилии Джон Броун. Борода у него была до самого пояса, и росту он был с сажень. И плечи, как новые ворота. Громадная семья: дочери, зятя, сыновья. И тоже в свою очередь — уже старики. Это были замечательные охотники, честные трудовые крестьяне, люди без всякого страха. И вот именно они поднялись за свободу своих угнетенных братьев негров. Джон Броун приказал своим детям итти с ним. Он собрал еще человек двадцать таких же стариков и начал войну. Он разбивал белогвардейские войска, освобождал негров. Его армия в тридцать там или сорок человек навела панику и страх на всех угнетателей. Буржуазия и помещики объявили, что дадут полмиллиона долларов, кто поймает беспощадного Джона Бруна, но поймать его не могли, а он громил и громил белые банды. Весь мир уже смотрел за его славной борьбой, сам Карл Маркс, — Соня, ты только подумай, — Карл Маркс писал статьи про славного американского старика.

(Пауза.)

Но все-таки в конце концов их окружили в небольшом районном городке Гарперс-Ферри. Им некуда было податься, но сдаваться Джон Броун не пожелал. Они боролись, товарищи его умирали, дети его, внуки его умирали, сам он был ранен десять или более раз. Вот осталось их пятеро, трое, двое. И когда он остался один, — только тогда взяли его в плен и чуть живого принесли на носилках под высокую сосну и поставили носилки перед генералом. «Ну, что, старик, отвоевался?» — спросил генерал. Так Джон Броун только плюнул ему в глаза...

(Пауза.)

Софья. А дальше?

Робинзон. Джон Броун только плюнул ему в глаза и сказал приблизи-

тельно так: «Я, Джон Броун, старый американский крестьянин, считаю, что все вы погибнете в вашей подлой грязи, и только кровью можно обмыть эту грязь». И вот подняли под руки его, почти-что столетнего старика, всего израненного, чуть живого, и потащили к петле, к телеграфному столбу. И когда его тащили к столбу, кругом офицеры и помещики устранивали свои дикие пляски, играли духовые оркестры, барышни танцевали в своих белых туфельках, как будто пришли на бал. Они были рады, что помирал старый крестьянин, борец за свободу несчастных негров, страх и гроза капиталистов.

(Пауза.)

И когда мы сидим тут, я почему-то припоминаю Джона Броуна в маленьком городке Гарперс-Ферри.

Матвей. Вот это был герой, а мы? Уполномоченный рика, рядовой удэхеец, домохозяйка, завмаг, милиционер.

Отравленов (с восхищением). И все тебе известно, Лука. Не то, что мы, темный народ, мужичье...

Робинзон (сухо). Пустые разговоры, Матвей. Не об геройстве думай. Здесь вот товару на девяносто две тысячи, все дела сельсовета, главное — оружие, и вся советская власть на данном участке. Пока справляемся неплохо. Пятеро суток держим их здесь, кружатся они, щелкают зубами, а руки у них коротки, и уйти отсюда им не хватает сил.

Софья. Что — негры? Они далеко, в Америке. А я и здесь жила, и вроде, как негр: и издевались надо мною, и кормили, как животное, но я знаю, за чем! Сарафанов готовил меня для себя... (Тоскливо и одновременно нежно.) Ах, Матвей, вот бы я рассказала тебе, если бы мы были одни...

Матвей (смущенно). Можно как-нибудь после...

Софья (вспыхивая). Когда после? Может, до завтра не доживем, Матвей.

(Пауза.)

И ничего у нас не выйдет путного: кулацкая жена.

Матвей (тихонько). И как у тебя поворачивается язык?!

Софья. С малолетства мы — батраки у Сарафанова в Самарге. А я красивая была в девках, веселая. Народу жило много, и в деревне, и на рыбалках, и кругом. И все парни — за мной! Отравленовские девки, сарафановские — и одеваются, и орехов полны карманы, и жамок, и шелковые ленты в косах, а на них никто не глядит. И вот присватался ко мне сарафановский Ванька, дохлый, паршивый...

Матвей. А ты и обрадовалась?

Софья. Мы ведь староверы. У нас легче в могилу лечь, чем пойти поперек родни.

(Пауза.)

И вот с того часу я и стала такая дикая, бешеная. Не веришь?

(Пауза.)

Он скоро помер, правда... (Привстав.) Я работала и слышала твои шаги за спиной, готовила обед и думала, чем угостить тебя, ложилась спать — прощалась с тобой, спала — видела тебя во сне, просыпалась — плакала, будто ты ушел от меня и не сказался, куда...

Матвей (тихо). Да ведь я рыжий, Соня!

Софья. И верно: чем ты меня взял?

(Пауза.)

Наших староверов — сорок дворов, и в каждом разорвать вас готовы, сам знаешь.

(Пауза.)

Я ведь кончила четырехлетку, читала книжки. И сколько жил на свете человек, — он не зверя страшил, не огня, не мороза, а своего брата — человека. Но вот ходит по деревне парень, веселый и молодой, и никто не страшен ему, он смеется, а этого смеха и бояться наши, за это готовы разорвать его в клочки, разбросать по ветру. Что такое? И никто не обьяснит мне, никто не поможет. А ты говоришь «рыжий»! И вот полюбился мне этот человек, да не полюбился ему я... (Отворачивается.)

Матвей. Ты думай, что говоришь!.. (Берет ее за руку.)

Софья. Объясни мне, что ты за человек?..

Матвей (*задумчиво сжимая ее руку*). Если только ты знаешь, что живешь не зря, если ты понимаешь чужое горе и хочешь избавить нашу планету от старых болезней, — ты не одинок, ты человек.

(Пауза.)

Где-то за границей сажают наших людей в тюрьмы, томят в одиночках, расстреливают, убивают безо всякого суда, но страха нет в большевистском сердце, — весь трудовой мир стоит за их спиной, и не одиноки они, — все наилучшее человечество поддерживает их под локти!

(Пауза.)

Почему тебя не взлюбил Сарафанов? Зверь бросается на слабого, а ты сильна. А нам надо, наоборот, побольше силы, ума, веселья и счастья для всех людей. Ты говоришь, мы не боимся ничего. Правильно! Убьют? Это обидно, конечно, но ведь умрем мы не одинокие, за нами весь трудовой мир стоит!

Отравленов. А то, может, сменялись бы, Лука? Вы бы меня отпустили...

(Софья негромко запекает песню: «Скакал казак через долину».)

(С улицы приближаются голоса. Софья и Робинзон располагаются с карабинами по обе стороны окна.)

Голос Васьки. Эй, Лука! Спать, небось, хочешь? Которые сутки!.. Лука!

Робинзон. Кому Лука, а тебе Лука Ильич!

Голос Васьки. Когда будешь сдаваться? У нас еще работенки много.

Робинзон. Охотно верим!

Голос Васьки. Условия: Отравленова — выпускаешь, Мао-Ши — выпускаешь. Выходите по-одному, оружие оставьте в лавке.

Робинзон. Еще что вас интересует?

Голос Васьки. Андрюшку Лукина знаешь?

Робинзон. Слышал такого.

Голос Васьки. Сидоркина? Твою опору?

Робинзон (*беспокойно*). К чему ты это?

Голос Васьки. Они на лесозаготовку, что ли, пошли?

Робинзон. Не существенно. Кончай!

Голос Васьки. Так вот мы их с лесозаготовки повернули обратно! Мы им припомним колхоз!..

Робинзон. Пальцем не тронь!

Голос Васьки. Сидят в амбаре...

Робинзон. Слышишь, гад, чтобы даже волоска не упало с ихней головы!

Голос Васьки. К вечеру зажигаем амбар вместе с твоей опорой!

Робинзон. Василий!..

(На улице разрастается нестройная, пьяная песня.)

Матвей. Как же с лесом? Ведь как же теперь... Ведь строительство двадцать шесть...

Робинзон. Ты слышал, Матвей? Ведь они же должны быть в Фазаньей пади! Сорок пять верст... Ах, Мотя, Мотя, единственные приличные мужики...

Голос Васьки. Потом решим, как поступить с вами!

Софья. Главное, не видать его! Откуда он орет?

Робинзон (*помолчав*). Обождите, надо посоветоваться. (*Тихо*.) Соня, вода в кожухе есть? Патроны в ленте остались?

Голос Васьки. Посуди сам, здесь нас — тридцать восемь, да сорок туземцев придут ночью...

Робинзон. Значит, предположим, восемьдесят человек? Ну, предположим, сто!..

Голос Васьки. Ты не гусарь, Лука! А вас?

Робинзон. Нас? Подавляющее большинство! Здесь семеро, да несколько сот тысяч — Красная армия, да сто шестьдесят миллионов...

Голос Васьки. Довольно агитаторов, я ведь тебе не колхозник!

(Залп, второй, третий. Софья опускается рядом с пулеметом. Резкая пу-

лемежная очередь. И вдруг пулемет замолкает. Софья припадает к нему.)
(Громкий крик Юцяя.)

Матвей. Ну что же ты, Соня! (Тихо, с ужасом.) Лука... (Ахает, встает на ноги, медленно бредет к Софье.)

(Робинзон и Творогов бросаются к Софье.)

Софья (хрипло). Напрасно ты... казак... стремишься... (Задыхается.)

(Матвей, стиснув зубы, с сумасшедшей энергией возится с нею, перевязывает.)

Творогов (в отчаянии). Говорил ведь я тебе: мать у меня хорошая, вежливая, я бы ухаживал за тобою всю жизнь, как за невестой, Софья!..

Софья. Я и вздохнула... только с вами... Желанный мой, Матвей. (Матвей складывает ее поудобнее. Она стонет.)

Творогов. Ах, Софья, Софья!.. (Колотится головой о стропила, всхлипывает.)

Софья. Вся деревня, как гады на болоте... А ты ходишь... веселый и молодой... Обойми меня, Матвей!..

(Стоны ее тише. Творогов медленно крестится старинным двуперстным крестом, подбирает карабин Софы, ложится у окна. Тишина. Потом слышится какой-то незнакомый треск. Все чаще и чаще отсветы огня на чердаке.)

Матвей (припав к Софье). Любовь... Неужели так вот и кончилась моя любовь, Соня?! Нет!.. (Другим голосом.) И крови мало...

Творогов. И голову задело, Матвей!

Матвей. А какая хорошая голова, Творогов!

(Махнув рукавом по глазам, отползает к окну, пристраивается к пулемету.)

Робинзон (негромко). Все-таки подожгли сельсовет! И ребята наши в амбаре!..

Матвей. Какая женщина, Лука, а ты вот смеялся...

(На улице нестройный гул голосов.)

Робинзон. Ведро!

(Матвей лежит, прижавшись щекой к пулемету.)

Робинзон (нагибается над люком). Как там у вас?

Голос милиционера. Не подпускаем никого, но только темнеет...

Робинзон. Если не ошибаюсь, скоро будет светло!

(В самом деле, зарево все ярче и ярче.)

Юцяй (неестественно отчетливо). Меня лечил, за мной ходил, вода пить давал. Теперь умирал сам, Соня.

Матвей (очнувшись). Шагов с полсотни...

Робинзон (помолчав). Да, пятьдесят-шестьдесят.

Матвей. Погода тихая...

Робинзон. Да, если бы ветер... (Кричит вниз.) Эй! Подымись-ка сюда!

(Появляется милиционер, левая рука его обмотана широким бинтом.)

Матвей (горестно, видимо, думая о Софье). Ранен? Чего ж ты молчал?

Милиционер. Все одно — сменить некому.

Матвей. Очень, очень удачно подобралась наша компания.

(Пауза.)

Ты взгляни, что сделали с нашей Софьей, взгляни!..

(Милиционер бережно трогает щеку Софы. Складывает руки ее на груди. Матвей, задыхаясь, следит за ним.)

Робинзон (к милиционеру). Если не ошибаюсь, подходит последний час. В случае чего ты обязан спастись, а мы останемся здесь.

Милиционер. Так точно, последний час.

Робинзон. В случае чего, говорю, ты — беспартийный, тебя, возможно, не тронут, а мы останемся тут.

Милиционер. Не вполне понятно, Лука Ильич.

Робинзон. Да ты что строишь фельдфебеля? Чего ты тянешься? Ты еще под козырек возьми! Возможно, дело идет о смерти.

Милиционер. Обстановка ответственная, Лука Ильич, дисциплина очень влияет...

Робинзон. Ну, ладно. Валяй, спасайся любым способом. Досуна, софьиного брата, Творогова, Юцая, Яту — всех выводи с собою. Доберись до Красного Перевала, расскажи все по телефону, посылай сюда людей — пойми, ведь семь человек сидят в амбаре, ждут гибели. Понятно? А мы здесь. Помолчи! Слушай приказание. Матвей, давай партийный билет! *(Милиционеру.)* На! Возьми, спрячь поглубже!

(Молчание. Милиционер все еще стоит на-вытяжку.)

Матвей. Нет нашей Софьи, Лука.

(Пауза.)

(К милиционеру.) Представь себе, что к твоему собственному... сердцу... тебе дали еще два. *(Оживляясь.)* Так вот сбереги их... как свое собственное! Отдай билеты в райком! Удостоверь большевистским словом, что мы... пока живы и здоровы. Возможно, что останемся живы и впредь. *(Пауза.)* Но, возможно... и не останемся живы.

Робинзон. Захвати отчет. Ты объясни там, что мы и рады бы, но иначе было нельзя. *(Поперхнувшись.)* В крайнем случае пускай удержат из зарплат, человек я одинокий, семьи нет.

(Пауза.)

(Старик оглядывает милиционера.)

Так вот, друг, давай обнимемся...

Милиционер *(тщательно прячет партбилет и документы под гимнастерку).* Спасибо, что доверяете. *(Берет карбин.)*

Робинзон. Так давай же обнимемся, родимый мой друг! Расстанемся в этом медвежьем углу, а ты уходи в город.

Милиционер. Спасибо, что верите!..

Робинзон. Отправляйся скорее. *(Кричит.)* И эти — в амбаре?.. Васька ведь сожжет их там.

Милиционер *(медленно покачивая головой).* Все это хорошо, но только я остаюсь с вами, хотя и в другом этаже... *(Спускается вниз.)*

Робинзон *(растерянно).* Ну и дурило, ну и чудак... *(Машет рукой, ложится у пулемета.)*

Отравленов. Ой, Лука, отпусти!.. Велик целковый, а трешка сильней!..

Мао-Ши. Такой закон нет, Лука, веревка вязал. Я китайска человек! Отпускай надо, мой работа стоит...

Матвей. Ну, расскажи, наконец, Лука, как это у тебя получилась твоя фамилия? *(Перебивает себя.)* Да. Вот и убита наша Софья... Так называемая кулацкая сноха... пролила свою кровь за советскую власть...

(Негромко запекает «Трансвааль». Робинзон подтягивает ему. Творогов стоит около Софьи на коленях, горестно смотрит в ее лицо.)

Матвей. Ничего, Творогов, держись!.. Что ж мы можем поделаться?!

(Снизу доносится голос милиционера. Он подтягивает «Трансвааль». Тишина. И в этой тишине пение производит жуткое и величественное впечатление.)

Голос Архелая. Если души своей не жаль, пожалей мануфактуру!

(«Трансвааль» все громче и громче.)

Голос Васьки. Приказываю замолчать!

(«Трансвааль» все громче и громче. Пламя поднимается все выше. Вот оно озарило уже весь чердак, пулемет, людей у окна, труп Софьи, Творогова на коленях перед ней.)

Матвей *(заслоняясь руками от окна).* Лука!..

Робинзон *(зачерпывая воду и выливая ее в окно).* Мой ста-арший сын... Ста-арик седо-ой!

Матвей. Да, Лука, давай прощаться. Вот он, последний наш бой, окончательная минута жизни!

(Встает во весь рост. И вдруг совсем неподалеку крики. Видимо, староверы каким-то образом прорвались в лавку.)

Матвей. Ну, Робинзон, обидно. Жалко мне эту широкую землю, и сопки

по самому краю, и голубую тайгу, и шумный Бикин, и Соню нашу — все жаль!..

Голос Архелаи. Солому! Сюда, под тот угол!

Матвей. Ну, Лука, прощай! Вот тебе и строительство двадцать шесть! Сорван лесосплав... И узнают про все это лишь потом. Прощай, Лука!..

(Оглушительный грохот внизу, в двери. Матвей хватает гранату, срывается вниз. Робинзон ничего не успевает сказать. Стук хлопнувшей двери. Нестовые, панические крики. Голос Васьки, пытающегося навести порядок. Крики понемногу стихают, удаляются. Тишина. Робинзон ничего не понимает.)
(Грузный топот шагов. На лестнице показывается Пшеничный. Он идет с поднятыми руками. Лицо его искажено подлой гримасой страха.)

Пшеничный *(падая на колени)*. Я человек невоенный, Лука Ильич. Даже от армии, и то освобожден... Это все клевета, будто я был в оппозиции, будто сидел в ГПУ. Лука Ильич!.. *(Мечется.)* Я ни разу не выстрелил, — заступитесь за меня! Я заглажу свое ошибочное поведение!.. Политическая несознательность... Жил в глуши, литературы мало — отстал!.. Честное, благородное слово, Лука Ильич!

(На чердаке показывается Матвей.)

Отравленов. Все пошло прахом. Помилуй, Матвей! *(Стонет, как от нестерпимой боли. Пшеничный колотится*

лбом об пол. Мечется от Робинзона к Матвею.)

Робинзон *(поднимая руку)*. Тише!

(Снизу слышно, как поет милиционер, и издали, точно эхо, тот же мужественный мотив.)

Матвей *(к Пшеничному)*. Так вот откуда твое раскаяние, откуда твое честное слово!.. *(Слушает приближающиеся звуки «Трансвааля»)*. Эх, Соня, не дождалась... какого-нибудь получаса. *(Пулеметная очередь все ближе и ближе. Уже слышны неразборчивые слова отдаленной команды. Робинзон и Творогов бросаются вниз. Мао-Ши и Отравленов забиваются в угол. Отравленов что-то бормочет, похоже — молится. Пшеничный извивается в ногах Матвея, как раздавленный гад.)*

Матвей *(подходя к Софье)*. Так вот и не удалось нам, Соня, поговорить с глазу на глаз.

(Целует ее в оба глаза, снимает с себя кожанку, набрасывает на Софью.)

(Пауза.)

Что ж, Соня, и жить нам, и работать нам, и пуше глаза беречь нашу вечную молодость — все это ведь надо нам, Соня, поверь...

(Постепенно приближается и нарастает гул самолета. Рокот его моторов все громче и громче. Наконец моторы ревут над самой сценой, — победный воинственный рокот. Матвей приветственно раскидывает руки.)

Рассказы

А. ШАХОВ

★

МАЛАЯ ВЕСНА

1. ЗЕМЛИ ПРОВОДНИК

3 июня.

В Салехарде, в этом городе на границе тайги и тундры, мы перед путешествием ковали лошадей. К нам подошел человек в суконном черном гусе¹. С головой, покрытой капюшоном, пришитым к гусю, он был похож на моржа. Гусь был подпоясан широким черным поясом, украшенным старыми солдатскими, с гербами, пуговицами. Пояс казался золотым. От него на двух медных цепочках спускался нож в больших деревянных, окованных медью, ножнах. Морж сказал:

— Ай, ай!.. Бида, бида!.. Как можна железа к ногам прибивай? Наша олень так не терпит.—И нагнулся к лошади посмотреть, как ее подковывают. Лошадь дернула ногой и ударила рабоче-го-ковала.

— Пошел к чорту! Только мешашь! — крикнул коваль на моржа.

Тот отскочил в сторону, заморгал маленькими, прищуренными глазами и сказал с выкриком:

— Ты худой человек! Пошто ругай? Моя посмотри. Ненец ругай не терпит.

И отошел. Достал из кармана табакерку. Наклонил голову направо — понюхал. Наклонил налево — понюхал.

¹ Гусь — верхняя одежда, надеваемая через голову.

Глаза его были полны обиды. Казалось он вот-вот заплачет.

— Ты кто такой? — спросил я его.

— Я?.. — Он удивленно посмотрел на нас.— Я — земли проводник.

— Не Степан ли ты? — Перед этим мы просили прислать проводника Степана.

— Степан, Степан... Ань торово!¹ — Он улыбнулся и подал руку.

— Дорогу на Полярный Урал хорошо знаешь?

Степан опять обиделся:

— Моя шибко хорошо знай свой земля. Я — земли проводник. — И опять понюхал.

Через два дня мы тронулись в путь.

Впереди Степан. Капюшон у него спущен, и он уже больше не похож на моржа. На голове, похожей на арбуз и будто прилепленной прямо к туловищу, — шея у него почти не было, — лежали всклокоченные темнорусые, остриженные в кружок волосы. Сзади, спускаясь с пояса на ремешке, белел на черном сукне гуся медвежий зуб, — для счастья и чтобы во время езды на нартах не болела от полусогнутого положения поясища.

2. ПУТЬ КАСЛАНИЯ

4 июня.

Вокруг редкие, корявые лиственницы, замерзшие болота, на них большие коч-

¹ Ань торово — здравствуй!

ки. По ложбинам густые кусты полярной березки, ив. Это — лесотундра.

Ночи почти нет. К вечеру на весение, пропитанные водой снега ложится аквамариновый оттенок, они становятся голубыми. Днем они блестят, они сияют, как солнце, будто в них скрыта вся сила весны. От всего этого и глазам больно, и душе радостно. Глаза моргают, слезятся, душа расцветает и поет.

— Однако мой глаз не терпит. Деревянный глаза тара¹, — говорит Степан и достает из кармана деревянные очки с маленькими дырочками посредине глазков.

Я надеваю очки-консервы с темными стеклами, и сияние на снегах меркнет, глаза успокаиваются.

— Га... га-га... — И опять тихо. — Га... га-га... га... — Сверху неся спокойный, деловой говор.

Мы поднимаем головы. Высоко в небе неровным угольником летят птицы и переключаются:

— Га-га... га... га... га-га... га...

Здравствуйте, гуси! Тяжелый, тяжелый вы сделали путь. Знаю, знаю... К любви, к счастью летите вы.

Из темного куста вылетает белый шар. Вылетает стремительно, наклонной свечой. Потом другой, потом еще... Это — куропаточки петухи. Взлетая, они резко, по-своему, поют.

Слева на лиственице глухарь. Он в другое время к себе не подпустил бы так близко. А сейчас ему все равно, он все забыл, он бормочет слова любви. И хвост веером, и наклоненная голова, и раскрыленные крылья говорят:

— Любить, только любить, а там — будь что будет!

На лужах появились утки. Они тоже любовно кричат. На проталинах, прыгая, поют серые птички. Справа с песней вылетает петух.

Так идем мы среди поющих птиц.

Все к счастью летят, все к счастью идут!

Две недели назад я шел в жизни, как по большой улице, наполненной людью-

ми, — толкался, меня обгоняли, я обгонял. А вот здесь ничего этого не надо. Это — другое царство. Это — как в красивом сне. Большой, тяжелой работе всегда должен предшествовать приятный сон. Я отстал от обоза, я сам собой. А что, если я, как они, тоже запою?

Евгений Николаевич тоже отстал от обоза. Я его нагоняю. Он всегда скуп на слова, на чувства и к своему сокровенному не подпускает, а тут вдруг сказал:

— И у меня была когда-то весна. — И замолчал.

Потом продолжал:

— Это я сейчас покрыт пылью жизни и от лени или от недостатка сил не могу ее стряхнуть с себя, а раньше, в свою весну, я в себе носил большие чувства. Они моим глазам сообщали особый блеск, притягивавший людей, а голосу — искренность и твердость. В морозную ночь перед весной я в первый раз украдкой, краснея и ругая себя за смелость, поцеловал ее в морозную щеку. И, когда сердце, ухнувшее в прекрасную пропасть, снова поднялось и заполнило грудь, я губами нашел ее губы. Они были жаркие и шептали: «Не надо...». Но вы знаете, что я сделал? — Он очень хорошо улыбнулся.

— Что?

— Я им не поверил.

Увидев, что я наблюдаю за ним, он опустил на глаза очки-консервы.

Кругом голубые лужи, птичьи крики и нетоптанные снега.

И вдруг следы. Много следов. Какие-то большие животные недавно шли на север. Чьи это следы, я знаю и знаю, что впереди за этими редкими лесами, но я не хочу знать. Я ведь во сне живу, я в бабушкиной сказке иду.

— Путь касланья, — говорит мне Степан, показывая на следы. Незнакомое слово приобретает для меня таинственный смысл. Слово красивое, приятное.

Мы идем день, другой, и все по этим следам, по таинственным путям.

На третий день среди больших следов животных встретились крохотные, изящные. По форме они походили на

¹ Тара — надо.

большие. Значит, в дороге родились маленькие:

— Путь касланья, путь касланья...

Может быть, это путь счастья? Раз маленькие появились, это уже большое счастье.

— Га... га-га... га... га...

В небе тоже прокладывался путь касланья.

Степан взошел на холм, собрал оленьи кости, разбросанные на нем, и сел, поджав под себя ноги. Стуча о камень костью, он добывал из нее мозг, сосал ее и, довольный, улыбался.

— Может быть, собака кость обглаживала, а ты ее сосешь, — сказал я ему.

— Человек бывай чистый, бывай грязный, собака всегда чистый, — сказал он и стал говорить, что тут все чисто: и небо, и люди, и собаки.

Показывая на свежие кострища, Степан сказал:

— Вчера чум стои, нынче рано каслал.

И махнул рукой на север, куда шли следы.

И все стало ясно. Ненцы со своими стадами оленей шли с зимних лесных пастбищ на летние, тундровые, туда, куда летели гуси, — к морю.

БОЛЬШАЯ ВЕСНА

15 июня.

Тундрой дошел я до Полуя — до реки, разлившейся по луговым просторам, — и сел на берегу ее, в ивовых кустах. Ивняки были еще совсем голые, темные, и ветки их казались безжизненными, но ветер весенний, пришедший с большой водой, уже разламывал почки. На красноватых глянцевах прутиках торчали белые пушистые шишечки. По кустам шумел свежий ветер. Где-то стонали длинноклювые кулики — кроншнепы. Как чист и звонок их стон!

Прилетел селезень-шилохвость и сел на воду около берега. Он долго кружил, свистел, оглядывался, опять свистел. Потерял, видно, подругу.

Солнце с жарким поцелуем подходило к прохладной земле. Ветер утихал. От-

куда-то с шумом прилетел шмель, сел у меня под носом на ивовую веточку, пополз по ней вверх и вдруг, сердито жужжа, перелетел на другую.

Еще прошло несколько минут, и неожиданно прекратился ветер. На земле распласталась тишина. Со всех сторон потянулись речные и луговые запахи. Стало очень тепло. Вот тогда все и началось!

Первыми появились комары, сначала несколько, потом много. Скоро они соединились в прыгающий клубок. Он то поднимался над кустарниками, то опускался. Комары толпились в воздухе, будто перед невидимой стеной, которую никак не могли пробить: подлетят, стукнутся о нее, упадут, поднимутся, снова стукнутся и опять упадут.

Мимо меня, свистя крыльями, пролетела парочка чирков: впереди серенькая утка, а сзади, как и полагается кавалеру, селезень, весь разноцветный, праздничный. Кавалерам на весенний праздник неудобно появляться в будничном костюме. Парочка опустилась на лугу между кочек. Утка, чуть-чуть разбрызгав ногами воду, села в очень мелкое озерко и, шлепая по воде ногами и переваливаясь, пошла между кочками. Селезень сел впереди на сухое место и, тоже ковыляя, заторопился к ней. Она от него. Он догнал ее, уцепился за шею, и оба скрылись за кочками.

Бекас, состригая крыльями воздух, молнией спускался из-под небес.

Хозяйка лугов — желтая трясогузка — села на ветку, посмотрела, что делается вокруг, потрясла хвостиком и полетела.

А кроншнепы все звонили и звонили.

Над моей головой пролетела темная стая уток, потом еще...

Там же, в светлых небесах, медленно и торжественно, как на параде, летели два лебедя. И будто крылья у них были серебряные, и будто били они ими не по воздуху, а по тяжелым струнам. Били редко, мерно. Летели только два лебедя, а небеса чуть слышно звенели вокруг.

И вдруг, первый раз за этот год, в аустах звонко закуковала кукушка. Да

как закуковала! Раз тридцать подряд. Сразу стало понятно, что соскучилась по теплу. Если закуковала кукушка, значит, пришла большая весна.

Я не выстрелил ни разу — забыл о ружье.

Ночи не было. Вместо нее в эти дни сияли две смыкающиеся зари. Половина неба, Урал, тундра пылали розовыми огнями. На юге весной земля пышно расцветает цветами, но небо почти всегда однотонно. У Полярного круга весна не разнообразна цветами, но в небе краски сменяются почти ежечасно. К закату солнца, после белого предвечерья, приходит голубой вечер, а за ним розовая заря, и следом опять такая же заря. Между ними есть момент такой — оставшийся, как память, от ночи, не похожий ни на день, ни на ночь, ни на зарю.

Две реки — Полу́й и Обь, обнявшие и разлившиеся в ширину на десятки километров, — притихли. Казалось, они в трепете застыли от ожидания того — неизвестного, — кто в междузорье должен притти к ним и подарить ласку. Заря — не знаю, вечерняя или утренняя, — горела розовым светом.

Кругом водяное сияние. Оно такое сильное, что глазам больно. Небо опрокинулось в воду, и вода была, как небо, и небо, как вода.

А на следующее утро черные острова так ярко и нежно зазеленели, будто покрылись светлозеленой пеной. Тепло и непрерывный свет заставили растения работать без перерыва, и то, что южнее Полярного круга было тайным, здесь в эти дни становилось явным — трава росла на глазах. Темные ветвиolistеницы неожиданно покрылись зеленой ватой, зазеленели ивняки, и над тундрой потянулись ароматы земной любви.

А на третий день, тоже очень тихий и еще более жаркий, солнце заслонилось тучей, подул ветер. Сияющая, солнечная вода на реке стала лиловой, острова задернулись светлой зеленой кисеей, и пошел прямой, громкий, благодатный дождь.

Здравствуй, большая весна!

ТУНДРОВАЯ РЕКА

27—30 июня.

От Салехарда мы прошли вниз более 80 километров. Катер, прыгая по крутым волнам Оби, долго искал реку Щучью, по которой нам нужно было подниматься к Уралу. Протока или Щучья? Их так много, этих проток, похожих на реки. Мы ехали километров десять по одной протоке. Кругом были высокие кусты ивняков и луга без конца: обычная картина для Оби. А потом все изменилось: до берегов надо было считать не километрами, как это было кое-где на Оби, а десятками метров.

Вдоль берегов шли густые, высотой до пояса, ивняки. Они чередовались с высокими кустами ольхи, полярной березки и желтыми пятнами прошлогодних вейников. Между ними по высоким местам видны ровные, как степь, участки тундры. Среди зеленых кустарников и желтых вейников блестит голубой «сор» — озеро, соединяющееся с рекой. Дальше опять низкие кустарники, опять сор, маленькое болото, кусочек тундры и снова сор. И так, пока глаз охватит. Изредка на берегу встречаются огромные серые чаны. Они служат для засола селедки, щуки и всякой другой рыбы, которой богата река.

Катер тащит две большие баржи с нашими лошадьми. Против течения ему тяжело — пыхтит, тужится. Не идет, а ползет. Своим шумом он вспугивает стаи уток с сором.

На мелких озерах в воде растет трава, такая яркая и нежная, что сливается с воздухом, и кажется, что она вот-вот начнет истекать вверх зелеными огнями. Из нее показываются настоянные головы птиц, много голов. Потом слышится тревожный крик. Еще секунда — и стая гусей взлетает, тяжело махая крыльями.

Впереди на волнах качается нырок. Катер идет на него — он ныряет и снова показывается. Где-то далеко среди волн что-то белеет — словно кусок пены. Бежит волна за волной. Пена покажется и исчезнет, опять покажется и опять исчезнет. А когда подехали ближе, пена оказалась селезнем-гоголем.

Он, как сорока, — с яркobelыми пятнами. Рядом с ним утка. Она — серая и совсем незаметная. Ежеминутно всюду — направо и налево — снуют парами утки. Одни давно сидят на яйцах, а у других еще не кончилась брачная пора.

Слева от зеленого берега отделились две снежно-белые волны. Это — лебеди. Они остановились. Один из них смотрит на нас, а другой опустил голову в воду, потом и шею: лебедь нашел на дне что-то вкусное.

Черная стая турпанов пролетела совсем низко над водой. Откуда-то ветер принес струю приятного незнакомого запаха. Ивовые ли кустарники, или какие-нибудь травы пахнут здесь так чудесно?

Незаходящее солнце, тишина и мир над птичьей рекой, затерявшейся в безлюдных просторах!

Днем — ветер, волна. К закату солнца река становится гладкой и блестящей, как оливковое масло. С берегов на нас тучами бросаются комары. Мы опускаем на лица накомарники и натягиваем полога. Степан-ненец рассказывает, что вода в Щучьей, ниже фактории, также называемой Щучьей, мутная, а выше — светлая и очень быстрая. В предгорьях Урала и на Урале, где река берет начало, она совершенно прозрачная и шумная. Катер и баржи могут идти только до фактории Щучьей, а выше начинаются перекаты, и река там так крутит, что на сравнительно коротком расстоянии Урала от Оби она проходит больше трехсот километров.

Евгений Николаевич вмешивается в разговор и говорит, что эта почти неизвестная тундровая река в будущем может иметь большое хозяйственное значение: она может связать Обь с Байдарской губой. Тогда морским судам, идущим из европейской части Союза в Обскую губу или обратно, не нужно будет делать огромный кружной путь вокруг Ямала.

Новый путь может пройти по реке Щучьей до фактории, а затем по системе речек между Щучьереценой факторией и самым южным концом Байдарской губы. На водоразделе этих речек существует волок расстоянием около

пяти километров. Устройство канала со шлюзами по этим речкам может сделать их судоходными.

Пойма стала совсем узкая. За ней среднерусский пейзаж: длинный косогор, вдоль него лесок, как дубовый, а дальше холмистые степи, степи без конца. И кажется, что вот-вот на косогоре покажется колхозник на вороной лошади, снимет фуражку, помашет нам и поедет дальше.

Три дня едем, уже под'езжаем к фактории, а ни одного человека кругом нет. И вовсе это не дубовые перелески, а лиственничное редколесье, тянущееся только по долине реки.

СРЕДИ НЕБЕС

7 июля.

Тундра в неярких цветах. Серо-зеленые болота с белыми пятнами пушицы, темнозеленые кустарники полярной березки, сизоватые ивняки с желтыми лютиками, оранжевыми огоньками, синей живокостью, синюхой, незабудками и зеленые луга. Склоны холмов от цветущего копеечника — розово-лиловые. Запах от багульника густой и одуряющий.

Кругом тундра, и горизонт за ней — далекий и голубой, с синью. Впереди, у неба, под светлыми облаками, — Полярный Урал.

Тундра молчит, но в ней весело и светло. Куда ни глянешь — кругом ясные озера. Они все разные: маленькие, большие, зеленые, белые, голубые. Тихо — озера гладкие, блестящие. На некоторых из них появляются и исчезают кружки, — это рыба «плавится», как говорит Степан. Почти с каждого озера при приближении к нему поднимается стайка уток-чернетей, встречает, покривая, гагара.

Я перескакиваю с кочки на кочку, еле плетусь: жарко. А на душе радостно и чисто, как на этих пресветлых горизонтах.

Я иду почти всегда впереди и ухожу от остальных так далеко, что часами не вижу их. Иду и ни о чем не думаю: ни о жизни прошлой, ни о жизни будущей, но жадными глазами смотрю вперед: я весь во власти просторов.

Однажды, отдыхая с Евгением Николаевичем, мы долго лежали на холме молча, воспринимая окружающее каждый по-своему. Евгений Николаевич высказывал свои мысли неожиданно, без связи с каким-нибудь прежним разговором, будто он читал фразу из середины книги. На этот раз он тоже почему-то сказал:

— Вероятно, среди летчиков, как людей, всегда связанных с большими просторами, подлецов меньше, чем среди людей других профессий. — И опять замолчал. Я посмотрел ему в глаза. Он был такой же пьяный от непрерывного света, как и я.

К ПОЛЯРНОМУ УРАЛУ

9 июля.

Так мы и шли по тундре: впереди я или Степан-проводник, далеко сзади — вьючные лошади, за ними, часто останавливаясь и отставая, тянулись лошади в грузеных нартах. Нарты скрипели, прыгая по кочкам, накреняясь направо и налево, или мягко скользили по болотам, раздвигая шелестящую осоку. Ломались они часто, остановок было много. Если идти, не дожидаясь обоза, можно было уйти далеко.

Шли без дорог, по холмам, кустарникам, болотам, огибая озера, переезжая ручьи, мелкие речки. Пересекали огромные болота, наполненные водой. На них нарты шли легко, как по снегу, а мы, пешеходы, шумя водой и брызгая горящими на солнце каплями, еле поднимали ноги.

Над землей незаходящее солнце. Жарко. Ветра нет. Под накомарником душно, а приподнять его нельзя — на лицо мгновенно бросаются комары. Иногда сбоку подует прохладный ветерок — закинешь накомарник назад, вздохнешь свободнее и пойдешь быстрее. Ветер обдувает одну щеку, на другой — затишье и комары. По щеке, не обдуваемой ветром, иногда тихо проводишь рукой, и комары мягкими комочками, как крошки хлеба, бесшумно сваливаются.

Шли ночами, то-есть когда солнце было близко от горизонта. Когда же оно поднималось высоко, мы остано-

вливались около какого-нибудь озера на отдых. Развьюченные лошади сначала катались по траве, потом начинали щипать траву. Комары сразу облепляли их потные бока. Утолив первый голод, лошади опять валялись по земле — давили комаров или ходили по кустам и терлись боками о ветки. Животные с каждым днем худели.

Мы расставляли палатки, натягивали марлевые полога от комаров. Кто-нибудь шел в ивовые кусты за дровами. Если ивняков не было, выдергивали полярную березку. Она, даже зеленая, горела неплохо. Если бы не было этого низкорослого кустарника, служащего часто единственным источником топлива, во многих местах тундры нельзя было бы жить.

Разжигали костер, к небу поднимался серый столб дыма. Чтобы его было больше, в огонь бросали сырую траву. Мы садились под дым и занимались разными делами: кто писал, кто ошипывал убитых по дороге уток, а кто, раскинув руки, ложился на спину и смотрел в небо.

Каждый раз, когда разгорался костер, подходил серый мерин, становился под дым, наклонял голову, закрывал глаза и, помахивая хвостом, застывал в такой позе на долгие часы. Уткин — наш белый пес, — набегавшись за куропатками, ложился между кочками и, спасая от комаров розовый нос, втыкал его в холодный мох. Кто-нибудь из храбрых, не боясь комаров и холодной воды, шел купаться в озеро.

Однажды впереди показался лиственный лесок. Он рос в долине многоводной быстрой реки Щучьей. Мы подошли к нему и стали делать плот.

Еще шли несколько дней, и у подножий голого Полярного Урала еще раз пришли к реке Щучьей. Там среди озер недавно выросла фактория Лаборовая: четыре домика, два чума.

Наш начальник сказал, что здесь надо взять на два месяца сухарей и других продуктов — впереди была лишь одна фактория: на Карском море. Но, чтобы с таким грузом добраться до сле-

дующей фактории, надо искать олений транспорт.

— Олени были здесь, но теперь все ушли к морю на летние пастбища, — сказал нам заведующий факторией.

— А где нацсовет?

— Там же, у моря.

— С кем можно передать ему письмо от райисполкома? В нем предлагается прислать оленей за нашим грузом.

— Не знаю. Может быть, кто-нибудь из оленеводов случайно приедет на факторию.

Чинили нарты, ковали лошадей.

На следующий день к вечеру на двух оленьих упряжках приехали два ненца. Один — пожилой, русский, сероглазый и высокий. Другой — молодой, маленький, черный. Пришли к нам. Без улыбки сказали:

— Ань торово, юро¹. — И протянули нам широкие, шершавые ладони. Гостей мы посадили пить чай. Подогнув под себя ноги калачиком, они вынули табакерки, понюхали и без перерыва стали опораживать кружки чая. После четвертой начальник сказал старшему:

— Ты говоришь, что нацсовет находится у горы Хоромага, а она ведь недалеко от горы Минисей. Твой чум стоит у Минисея. Ты едешь туда. Сколько возьмешь за доставку казенного письма в нацсовет?

— Не знаю.

— Подумай.

Старший помолчал, потом сказал:

— Будем думать.

И оба опустили глаза. Сидели неподвижно, не моргая, уставившись глазами в одну точку. Будто превратились в идолов. Думали долго.

— Ну, надумали?

— Не знаю.

Опять пили чай, опять нюхали.

— Ну, ладно, я вам помогу: думать будем вместе. Сколько от Минисея до Хоромаги попрысков²?

— Шесть.

— Ну, теперь легко высчитать,

сколько надо взять денег с нас. Думайте!

Опять стали думать, сначала молча, потом вслух, видимо, считая расстояние. Поговорили, поговорили между собой и опять замолчали, отхлебывая из кружек чай.

— Ну?

Кто-то из нас тоже с нетерпением сказал:

— Говори конкретно.

Вероятно, это незнакомое слово подействовало на старшего. Он неуверенно сказал:

— Двести.

Тогда замолчали все. Выпили еще чаю.

— А меньше нельзя?

— Нельзя. Погода жаркий, комаров много, олень не терпит, бегай мало.

Степан, наш проводник, тоже ненец, сказал ему, показывая на нас:

— Люди казенный, бумага казенный. Шибко много бери нельзя.

Сероглазый спросил, он ли будет отвечать за доставку письма до нацсовета. Начальник в знак утверждения кивнул ему головой. Тогда старший сказал, что он плату берет только до своего чума и что за дальнейшее платить из своего кармана не может. Ему кто-то из нас ответил, что казенный пакет должны доставить даром. Ненец удивился: как же так — он берет деньги, а другие повезут бесплатно? Кто-то опять сказал ему:

— Скажи, что ты с нас денег не брал.

Ненцы скосили удивленно друг на друга глаза, и старший сказал:

— Наш врать нельзя.

Помолчали.

— Ну, сколько же?

— Двести.

Тогда начальник сказал решительно:

— Дорого. За попрыск дам три рубля, до Хоромаги шесть попрысков, — значит, всего восемнадцать рублей.

Опять помолчали. Потом Степан поненчески в чем-то стал убеждать оленеводов. Рядились долго. Когда принесли третий чайник, ненцы согласились везти письмо за плату три рубля за попрыск. Выпили и этот чайник, и ненцы неужи-

¹ Здравствуй, здорово, приятель.

² Попрыск — длина пути оленьего транспорта между двумя остановками для отдыха; летом примерно 5 километров.

данно с горячностью набросились на Степана за то, что тот неправильно перевел нам: до Хоробаги не шесть попрысков, а девять. Значит, с нас следует не восемнадцать рублей, а двадцать семь. Начальник согласился.

Чтобы не терять даром времени, решили, оставив половину груза на фактории, двинуться дальше. Остальной груз нам должны доставить оленеводы. Впоследствии было выполнено все точно: ненцы доставили письмо в нацсовет, а оттуда прислали на факторию оленей за нашими вещами.

И опять потянулись дни в тундре. Опять болота, озера и озера. Опять впереди в сизой дымке виден близкий Урал, неясный, желанный, зовущий.

Уткин, весь белый, как ком снега, носится по зеленым кустарникам. Если на озере есть утки, он плывет за ними. Утки сначала отплывали от него, но белая голова его, движущаяся по воде, интриговала их, они подплывали к ней и, увидев по блеску глаз, что дело для них может принять скверный оборот, взлетали и садились неподалеку. Голова двигалась за ними. Дальше повторялось все снова.

Наконец, Уткин, уже совсем обессиленный, выходил на берег. Я подходил к нему, он с недоумением смотрел на меня и на уток.

— Дурак ты, дурак, — говорил я ему и стрелял в уток. Одна или две из них оставались на месте, другие улетали. Уткин снова бросался в воду, приносил их мне, отряхивался, брызгая вокруг себя дождем, махал хвостом; я привязывал уток к поясу, и мы шли дальше.

И опять озера без конца. Одни из них без рыбы, другие полны сырками или щуками.

Я по своему пути почти не пропускаю ни одного озера, заглядываю в них, вижу небо и в нем иногда стоящих неподвижно у берега полупудовых щук. Длинные тени от них черными полосами лежат на дне. Я стреляю в щуку. Исчезает она и тень от нее, и прозрачная вода становится мутной. Поднявшийся небольшой фонтан воды падает обратно, и в водяных темных кругах показывается белый живот щуки.

За спиной у меня всегда ружье и спиннинг — складная бамбуковая удочка в чехле.

Иду, потерявши счет дням. И кажется, что радостный покой поселился во мне навсегда. Все хорошо! И просторы, и Урал, и день, и даже я сам. Только вот однообразный свист серенького куличка, сопровождающего меня, очень грустен. Вылетит он откуда-то, сядет впереди и начинает свистеть. Подойдешь к нему, он взлетит и опять недалеко сядет, разливая тоску по тундре. И так всю дорогу и во все дни.

Я понимаю, что куличков много в тундре и каждый встречающийся на моем пути вылетает мне навстречу, желая своим свистом отвлечь мое внимание от своего гнезда. Очень тоскливый их свист, но я в своем счастье грусти кулика почти не замечаю и, бодрый, все иду вперед.

ЛЕТО

19 июля.

Мы шли и шли. Тундра изменялась на наших глазах: сначала была молодой, звонкой, веселой, потом удовлетворенной, успокоившейся — счастье найдено, в песнях ее звучал не задор, а благодарность. И вот под конец тундра стала беспокойной, настороженной, квохчущей.

Белая куропатка, выбегая из-под ног, не летит, как раньше, а, распустив крылья, медленно идет и квохчет беспрестанно.

Кулики различных видов снуют над нашими головами, припадают над собакой и кричат истошно, почти истерично.

Утка, вылетая из-под носа собаки, летит неохотно, цепляя крыльями за землю, словно подстреленная.

На озере из прибрежной травы выплывает черно-серая гагара, коротко и беспокойно кричит, часто и нервно наклоняет голову к воде, будто пьет, и настороженно смотрит на меня. Вид у нее такой, словно она не имеет никакого отношения к двум ныряющим серым, пушистым ее гагаряткам.

Разные мелкие птички, когда проходишь мимо их гнезд, поднимают несносный крик.

С каждым днем зелень становится темнее. Отцветают многие цветы. Тундра становится более возмужалой и однообразной. Среди дня сильно печет солнце, но уже чувствуется, что скоро подуют сначала прохладные, потом холодные ветры и пойдут дожди. Солнце каждый день все больше приближается к горизонту. И уже ясно, что пройдет еще несколько дней, и оно зацепит за край земли.

Однажды я увидел птенца-кулика. Он бежал по голому месту, а потом попал в траву, запутался в ней и прижался к земле. Я взял его в руку. Тогда сейчас же из кустов ивняка выбежала его мать. Она так расхохлилась и так распустила крылья, словно хотела быть уродливой, даже страшной, но ей, красивой, как ни старалась, красоту свою спрятать было трудно — изредка вспархивая по-настоящему, она сразу становилась стройной, изящной.

Я выпустил маленького из рук, он, споткнувшись, побежал и, опять запутавшись в траве, присел. Мать вертелась около меня, вспархивала и садилась. Она так жалобно пищала, будто умирала. Иногда бежала в обратную сторону от птенца с видом, приглашающим меня догонять ее.

Как-то раз около своих ног я увидел расхохлившуюся белую куропатку. Впрочем, летом она бывает не белой, а рыжей. Она сидела на земле, широко распустив крылья; под ними были цыплята. Куропатка застыла на месте, подняв голову, смотрела на меня, и в ее глазах были страх и ожидание — вся жизнь, все будущее ее. Глаза ее, найдя мои, пытали меня:

— Тронешь или не тронешь?

— Не трону, — ответил я ей тоже глазами и прошел мимо.

Однажды мы шли с Евгением Николаевичем. Куропатка вспорхнула из-под ног и пухлым комом свалилась в траву в десяти шагах от нас. С того места, где она сидела, врассыпную бросились цыплята — будто я сразу высыпал горсть гороха. Нежножелтые с черными полосками, они были совсем маленькими и совсем глупыми. Бегая по траве и тихо попискивая, они сделались

невидимыми. Курица, прижимаясь к земле и подлезая под ветки кустарников, беспокойно бегала вокруг нас. Оправившись от испуга и уже больше не обращая внимания на меня, — дети прежде всего! — она тихо захлопала. Светлые шарики, — штук двенадцать их было, — переваливаясь с боку на бок, путаясь в траве, падая и попискивая, бросились к ней. Пока бежали, все вымокли в холодной росе. Я взял одного из них на руку. Он, дрожа от холода, прижался к теплой ладони и носиком уткнулся между пальцев. Мать сидела, распустив крылья. Цыплята подбежали к ней и, замолкая, прятались под теплыми, пушистыми родными навесами.

Я подошел к куропатке совсем близко — шага два, не больше, — она не двигалась и, квохча, беспокойно смотрела на меня, вернее на цыпленка, попискивавшего на руке. Я его опустил на землю, он побежал к матери, она тихо и уже удовлетворенно заговорила: квох, квох, а когда он юркнул под теплые перья, замолчала и просительно посмотрела на меня:

— Уйди, пожалуйста.

Я осторожно повернулся и, боясь еще раз нарушить семейное счастье, тихо пошел прочь и повел с собой Евгения Николаевича.

В ГОРАХ ПОЛЯРНОГО УРАЛА

21 июля

— Пойдем, — сказал я Степану-ненцу, и мы, опираясь на палки, снова застучали ими по камням Полярного Урала. Шли молча, отяжеленные усталостью и однообразием гор. Вдруг Степан резко дернул меня за рукав и зашептал:

— Олень. Дикарь.

Я смотрел по направлению его вытянутого пальца и ничего, кроме безлесных гор, камней и пятен снега, не видел.

— Какой такой русский человек! Пошто не видишь? Глаза на снег веда, — раздраженно сказал Степан.

Я посмотрел на белое яркое пятно снега на северном склоне большой горы и сам удивился, как я мог не за-

метить двух резко выделяющихся на снегу, почти черных оленей.

«Почему олени в жаркий, солнечный день не нашли другого места, как на снегу, где их видно издалека?» — спросил я себя и с бьющимся от волнения сердцем стал скрадывать их. Степан остался.

Я шел, скрываясь между камнями. Олени скоро повернули головы в мою сторону, а потом, быстро вытянув головы вперед и закинув на спины огромные кусты рогов, оттолкнувшись от земли, как от трамплина, сорвались с места и через минуту скрылись за хребтом.

Я возвратился. Степан не бранился, но сказал, что на всякого зверя надо ходить не по ветру, а против, и пошел к нашему обозу, который потянулся по снежному крутому склону.

Я отправился напрямик, сокращая путь. Идя пустынными горами, поднимаясь и опускаясь, я часто останавливался, чтобы перевести дыхание. Полярный Урал невысок, отдельные вершины его, заснеженные, достигают всего лишь 1.500 метров. На остальных горах снег летом, за исключением северных склонов и ущелий, стает.

Горы казались не земными, а лу́чными. Их резкие, до удивления темные очертания на синем небе, прозрачный воздух и горная тишина разжигали стремление итти без конца вперед, может быть, к какому-нибудь чуду.

Вдруг в просвете одного серого ущелья блеснула огромная бирюза. Я, как заглянул туда, так и не мог оторваться. По серым стенам ущелья, до самой воды бирюзового озера, сползали узкие полосы снега, похожие на белую пену. Каменные громады со шпильями, угрюмые, подобно стенам старого замка, отвесно спускались к нему.

Озеро — длинное: чтобы пройти его, надо итти целый день.

Серая с белым оправа бирюзы украшена яркочерными цветами шиповника. Озеро будто мертвое: ни крик птицы не нарушит тишины его, ни зверь не пробежит, и шиповник без благоуха-

ния. Степан говорил, что в озере много всякой рыбы, но ее присутствие не было заметно.

Бирюза называется озером Щучьим. Наш обоз, с трудом перелезая через хребты, кружил около него почти три дня, и я видел, как часто изменялся цвет озера. В солнечное тихое утро оно было, как темноглубое небо, и облака в нем плыли, как в небе. В полдень оно становилось светлосиним камнем, вечером — изумрудом. Когда солнце закатывалось за гору, Щучье превращалось в длинный, точно прищуренный, черно-синий глаз. В пасмурный день, когда со шпилей сползал на дно ущелья серым мягким войлоком туман, озеро делалось серым, непроницаемым, скучным.

Налюбовавшись озером, я грудью лег на берег и приложился губами к его поверхности. Вода была вкусная; я напился всласть, окунул голову в воду, на прощанье бросил белый камень в глубину, полюбовался блестящим кривым его следом и пошел дальше.

Вышло как-то так, что я догнал Степана, и мы пошли к обозу вместе. Однажды сбоку нас мелькнули две серые большие собаки. Одна из них на секунду остановилась, повернула голову к нам, а потом обе быстро скрылись за камнями.

Степан опять сказал, что я ничего не понимаю, — это не собаки, а волки, и что они являются признаком близости оленеводов со стадами.

Наш путь совпадал с направлением, по которому побежали волки. За хребтом мы опять увидели их, во весь опор бежавших по противоположному склону вниз, в долину, к нам навстречу.

Впереди них скакал крупнорогий олень, стуча копытами по камням. Рога его лежали на спине, рот раскрыт, язык, как у собаки, розовой тряпкой болтался слева. Олень припадал на правую переднюю ногу.

Один из волков, увидев нас, остановился и сел. Другой, вероятно, более молодой и менее осторожный, продолжал гнать оленя.

Мы сорвались с места и тоже, как олень, скатывая камни вниз, побежали навстречу погоне.

— Олень хромой. На ногах копытка¹. Бегай ему нельзя. Волк кушай, — говорил на бегу Степан.

Олень сбежал в долину и остановился на болоте. Волк сразлета хватил его сзади и с шерстью во рту отскочил в сторону. Олень, полуобернувшись к нему, — задние ноги его застряли в болоте, — с силой махнул рогами снизу вверх. Волк, избегая удара, неловко отскочил в сторону, упал, быстро поднялся и бросился на оленя спереди. Олень опять махнул большим кустом рогов. Волк снова вернулся и снова бросился к нему. Олень взвился на увязшие в болоте задние ноги, готовя сокрушающий удар передними копытами в лоб волку. Тот своевременно отскочил и стал наскакивать сбоку. Ему хотелось скорее добраться до горла оленя.

Так, не останавливаясь, прыгали на зеленом болоте два больших серых зверя. Борьба была страшная и неравная — олень терял силы.

Мы были уже от них близко. Степан громко крикнул. Волк затрусил в гору и через сотню шагов сел — очень не хотелось ему бросать такую добычу.

Я выстрелил. Волк ринулся вперед. Второго давно уже не было видно. Я выстрелил из второго ствола. Гул выстрела побежал по долине, нагоняя первый. Картечины цокнули о камни. Волк метнулся в сторону и исчез за перевалом.

Мы подошли к оленю. Он повернул к нам голову и подобрал язык. У него не глаза, а пожар! Хотели вытащить его из болота, а он — на нас передними ногами и рогами, как на волка.

— Ой, беда, беда!.. Тынзян нет², — сказал Степан и предложил итти дальше, — мол, хозяин найдет своего оленя, а чтобы волки его не съели, посоветовал оставить около оленя стрелянную гильзу.

ОСТРОВ ОСЕДЛОЙ ЖИЗНИ

16 сентября.

Утром я и Степан позавтракали, сняли палатку, запрягли в нарту оленей и направились на северо-запад. К полудню на берегу Карского моря, у мыса Полковникова, среди тундрового желтого однообразия показался конец какой-то иглы. Она оказалась мачтой радиостанции, потом стали видны крыши построек, и, наконец, на низком берегу обозначилось все селение: пять жилых домов, школа и десяток других построек. Это была Карская зимовка.

Около зимовки по болотам ходили женщины с ведрами, корзинами и собирали морошку. Ее вокруг было столько, что можно было заготавливать тоннами. Желтая, как янтарь, мягкая и нежная, она была вкусна, но, сладкая до приторности, приедалась очень скоро.

Нас встретило десятка два худых псов. Одни из них лениво лаяли, другие безучастно смотрели на нас. Около кооператива стояли олени упряжки. Это были ненцы-оленоводы, приехавшие за продуктами в обмен на пушнину или рыбу. Тут же на берегу моря сидело несколько русских.

— Собак не бойтесь, не тронут, — сказал один из них, когда мы со Степаном подошли к ним.

Собаки оказались охотничьими и ездовыми. Сидевшие люди были охотниками, только-что приехавшими сюда на пароходе на зверобойный и песцовый промыслы.

— Откуда это вас принесло? — спросили нас с удивлением.

— Из тундры, с Полярного Урала, здравствуйте!

— Здравствуйтесь. Песцов видели?

— Мало.

— Мыши в тундре есть?

— Кажется, есть.

— А совы?

— Совы есть.

— Ну, значит, и мыши есть, а за мышами и песцы придут. Они сейчас в Большеземельской тундре. Садись! Закуривай!

¹ Копытка — распространенная болезнь у оленей на копытах.

² Тынзян — аркан, которым ловят оленей.

Вдруг около берега, где мы сидели, среди волн с белыми гребнями показалась круглая голова, похожая на человеческую, посмотрела на нас умными глазами, сжимая и расширяя две круглые черные ноздри, и исчезла. Потом опять показалась, но уже дальше. Это был морской заяц.

Один из охотников, еще совсем молодой, побежал в дом, принес винтовку.

— Брось, не стреляй. Убьешь — утонет, не достанешь, — сказали ему другие.

После десятка выстрелов заяц исчез.

Пожилой охотник, местный старожил, широкоплечий, с большой русской бородой и в кожаной шляпе, сказал стрелявшему:

— Это тебе не белуха, не всегда попадешь. И ее тоже на воде не убьешь. А почему? Во-первых, махина какая, — пудов на сто—сто двадцать, маленькой пулей не сразу свалишь, — во-вторых, у нее не мясо, а сплошной жир. Ударишь пулей в тело, кровь брызжет фонтаном, она повернется раной на воду, и рана сразу затянется жиром. Убить ее на воде можно, если попасть в «дыхало». Я по первому разу стрелял-стрелял в белуху — ничего не выходило, а потом научили: надо стрелять не в нее, а дальше нее — пули чмокаются о воду, а она к берегу прижимается. Напугавшись, она к берегу подходит совсем близко, вот тогда и бей. Бывало, что и на мель выбрасывалась. Без привычки чудно смотреть на нее. А видели, как белухи охотятся на рыбу?

— Нет.

— Ох, хитрые звери! Соберутся в стаю, рассыплются цепью и гонят рыбу в какую-нибудь западню — в бухту или залив. Там разом, как воронье на падаль, набрасываются на рыбу, и в момент ее как не бывало. Только одни стельные или с детенышами коровы отстают. Им белушата мешают. Теленок лежит у нее на спине. Он еще грудной — молоком питается, а весом уже пудов на пять.

Потом он рассказывал, что в кар-

ских водах белух очень много, они проходят с юга на север вдоль берегов Ямала. Недавно, в начале августа, белуха большими косяками шла к мысу Мотюй-саяс, огибая Белуший мыс. Все море казалось покрытым их белыми спинами и фонтанами воды.

— А вы, милые, идите отдыхать — его ведь не переслушаешь, — сказал нам один из охотников, тоже, как и рассказчик, пожилой.

— А куда итти?

— К начальнику зимовки. Вон, в тот большой дом.

Степан спросил у меня разрешения пойти к инцам, в видневшийся за постройками чум, а я пошел на зимовку.

— Вы, вероятно, начальник зимовки? Можно к вам? — спросил я у молодого человека в форменной тужурке, войдя в указанный мне дом. Глаза у встретившего меня были лучистые и добрые. Они были как бы вывеской, которая мне заранее говорила, что он скажет и сделает.

— Пожалуйста, пожалуйста! Раздевайтесь. Умыться хотите? Умывайтесь, а я сейчас схожу к рыбакам за рыбой, и обедом вас накормим. А вот и наш повар, он же доктор, он же и жена нашего метеоролога. Знакомьтесь!

Я протянул руку маленькой юной женщине с родинкой на верхней чуть-чуть пушистой губке.

— Пока будет обед, я вас напою какао. Мальчики! — крикнула она в соседнюю комнату, — несите дров на кухню, к нам гость приехал.

Вышли «мальчики» — радиотехник-инженер Федя и метеоролог.

— Вот и вся наша семья. Знакомьтесь! — сказала она опять, а сама незаметно, по-женски, разглядывала меня.

Пока я приводил себя в порядок и пока маленькая хозяйка маленького дома пела на кухне за приготовлением какао, вернулся начальник зимовки и, мягко улыбаясь, положил на стол мелкочешуйчатых, голубых, как здешняя речная вода, голецов, вкусом похожих на семгу, и не менее вкусных омулей.

— Этой рыбы в наших краях сколь-

ко угодно, — сказал он и посмотрел на меня пытливо, как бы спрашивая, «кто вы такой?». Задать этот вопрос он почему-то стеснялся. Я представился.

В столовой я сел на настоящий стул, за настоящий большой стол, рассматривал «свежие» — месячной давности — газеты, слушал патефон. Вдруг раздался знакомый голос:

— Говорит Москва, говорит Москва, «РВ» сорок девять...

Пахло далекой, почти забытой культурой. После многомесячной палаточной, кочевой жизни все это было непривычно и приятно.

Улыбающаяся хозяйка, протягивая маленькие белые руки с полированными ногтями, подала мне тарелку дымящейся ухи. Я протянул к ней свои руки — они были черные, с неотмывающейся грязью и трауром под ногтями. Пришлось подогнуть пальцы, поставить тарелку и еще раз пойти мыть руки.

— Так вчетвером вы и зимуете? — спросил я начальника.

— Так и зимует. Вот уже три года скоро будет нашей жизни на разных зимовках, — ответил он.

— И ничего?

— А вы так в экспедициях и работаете? — спросил он с улыбкой, не отвечая на мой вопрос.

— Так и работаю. За всю мою жизнь в девяти экспедициях был, — ответил я с гордостью.

— И ничего? — опять улыбнулся он.

Утром в комнату, по соседству с нашей, служившую у зимовщиков кладовой, кто-то тихо вошел, громко звякнул тарелкой и ушел, прикрыв за собой дверь. Я заглянул туда: никого не было. На стук пришла и хозяйка.

— Мальчики, безобразие! — крикнула она.

Пришли начальник и метеоролог.

— Подите побейте Мишку. Он опять утащил головку сыра и масло с ел. Представьте себе, сам дверь открыл и сам закрыл ее. Ужасно, какой жулик. Побейте его до смерти, — сказала она с плачущими глазами.

— Петя, пойдем бить Мишку, — сказал начальник и, поворачиваясь к большому, лохматому псу, который, облизывая губы, появился в дверях, грозно крикнул: — Мишка, мерзавец, иди сюда, иди, стервец! — И, взяв его за ошейник, оба вышли из дому. Пес заскулил по-щенячьему. Дальше драма разыгралась под моим окном.

— Петя, — просительно обратился начальник к метеорологу, — ударь, пожалуйста, ногой Мишку, дай ему в ляжку. Я почему-то не могу бить собаку.

Петя нехотя и потихоньку толкнул ногой пса в зад, приговаривая: «Не воруй, не воруй», — и отвернулся.

Мишка радостно взвизгнул и бросился на грудь сначала к одному, потом к другому, стараясь лизнуть лицо.

Через минуту все пришли в дом, и начальник так радостно, будто сделал что-то очень хорошее, заявил той, что с родинкой:

— Мишку избили, вдребезги избили.

Она посмотрела на него с укором, и лицо ее стало жалостливое и обиженное:

— Ну, зачем же обязательно избивать?! Ты всегда такой. Можно было и не бить, а громко — по-мужски — сказать: «Мишка, больше не смей трогать».

— Эх, какая жалость, не знали мы, а то еще бы сыром его накормили. Ребята, — обратился он к метеорологу и Феде, — пойдемте плоты из плавника вязать.

— Это мы делаем потому, — пояснил он на мой вопрос, — что, во-первых, для постройки нам дрова нужны, а, во-вторых, у нас жизнью выработано правило: чтобы в голову не лезла какая-нибудь дрянь, стараемся весь день загрузить работой.

Через день, прощаясь с ними, я сказал:

— Говорят, вы добрые и деликатные люди.

Все они улыбнулись. Маленькая женщина опустила глаза.

Начальник весело сказал:

— Не замечали, не замечали... А кто говорит?

А метеоролог добавил:

— Эти качества подобны соли в еде — они нужны в каждой жизни. Но мы, по совести говоря, не замечали их у себя.

— До свидания!

Все закивали головой: до свидания, до свидания!

Женская ручка махала белым платочком.

Степан толкнул хореем отдохнувших оленей, и мы, оставляя остров оседлой жизни, понеслись снова в безграничные просторы, к своему чуму, где должны сменить оленей.

ТАНЦУЮЩИЕ ЗАЙЦЫ

6 октября.

Была осень. Мы возвращались от Карского моря в Салехард. По Полярному Уралу наш путь лежал мимо Минисея, через перевал, на реку Большую Хууту, с нее на Малую Хууту и, наконец, по реке Пайдерата.

Однажды к вечеру, когда мы были на Урале, стало темно, пошел огромными хлопьями мокрый снег. Он был такой густой и крупный, что через несколько минут побелела земля. Иногда сквозь падающий снег была видна радуга.

А утром, когда мы спустились на реку Пайдерата, стало опять тепло, снег растаял, и тундра попрежнему стала желто-серой. В долине Пайдераты мы впервые за много месяцев увидели листовичное редколесье. Среди листовиц белели березы. Деревьям мы обрадовались, как чему-то давно потерянному и найденному вновь.

Мы ехали длинным аргишем — оленьим обозом. В каждой нарте запряжено по 3—5 оленей. Нарты следовали друг за другом. На передней сидит Степан и, толкая оленей хореем, понукает:

— Кши-кышь-кши. .

В моей упряжке три оленя: два быка слева и важенка справа. Быки идут спокойно, а важенка — нервно, истерично. Она все время рвется вперед, вертится на остановках, переступает че-

рез упряжь и везет, не сообразуясь с силами, — совсем шалая.

Сбоку аргиша, то отставая, то нагоняя, прыгают оленята. У моей важенки олененок все время вертится около нее. На голове у него совсем маленький кустик рогов — только две веточки. Глаза его добродушные и почему-то обиженные. Морда короткая, смешная и глупая-преглупая.

Он недоволен, часто вытягивает морду и хоркает: ему, видите ли, обязательно нужно к матери, а она в упряжке.

Олененок другой матери, тоже, как и этот, бурый, наткнулся на вкусные кустики лишайников и отстал. Затем скоком стал нагонять нас. Вот он рядом со мной — бежит, ревет и глазами ищет свою мать. Подбежал к важенке, что в моей упряжке, понюхал ее в самое пахучее место и отвернулся: нет, не мать. А олененок моей важенки тут как тут и уже успел ткнуть своими веточками того в лоб: не смей подходить близко к моей матери! И сам, неожиданно для меня, прыг через упряжь. Важенка шарахнулась в сторону. Все бы обошлось благополучно, если бы из желтого ивового кустика, на который наступили олени, не выскочил белый шар.

Что тут было!

Шар, оказавшийся огромным зайцем, покатился по серо-желтой тундре, а мои олени бросились галопом в сторону. Важенка, не помня себя, рванулась первая вперед.

Нарта налетела на большой куст ивы, из него выкатился новый шар. Что-то затрещало, нарта перевернулась, упряжь лопнула, и важенка, прижимая рога к спине, понеслась одна по тундре. Быки остановились. Я встал с земли.

— Вот ведь какая стерва! Ушиблись или все благополучно обошлось? — спросил Мартыныч, наш рабочий. И, не дожидаясь ответа, повернулся и стал следить за бегущим зайцем.

Заяц взбежал на вершину горы, у подножия которой мы стояли, и остановился — будто в землю вбили белый толстый столбик.

— Как статуй, — сказал Мартыныч. Аргиш остановился, Степан начал ладить сломанные нарты, оленегонные собаки побежали за важенкой.

К нам с Мартынычем подошел Евгений Николаевич и стал расспрашивать, почему на юге волки и зайцы маленькие, в средней полосе РСФСР побольше, а на Полярном Урале такие огромные, каких южнее нигде не встретишь. Затем спросил, почему деревья встретились именно на Пайдерате, а не севернее, и почему следующий лесной массив находится в долине реки Щучьей — почти на 150 километров южнее Пайдераты.

Относительно зайцев и волков я ему не мог дать объяснения, а по поводу леса сказал, что в этих местах когда-то было много лесных пространств, но, вследствие ухудшения климата, тундра стала наступать на лес, и он сохранился в наиболее защищенных местах.

Разговаривая, мы не сводили глаз с зайца, который оказался очень любопытным. Ему хотелось видеть все, что делается внизу. Опустив передние лапки, он все время подымал голову, наконец, держась на задних ногах, приподнялся и стал переступать с ноги на ногу для сохранения равновесия. Он был похож на балерину, танцующую на пуантах.

— Смотрите, смотрите, заяц пляшет! — воскликнул Мартыныч.

Вдруг из-за горы, на которой плясал заяц, выскочил Япончик — наш песик. От такой неожиданной встречи Япончик присел, но, одумавшись, кинулся, захлебываясь лаем, на зайца.

Тот растерялся, прыгнул в одну сторону, в другую и покатился к нам. Я выстрелил. Долина наполнилась гулом. Заяц, уже безжизненным белым шаром, скатился мне под ноги. За ним, спотыкаясь и лая, прибежал Япончик.

Пока чинили нарты, я и Мартыныч пошли вперед по долине. Склоны ее

покрыты лишайниками. Хвоя их была уже лимонно-желтой, осыпалась, и вся земля под деревьями тоже была желтой. На дне этой желтой долины темнели густые ивняки с облетевшими листьями.

Мы шли кустами. Из них выбегали зайцы, становились на вершине склона белыми столбами и начинали танцевать.

Зайцы встречались только по кустам и около пятен снега. Мартыныч сказал:

— Заяц-то дурак дураком, а образованный. Свою политику хорошо ведет. Понимает, что побелел не вовремя, а потому надо бежать в кусты.

Собаки тоже охотились. Япончик выбегал вперед, прятался где-нибудь около кустов, а Уткин, большой белый кобель, носился по кустам, выгонял зайца, с лаем бросался за ним и нагонял его на засаду. Япончик выбегал навстречу зайцу и гнал его обратно. В это время налетал Уткин, и дело кончалось коротким заячьим, похожим на детский, криком.

Иногда собаки нагоняли зайцев на нас. Мы, стреляя, торопились, — зайцев было много, — и иногда кто-нибудь из нас мазал. В каких-то густых кустах, не сходя с места, убил четырех зайцев.

Всех убитых мы вешали на сучья лишайниц и шли дальше. Двигающийся за нами аргиш подбирал их.

Я и Мартыныч, войдя в охотничий раж, уже не могли остановиться — все стреляли и стреляли. Стало жарко, сняли тужурки и тоже повесили на лишайницу. Головы мокрые — шапки за пояс. Шли все время в напряжении — вот-вот в черных кустах сверкнет белое.

Ночью пошел снег. Мы остановились на дневку. С утра мы с Мартынычем пошли опять по прежней долине, которая, как и тундра, стала вдруг не желтой, а белой, но зайцев там не было.

Нет, зайцы не дураки.

Анатолий Серов и Полина Осипенко

Из записной книжки

ИВАН РАХИЛЛО

★

В театре шла пьеса из жизни военных летчиков. На сцене была показана природа Дальнего Востока. Сюжет пьесы разворачивался вокруг личности молодого, но недисциплинированного летчика. Он храбр, полон любви к небу, но еще по-юношески горяч и самолюбив. Обстановка действительности заставляет, однако, его осознать весь вред своего ненужного молодечества, и он вылетает в бой с уже окрепшим сознанием того дела, за которое следует погибнуть, но победить.

Сам герой сидел в зале, рядом с автором пьесы. Он приехал на премьеру издалека, проделав путь в несколько тысяч километров. Все знали, что именно этот молодой, здоровый, загорелый летчик и есть тот самый недисциплинированный командир, которого изображали на сцене. Поэтому соседи с большим любопытством наблюдали за его переживаниями. И он, действительно, переживал: когда на сцене его двойник делал какой-нибудь необдуманный поступок, краска густо бросалась ему в лицо; в затруднительных положениях героя пьесы летчик крепко стискивал сильными руками спинку переднего стула и вытягивал шею, словно хотел помочь, подсказать тому неразумному, который так несуразно метался и неистовствовал среди нарисованных декораций. Для него это уже был пройденный этап, вспоминать о котором без стыда он не мог.

Когда опустился занавес, Серов дольше всех аплодировал актерам, показав-

шим на сцене его собственную жизнь и становление. Он был в восторге от пьесы.

★

Серов называл себя «летчиком войны». И это было действительно так. Тот, кто хоть раз в жизни встречался с ним, с одного взгляда мог определить в нем врожденного летчика-истребителя. Крепкий, широкоплечий, с завидным румянцем во всю щеку, он смело смотрел в глаза собеседнику.

Левая нога у него была немного короче правой, — след о первом и неудачном «полете». Первый полет он пытался совершить... девяти лет отроду. Однажды в журнале «Нива» Анатолий увидел снимок аэроплана: воображение мальчика было потрясено. С этого момента его жизнь повернулась наизнанку — он перестал встречаться с товарищами, не бегал на улицу, а, запершись в сарае, тайком от всех стал мастерить летательный аппарат своей особой конструкции. Деревянные фермы каркаса он обтянул украденными из дому половиками, устроил приспособление для рук и головы, точно рассчитал высоту, на которую предполагал подняться. Пользуясь отсутствием родных, он с трудом втащил по лестнице на крышу дома свое громоздкое и неуклюжее сооружение. Изобретатель был полон веры в успех своего предприятия. Вот он становится на край крыши, отталкивается ногами—и вместе с аппаратом тяже-

ло грохается на землю. Сломана левая нога. Аппарат разбит, но мальчик, стискивая зубы от невыносимой боли, молча смотрит на обломки и твердо решает завоевать небо. Он дико самолюбив...

★

Одно время Серов жил в гостинице «Москва». Однажды вечером у него собрались друзья и сослуживцы. Анатолий был весел и жизнерадостен.

— Женюсь, — объявил он, — сегодня устраиваю «мальчишник».

Мы поздравили его и уселись за стол. Пирушка прошла весело, друзья разошлись далеко за полночь. Я остался. Мы вышли на балкон, ночная Москва сияла огнями. Звездное небо расстилось над городом. Почему-то вспомнили свое детство, — Анатолий рассказал о себе.

Он родился в 1910 году на Урале, в семье горняка. Отец работал в Покровском руднике. Детство было связано с производством и событиями шахтерской жизни. Он учился в школе-девятилетке. Тринадцатилетним подростком Анатолий поступает в пионерскую организацию. Живой, непоседливый, порывистый, он любит всевозможные приключения, всегда готов ввязаться в драку и смело пойти навстречу любой опасности, даже, если противник заведомо сильнее его. Он водит дружбу с беспризорными из шайки «министров». Шайка наводит ужас не только на школьников, но и на взрослых. Анатолия они уважают за смелость и недостижимую храбрость. Чуть ли не на каждом собрании «прорабатывают» пионеры своего оторвавшегося товарища, но так же, как и «министры», они преклоняются перед его отвагой. В сущности, это был живой, здоровый и, как впоследствии оказалось, совсем неплохой пионер. Он прислушивался к товарищам и считался с их мнением. Вскоре его выбирают вожатым звена, потом вожатым отряда. Он познает чувство ответственности за человека, за формирование его личности и характера. В 1925 году пионерская организация передает своего вожатого в комсомол. Окончив пять групп девяти-

летки, Анатолий поступает в школу ФЗУ. Школу он заканчивает сталеваром по рельсовой части.

Юноша увлекается спортом, он — чемпион округа по лыжам. Играет в хоккей.

Анатолий ведет большую общественную работу: он — профессиональный уполномоченный школы, член районного фабзавкома профсоюза металлостроителей, председатель бюро районного совета физической культуры.

— В 1929 году комсомол послал меня в летную школу. Школу окончил через два года. Теорию проходил в Вольске, практику в Оренбурге, в школе имени Ворошилова. Моим инструктором был Вася Бушев. Хороший парень. Сейчас он работает в Ленинграде, командир эскадрильи. Когда учился в «тёрке», то был самым недисциплинированным курсантом. Все время получал внеочередные наряды. Но учился хорошо. Почему мне не понравилась на первых порах военная дисциплина? До этого я был «свободным» спортсменом, ездил по соревнованиям, жил, как хотел, а тут вдруг сразу — дисциплина! Я уж собирался удирать из школы. Но, только дело дошло до практики, все изменилось, как в сказке: сразу одни благодарности посыпались. «Тёрку» окончил — тринадцать взысканий получил, а вышел из практической — пять поощрений. Стал самым дисциплинированным учеником.

Был выпущен со званием истребителя. По технике пилотирования — «отлично», а по знанию материальной части присвоили даже звание техника. Я был старшиной группы и моторы менял сам. Менял со своей группой самостоятельно, без всякого техника.

Вылетел я на семьдесят четвертом полете. А на боевой машине закончил программу первым. Бушев давал мне полную инициативу, он верил в меня. Из группы истребителей нас было трое. После окончания школы меня направили в часть. Через полгода я был назначен командиром звена, причем летчиками моего звена были ребята, окончившие школу со мною вместе.

В 1933 году я уехал на Дальний Восток. Наше звено гремело на все побе-



АНАТОЛИЙ СЕРОВ

режье. Вместе со мною летали Власов и Сидоров. Все те фигуры, что на парадах проделывают сейчас. истребители, мы еще в то время выполняли звеном. В соревнованиях мы заняли первое место по ОКДВА и были занесены в «Книгу почета».

В 1935 году меня назначили командиром отряда...

— Скажи, а не бывало ли в твоей практике каких-либо особых событий?

— Горел. Пикирую раз на истребителе и делаю боевой разворот, вдруг заело иглу — машина и загорелась. Мотор стучит. Обдаёт жаром. Струи огня по полу мечутся. Пожар. Высота — метров пятьсот. Можно было выпрыгнуть с парашютом. Но я решил сесть. Насилу дотянул до аэродрома. Сел. Пожар затушили уже на земле. Через три дня на этой же самой машине я вновь поднялся в воздух. Получил от командования благодарность и денежную награду.

Пожалуй, из моей работы мирного времени это самый яркий эпизод, если не считать случая с элероном...

— Расскажи.

— Пустяк, в воздухе элерон оторвался. Я шел в групповом полете. Вывел машину ногой и сел вместе с группой. Больше таких вынужденных посадок в моей практике не случалось.

Серов курит и спокойно рассказывает об оторванном элероне, как будто это и действительно пустяк. Его разрумянившееся лицо, освещенное снизу огнями уличных фонарей, дышит смелостью и каким-то непередаваемым юношеским простодушием.

После Дальнего Востока Серов попадает в Академию воздушного флота. Восемь месяцев он проучился на командном факультете, летать приходилось мало, а жить без воздуха, без аэродрома, без ежедневного ощущения скорости он не мог. Его влечет боевая работа. Он переходит в Научно-Испытательный институт и становится летчиком-испытателем. Здесь, среди лучших мастеров опасной воздушной профессии, он выделяется, как бесстрашный и неутомимый летчик, готовый летать любое количество часов, при любых метеорологических условиях — зимой, летом, ночью,

в дождь, в злую непогоду. Ему дают самые сложные задания по стрельбам, и он выполняет в день по восемь-десять упражнений, двойную нагрузку нормального летчика. В физической выносливости он даже среди летчиков не имеет себе равных.

— Спорт, спорт... В семнадцать лет я уже был чемпионом округа по лыжам на двадцать километров по пересеченной местности. Я прошел эту дистанцию за 1 час. 19 минут. По лыжам я перворазрядник. Я зимник — лыжи, хоккей; летним спортом не занимаюсь. Летаю.

Он потянулся, вздохнул, на его груди блеснули ордена:

— Был раз такой случай, когда мне пришлось биться одному против тринадцати вражеских истребителей. Они хотели меня убить, но дело не состоялось. Враги боятся, когда мы идем на них строем. Но, когда эскадрилья расстроена, они немедленно бросаются в бой. Шли мы строем — и вдруг нас атакуют неприятельские истребители. Смотрю я — никакой части, в воздухе беспорядок. Оказывается, враги зашли на нас с тыла. Все это произошло с молниеносной быстротой. Наши самолеты где-то в стороне, а я один оказался окруженным тринадцатью вражескими истребителями. Они так взяли меня в работу, повернуться некуда! «Каюк, — подумал я, — однако, задешево я не продам свою жизнь!..». Я начал двигаться вправо, влево, маневрируя и ускользая от них. Стою на вираже, ничего они со мной поделать не могут. Стреляю по ним. Для того, чтобы сбить противника, нужно подойти вплотную, присосаться — и тут бей!.. А с трехсот метров никогда не убьешь. Присасываюсь то к одному, то к другому — и даю, и даю... Надо было удирать. А выходить из боя нужно кверху на вираже. Моя машина не берет такого угла. Пришлось идти на снижение. Пикирую. За мной следом четверка бросилась. Тут снизу наша зенитка как даст!.. И ушел, живой остался. Из этого можно вывод сделать: если испугался и просто начинаешь удирать, тогда каюк. А когда не теряешься и уходишь с боем, есть шанс остаться живым...

Да, это война, — сказал я себе после этого боя. — Старики меня предупреждали: если будешь так драться, тебя убьют... А я как присосусь — и жарю, назад не смотрю. Потом я понял, что нужно не только «жарить», но и оглядываться назад, так как нашего брата как-раз сзади и убивают...

Ну, вот — это одно из легких приключений. Об остальных — в следующем раз...

★

Солнце, погода, синее небо августа. Мне поручено передавать по микрофону о всех событиях, происходящих на авиационном празднике в Тушино.

Вот по дороге к штабу промчался мотоциклист...

Над аэродромом, в лиловом небе, кружит «вражеский» разведчик. Зенитчики открывают ураганный огонь. Окруженный кольцом белых дымков разрывающихся снарядов, разведчик уходит на сторону расположения своих войск. Со старта вдогонку ему срывается дежурное звено истребителей. Вслед за ними поднимается вся эскадрилья. Машины с ревом набирают высоту. На аэродром ожидается нападение «противника». Объявлена тревога.

Пока истребители охранения высматривают врага, из-за леса появляются «неприятельские» штурмовики. Прижимаясь к самой земле, они хищно налетают на аэродром. С диким грохотом рвутся фугасные бомбы, крыша ангара проваливается внутрь, запылали оставленные на земле самолеты. Черный парус дыма поднимается к небу. Как страшно выглядит обнаженная война! Люди, пригибаясь, бегут через поле, стараясь скрыться от смертоносного огня спаренных пулеметов.

Над самой землей в дыму завязывается бой истребителей. С раздирающим душу воем кружатся скоростные машины, набрасываясь на противников. Бой идет одновременно на разных высотах. Вот с верхнего этажа валится на землю подбитый самолет, он падает сначала отвесно, затем переходит в штопор. Раз, два, три, четыре... Восемнадцать

витков! В небе остается его дымный шлейф.

То одна, то другая — падают в разных местах пылающие машины «врагов». Воеет сирена. Во весь опор к месту катастрофы мчатся автомобили пожарников. Санитары увозят «раненых»...

★

...Пятерка сверхскоростных машин, окрашенных в светловишневый цвет, появилась с запада, со стороны заходящего солнца. Они промчались над головой с быстротою молнии. Вёл пятерку Серов. Следом за ним пронесли его товарищи — Смирнов, Якушин, Иванов и Рахов. С захватывающим волнением наблюдали зрители за их удивительным полетом. Над центром аэродрома самолеты набирают высоту и рассыпаются веером. Вот они сходятся вновь и одновременно, крыло в крыло, выполняют мертвую петлю. Пилоты выбрасывают в воздух целый каскад сложнейших фигур высшего пилотажа.

Оставшись на арене неба один, Серов показал зрителям свое виртуозное мастерство. Его самолет ложился на спину, падал, взвивался, крутил бочки, имельманы, петли, взмывал к облакам, в одну секунду набирая километровую высоту, — в самой верхней точке, вертеться, машина послушно выполняла несколько витков восходящего штопора. И, самое главное, все это было исполнено с безукоризненным изяществом и каким-то особым, воздушным благородством. Видно было, что пилот и секунды не тратил на обдумывание той или иной фигуры, — его движения были просты и жизненны.

★

В клубе мастеров искусств собрание художников, скульпторов, летчиков и друзей Чкалова. Разбирается характер памятника, который должен в наиболее выразительной и правдивой форме увековечить образ «лучшего летчика нашего времени». На сцену поднимается Серов. Он говорит, как мастер о мастере, он высоко оценивает непревзойденное

мастерство Валерия Чкалова. И, по его мнению, памятник обязательно должен выразить основную сущность характера погибшего пилота — его устремление к достижению предельных скоростей.

— Высшая честь для летчика — это быть истребителем. Он был лучшим истребителем мира... — говорит Серов.

★

Незадолго до катастрофы мы повстречались в клубе актеров. Анатолий был весел и разгорячен. Он не пропускал ни одного танца. За нашим столом сидели Герои Советского Союза. Один из них, прославленный полярный летчик, предложил Серову:

— Послушай, давай с тобой на-пару полет организуем. Есть интересная мысль!

Для любого летчика это предложение было бы большой честью, но Серов отмахнулся рукой:

— Я сам такой полет готовлю — ахнешь... Скоро услышишь!

Он встал из-за стола.

— Ты куда?

— Жену отвезу и вернусь. Она, брат, у меня беременна, — сообщил он с веселой гордостью, — такой хлопец будет...—И, не договорив фразы, он быстро пошагал к дверям.

Вот так он и остался в памяти: живой, румяный, с рассыпанными по лбу волосами, со своим глуховатым, простуженным голосом, мечтающий о сыне...

★

«И от версты и до версты —
От Кюмби до Кремля —
Несла навстречу им цветы
Советская Земля».

А. Твардовский.

С Полиной Осипенко мы учились в одной авиационной школе, на Каче. Она была курсантом эскадрильи. Кача расположена на берегу моря: триста дней в году здесь стоит ясная, солнечная погода. Голубые Крымские горы, подернутые серебристой дымкой, навсегда остаются в памяти каждого, кто жил здесь и летал. Почва на Каче глинистая,

и уж если пойдут дожди, то на ноги налипает столько вязкой, перемешанной с травой грязи, что ее никакими силами не оторвать от сапога.

Я запомнил Полину в синем замасленном комбинезоне, с обветренным, загорелым лицом, в грубых курсантских сапогах, щепкой счищавшую с подошв налипшую грязь. Она была в эскадрилье единственной девушкой.

Если говорят, что научиться летать трудно, то Полине Осипенко это давалось в два раза труднее. Теперь, когда наши летчицы завоевали себе мировую славу, все кажется простым и несложным; в то время это выглядело совсем иначе. Работая наравне со здоровыми, крепкими ребятами, наверстывая пробелы в образовании, изучая технику полетов, Полина должна была пробивать глухую стену мужской насмешливой косности, завоевывая свое право на профессию пилота.

Курсантская жизнь требовала огромных физических усилий, и к чести Осипенко нужно сказать, что она, засучив рукава, не хуже любого парня разбирала и чистила моторы, таскала бензин и масло, помогала выкатывать из ангара самолеты. Полуграмотная птичница в короткий срок завоевала авторитет и уважение своих товарищей. Понемногу ребята привыкли к ней, и вскоре между ними завязалась настоящая боевая дружба. Она заражала всех своим упорством и горячей любовью к полетам.

Полина Осипенко родилась в селе Новоспасовке, бывшей Таврической губернии, в семье крестьянина-бедняка. Мир, окружавший девушку, был несложен и уныл: бескрайние степи, маленькая хата и тяжелый крестьянский труд. Будущее казалось ей еще более безрадостным. «Подрастешь, — говорили ей, — в няньки отдадим. А там и замуж...».

Два года проучилась маленькая Полина в церковно-приходской школе. И уже с девяти лет она пошла в няньки. Труд воспитал в характере девочки настойчивость и упорство. В годы революции она вступает в комсомол. Ее семья в колхозе. Отец работает сторожем. Младший брат — конюхом, сама Полина —



ПОЛИНА ОСИПЕНКО

птичницей. Из района в село прислали несколько путевок на различные курсы. Колхоз посылает Полину в Киев, на курсы птицеводов. Успешно закончив курсы, она направляется в Бердянск, организатором птицеводческих ферм.

Однажды возле села случайно опустился два учебных самолета. Этот факт сыграл в судьбе Полины решающую роль. Все население сбжалось к самолетам. Больше всего поразила юную птичницу вышедшая из кабины женщина в кожаном шлеме. Она летела в кабине в качестве пассажира, но Полина была в полной уверенности, что все прилетевшие — пилоты. Эта встреча ее потрясла. Оказывается, и женщины могут летать! Она никогда не думала об этом...

Самолеты ушли в небо, оставив на полянке расстроенную и охваченную радостной надеждой птичницу. И Полина решила стать летчицей... Стремясь осуществить свое желание, она уезжает в Севастополь и поступает в школу пилотов... работницей столовой. Она согласна работать даже в столовой, лишь бы слышать над головой неумолчное гуденье стальных птиц, лишь бы находиться вблизи аэродрома, дышать волнующими запахами бензина, жить интересами любимой авиации.

Полина — член партии. Она рассказывает секретарю парткома о своем сокровенном желании. Товарищи помогают ей поступить в школу. Она успешно проходит медицинскую комиссию, и ее зачисляют курсантом. Она на седьмом небе от счастья...

★

Осипенко устанавливает четыре международных рекорда. Она настойчиво тренируется к дальнему беспосадочному перелету: каждое утро ее белый самолет срывается с синих волн Черного моря. Она сколачивает свой экипаж.

Спит Севастополь. Гаснут большие южные звезды. У самого моря на бетонированной площадке стоит гидросамолет. Осипенко, Ломако и Раскова готовятся в свой беспосадочный воздушный

рейс. Они надевают теплые меховые пальто и шлемы. Спортивный комиссар спечатаывает барографы.

«Москва, Народному Комиссару Оборона, маршалу Советского Союза товарищу Ворошилову.

Дорогой Климент Ефремович!

Стартуя сегодня на гидросамолете в разрешенный Вами беспосадочный перелет над сушей по маршруту Севастополь—Архангельск, выражаем уверенность в том, что поставленную Вами задачу выполним.

От всей души благодарим Вас за оказанное нам доверие и за ту помощь, которая нам была оказана при подготовке перелета. Просим передать наш горячий привет Правительству и вождю народов великому Сталину и передать им о том, что этот женский беспосадочный перелет мы посвящаем Вам, лучшему другу и соратнику великого Сталина, любимому наркому обороны Союза ССР, маршалу Советского Союза, Клименту Ефремовичу Ворошилову.

Полина Осипенко, Вера Ломако, Марина Раскова».

На имя экипажа от наркома обороны получена приветственная телеграмма. Они с волнением читают телеграмму и занимают места в кабине... Крепкое пожатие рук, и машина спускается на воду. Катер буксирует самолет на открытую воду. Мотор заводит свою победную песню, разбрызгивая в стороны серебро пены, белая птица мчится по воде. Гидросамолет плавно отрывается и медленно уходит в воздух. 4 часа 35 минут утра.

Морская машина пролетела над сушей 2.416 километров, вписав еще один славный рекорд в историю советской и международной авиации.

★

— Запустить моторы!

Пропеллеры рассекли воздух.

— Убрать колодки!

Люди отошли в сторону, и площадка очистилась. Полный газ—и тяжело нагруженная машина, разбежавшись по дорожке, поднялась в воздух. Развернувшись на курс 90°, самолет

«Родина» взял направление на восток.

Вскоре была получена первая радиogramма: Раскова сообщала, что хорошо слышит Москву. Близился к концу день, самолет находился от Москвы на расстоянии трех тысяч километров. Самолет шел на высоте от четырех до семи тысяч метров.

Вскоре им встретились слоисто-кучевые облака. Подул сильный боковой ветер. Сверху простирался облачный потолок, внизу клубились туманы. Машина шла со средней скоростью, в 256 километров в час. Воздушный океан неистово бушевал. Пробивая гроззовые фронты, пришлось вновь набирать высоту. Циклон продолжался. Казалось, ему не будет конца. Поднялись выше, надели кислородные маски. Вокруг густая облачная пелена. Лететь пришлось вслепую, по приборам.

Самый трудный по природным условиям район Байкала экипаж «Родины» проходил осенней ночью в сплошной темноте. Дожди и снегопады, шквалистые ветры и туманы преследовали отважных летчиц на всем пути. Их утомляло однообразие глухого пейзажа. Самолет мчался над тайгой. Рядом — граница. Никаких земных ориентиров не было. Надвигалась вторая ночь... Гризодубова и Осипенко сменяли друг друга. Моторы гудели непрерывными, утомляющими голосами. Экипаж уверенно пролагал свой путь на восток. Им приходилось уклоняться от курса, обходить циклоны — штурману доставалось больше всех.

Гроза подошла с самой неожиданной стороны: отказало радио, и в баках стал иссякать бензин. Вскоре остановились моторы. В это время самолет находился на высоте в две тысячи метров. Надо было принимать немедленное решение.

Теперь, когда прошла тревога, мы знаем подробности этой героической посадки. Только летчики могут оценить всю трудность создавшегося положения. Посадить скоростную машину в вязкую, болотистую почву — это наверняка перевернуться через голову. В лучшем случае машина встанет на нос, но тогда вдрызг будет разбита и смята кабина штурмана, расползшаяся в носовой

части самолета. Раскова выпрыгивает с парашютом.

За их судьбой следила вся страна, вождь и народ. В то время, когда международный фашизм рвал на куски свободолюбивую Чехо-Словакию, обрекая на смерть сотни тысяч людей, в нашей стране все силы и все внимание общественности были брошены на спасение трех жизней рядовых членов общества. Десятки самолетов под управлением опытных пилотов «прочесывали» тайгу по всем направлениям, до шести тысяч охотников и разведчиков, продираясь сквозь густые чащи и болота, разыскивали экипаж «Родины». Человеколюбие — вот основная черта нашего строя. Все для человека, для его счастья, для жизни...

С каким праздничным воодушевлением мы прочитали сообщение о том, что летчик Сахаров обнаружил в тайге самолет «Родина»! Они были спасены.

★

Полина Осипенко была оживлена, она как-то окрепла, обветрилась. Взгляд стал тверже, движения уверенней. Завязался простой, задушевный разговор. Осипенко рассказала о встрече с товарищем Сталиным:

«Когда мы ехали в поезде, то мы договорились — как будем встречать товарища Сталина, как его целовать. Можно ли его тискать или нет... И когда мы приехали в Кремль, то каждая из нас села отдельно со своими семьями. И вот вошел товарищ Сталин. Он сразу стал смотреть по сторонам, где мы сидим. Народу было много. И он сразу нас нашел. Тут мы не выдержали, бросились к нему и стали его целовать. Товарищ Сталин стал подробно нас расспрашивать — как мы жили в тайге, не боялись ли, были ли уверены в том, что нас спасут? Мы ему подробно наперебой обо всем рассказывали. Потом он увидел мою маму. Ей семьдесят девять лет. Она неграмотная. И он сказал ей:

— Спасибо за то, что вы родили нам такую дочь!

А мама ему отвечает:

— А вам спасибо за то, шо вы выходили ее...

Он отвечает:

— Воспитать легче, чем родить...

Потом товарищ Сталин говорил о роли женщины в нашей стране, что мы трое отплатили сразу за всех. Мама потом дома говорила: «Ты, Полина, отплатила за весь наш род и за всю нашу Новоспасовку». За всю жизнь моя мама из села никуда не выезжала. И когда я бывала дома, то всегда рассказывала ей о том, что сделано и построено советской властью. Она всему удивлялась. И вот, представьте, такой человек впервые в жизни приехал в Москву, увидел Кремль, метро, широкие улицы города!

— Знаешь, — заявила она, — хоть я и стара, но я вновь помолодела сердцем...

Вы только подумайте, какая судьба грозила мне, если бы не было социалистической революции!..

Ведь нас, дивчат, ничему не учили. «Це так, одризанная от семьи скибка!». Ребят, которые должны были итти в солдаты, еще кое-чему учили. А нас — нет.

И вот сейчас, когда нас наградили высочайшей в стране наградой, званием Героев Советского Союза, мы так радуемся, что трудно передать. И я думаю, что вместе с нами радуется каждая женщина нашей страны.

Страна растет. Строятся фабрики и заводы. Возникают новые города. И вместе со всем растет новый человек. С новыми чувствами и устремлениями. И вам, писателям, необходимо описать этого человека и показать, что у нас есть и на что мы еще способны. Пусть знают враги, что в случае навязанной нам войны мы так же твердо поведем воздушные корабли, как их водят наши отцы, братья и мужья!».

★

— Учиться, надо больше учиться! — не переставала повторять Полина. Роквое совпадение, но нам пришлось в последний раз встретиться в цирке. В цирке, накануне катастрофы, присут-

ствовал и Валерий Чкалов... Мы вышли в коридор с мужем Полины, Героем Советского Союза, Александром Осипенко. Он рассказывал о жене, о том, как она по-настоящему любит науку.

— Каждое утро, в семь часов, она уже садится за стол. Русский язык, штурманское дело, химия и математика, литература и английский язык — все ее интересует. Кроме всего, она успевает еще заниматься физкультурой. Ездил в бассейн, собирается стать пловчихой...

Будучи инспектором по технике пилотирования, Полина Осипенко растила десятки искусных истребителей, передавая им свой опыт и летное мастерство.

★

На воздушном празднике Анатолий Серов выступал у микрофона. Его речь записали на пленку, а потом переписали на пластинку. Недавно я поехал навестить родителей Анатолия и захватил с собою пластинку. Старики живут на станции Чкаловской. Вместе с ними — две младшие дочери.

Лицом и глазами Анатолий так удивительно напоминал свою мать; непоседливостью и живым характером он был похож на отца. Старики собирались на курорт. Мы поставили пластинку и в наступившей тишине стали молча слушать такой знакомый и близкий всем голос Анатолия:

«Благодаря исключительным заботам партии и правительства и лично товарища Сталина, благодаря любви и заботам широких трудящихся масс — наши воздушные силы за последние годы сделали большие успехи в области специальной, боевой и политической подготовки.

Почти каждый день мне приходится подниматься в воздух. Я вижу сверху Москву, ее широкие, залитые асфальтом улицы. Вижу сады и парки. Рядом с аэродромом — детище сталинской пятилетки — канал Москва — Волга. Как красивы сверху архитектурные украшения канала!.. Моя скоростная машина пролетала над колхозными пашнями. Я видел работу тракторов. Со всех концов

Москвы видны алые звезды Кремля. В Кремле живет товарищ Сталин, лучший друг летчиков. Я всегда думаю о нем.

И если враг попытается напасть на нашу Родину, на наше счастье,—в любую минуту, по приказу нашего железного наркома товарища Ворошилова поднимутся в воздух тысячи наших летчиков, чтобы пойти в бой за наш народ, за нашу землю, за любимого товарища Сталина!

Враг будет уничтожен на его собственной территории!».

Словно подтверждая слова Анатолия, над крышей с ревом пронесется звено скоростных истребителей. Потом наступает тишина. Мать молча выходит в другую комнату. Отец задумчиво говорит:

— Нам не верится... Такое впечатление, что он живой, что это он пролетел сейчас над нами впереди своей пятерки...
Увы!..

Героическая оборона Петрограда

Полковник И. НЕФТЕРЕВ



Двадцать лет тому назад, весной и летом 1919 г., Красная армия и питерский пролетариат под руководством большевистской партии и великого вождя народов товарища Сталина разгромили контрреволюционные силы генерала Юденича, пытавшегося захватить первый город революции — Петроград.

Весна 1919 года особенно была тяжела для Советской республики. Враг надвигался со всех сторон. Осуществлялся первый (комбинированный) поход Антанты против нашей родины. С востока наступал Колчак, его передовые части подходили к Волге. С юга начал наступление генерал Деникин. С запада угрожала белопанская Польша. На Северном фронте русские белогвардейские части и английские интервенты упорно стремились отобрать наш Север. На Олонецком и Карельском участках были собраны крупные белофинские войска и русские белогвардейцы, которые угрожали Петрограду с севера. На советско-эстонской границе сосредоточивались силы белоэстонцев и русских белогвардейцев генерала Юденича. Севернее Чудского озера группировался контрреволюционный отряд Булак-Балаховича. В Финском и Копорском заливах был в боевой готовности английский, финский и эстонский морской флот (схема № 1).

Советская республика была окружена кольцом белогвардейцев со всех сторон.

Тов. Сталин в статье «К военному положению на юге» (газета «Правда»

от 28 декабря 1919 г.) писал: «Весной 1919 года против Советской России был задуман комбинированный поход Колчака — Деникина — Юденича. Главный удар должен был нанести Колчак, с которым Деникин надеялся соединиться в Саратове для совместного наступления на Москву с востока. Юденичу был предоставлен вспомогательный удар по Петрограду.

Цель похода была формулирована в докладе Гучкова Деникину: «задушить большевизм одним ударом, лишив его основных жизненных центров — Москвы и Петрограда»¹.

Антанта в своем первом походе возлагала на Юденича большие надежды: она ставила перед ним задачу — захватить Петроград и оттянуть на себя части Красной армии с Восточного фронта, чтобы обеспечить успех армии Колчака.

Против 7-й армии располагались следующие силы. На Петрозаводском участке были сосредоточены русские белогвардейцы, английские и белофинские части. На олонецком направлении — белофинны и русские белогвардейцы. На Карельском участке действовали белофинские части. На Нарвском участке действовали северо-западный корпус русских белогвардейцев и белоэстонские части, объединенные силы которых насчитывали до 11½ тысяч штыков и

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная армия. Государственное Военное издательство Наркомата обороны Союза ССР. Москва, 1937 г., стр. 169.

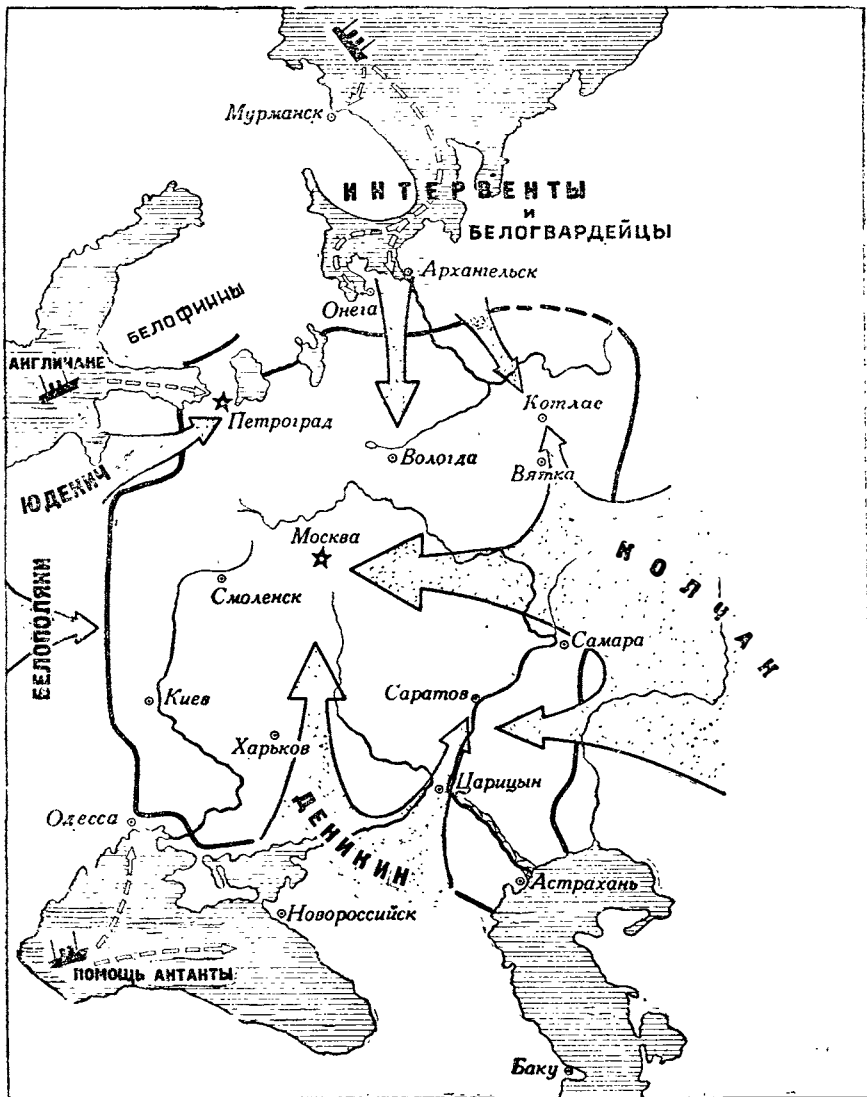


Схема № 1.

сабель при 28 легких и 14 тяжелых орудиях.

На Ревельском рейде у эстонцев имелось 2 минных крейсера, на Чудском озере—4 парохода, вооруженных 3-дюймовыми пушками, 3 английских танка.

Части белого корпуса были сосредоточены на Нарвском участке, имели большое превосходство против нашей 6-й стр. дивизии.

Защищавшая Петроград 7-я Красная армия к началу наступления белых за-

нимала фронт около 600 км., от Онежского до Чудского озера включительно. Своим правым флангом она граничила с 6-й армией, а левым—с эстонской красной армией. Этот фронт делился на три участка: Междуозерный—между Онежским и Ладожским озерами, Карельский и Нарвский — от Финского залива до г. Гдова. Всего в полевых войсках 7-й армии было: штыков—14.758, сабель — 568, пулеметов — 406, орудий — 162, броневиков — 8, бронепоездов — 1.

На Нарвском участке против главной группировки противника было: 5.282 штыка, 348 сабель, 147 пулеметов, 23 орудия, 4 броневика. 6-я стр. дивизия занимала фронт до 80 км. Насыщенность фронта была слабая. Противник легко мог прорвать фронт.

План Юденича сводился к тому, чтобы окружить со всех сторон Петроград, отрезать его от Советской России и захватить этот политический, стратегический, административный и промышленный центр нашей родины.

При этом в плане похода на Петроград белогвардейцы возлагали большие надежды на помощь «пятой колонны», на контрреволюционные заговоры, восстания и диверсии на фронте и в тылу Красной армии, в Петрограде и на фортах Кронштадта.

Противник избрал для наступления на Петроград Нарвский участок. План белого командования сводился к следующему: главный удар наносился основной силой белого корпуса на Ямбург, с целью перерезать Балтийскую железную дорогу в районе ст. Веймарн и Петроградское шоссе с узлом грунтовых дорог к северо-востоку от г. Ямбурга. Вспомогательный удар должен был нанести отряд Булак-Балаховича с ближайшей задачей овладеть г. Гдовом, затем выйти на р. Желча, захватить базы нашей Чудской военной флотилии в районе Раскнопель и в дальнейшем овладеть Псковом.

Наступление белой армии было тесно увязано с планом эстонского командования, которое также стремилось показать свою преданность Антанте.

Утром 13 мая части северо-западного корпуса белых и эстонские белогвардейские части, при поддержке английского флота, перешли по всему фронту в наступление. Из-за преступного отношения к делу обороны со стороны предателя Троцкого и его ставленников противник внезапным ударом прорвал фронт Нарвского боевого участка. В то время не были защищены подступы к Петрограду. Штаб участка, расположенный в д. Попкова Гора, был взят в плен. Врагу удалось проникнуть на несколько километров в глубину располо-

жения наших частей и перерезать Нарва-Псковскую железную дорогу, подорвать полотно, занять мост на р. Плюса.

Управление войсками Нарвского боевого участка было нарушено. Связь с Гдовским участком и тылом была прервана. После этого противник начал развивать свои действия на г. Ямбург, охватывая его с тыла.

Внезапный удар белых внес большой переполох и растерянность в штабе 7-й армии.

Вечером 14 мая командующий 7-й армией получил сведения, что белые прорвали фронт на Нарвском участке. 15 мая им было принято решение: для восстановления положения на Нарвском участке подтянуть к ст. Веймарн резервы, объединив их в Веймарнскую группу, и приостановить наступление белых. 15 мая на ст. Веймарн были отправлены: 2-й Петроградский стр. полк, снятый с Карельского участка, отряд курсантов из Петрограда в составе 300—400 человек и сводная дивизионная школа из Гатчины в 150 чел. Этих частей было бы достаточно для ликвидации противника, ворвавшегося в тыл нашим частям, если бы они могли вовремя сосредоточиться в районе ст. Веймарн. Но события развивались очень быстро. Части прибывали с опозданием, не одновременно, в результате чего Веймарнская группа была противником разбита по частям.

17 мая ст. Веймарн была занята белыми. В тот же день белые заняли ст. Тикопись, а к вечеру деревни Мали, Кили и Керстово. Этим завершился обходный маневр белых против левого фланга и тыла частей Нарвского боевого участка. К этому времени появились вражеские суда в Нарвском и Копорском заливах и Лужской губе. Они в различных пунктах высадили десанты, которые начали продвигаться к югу на соединение с частями белых, действовавшими в направлении на Гатчину — Петроград.

Начальник Нарвского боевого участка, оценив обстановку на фронте, убедился, что потеря ст. Веймарн и высадка десанта на побережье Лужской губы ставит

части дивизии, оборонявшиеся на левом берегу р. Луга, в катастрофическое положение, и в 22 часа 16 мая отдал приказ об отходе на линию деревень Косколова, Хаболово, Бабино, Коллина, Ополье, Карпово, Кряково. Утром 17 мая белые заняли Ямбург.

Булак-Балахович, выполняя приказ ген. Юденича, 13 мая при огневой поддержке орудий белоэстонской озерной флотилии Чудского озера перешел в решительное наступление из района Скамья и вечером 15 мая захватил г. Гдов. Наши части отошли за р. Куньсть, а затем дальше — на линию Закропивенка, Каменка, сл. Озерская.

Положение на фронте ухудшилось в связи с изменой и предательством некоторых командиров из бывших офицеров. 20 мая суда Чудской флотилии «Ольга» и «Ермак» передались белым. В ночь на 23 мая эстонский стрелковый полк, занимавший позиции в районе Изборска, предательски перешел к белым. Этим предательством воспользовались белоэстонцы, они перешли в наступление и в тот же день заняли Изборск.

Неожиданный прорыв фронта под Изборском привел к отходу частей 10-й стр. дивизии к Пскову, а 26 мая наши части оставили г. Псков и отошли на линию реки Кеб.

Таким образом, оперативная обстановка на подступах к Петрограду стала угрожающей. Части 7-й армии под ударами противника поспешно отступали, оставляя позицию за позицией, и подходили к Петрограду.

В связи с большой угрозой, нависшей над Петроградом, 21 мая Центральный Комитет партии большевиков обратился ко всем партийным организациям с письмом, в котором подчеркивал, что «Красный Петроград находится под серьезной угрозой. Петроградский фронт становится одним из самых важных фронтов Республики.

Советская Россия не может отдать Петроград даже на самое короткое время.

Петроград должен быть защищен во что бы то ни стало. Слишком велико значение этого города, который первый

поднял знамя восстания против буржуазии и первый одержал решающую победу»¹.

Чтобы отстоять Петроград и разгромить врага, необходимо было возглавить пролетарские массы Петрограда подлинно большевистским руководством.

В двадцатых числах мая ЦК партии и В. И. Ленин командируют уполномоченным по обороне Петрограда товарища Сталина.

Прибыв на Петроградский фронт, товарищ Сталин застал здесь чрезвычайно тяжелую обстановку. Питеру создавалась непосредственная угроза. На фронте — измены и предательство, шпионаж и контрреволюционные заговоры. Засоренность штабов и командного состава чуждым и враждебным советской власти элементом, беспомощность и растерянность руководства 7-й армии. Подняла голову внутренняя контрреволюция. Предатели и изменники — враги народа Зиновьев, Евдокимов и др. троцкисты сеяли панику и готовили сдачу Петрограда белым.

В дни смертельной опасности, когда фронт подкатывался к стенам Петрограда, товарищ Сталин работал не покладая рук, изумляя окружающих своей неиссякаемой энергией и железной твердостью в проведении намеченных им мероприятий.

Товарищ Сталин мобилизовал революционную энергию коммунистов, комсомольцев и питерского пролетариата от мала до велика для разгрома врага, на беспощадное уничтожение шпионских, предательских белогвардейских гнезд в тылу и на фронте; ввел в батальонах и ротах военных комиссаров, сыгравших огромную роль в повышении боевой и политической подготовки частей Петроградского фронта; укрепил и усилил коммунистами и комсомольцами войсковые части на фронте и в тылу; развернул партийно-политическую работу среди красноармейцев и командного состава; заменил ненадежный командный состав более благонадежным и преданным советской власти; перегруппировал силы на фронте и выделил резервы для манев-

¹ «Правда», № 109, от 22 мая 1919 г.

вирования и нанесения решительного удара противнику; улучшил снабжение частей 7-й армии; принял меры к улучшению управления войсками; провел мобилизацию питерских рабочих от 18 до 45 лет для усиления обороны Петрограда; создал резервные полки из питерских рабочих и организовал их военное обучение.

Вот что пишет товарищ Ворошилов о роли товарища Сталина в обороне Петрограда: «В течение трех недель товарищу Сталину удается создать перелом. Расхлябанность и растерянность частей быстро ликвидируются, штабы подтягиваются, производятся одна за другой мобилизации питерских рабочих и коммунистов, беспощадно уничтожаются враги и изменники»¹.

Тов. Сталин быстро разобрался в сложившейся обстановке на фронте и в тылу. Он дал замечательную оценку сил противника, возможных подступов к Петрограду (схема № 2).

«Подступы к Петрограду, — говорил товарищ Сталин, — это те пункты, отправляясь от которых противник, в случае успеха, может окружить Петроград, отделить его от России и, наконец, овладеть им. Таковы: Петрозаводский участок, имеющий направление на Званку, цель — охват Петрограда с востока; Олонский участок с направлением — Лодейное Поле, цель — заход в тыл нашим петрозаводским войскам; Карельский участок, имеющий направление прямо на Петроград, цель — захват Петрограда с севера; Нарвский участок с направлением на Гатчину и Красное Село, цель — взятие Петрограда с юго-запада, или, по крайней мере, взятие линии Гатчина—Тосно и охват Петрограда с юга; Псковский участок с направлением на Дно—Бологое, цель — отрезать Петроград от Москвы; наконец, Финский залив и Ладожское озеро, открывающие возможность высадок противника с запада и с востока от Петрограда»².

Данный анализ подступов к Петрограду с точностью подтвердился как в первом, так и во втором походах Юденича на Петроград.

В оценке сил противника, действовавших на фронте, товарищ Сталин особо подчеркнул активность противника на Нарвском участке. И действительно, этот участок являлся более опасным для Петрограда, так как противник имел на нем основную группировку своих сил и наносил главный удар на Гатчину — Красное Село — Петроград с запада и юго-запада, при поддержке с моря английского флота.

В соответствии с оценкой подступов и сил противника, товарищ Сталин создал такую группировку сил на Нарвском участке, которая позволила разгромить противника на этом направлении. Тов. Сталин телеграфирует Ленину и просит его ускорить переброску частей, предназначенных для усиления 7-й армии. В. И. Ленин принял решительные меры и потребовал от РВС Восточного фронта переброски одной крепкой дивизии на Петроградский фронт.

Благодаря мероприятиям Ленина и Сталина решающее превосходство над врагом было быстро обеспечено. На усиление 7-й армии в середине июня с Восточного фронта (после взятия Уфы) была перебросена 2-я стр. дивизия; 3-я бригада 10-й стр. дивизии из г. Котельнича; отряды моряков и отряд курсантов, организованный из костромских, рыбных и питерских курсов командного состава; прибыла школа маскировки, одна батарея и две караульных роты из Москвы; перебросена кавалерийская бригада из Казани и ряд других частей. Кроме того, в ответ на обращение Центрального Комитета партии большевиков на защиту Петрограда многие парторганизации прислали добровольцев — членов партии и комсомола, рабочих.

Благодаря заботам товарища Сталина части были укомплектованы до штата, была пополнена материальная часть.

Товарищу Сталину было совершенно ясно, что столь быстрое продвижение белых могло иметь место только потому,

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная армия. Государственное Военное издательство Наркомата обороны Союза ССР. Москва, 1937 г., стр. 42.

² Там же, стр. 153.

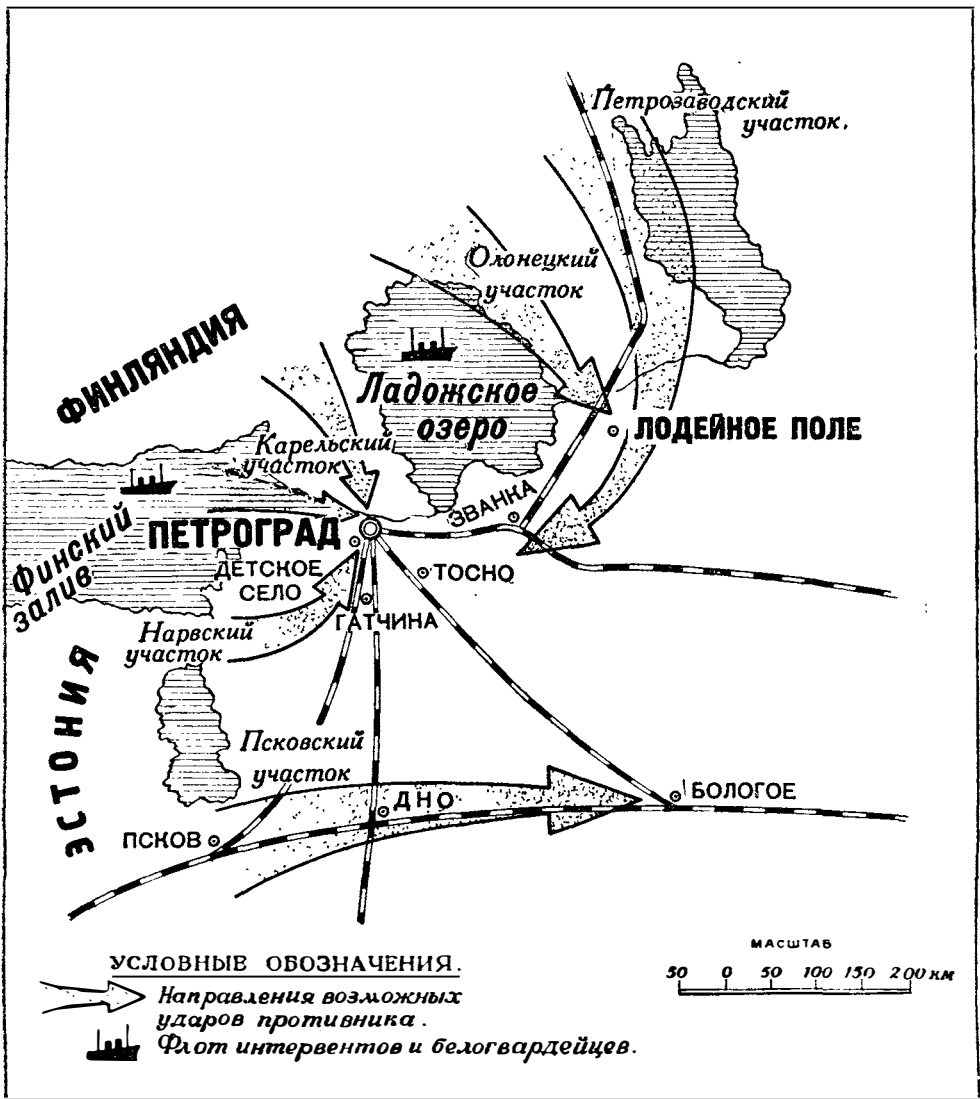


Схема № 2.

что противник рассчитывал на контрреволюционный заговор, на восстания в тылу и на фронте. «По всем данным, противник рассчитывал не только, или, вернее, не столько на свои собственные силы, сколько на силу своих сторонников — белогвардейцев в тылу у наших войск, в Петрограде и на фронтах... На эти силы и рассчитывал противник, наступая на Петроград. Занять Красную Горку, этот ключ Кронштадта, и обеспечить тем самым самый укрепленный район, поднять восстание на фортах и обстре-

лять Петроград с тем, чтобы, объединив общее наступление на фронте в момент общего перелома с восстанием в Петрограде, окружить и занять очаг пролетарской революции, — вот каковы были расчеты противника»¹.

Эти слова товарища Сталина полностью подтвердились событиями на

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная армия. Государственное Военное издательство Наркомата обороны Союза ССР. Москва, 1937 г., стр. 155 — 156.

Петроградском фронте как летом 1919 года, так и во время осеннего похода Юденича на Петроград.

Товарищ Сталин мобилизует членов партии, рабочих и работниц Питера, добивается поголовных обысков в бывших буржуазных кварталах Петрограда, в том числе и в иностранных посольствах. Обыски дали неожиданные результаты. В посольствах находились белогвардейские гнезда, склады оружия.

13 июня начался мятеж на фортах «Красная горка» и «Серая лошадь». Под руководством товарища Сталина 16 июня мятеж был ликвидирован доблестными моряками Балтийского флота.

В эти дни товарищ Сталин телеграфирует В. И. Ленину:

«Вслед за «Красной горкой» ликвидирована «Серая лошадь», орудия на них в полном порядке, идет быстрая... (неразборчиво)... всех фортов и крепостей. Морские специалисты уверяют, что взятие «Красной горки» с моря опрокидывает всю морскую науку. Мне остается лишь оплакивать так называемую науку. Быстрое взятие «Горки» объясняется самым грубым вмешательством со стороны моей и вообще штатских в оперативные дела, доходившим до отмены приказов по морю и суше и навязывания своих собственных. Считаю своим долгом заявить, что я и впредь буду действовать таким образом, несмотря на все мое благоговение перед наукой. Сталин»¹.

Под руководством товарища Сталина быстрое и решительное подавление контрреволюционного мятежа на форту «Красная горка» сорвало все расчеты Юденича; он не ожидал такого для себя позорного исхода. Победа над мятежниками вызвала огромный подъем и воодушевление среди моряков Балтфлота и частей 7-й армии и питерского пролетариата, что обеспечило переход в контрнаступление частей Красной армии на нарвском направлении.

По указанию товарища Сталина была усилена бдительность особыми мерами

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная армия. Государственное Военное издательство Наркомата обороны Союза ССР. Москва, 1937 г., стр. 43.

охраны и наблюдения как на фронте, так и в тылу и в Петрограде. Среди красноармейцев и командного состава была широко развернута разъяснительная работа. Под руководством товарища Сталина ВЧК раскрыла петроградское отделение контрреволюционной организации «Национального центра». Эта организация была тесно связана с посольствами иностранных государств и с генералом Юденичем. Политической целью всех этих изменников и предателей было свержение советской власти.

Проведенное с железной последовательностью очищение Петрограда, тыла и фронта от шпионов, изменников и предателей составляло часть стратегического плана тов. Сталина.

Мероприятия, предпринятые по указанию товарища Сталина, быстро сказались: поднялась боеспособность частей 7-й армии, улучшилось снабжение частей армии и управление войсками.

Петроград превратился в вооруженный лагерь. Из разрозненных отдельных коммунистических отрядов питерских большевиков были созданы резервные полки особого назначения.

Питерские рабочие добровольно стали записываться в ряды Красной армии. С 20 мая по 18 июня записалось 13.000 чел. Профсоюзы мобилизовали на фронт и в резервные полки 10.000 человек. По мобилизации Петроградского военного округа призвано за июнь 21.000 рабочих. На фронт пошли и комсомольцы. Армия защитников Петрограда непрерывно росла. Люди чувствовали стальную, несокрушимую волю большевистского стратега. Части Красной армии 21 июня перешли в наступление и начали громить противника.

Товарищ Сталин телеграфировал Ленину:

«Перелом в наших частях начался. За неделю не было у нас ни одного случая частичных или групповых перебежек. Дезертиры возвращаются тысячами. Перебежки из лагеря противника в наш лагерь участились. За неделю к нам перебежало человек 400, большинство с оружием. Вчера днем началось наше наступление...

Пока что наступление идет успешно,

белые бегут, нами сегодня занята линия Керново — Воронино — Слепино — Касково»¹.

Наступление частей Красной армии развивалось успешно. Наши части стали освобождать селение за селением. Все контратаки белогвардейцев не могли уже остановить наше наступление. Удар был нацелен на Ямбург — важнейший узел путей. Это было грозное наступление, несущее неминуемое поражение белым.

Товарищ Сталин о положении на фронте писал:

«Белофинны под Олонцом, стремившиеся занять Лодейное Поле, опрокинуты и изгнаны в пределы Финляндии. Петрозаводская группа противника, стоявшая в нескольких верстах от Петрозаводска, теперь стремительно отступает под натиском наших частей, зашедших ей в тыл. Псковская группа противника выпустила из рук инициативу, застряв на одном месте, а местами даже отступая. Что касается нарвской группы противника, наиболее активной, то она не только не добилась своего, а, наоборот, непрерывно отступает под натиском наших частей, разлагаясь и тая под ударами Красной армии на путях к Ямбургу. Победные крики Антанты оказались, таким образом, преждевременными. Чаяния Гучкова и Юденича не оправдались»².

Доблестные части 7-й армии 5 августа освободили от белых Ямбург и вышли на западный берег р. Луга. 25 августа был нами занят Псков.

Об этом периоде героической борьбы под Петроградом так записано в «Кратком курсе истории ВКП(б)»: «Летом 1919 года на генерала Юденича, стоявшего во главе контрреволюции на северо-западе (в Прибалтике, под Петроградом), империалисты возложили задачу отвлечь внимание Красной армии от восточного фронта нападением на Петроград. Гарнизон двух фортов под Петроградом, поддавшись контрреволю-

ционной агитации бывших офицеров, поднял мятеж против Советской власти, а в штабе фронта был открыт контрреволюционный заговор. Враг угрожал Петрограду. Но принятыми Советской властью мерами при поддержке рабочих и матросов взбунтовавшиеся форты были освобождены от белых, войскам Юденича было нанесено поражение и Юденич был отброшен в Эстонию.

Поражение Юденича под Петроградом облегчило борьбу против Колчака. К концу 1919 года армия Колчака была окончательно разгромлена. Сам Колчак был арестован и расстрелян в Иркутске по приговору ревкома»¹.

Так, под руководством великого вождя народов тов. Сталина, с освобождением Красной армией Ямбура и Пскова был положен конец первому походу Юденича на Петроград.

Много славных страниц вписали в историю борьбы за нашу социалистическую родину петроградские рабочие, коммунисты, курсанты, моряки, бойцы, командиры и политработники Красной армии, защищая от белогвардейцев красный революционный Петроград.

Под руководством товарища Сталина Петроград превратился в неприступную крепость большевизма. Тов. Сталин не только отбил наступление белогвардейцев на Петроград, но и заложил мощный фундамент обороны Петрограда на будущее.

Огромная заслуга тов. Сталина состоит в том, что он сумел объединить в единое, неразрывное целое фронт и тыл Красной армии. Тов. Сталин показал, что нельзя разбить противника только обороной, а непременно энергичным, организованным наступлением на него.

Благодаря умелому руководству тов. Сталина части Красной армии, совместно с питерским пролетариатом и трудящимися Советской России, 20 лет тому назад вопреки предателям Троцкому, Зиновьеву и др. не только сумели отстоять революционный Петроград, но и обломки белой армии выбросить с советской территории.

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная армия. Государственное Военное издательство Наркомата обороны Союза ССР. Москва, 1937, стр. 43—44.

² Там же, стр. 157—158.

¹ «Краткий курс истории ВКП(б)», стр. 226.

Героические заслуги тов. Сталина по обороне Петрограда отмечены постановлением ВЦИК от 20 ноября 1919 г.:

«В минуту смертельной опасности, когда, окруженная со всех сторон тесным кольцом врагов, Советская власть отражала удары неприятеля, в минуту, когда враги Рабоче-Крестьянской Революции в июле 1919 г. подступали к Красной Горке, в этот тяжелый для Советской России час назначенный Президиумом ВЦИК на боевой пост Иосиф Виссарионович СТАЛИН своей энергией и неутомимой работой сумел сплотить дрогнувшие ряды Красной Армии. Будучи сам в районе боевой линии, он под боевым огнем личным примером воодушевлял ряды борющихся за Советскую Республику. В ознаменование всех заслуг по обороне Петрограда, а также

самоотверженной его дальнейшей работы на Южном фронте, ВЦИК постановил наградить И. В. СТАЛИНА орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»¹.

Сейчас город Ленина — неприступная крепость большевизма, которую защищают могучий советский народ, его Красная армия и Военно-Морской флот.

Товарищ Ворошилов в своей речи на XVIII съезде партии сказал: «Порукой тому, что враг будет на-коротке смят и уничтожен, служит политическое и моральное единство нашей Красной Армии со всем советским народом»².

¹ К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная армия. Государственное Военное издательство Наркомата обороны Союза ССР. Москва, 1937 г., стр. 166.

² К. Е. Ворошилов. Речь на XVIII съезде ВКП(б). Госполитиздат, стр. 32.

ОТ РЕДАКЦИИ УЧЕБНИКА „ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ СССР“

Коллектив писателей и литературоведов, возникший по инициативе Пушкинского общества, заканчивает работу над созданием учебника для старших классов средней школы «История литературы народов СССР». Новый учебник должен показать связь и взаимодействие литератур братских народов и роль русской литературы в деле развития литератур народов СССР.

Если русская литература изучена достаточно обстоятельно, то иначе обстоит дело с литературами наших братских республик. Для целого ряда национальных литератур только сейчас начался период собирания материалов и их историко-литературного изучения. Прежде чем приступить к созданию краткого курса «Истории литературы народов СССР», приходится проделывать большую исследовательскую работу по созданию отдельных монографий, посвященных изучению той или иной национальной литературы.

Редакция учебника «История литературы народов СССР» считает целесообразным опубликовать некоторые монографии, возникшие в связи с работой над учебником. Особенно остро чувствуется у нас отсутствие пособий и материалов по литературам народов Средней Азии. Предлагая вниманию советского читателя очерк члена-корреспондента Академии наук СССР Е. Э. Бертельса «Литература народов Средней Азии от древнейших времен до XV века», мы делаем, по существу, первую попытку ознакомления читательских кругов с удивительными богатствами древней культуры и литературы среднеазиатской семьи наших братских народов.

Редакция учебника и Учебно-Педагогическое издательство, обязавшиеся дать нашей школе хороший учебник по истории литературы народов Советского Союза, ждут критических замечаний, которые будут учтены в дальнейшей работе.

Главный редактор учебника „История литературы народов СССР“ академик АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.



Литература народов Средней Азии

от древнейших времен до XV века н. э.

Е. БЕРТЕЛЬС

★

СРЕДНЯЯ АЗИЯ ДО АРАБОВ

Древнейшие поселения

Как и когда заселил человек Среднюю Азию, мы пока еще не знаем. Письменных памятников от такого отдаленного прошлого сохраниться не могло, и восстанавливать картину этой давно ушедшей жизни можно только при помощи раскопок, которые более или менее систематически начали проводиться на территории Средней Азии только за последние годы.

Не подлежит ни малейшему сомнению, что человеческие поселения здесь были уже в 3—2-м тысячелетиях до нашей эры, т. е. во времена так называемого бронзового века. Раскопки около городища Анау, в нескольких километрах от города Ашхабада, центра Туркменской ССР, показали, что здесь уже в этот отдаленный период было довольно значительное население. При раскопках обнаружены остатки хлебных злаков — пшеницы и ячменя, что указывает на знакомство населения с земледелием. Найдены также и кости домашних животных — крупного рогатого скота, лошадей, овец и свиней. Это ясно говорит о том, что человек уже успел оценить и использовать представлявшиеся ему природой возможности для скотоводства.

Из металлов применялась только бронза, да и то в очень небольшом количестве. Главным материалом для изготовления домашней утвари служили

камень, дерево и кость. Ни луков, ни стрел не найдено. Оружием тогда были палицы, дротики и метательные камни.

На постройку домов шел кирпич, изготовлявшийся из лесса. Найдены и остатки глиняной посуды, сделанной без помощи гончарного колеса, но уже обожженной.

Как ни скудны эти памятники материальной культуры, но они все же ясно говорят о значительной архаичности ее, вместе с тем они показывают, что тогдашнее население Средней Азии проделало уже довольно длинный путь общественного развития.

Следующий культурный слой дает значительное увеличение бронзовых орудий, а среди домашних животных отмечается появление козы и верблюда, в третьем слое прибавляются уже и произведения искусства, статуэтки, может быть, имевшие культовое назначение.

Приручение верблюда говорит о значительном развитии земледелия и скотоводства. Верблюд почти всегда служил главным образом как вьючное животное, следовательно, жившие в этот период в Средней Азии патриархально-родовые общины уже успели добиться таких успехов в своей хозяйственной деятельности, которые позволяли им приступить к междубщинному обмену.

Средняя Азия при ахеменидах

Первые письменные свидетельства о народах Средней Азии относятся к се-

решине V в. до нашей эры. К этому времени в жизни среднеазиатских народов произошли значительные перемены, о которых мы узнаем в связи с событиями на территории теперешнего Ирана. В 553 г. князь персов Кир восстал против мидийского князя Астиага и после трехлетней войны одолел его и завладел его столицей. Эта победа положила начало возвышению дома Кира—ахеменидов. Укрепившись в Иране, Кир целым рядом походов распространил свою власть на все прилегающие области. Уже после 538 г. в списке принадлежащих Киру стран значатся Харасмия, т.-е. Хорезмский оазис, Бактрия, район теперешнего Балха, и Согдиана, т.-е. плодородная долина Зеравшана. Другими словами, наиболее богатые области Средней Азии вошли в состав Ахеменидского княжества. Известно, что в это время на территории Средней Азии кочевали племена савков.

Но не все обитатели Средней Азии подчинились Киру, — в 530 г. завоеватель погиб во время очередного похода в Среднюю Азию в борьбе с племенем массагетов. Один из ближайших преемников Кира—Дарий еще более расширил доставшееся ему княжество, и под его властью оказалось огромное пространство от малоазиатских берегов до Ганга.

Сведения о походах ахеменидов показывают, что к V в. на территории Средней Азии уже были племенные образования, среди которых видную роль играли хорезмийцы и согдийцы, оба народа иранского происхождения. Ахеменидские завоевания имели для этих образований очень большое значение. Они разрушили до известной степени их замкнутость и ввели их в состав огромного государства ахеменидов, связав их, с одной стороны, с культурой древней Греции, с другой—с Индией. Правда, связь эта в те времена не могла быть особенно тесной, в Согдиане был сохранен даже прежний царек, но, тем не менее, многие распоряжения ахеменидов должны были задеть и Среднюю Азию. Так, ахеменидами были введены во всех странах единые меры длины и ве-

са, установлена единая монетная система. Но больше всего значения имело, конечно, то, что в целях централизации во всех завоеванных областях ахеменидами учреждались различные канцелярии и, тем самым, на всей территории вводился единый официальный язык.

Язык и письменность

Эту громадную страну населяли десятки разных народов, говоривших на различных языках. Им нужна была письменность, которой до тех пор, повидимому, иранские племена не знали. Ахеменидский Иран использовал бывшую широко распространенной по Переднему Востоку вавилонскую клинопись и создал свою собственную систему письма. Вавилонское письмо было силлабическим, т.-е. каждый знак обозначал целый слог. Знаков получалось много, и изучение письма было весьма трудным делом. Иран свел все это обилие знаков к 36 основным начертаниям, т.-е. создал алфавит, покоящийся на принципах, близких к нашему современному письму. Чтение, тем самым, значительно упростилось.

Однако характер начертаний делал письмо это пригодным только для специальных целей, а не для повседневной переписки. Клинописью персидские цари пользовались для надписей, которыми они стремились увековечить свои имена, высекая их на зданиях или на отглаженных отвесных скалах. Так, на пути между Хамаданом и Керманшахом сохранилась знаменитая Бехистунская надпись (по имени горы, на которой она сделана) царя Дария, повествующая о его восшествии на престол и его победах над мятежниками. Надпись эта сделана на трех языках, дабы все население могло как можно шире с ней ознакомиться. Другие надписи сохранились на развалинах дворцов и гробниц. В недавнее время найдены золотые таблечки, на которых этим же письмом сделана запись об основании дворцов.

Для канцелярской переписки ахемениды пользовались арамейским языком, близким к древнееврейскому. Так

как этот язык самим правителям Ирана понятен не был, то применение его в качестве языка государственной переписки требовало больших штатов секретарей и писцов, которые набирались из военнопленных евреев. Есть основания думать, что, получив такой документ, секретарь сразу же переводил его вслух на персидский язык.

Так как для переписки пользовались арамейским письмом, то первые скорописные алфавиты для различных иранских языков были получены путем приспособления арамейских знаков к звукам иранских языков. Из происшедших этим путем алфавитов нам известны: согдийский, применявшийся в Согдиане, пехлеви, пришедший в самом Иране на смену арамейскому письму, и уйгурский, служивший позднее для одного из тюркских языков Средней Азии.

Таким образом, письменность в Средней Азии возникла под прямым влиянием Ирана.

Зороастризм

Кроме письменности, Иран занес в Среднюю Азию и религию, распространившуюся там при ахеменидах и называемую по имени ее легендарного основателя Зороастра (в иранском произношении Заратуштра) — зороастризмом. История этой религии до сих пор далеко не ясна. Иранские традиции относят рождение Заратуштры к VII в. до н. э., но греческий путешественник Геродот, посетивший Иран в середине V в. до н. э., говорит, что Заратуштра жил в глубочайшей древности, а это плохо вяжется с традицией.

Неизвестно также и место первоначального появления этой религии. Небольшие сохранившиеся до наших дней остатки священной книги зороастрийцев, называемой Авеста, упоминают некоторые географические названия, в том числе Самарканд, Балх, Каспийское море, озеро Урмия. Это заставляет предполагать, что зороастризм первоначально распространился именно в этом районе, но окончательно доказанным считать такое предположение нельзя.

Зороастризм — религия, покоящаяся на дуалистическом основании. По учению Авесты, мир создан верховным божеством Ахура-Маздой (буквально — «святой, подающий разум»). Но в сотворении его принял участие противник светлого бога — злое божество Ангра-Манью. Все зло на земле создано им, он породил различных нечистых животных, напустил на человека болезни и всячески старался испортить безупречное творение Ахура-Мазды. Человек создан Ахура-Маздой как помощник в борьбе против Ангра-Манью и его воинства, злых духов и всяческой нечисти. С помощью человека и светлых духов Ахура-Мазда в конце концов одолеет своего противника, и тогда в мире воцарится вечное блаженство.

Человек служит доброй силе, осуществляя на практике три основных добродетели: доброе дело, доброе слово и добрую мысль. Но самой величайшей заслугой зороастризм считает уход за землей. Праведник, по его представлению, — тот, кто провел воду на землю, вспахал ее и засеял. Грешник — тот, кто дал заглохнуть земле или разорил посевы. В связи с этим земля, вода и огонь признаются чистыми и священными. Осквернять их нельзя, а так как, по представлению зороастризма, труп человека нечист, то нельзя и хоронить покойника. Отсюда у зороастрийцев выработалась особая система погребения. Труп выставлялся на особых башнях на площадке на сечение хищным птицам. Когда в результате тления и работы птиц оставался лишь скелет, кости складывались в особые каменные ящики, в которых и хранились.

Понятно, что при таком исключительном внимании к земледелию зороастризм не забыл и ближайших помощников земледелия. Священными были признаны бык (на котором пашут и доныне), собака — хранитель дома и стада, и петух. По зороастрийским поверьям, при крике петуха злые духи проваливаются в преисподнюю, — верование, которое еще так недавно было распространено и в русской деревне.

Есть основания думать, что в верованиях ахеменидов еще не было полного

совпадения с зороастрийскими учениями.

Религия эта представляет очень любопытный показатель состояния культуры того времени. Настойчивое подчеркивание преимуществ земледелия ясно говорит о том, что мы имеем перед собой общество, в котором оседание на землю произошло лишь частично, что жреческая каста стремилась расширить и ускорить этот процесс, противопоставляя «праведного» земледельца «грешному» кочевнику, совершающему набеги на деревни и портящему посеvy.

Мифология древнего Ирана и зарождение эпоса

Мы видели, что уже около V в. до н. э. среди иранских племен, в том числе и в Средней Азии, начинает распространяться письменность, причем служит она или нуждам административным, или религии. В это время существовал и широко развитый фольклор, некоторые черты которого, несмотря на крайнюю удаленность эпохи, можно установить.

Источниками наших сведений об иранской мифологии служат, с одной стороны, данные греческих авторов (уже упомянутый Геродот, врач царя Артаксеркса II Ктесий и др.), с другой — обломки легенд и преданий, сохранившихся в Авесте и в иранском героическом эпосе — «Шахнамэ», о котором мы еще скажем подробнее.

Среди иранских племен жили легенды и предания о первых людях на земле и их борьбе со злыми духами — «дивами». Интересно, что первого человека звали Гайо-марган, что значит: «земной-смертный». Его сподвижником был «праведный бык» — Гошурван. Первый человек пал жертвой злых сил, но его потомки выросли из земли в виде двух сплетающихся вместе растений, и от них пошло все человечество.

Высшего расцвета человек достиг при царе Йиме, в царстве которого не было ни холода, ни зноя, ни болезней, ни старости, ни смерти. Йима был поэтому самым страшным противником для

Ангра-Манью. Злой дух пытается соблазнить праведного царя и добивается успеха, — Йима совершил грех. Тем самым он становится уязвимым, и против него выходит страшное чудовище — лютый змей Ажи-дахака. Йима гибнет, его прекрасное царство становится невидимым и появляется вновь на земле только после окончательной победы над злом. Вместо Йимы завладевает миром людоед Ажи, царят насилие и неправда. И вот в горных долинах появляется мститель, славный витязь Трайтаона. Его вдали от всех людей воспитывает корова. Когда настает время, Трайтаона, объединившись с кузнецом Кава, кожаный передник которого служит знаменем восставшим, свергает Ажи-дахака и заковывает его навсегда в глубинах горы Демавенд.

Хотя эта легенда и дошла до нас в сильно измененном и приспособленном к нуждам позднейших правителей виде, но интересно отметить, в какой глубокой древности человечество уже воплотило в легенде свою мечту, ставшую действительностью только в наше время.

Рядом с преданиями мифологического характера существовало и героическое сказание, повествовавшее о богатырях, их битвах за родную землю, их подвигах в борьбе со всякими сказочными чудовищами и о том, как они добывали и умели отстоять достойную их героиню — жену. Женщина в этих сказаниях — еще не рабыня, не товар, как позднее она стала на Востоке. Она свободна и равна мужчине.

Александр Македонский и его походы

В 334 г. до н. э. молодой македонский князь Александр перешел Геллеспонт (так назывался тогда пролив, отделяющий Европу от Азии) и вступил на азиатскую землю. Ахеменид Дарий III собрал все силы, чтобы отразить завоевателя. Но столкновения кончались полным поражением персидских войск. Видя безнадежность своего положения, Дарий покинул страну и бежал в Среднюю Азию, видимо, надеясь найти поддержку там, но двое из его вельмож,

желая выслужиться перед новым повелителем, убили его.

Александр в 331 г. завладел столицей ахеменидов — Персеполем, где по его приказу был сожжен дворец царей—изумительное произведение искусства, отделанное украшениями из редких пород дерева и замечательными изразцами, часть которых сохранилась и до сих пор.

Укрепив свою власть в Иране, Александр пошел на Среднюю Азию. Путь его лежал через Балх, затем Александр спустился вниз по Аму-Дарье и переправился через нее около теперешнего Термеза.

Довольно скудные сведения, сохранные нам историками, показывают, что за время ахеменидского господства в Средней Азии успели произойти значительные перемены. Из среды патриархальных земельных общин выдвинулась родовая аристократия, которой и принадлежало господство в стране. Историки говорят о 7.000 «всадников», являвшихся носителями власти. На своих землях они, повидимому, были властны над жизнью и смертью земледельцев. Многие из «всадников» построили себе в неприступных горных местах укрепленные замки, куда и укрывались в случае военных столкновений. Харасмия (Хорезм) в это время уже совсем оторвалась от ахеменидского Ирана, ибо князь ее, прибыв к Александру, говорил с ним, как равный с равным, и даже обещал поддержку. Александр прошел Мараканду (Самарканд), взял Кирополь (теперешнее Ура-тюбе) и двинулся на север к Яксарту (Сыр-Дарье), где и основал город Александрию (позднее Ходжент, теперь Ленинград).

Многие из местных князьков вступили с ним в соглашение, а некий Оксиарт даже выдал за него замуж свою дочь Рохшанак (327). Ряд восстаний в тылу, однако, не позволил Александру долго задерживаться в северной части. Он вернулся обратно, а затем двинулся на Индию и на обратном пути из этого последнего похода в 323 г. умер.

Походы Александра еще теснее связали Среднюю Азию с окружающими

странами. Установились прочные связи с Индией, были проложены новые постоянные пути (на Хорезм, из Маргианы (Мерва) в Бактрию, путь через Памирские ущелья). Население Средней Азии познакомилось с представителями целого ряда народов, входивших в армию завоевателя, о которых оно ранее даже ничего и не слыхало. Но особенно глубокого влияния на народы эти походы, конечно, оказать не могли, гораздо важнее были для этой страны последующие века.

Преемники Александра

С 312 г. господство над Средней Азией закрепилось в руках у одного из полководцев Александра — Селевка. Селевкидский период обозначает для Средней Азии значительное упрочение связей с Западом.

В Маргиане (области Мерва) ведутся большие работы, строится город. Во всех уже ранее существовавших городах размещаются греческие гарнизоны. В городах начинают селиться греческие купцы, и население Средней Азии знакомится и с новыми языками, и с произведениями древнегреческого искусства.

Но селевкидам не долго пришлось господствовать. Уже к середине III в. до н. э. две важнейшие области открываются и становятся самостоятельными. Это Бактрия, тянувшаяся от Согды до Мерва, где было основано так называемое греко-бактрийское царство Диодота, и Парфия, обнимавшая значительную часть современной Туркменской ССР, где местная династия была основана Аршаком. Его преемники выстроили для себя укрепленный замок к востоку от Неса (невдалеке от теперешнего Ашхабада), на склонах Копет-дага, на месте, изобилующем прекрасной водой и отличающемся исключительным плодородием.

Во II веке до н. э. на границах Китая возникла кочевая империя народа тюркского происхождения, известного под названием, данным ему китайцами, «хун-ну», в Европе же получившего название гуннов. Под давлением гуннов

тюркские кочевые племена приходят в движение, и на Среднюю Азию с востока начинает двигаться непрерывный поток кочевников, сметающих местную аристократию и захватывающих власть на огромном пространстве от Эби-Нора до Бухары включительно. Под их ударами рухнуло и греко-бактрийское царство, уступив место иранским кочевникам, известным под названием тохаров или кушани, которые двинулись как на запад, так и к юго-востоку, захватив также и части Индии и образовав так называемое индо-иранское или кушанское княжество. Продвигаясь от верховьев Аму-Дарьи на запад, тохары вплотную соприкоснулись с поселениями согдийцев, от которых их отделяли только Байсунские горы. Даже много столетий спустя, при арабском господстве, местность к востоку от этих гор по старой памяти называлась Тохаристан.

В противоположность Бактрии Парфия не только сохранилась, но могущество ее все возрастало. В I в. до н. э. парфяне пришли в столкновение с Римской империей. Не привыкшие к поражениям римские легионы на протяжении ряда лет не могли противостоять бешеному натиску парфянской конницы. В одном из боев парфянам удалось захватить в плен десять тысяч римских воинов, которые и были поселены под Мервом.

Однако в III в. н. э. на месте парфянского государства возникло новое образование, в 224 г. это государство заняли сасаниды, представителю которых Ардеширу удалось подчинить себе всех князей Ирана. Сасаниды ставили себе задачей восстановление традиций старого ахеменидского Ирана. Все же распространить свою власть до прежних пределов они не смогли, и Средняя Азия под их владычество не подпала. Напротив, среднеазиатские племена на всем протяжении сасанидской истории были грозным врагом Ирана. Не раз сасанидские князья предпринимали походы на север для защиты своих границ, в особенности в V в., когда в Средней Азии появилось племя эфталитов. Но походы эти большей частью результа-

тов не давали. Некоторые из сасанидских царей, например, свергнутый родовой аристократией Кобад (488—531), даже вынуждены были искать помощи у среднеазиатских хаканов.

Приток тюркских племен в Среднюю Азию особенно усилился в VI в., достигнув своего высшего напряжения к 630 г. К этому времени Аму-Дарья окончательно делается северной границей Ирана, а Средняя Азия получает у иранцев название Туркестан, т.-е. «обиталище тюрков».

Культура Средней Азии при преемниках Александра

Мы видели, к какому смещению разнообразнейших народов на среднеазиатской территории привели исторические события после смерти Александра Македонского. Это смещение благоприятно повлияло на дальнейшее культурное развитие. Расширившиеся до широчайших пределов международные связи повлекли за собой оживление обмена, в котором важнейшую посредническую роль играли согдийцы, со своими караванами ходившие от Китая до Черного моря.

Уже во II в. до н. э. согдийцы начинают вывозить шелк из Китая. Вывоз из Китая железа повлек за собой возникновение в Фергане оружейного производства и изготовления различных металлических изделий. С запада торговцы везли стекло, и к V в. в Бухаре налаживается собственное производство цветного стекла, причем блеском это стекло даже превосходило византийские изделия. Развитию торговли сопутствует расширение городских центров. Известно, что в Таласе (около теперешней Алма-Аты) жили купцы различных стран. Согдийцы свои колонии выдвинули до самого Лоб-Нора, и недаром восточные ворота Самарканда носили название «Китайских». Как интересный факт можно отметить, что в Кушании был дворец, где стены были расписаны фресками, изображавшими китайских, тюркских, индийских, персидских и римских царей. Этого достаточно, чтобы понять, до какой степени расширились границы мира для жителей Средней Азии.

Оживленные сношения с сопредельными странами вызвали появление в Средней Азии различных новых религий. Из Индии был занесен буддизм, причем буддийские проповедники развили большую деятельность по постройке храмов и монастырей. Из Ирана в Среднюю Азию проникло сложившееся в III в. н. э. учение манихеев, представлявшее собой своеобразное сочетание дуализма зороастрийцев с элементами греческой философии. Оттуда же шел и приток христиан, которых было много под властью сасанидских царей и которые под влиянием гонений искали убежища в Средней Азии.

Письменность на согдийском и уйгурском языках

Все эти религии несли с собой различные виды письменности, с большим или меньшим успехом приспособившейся к местным языкам. Так, от Хотана до Лоб-Нора получили распространение индийские письма харошти, а по всей Средней Азии широко распространилась согдийская письменность, древнейшие памятники которой нам известны от I в. н. э.

Не нужно, однако, представлять себе, что в это время широко распространилась грамотность. Количество людей, умевших читать и писать, было в те времена ничтожно. Затруднения вызывала как дороговизна, так и редкость бумаги, в значительной степени ввозившейся из Китая. На недостаток бумаги указывает хотя бы то, что часть известных нам деловых согдийских записей делалась не на бумаге, а на слегка оструганных палках, на которых писали в длину.

По содержанию дошедшие до нас фрагменты согдийской письменности делятся на две группы. Одна из них — священные буддийские тексты, легенды о различных воплощениях Будды и поучения (сутры), представляющие собой перевод с индийских языков или с китайского.

Вторая группа — деловые документы, которых до последнего времени в нашем распоряжении было крайне мало. Поэто-

му громадную ценность для науки представляет находка нескольких десятков документов такого рода, добытых в 1933 г. в Таджикской ССР при раскопках развалин древнего укрепления.

Понятно, что по содержанию та и другая группы памятников письменности имеют мало отношения к литературе и представляют наибольшую ценность для языковеда и историка.

Как уже сказано, вариант согдийского письма был приспособлен и для передачи тюркских языков Средней Азии. Дошедшие до нас памятники этого, так называемого уйгурского, письма тоже представляют собой переводы различных священных книг. Но здесь, кроме литературы буддийской, до нас дошли еще и отрывки произведений манихеев, — это показывает, что представители манихейства, встретив гонение на территории Ирана, пытались распространять свои учения среди тюркских племен Средней Азии.

Литература на языке пехлеви

Литературы художественной на языках народов Средней Азии этого периода пока еще не найдено. Но это отнюдь не может считаться доказательством того, что такой литературы не существовало.

На территории сасанидского Ирана в те времена наблюдалось весьма значительное оживление литературной жизни, достигшее наивысшего расцвета при Хосрое I Ануширване, т.-е. около середины VI в. н. э.

Литературным языком тогда в Иране был так называемый пехлеви (или парфянский). Письменность осуществлялась при помощи особого алфавита, созданного на основе арамейского письма. Пехлеви выработал крайне своеобразную и чрезвычайно неудобную систему письма, в которой все важнейшие элементы языка, наиболее часто встречающиеся имена, местоимения, предлоги, глаголы, писались не по-персидски, а по-арамейски. Читающий заменял эти «идеogramмы» на их персидские эквиваленты,

и, таким образом, при чтении звучала чисто персидская речь.

Эта система крайне затрудняла распространение грамотности, делая ее особой наукой, доступной только для достаточно обеспеченных кругов. Но, несмотря на все трудности, письменность на языке пехлеви все же развивалась. До нас дошло от нее очень мало, что объясняется как неудобством самого письма, так и тем, что с X в. пехлеви уже перестал быть литературным языком, книги на нем сделались непонятными, а потому их уже не переписывали и не сохраняли.

Наряду со священными книгами, зороастрийскими и манихейскими, и деловыми документами пехлеви знал и художественную литературу. До нас дошли остатки исторического романа об основателе династии сасанидов Ардашире, отдельные легенды исторического и полуисторического содержания, как, например, крайне любопытное предание о появлении в Иране шахмат, привезенных из Индии.

Существовала также и литература переводная. Переводили с индийских языков, например, знаменитый, вошедший впоследствии в литературу всех народов мира, сборник басен о животных: «Калила и Димна». Судьба этой книги чрезвычайно своеобразна. Через посредство сирийских, арабских и еврейских переводов она проникла в Европу, была переведена на латинский и греческий языки, с латинского перешла в целый ряд романских языков, а с греческого — на древнеславянский, и в ряде превращений дожила почти до наших дней, найдя свое воплощение как в некоторых баснях французского поэта Лафонтена, так и в замечательных творениях нашего баснописца И. А. Крылова.

Но переводческая деятельность Ирана не ограничилась одними индийскими языками. Переводили также и с греческого, используя так называемую александрийскую литературу, возникшую на стыке Востока и Запада в гор. Александрии. Так, на пехлеви был переведен фантастический роман о походах Александра Македонского, написанный по-гречески, вероятно, около I в. до н. э.

Интересовались иранские переводчики и любовно-приключенческими романами, создававшимися на протяжении II—V вв. н. э. Хотя эти переводы и не сохранились, но следы их влияния отчетливо ощущаются в более поздней персидской литературе.

Таким образом, Иран и Средняя Азия далеко не были столь изолированными от остального мира, как это себе обычно представляют. Напротив, можно утверждать, что для сасанидского Ирана разница между двумя мирами — Востоком и Западом — почти не существовала. Пути развития все время перекрещиваются, в результате чего создавались крупнейшие культурные памятники. Литература на языке пехлеви убедительно показывает, что концепция буржуазных ученых о противоположности Востока и Запада — не что иное, как только идеологическое прикрытие для обоснования колониационной политики и грабительского захвата восточных рынков.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ ПРИ АРАБАХ

Ислам и арабское завоевание

Около 610 г. на Аравийском полуострове началось движение, оказавшее громадное влияние на дальнейшие судьбы человечества. В Мекке, главном городе Хиджаза, стали распространяться проповеди Мухаммеда, основателя мусульманства, или, как называют эту религию сами ее последователи, ислама, т.-е. «вручения» себя богу. Хотя арабские историки и сохранили нам множество преданий о Мухаммеде, но, как устанавливает историческая критика, к преданиям этим нужно относиться крайне осторожно. В настоящее время еще очень трудно отделить историческую истину от покрывших ее легендарных напластований и установить настоящие очертания фигуры Мухаммеда.

Во всяком случае, можно констатировать, что мусульманскому движению удалось преодолеть патриархально-родовые традиции, господствовавшие среди арабских племен полуострова. Арабский халифат, возникший из племен, объеди-

жившихся вокруг племени Бени-Корейш в Мекке, уже к середине VII в. превратился в грозную силу, неудержимо стремившуюся к распространению своей власти.

В 636—7 гг. арабские кочевники сломали сопротивление иранской аристократии и открыли себе дорогу на север. Но междоусобные войны, раздиравшие мусульманскую общину при первых халифах, мешали слишком широкому распространению арабской власти. Только после закрепления ее в руках династии омейядов, своей столицей избравших Дамаск, арабы получили возможность двинуться даже и за пределы Ирана.

Первые завоевательные попытки арабов носили характер набегов. Перейдя Аму-Дарью, они грабили большую или меньшую территорию, а на зиму возвращались на свою базу, в Хорасан. Только в 681—3 гг. один из арабских наместников сумел провести всю зиму в Мавераннахре (т.-е. Заречьи, местности по ту сторону реки Аму-Дарьи), как называли Среднюю Азию арабы.

Средняя Азия в это время распадалась на множество отдельных областей, управлявшихся независимыми князьками. При первых набегах арабов они пытались объединиться и на совещании, состоявшемся около Хорезма, постановили прекратить внутренние раздоры и совместными силами отражать врагов. Но из этих благих намерений ничего не вышло. Значительная часть князьков старалась вести двойную игру, заключая соглашения то с арабами, то с китайцами и предавая и тех, и других.

По крайней мере, когда в 704—5 гг. в Среднюю Азию двинулся знаменитый полководец Кутейба, то князь вместо того, чтобы согласовать свои действия, начинают обороняться поодиночке и в результате не могут остановить его натиск. Правитель области Саганиан даже призывает арабского полководца на помощь против своих врагов.

В 712 г. Кутейба достиг Хорезмского оазиса и выступил там в качестве защитника местного князька хорезмшаха от его же собственной родни. Арабы прежде всего стараются закрепиться в плодородной равнине Мианкаля. В

713 г. они строят в Бухаре первую мечеть, но привлечь в нее молящихся из новообращенных мусульман им удавалось только при помощи выдачи денежной награды за каждое посещение пятничной молитвы.

Кутейба продвинулся на север до самого Шаша (теперешний Ташкент), а на юго-восток — до Кашгара. Арабские наместники были даже и в Фергане, но власть их на этих окраинах не была прочной. Наместники играли скорее роль военных губернаторов и разделяли власть с местными династиями.

В 715 г. Кутейба пытается поднять восстание против центральной власти, но терпит неудачу. Почти одновременно с этим западную часть Средней Азии захватывают тюрки.

Такое положение требует от халифов энергичного вмешательства, и в 721 г. в Согдиане появляется карательная экспедиция Саида-ал-Хараша, начавшего столь жестоко усмирять население, что согдианцы массами стали эмигрировать в Фергану и Ходженд. Там, однако, в результате предательства местного князька они почти все были истреблены. Для облегчения борьбы с местными князьками арабы по всей захваченной области ставят военные посты, так называемые рабаты, которые связываются между собой непрерывно работающей почтой.

Но и эти меры мало помогали. Главным затруднением для арабов был вопрос о налогах. Первоначально в завоеванных областях налогом облагалась только та часть населения, которая сохраняла свою прежнюю религию. Все вновь обращенные мусульмане от налога освобождались. Такая тактика повлекла за собой массовый переход местного населения в новую веру, которая не накладывала на них почти никаких обязательств, но освобождала от налога. В результате поступления катастрофически упали, что для арабских правителей было, конечно, крайне невыгодно. Поэтому льгота для новообращенных была отменена, и с них начали требовать налог. Это вызвало возмущение, почти сейчас же по всей стране вспыхнуло восстание, причем вос-

ставшие призвали на помощь тюрков. Восстание приняло такие размеры, что к 728 г. в руках у арабов оставался только один Самарканд. Борьба шла с переменным счастьем более десяти лет. В 737 г. тюрки усилились настолько, что перешли на левый берег Аму-Дарьи. Но нелады между князьками опять дали арабам возможность упрочить свое положение. Началось новое наступление, которое в 739 г. позволило арабам опять заключить договоры с владельцами северных областей Осрушны, Шаша и Ферганы.

Восстание Абу-Муслима

Положение крайне осложнялось тем, что внутри самого халифата тоже не было единства. На халифский престол, помимо дома Омейи, претендовала и другая ветвь семьи пророка — потомки Аббаса, дяди Мухаммеда. Омейядские халифы, владевшие громадным государством, населенным десятками различных народов, в своей политике придерживались принципа исключительного предпочтения арабов. Это вызывало громадное недовольство старой родовой аристократии и влекло за собой те восстания князьков, о которых мы говорили выше.

Аббасиды учли это обстоятельство и в основу своей агитации положили обещание уравнения прав всех бывших носителей власти.

В 747 г. в Хорасан прибыл исфаханец Абу-Муслим, действовавший в качестве эмиссара аббасидов. Он быстро привлек на свою сторону дихканов, как называлась иранская родовая аристократия, и в 748 г. весь Хорасан был в его руках.

С помощью Абу-Муслима аббасидам удалось произвести переворот. В 750 г. халифский престол занял первый аббасид, носивший прозвание Саффах (Щедрый). Добившись власти, аббасиды попытались было отказаться от выполнения своих обещаний, но это вызвало сразу же целую цепь восстаний, в том числе и в Бухаре и Хорезме. Абу-Муслиму пришлось выступить в роли врага привлеченных им союзников; подавить

их движение ему удалось только ценой чудовищных жестокостей.

Когда в стране вновь наступило относительное спокойствие, аббасиды вызвали своего сподвижника ко двору и, опасаясь чрезмерного его усиления, предательски его умертвили.

Все же аббасидам было ясно, что одним насилием и потоками крови удержать халифат не удастся. Начинается полоса уступок. Характерно, что аббасиды даже создают себе новую столицу — Багдад, на берегу Тигра, напротив развалин Ктесифона — бывшей столицы сасанидов. Этим подчеркивается новая ориентация на союз с иранской аристократией.

Нельзя сказать, чтобы эта политика принесла аббасидам особые выгоды. Последствием ее явилось значительное возрастание могущества старых родов. Аббасиды пытаются лавировать между ними, натравливая одних на других, но все чаще и чаще им приходится только подкреплять дипломами и грамотами княжеские захваты, далеко не всегда входившие в планы багдадских правителей.

Постепенно князья начинают чувствовать все бессилие Багдада и, оставаясь на бумаге вассалами халифа, фактически добиваются полной самостоятельности. Так, халифат вновь начинает распадаться на части, из которых особенно нужно отметить Хорасан, который с 821 г. перешел в обладание тахиридов, Сеистан, доставшийся с 867 г. саффаридам, и среднеазиатские области. Эту часть халифата аббасиды дали в лен саманидам, из которых эмир Исмаил в 930 г. сумел рядом удачных походов создать огромное княжество, охватившее все области от Ферганы до Багдада и имевшее свой центр в Бухаре.

Литература периода арабского завоевания

Наиболее характерной чертой этого периода можно считать постепенное вытеснение местных литератур в захваченных арабами областях литературой арабской. Чтобы понять это явление,

нужно, хотя бы в общих чертах, коснуться вопроса о том, как протекала литературная жизнь у самих завоевателей.

Уже в период патриархально-родовых отношений арабские племена обладали богатой и чрезвычайно своеобразной поэзией, о которой мы имеем довольно ясное представление благодаря усилиям ученых омейядского периода, с большим рвением собиравших и записывавших творчество арабских кочевников.

Почти каждое более или менее крупное племя обязательно должно было иметь собственного поэта. На обязанности певцов, в громадном большинстве неграмотных, лежала охрана чести племени. Творцу мерной речи приписывались магические силы. Думали, что он своими звучными рифмами может обеспечить успех тем или иным начинаниям, набегам, походам и, в то же время, нанести ими ущерб врагам и соперникам. Для изложения своих мыслей поэты пользовались особой поэтической формой, носившей название «касыды» и представлявшей собой нечто вроде торжественной оды.

Строилась она по определенному плану, освященному вековой традицией и допускавшему только небольшие отклонения. Поэт обычно начинал касыду описанием своих чувств при отъезде с кочевья и горевал о разлуке со своей возлюбленной. Далее описывались трудные и опасные странствия по пустыне; в сжатых и метких картинах изображались явления природы, животный мир, с которыми поэту приходилось встречаться. Поэт воспевал верного своего спутника и друга, верблюда, от выносливости которого зависела жизнь певца, и любимое оружие — длинное, гибкое копьё и тугой лук.

Многие из этих картин показывают тонкую наблюдательность и глубокое знание пустыни и ее обычаев. Перед читателем встает образ сильного и бесстрашного степного хищника; недаром один из поэтов сравнивает себя с волком, выходящим на добычу, у которого от голода втянулся живот. Описательная часть приводила к главной и основ-

ной теме — прославлению племени или самого поэта, как достойного его представителя, или же родового вождя. Особенно подчеркивались главные добродетели, которыми арабы гордились больше всего, — щедрость и гостеприимство. По всему Переднему Востоку разлетелась, например, легенда о Хатиме — бедуине из племени тай, который ради гостя был готов пожертвовать своей собственной головой.

При омейядах характер арабской литературы изменился мало. Страстные поклонники арабской старины, омейяды, несмотря на свой сан, предписывавший им быть руководителями всей мусульманской общины, с величайшим рвением покровительствовали собиранию и записыванию домусульманской бедуинской поэзии. Однако наряду с соблюдением старых традиций замечаются и некоторые изменения. Рост городов менял вкусы поэтов и их аудитории. Жителя большого города уже не удовлетворяли картины кочевой жизни, о которой он сам знал только понаслышке.

На смену старой касыде с ее героизмом приходит нежная любовная лирика такого мастера, как знаменитый мекканец Омар ибн-Аби-Раба (643—718). Его стихи свободны от шаблонных построений старой поэтики. Он в изящных миниатюрах показывает сценки галантной жизни большого города.

Именно в эту эпоху арабы вошли в тесное соприкосновение с Византией и Ираном, и под влиянием этих культур у них поднялся интерес к музыке и пению. Стихи Омара ибн-Аби-Раба могли служить прекрасными текстами для нежных романсов и привлекли к себе внимание всех наиболее выдающихся певцов аристократического круга.

Приход к власти аббасидов и перемена ориентации в политике еще более ускорили отход литературы от старой тематики. Правда, будущие поэты по-прежнему начинают свое образование в пустыне, в шатрах бедуинов, где, по мнению знатоков, сохранялся наиболее чистый арабский язык. Но завершение образования уже протекает в городах. В таких центрах, как Басра и Куфа, вырастают целые грамматические шко-

лы, ставившие себе задачей глубокое теоретическое изучение арабского языка и достигшие в этом больших успехов. В работах тогдашних лингвистов видное участие принимали и иранцы, стремившиеся как можно лучше усвоить язык победителей.

Границы мира для арабских ученых раздвинулись. Неутомимые путешественники, не страшась трудностей и опасностей пути, пускаются в странствия по необозримым просторам халифата, и у них зарождается обильная географическая литература, сохранившая нам ценнейшие сведения об этой отдаленной эпохе.

Соприкосновение с разнообразнейшими народами вызывает интерес к их истории. Появляется ряд исторических работ, повествующих не только об истории ислама, жизни пророка и арабских завоеваниях, но освещающих также и историю древнего Ирана и всех сопредельных стран. Именно арабским географам и историкам мы обязаны древнейшими сведениями о русском народе.

Интерес к старине распространяется и на старую литературу Ирана. В аббасидский период, после усиления иранской аристократии, широко практикуются переводы с пехлеви на арабский. Переводятся как исторические хроники, так и художественная литература. Занесенная из Индии в Иран «Калила и Димна» переводится с пехлеви на арабский язык.

Соприкосновение с западной культурой влечет за собой перевод ряда философских работ с греческого языка на арабский. Имена Платона и Аристотеля становятся хорошо известными арабским ученым, которые пытаются идти по проложенным ими путям и кладут начало богатой и оказавшей сильное воздействие на средневековую Европу арабской философии.

Зарождается и теоретическое литературоведение. Ибн-ал-Мутааз (861—908), халиф, правивший, правда, всего лишь только один день, составляет одну из первых поэтик на арабском языке.

Вся эта литературная деятельность протекает не только в центрах халифата. Она распространяется во все его преде-

лы, в том числе и в Среднюю Азию. Характерной чертой литературной продукции среднеазиатских народов этого времени является то, что вся она целиком — на арабском языке. Местные языки, как будто, совершенно устраняются. Причины этого понятны. Мы видели, что литература и письменность на местных языках особенно обильная быть не могла. Кроме того, характерная для натурального хозяйства разобщенность районов способствовала сохранению местных языков и удерживала их от слияния друг с другом. Поэтому произведение, написанное на местном языке, не могло рассчитывать на особенно большой круг читателей. Арабский язык, как язык правительства, напротив, распространился во всех краях халифата, и если не был доступен массам, то его хорошо знали все, кто так или иначе был связан с правящими кругами, т.-е. занимал привилегированное положение.

Именно этот оттенок привилегированности заставляет и местную аристократию стремиться к овладению арабским языком и идущими из центра халифата науками. Говоря по-арабски, представитель аристократии как бы подчеркивал свое право на власть, показывал, что он не «деревенщина», кроме своего родного языка, другого языка не знающая. Другими словами, складывается положение, чрезвычайно похожее, например, на положение англосаксонской земельной аристократии в момент завоевания Англии норманнами (1013—1036), когда многие представители местной знати, тянувшиеся к местному двору, тоже сменили свой родной язык на язык норманнский.

Распространение арабского языка давало возможность арабским поэтам и писателям не ограничивать свою деятельность центром халифата, а выезжать и на окраины. Так, известный арабский поэт и литературовед Абу-Теммам (ум. 845 г.) свою знаменитую антологию арабской поэзии, известную под названием «Хамаса» (т.-е. доблесть, геройство), составил не в арабских странах, а в Хорасане, на границах Средней Азии.

Новые науки проникли даже и в далекий и трудно доступный Хорезмский оазис. Там был создан один из древнейших арабских трудов по математике, автор которого Мухаммед ибн-Муса ал-Хорезми положил начало разработке учения о логарифме. Самое слово «логарифм» не что иное, как искажение прозвания «ал-Хорезми», допущенное средневековыми западноевропейскими учеными.

Сначала арабская наука насаждалась отдельными учеными, читавшими курсы во вновь построенных в завоеванных городах мечетях, но к концу периода возникают уже и первые учебные заведения, «медресе», пока еще частные (правительственные медресе основываются только с XI в.). Эти школы хотя в основном и должны были готовить к духовному званию, но ввиду того, что светские науки тогда еще не успели вполне оторваться от богословия, в число преподаваемых предметов включалось и многое другое, как математика, химия, философия, грамматика, поэтика и т. п.

Арабские колонисты занесли в Среднюю Азию и начавшееся на исламской почве аскетически-мистическое учение, получившее впоследствии название суфизма (от слова «суф» — шерстяная одежда, власяница, которую носили суфий).

В Балхе протекала деятельность Ибрахима ибн-Адхама (ум. 776 — 7 гг.), распространявшего учение о бренности мира и о необходимости презирать земные блага. Восставшие против роскоши представители суфизма нашли много последователей среди ремесленного населения городов, и суфизм по временам начинал носить выраженный характер оппозиции против светской власти, которая боролась с ним путем свирепых преследований.

Увлечение арабским языком в Средней Азии заходило так далеко, что некоторые из представителей правящего класса не только не развивали свой родной язык, но совершенно его забывали, и даже тогда, когда похвалялись своим иранским происхождением, говорили об этом только на арабском языке. Каза-

лось, что арабский язык делается на многие века единственным литературным языком всех среднеазиатских народов. Но ослабление халифата и отпадение от него ряда княжеств повлекли за собой смену направления, и в X в. арабский язык снова отступает на второй план, и место его занимает другой литературный язык — персидский.

БОРЬБА МЕСТНОЙ АРИСТОКРАТИИ ПРОТИВ АРАБОВ

Саманиды и расцвет литературы на персидском языке

С 875 г. власть в Средней Азии, как мы уже говорили, переходит в руки династии иранского происхождения — саманидов. Столицей большинства саманидских эмиров стала Бухара, но и Самарканд также крайне разросся и приобрел крупное значение. Саманиды официально считались вассалами аббасидских халифов в Багдаде и даже получали от них особые грамоты на управление принадлежавшими им областями, но фактически обладали полной независимостью и в подтверждении своих прерогатив в Багдаде вовсе не нуждались. Халифам это было хорошо известно, но предпринять что-либо для подчинения саманидов они не могли. Такая дальняя экспедиция багдадским властителям уже была не под силу. Им приходилось довольствоваться тем, что внешне бухарские эмиры всегда старались соблюдать необходимые, с точки зрения феодального этикета, приличия.

Кроме того, приходилось мириться с саманидами еще и потому, что они выполняли крайне важную для халифата роль охраны северных и восточных границ от нападений со стороны тюркских кочевых племен. Саманидам часто приходилось воевать с тюрками, и одно время они достигли значительных успехов, взяв сына хакана (хана) в заложники.

Укрепив свою власть в Средней Азии, саманиды создали в Бухаре пышный двор, к которому стремились привлечь всех наиболее выдающихся деятелей искусства и науки. При двор-

це в Бухаре сложилась обширная библиотека, в которой были собраны лучшие книги того времени. Вот как описывает эту библиотеку знаменитый врач и философ Авиценна, одно время в виде награды за лечение эмира Нуха II (976—997) получивший разрешение в ней работать:

«Я вошел в дом со многими комнатами; в каждой комнате были сундуки с книгами, положенными одна на другую. В одной комнате были книги арабские и поэтические, в другой книги по законоведению и т. п., в каждой комнате книги по какой-нибудь одной из наук. Я прочитал список книг древних авторов и спросил то, что мне было нужно. Я видел такие книги, которые многим людям неизвестны даже по названию. Я никогда не видел подобного собрания книг, ни раньше, ни позднее».

Это весьма краткое описание показывает, что обильная библиотека саманидов даже была систематизирована по отраслям и имела каталоги. Уже одного факта существования библиотеки в Бухаре достаточно было, чтобы энтузиасты науки стремились попасть сюда.

Своеобразное положение саманидов привело к тому, что именно в их окружении оформилось новое литературное течение, до самого XIII в. определившее собой дальнейшие судьбы литературы на Переднем Востоке. Саманиды принадлежали к старой иранской родовой аристократии. Их придворные историки даже приписывали им происхождение от доисламских правителей Ирана — сасанидов. Добившись исключительной власти, они, естественно, искали и идеологического обоснования, позволявшего им укрепить авторитет в глазах масс. Таким обоснованием им послужили старые традиции сасанидов, по которым править Ираном мог только человек, по прямой линии ведущий свой род от древних царей и в силу своего происхождения якобы наделенный особой «благодатью» (фарр).

Эта теория понадобилась против завоевателей — арабов. Стало неудобным подчеркивать чистоту иранского происхождения и в то же время сохранять литературный язык завоевателей, т.-е.

арабов. Нужно было перейти к такому языку, который создавал иллюзию общности интересов бухарских правителей и их подданных. Подобным языком мог явиться только живой диалект той области, откуда сасаниды были родом, т.-е. Хорасана, ибо воскресить пехлеви, литература на котором и ранее широко распространения не имела, уже не смогла бы никакая сила. Так, на смену арабскому языку в качестве литературного языка выдвигается язык, получивший название «новоперсидского» и лежащий в основе современного литературного языка Ирана. Это явление имело громадное значение, ибо оживление языка всегда происходит путем обращения к истинным его хранителям и творцам — к широким массам, без связи с которыми всякий литературный язык обречен на окостенение и смерть.

Для саманидской знати арабский язык выполнял роль литературного языка, но антиарабское движение и здесь заставило обратиться к тому единственному источнику, откуда идет всеязыковое творчество. Понятно, что в устах людей, проходивших всю подготовку к литературной деятельности на арабских образцах, видевших в арабской литературе и науке величайшие достижения, язык должен был претерпеть значительные изменения. В персидском крестьянском языке, конечно, не было и не могло быть всех тех новых понятий, которые несла развившаяся на арабской почве наука. Обозначения для них или нужно было создать заново, или же просто заимствовать их у арабов. Писатели встали на второй путь и самым широким образом черпали из богатых запасов арабского языка. Нужно сказать, что персидский литературный язык продолжал идти по этому пути и в дальнейшем, и процент заимствований из арабского еще в недавнее время, особенно в официальном языке Ирана, составлял более 90 проц. всего запаса слов.

Писатели X в. выработали своеобразный прием применения арабских слов, используя их в паре с их персидским эквивалентом. Желая, например, сказать: эмир поехал на охоту, они писали: эмир

поехал на охоту (по-арабски) и охоту (по-персидски). Т.-е. второе звено как бы являлось переводом первого и должно было служить для облегчения понимания. Этот прием до такой степени распространился, что сделался в дальнейшем своего рода стилистическим украшением. Представители позднейшей литературы в пару уже ставили не только арабские и персидские слова, но два арабских или два персидских, причем иногда с некоторым небольшим оттенком различия, вроде как если бы по-русски мы сказали: его сердце было наполнено радостью и весельем. Эта особенность ставит в весьма трудное положение переводчиков, ибо далеко не всегда можно подобрать два нужных синонима.

Перемена ориентации в литературе не ограничилась, понятно, одним языком. Развился широкий интерес к иранской старине, истории, преданиям, религии, обрядам и обычаям. Но в то же время большинство авторов обращать к пехлевийским источникам уже не могло, так как не знало языка и не умело разобраться в прежней сложной и неудобной письменности. Здесь огромную роль сыграли те переводы с пехлеви на арабский, о которых мы говорили выше. Они послужили теперь многим авторам в качестве источников для крупных художественных произведений.

Литературный быт саманндской Бухары

Чтобы понять характер литературы этого периода, нужно еще учесть литературный быт и ту обстановку, в которой приходилось творить поэтам и писателям.

Распространение литературы наталкивалось на громадное затруднение вследствие невозможности широко развернуть размножение произведения. Если и можно было размножить книги до двух десятков экземпляров в 2—3 месяца, то большим препятствием все же оставалась дороговизна бумаги. Самарканд славился своей бумагой, изготовление которой из тряпок он наладил, повидимому, еще раньше Китая, бумага даже вывозилась в другие страны, но

цена на нее была высока, и книга, конечно, оставалась уделом весьма немногих лиц, помимо грамотности обладавших еще и средствами для приобретения литературы.

Если поэт или ученый хотел существовать исключительно за счет своего таланта, не имея личных средств к жизни, то единственным выходом для него было найти себе могущественного покровителя, которому он и мог посвящать свои произведения, получая за них ту подачку, которую повелителю вздумается бросить. Поэтому все работники умственного труда того времени, за немногими исключениями, концентрируются вокруг различных дворов, обслуживая феодальную аристократию и, зачастую, странствуя от двора ко двору в поисках более выгодного места. При дворах, где правитель пользовался особой славой щедрого господина, иногда собиралось по несколько сот поэтов, каждый из которых жаждал прочитать хвалебную оду повелителю, рассчитывая на богатый дар, который, может быть, обеспечит его до конца дней. При таких условиях в деятельность поэтов необходимо было внести какую-то упорядоченность. Так создалась особая должность — «царя поэтов». На обязанности этого «царя» лежала проверка поэтов, желавших предстать перед «светлыми очами» эмира. Только после такого просмотра касыда могла быть публично оглашена поэтом. А основное назначение касыды и состояло в публичном чтении. Она не была рассчитана на то, что читатель будет изучать ее у себя дома. Это вполне понятно, ибо, во-первых, размножение книг представляло большую трудность, во-вторых, даже и при наличии достаточного числа экземпляров читать касыду могли лишь немногие, так как большинство населения оставалось неграмотным.

Наконец, и это, пожалуй, самое важное, только на публичном собрании, когда правителя окружали его вассалы, касыда могла выполнить свое основное назначение — организовать общественное мнение в пользу властелина, напомнить его подданным о долге повиновения и верности феодальным обетам.

Хорошо написанная касыда своей художественной силой произвела на слушателя большое впечатление. Тем самым она приносила значительную пользу правителю, а отсюда понятно и то, что последние охотно осыпали талантливых и умевших хорошо обслуживать их интересы поэтов щедрыми дарами. Нужно иметь в виду и помнить, что покровительство поэтам у восточных властелинов отнюдь не может служить доказательством их особой чувствительности к искусству, а в значительной степени объясняется политической целесообразностью творчества придворных поэтов.

Высокие гонорары и огромная конкуренция вызывали среди поэтов почти не прекращавшуюся борьбу. Стремясь перещеголять друг друга в лести и низкопоклонстве, они в то же время старались подорвать авторитет соперника едкими и злыми сатирами. Сатиры эти, по большей части, лишены политического значения и представляют личные выпады, попытки осмеять и ослабить более удачливого соперника. Тут фигурируют и грязные сплетни, и площадная брань.

Таким образом, положение поэта при дворе было далеко не блестящим. При всем соблазне легкой наживы его карьера была трудной и полной горьких разочарований. Поэты, по большей части, выходили из среды интеллигенции, это, обычно, сыновья разных придворных чиновников или обедневших помещиков. Только они могли получить образование, необходимое поэту. По завершении начального образования, в котором важнейшую роль играло изучение арабского языка, юноша, ощутивший в себе поэтический талант, поступал в ученики к какому-нибудь из известных, признанных поэтов. С этого момента он становился его собственностью. Он должен был рабски служить учителю, выполнять для него домашнюю работу, а если нужно — восхвалять его в касыдах и уничтожать сатирами его соперников. В то же время он проходил курс мастерства, который состоял в заучивании наизусть десятков тысяч стихов лучших арабских и персидских поэтов.

Только приобретая такой запас, он мог начать сам пробовать свои силы. Если учитель находил его зрелым, он давал ему поэтический псевдоним и пристраивал к какому-нибудь двору.

С этого момента успех зависел уже от самого поэта. Сумев понравиться капризному властелину, он мог составить себе царское состояние. Не сумев угодить, он обрекался на голод и нищету. Но и при дворе положение поэта было незавидное. Его обязывали следить за одеждой, иметь хорошего коня, быть окруженным многочисленной челядью, словом, тянуться за феодальной аристократией. И хотя поэту оказывали известные знаки почтения, но равным себе князья его не считали. В глазах аристократа он все-таки был холопом, продажным слугой. Необходимость тянуться не позволяла поэту скопить денег на черный день. Все, что так легко доставалось, все ценные подарки так же легко и уходили. Наставала старость, а с ней и невозможность долгие нести придворную службу. Молодые повелители стариков возле себя не любили и стремились заменить их новыми любимцами. Поэт оказывался выброшенным за борт, и потому-то мы так часто видим в истории литературы Переднего Востока, как крупнейшие поэты на старости лет уединяются в тесной келье, предаются воспоминаниям о прошлом и в полных горечи стихах говорят о тщетности земной суеты, о бесполезности и, даже более, о вреде поэзии. Чрезвычайно характерная черта всей поэзии этой эпохи — ясный, уверенный оптимизм официальной касыды и мрачный, тяжелый пессимизм тех стихов, которые поэт писал для себя, не для парадных приемов, а чтобы отвести душу.

Рудаки

Среди саманидских поэтов первое место по праву принадлежит гениальному самаркандцу Рудаки (умер около 941—2 гг.). О жизни его мы знаем мало, да и то почти исключительно из его же стихов, из которых сохранилось до нашего времени всего несколько сот строк. Он занимал, повидимому, видное

место при дворе саманидских эмиров, пользовался большим успехом и получал щедрейшие дары. Но, как он сам говорит, богатства не держались у него в руках, — все, что он получал, он тратил на коней, на дорогие вина, на драгоценные убранства и покупку рабов и рабынь. К старости поэт впал в немилость, может быть, даже, по жестокому обычаю того времени, подвергся ослеплению, и в глубоко прочувствованном стихотворении, в котором он оплакивает свою судьбу, говорит, что ему остались в удел только нищенская сума да посох.

Можно полагать, что у Рудаки был большой сборник лирических стихов, по терминологии восточной поэтики — «диван», но дошли до нас в более или менее связном виде только три стихотворения. Кроме лирики, он создал и эпические произведения, в том числе переложил в персидские стихи знаменитую книгу басен «Калила и Димна», причем основой для переложения, вероятно, послужил тот арабский перевод басен, о котором речь была выше. Из этой большой поэмы до нас дошли только обрывки, по которым, однако, можно судить, что по своей классической простоте и четкости это было замечательнейшее произведение.

Из дошедших до нас лирических стихов, кроме отличающейся изумительной силой элегии на старость, особый интерес представляют два стихотворения. Одно — небольшой отрывок, посвященный описанию Бухары и имеющий следуюшую любопытную историю.

Однажды эмир Наср выехал по государственным делам из Бухары в Герат. Город этот эмиру понравился, и он там задержался на довольно долгое время. Свита, сопровождавшая его и волей-неволей оторванная от родного дома и своих семей, начала тосковать по Бухаре и мечтать о возвращении. Но намекнуть на это эмиру никто не решался. Нрав его был крутой, и осмелившийся подать совет человек мог тут же проститься с жизнью.

Тогда вельможи решили прибегнуть к помощи Рудаки, который тоже сопровождал эмира. Они уговорили его по-

пытаться подбить повелителя на возвращение. Как-то вечером эмир в тесном кругу своих приближенных сидел на берегу пруда за кубком вина, слушая беседы приближенных и сладостное пение придворных певцов. В разговоре речь зашла о Бухаре; эмир заметил, что климат там все же не плох. Тогда внезапно выступил Рудаки и продекламировал или, вернее, пропел, такие стихи:

Струится вода в арыке Мулиан,
И вспоминается мне любезный друг.
Песок Аму-Дарьи с его крупной галькой
Стелется под ногами, как шелк.
Стремительно несется вода в Аму,
Коню моему достигает она до груди.
О Бухара, радуйся, живи долго:
Шах идет к тебе в гости...
Эмир — луна, Бухара — небо,
Идет луна к небу.
Эмир — кипарис, Бухара — сад,
Идет кипарис к саду...

Историк рассказывает, что, услышав эти стихи, эмир так стосковался по родному городу, что тут же потребовал коня и, надев даже верховых сапог, вскочил на него и поскакал домой. Дорожное платье доставили ему только на первом привале.

Второе стихотворение — пышная касыда, посвященная прославлению одного из эмиров Сеистана (области в юго-восточном Иране). История этой касыды такова. Однажды во время парадного приема в Бухаре зашла речь о достоинствах феодалов. Кто-то упомянул, что эмир Сеистана, — конечно, после бухарского правителя, — один из лучших образцов древней рыцарской доблести. В это время гостей обносили редкостным старым вином. Бухарский эмир предложил своим гостям выпить за здоровье сеистанца, а в знак уважения к нему велел запечатать тяжелую золотую чару с вином и послать ее в Сеистан. Рудаки он приказал написать касыду и отправить ее вместе с кубком, как препроводительную грамоту. Рудаки и тут оказался на высоте. Вступительную часть своей пышной, торжественной оды он посвятил описанию приготовления вина, а затем и самого пиршества. По яркости образов и необычайной красочности эти стихи не имеют себе равных.

Мать вина¹ нужно принести в жертву,
Дитя² же отнять и ввергнуть в темницу.
Но не сможешь ты отнять у нее дитя,
Если не растопчешь³ его сначала и не
отнимешь у него душу⁴.

Только не дозволено ведь отнимать
Малое дитя от груди матери и молока,
Пока не попьет оно молоком полных семь
месяцев,

От начала Урдибехипта⁵ до конца Абана⁶.
Тогда уже можно по праву и религии
Дитя ввергнуть в тесную темницу, а мать
казнить.

Когда сдашь ты дитя ее в узилище,
Семь суток будет оно смутным и смятенным.
А как придет в себя, увидит положение,
Вскипит, застонет от пламенного сердца,
То вверх, то вниз устремится от горя,
И опять снизу вверх, кипя от скорби.
Когда плавят золото в горне,
Кышит оно, но не так, как это дитя от
скорби.

А потом, как разъяренный верблюд,
Вспенится оно из глиняного кувшина.
Снимет с него пену тюремщик,
Отойдет муть его, станет оно светлым.
Когда успокоится, перестанет бурлить,
Крепко закроет его страж.
И вот, осядет оно, просветлеет,
Примет цвет яхонта красного и коралла.
Одни сорта его — красные, как йеменская
яшма,

Другие — рубиновые, как бадахшанский лал⁷.

А вдохнешь аромат его, подумаешь, что
красная роза
Запах ему дала и мускус и амбра.

И так будет оно плавиться в кувшине
До Нового года и половины Нисана⁸.
И тогда, если в полночь крышку с него
снимешь,

Увидишь сверкающий родник солнца.
Вялый станет доблестным, трусливый —
смельчаком,
Если испробует его, а бледнолицый —
розовощекием.

А если увидишь ты его в хрустале,
скажешь:
Это красный драгоценный камень и рука
Моисея,

А кто в радости выпьет один его кубок,
Не увидит от него ни скорби, ни печали.
Десятилетние скорби спугнет оно с сердца.
Новую радость принесет, тоску отнимет.
С таким вином, как постоит оно несколько
лет,

И никто не возьмет из него ни кубка,

Пир надо устроить царственный,
Украшенный розами, жасмином и пестрыми
цветами.

Райские блага распростерты повсюду,
Сделано дело, какого никому не сделать.
Золотая парча, ковры новых рисунков,
Ароматные травы и столы повсюду.

Барбут¹ Исы и ковры Фуада,
Ченг² у сердца и легкие ножки милых.

В одном ряду эмиры сядят и Бал³ами³
с ними,
В другом азаты⁴ и старый дихкан⁵ Салих.
На переднем месте на троне сидит

повелитель —
Царь царей эмира, эмир Хорасана.
Тысячи турок стоят возле рядов,
Каждый сверкает, как двухнедельная лупа.
У каждого на голове венец из мирты,
Лик его — красное вино, а вьющиеся
локоны — ароматные травы.
Кравчий — редкостный красавец из
красавцев,

Сын он турецкой хатун и сын хакана.
Возьмет вина в радости
Царь мира, веселясь, довольный, с усмешкой.
Из рук черноглазого периликого⁶ турка,
Стройного, как кипарис, с кудрями, как
чоуган⁷,

Возьмет чару того ароматного вина
И поманет повелителя Сеистана.
Сам выпьет за здоровье, и друзья его также,
И скажет каждый, принимая в радости
кубок:

На радость Бу-Джафару Ахмед
ибн-Мухаммеду,
Месяцу азатов и славе Ирана.

Далее идет развернутое славословие,
которое для нас интереса уже не пред-
ставляет. Это стихотворение — прекрас-
ный образец идеального типа касыды.
Цель его — прославление. Необходимо
обратить внимание, как умеренно поэт
пользуется сравнениями и эпитетами,
как скуп на слова. Все сосредоточено на
стремлении дать яркую и конкретную
картину.

Приходится пожалеть о том, что из
полных касыд Рудаки в этом роде со-
хранилась только одна.

Крайне интересны были и более позд-
ние — дидактические стихи Рудаки, в

¹ Т.-е. виноградную лозу.

² Т.-е. плоды — виноград.

³ Давление винограда в чане.

⁴ Сок.

⁵ Апрель.

⁶ Начало ноября, т.-е. период созревания винограда.

⁷ Лучшие рубины доставлялись из горного Бадахшана.

⁸ Апрель.

¹ Музыкальный инструмент.

² То же.

³ Везир саманндов.

⁴ Родовая аристократия.

⁵ Дихкан — в то время — помещик, землевладелец.

⁶ Т.-е. лицом похожего на пери — фею.

⁷ Чоуган — игра в поло, локоном сравнивается с молотком для этой игры.

которых прежнюю радость и наслаждение сменяет тяжелое раздумье:

Все мы, о сынок, добыча этого мира,
Мы — словно воробей, а смерть — как ворон.
Всякий цветок увянет, рано ли, поздно ли,
Смерть всех перетрет своей теркой.

Повидимому, в эти годы единственным утешением его стала наука, которой он во многих из сохранившихся отрывков посвятил хвалебные строки:

Люди разумные во все времена
Путь науки на всех языках
Избирали и высоко чтили
И даже на камнях вырезали, что:
Знание в сердце — яркий светоч,
От всех зол — оно кольчуга твоему телу.

Дакики

Рядом с Рудаки надо назвать еще одного своеобразного поэта, жившего, повидимому, во второй половине X в. Это — Дакики из Туса. Если Рудаки от древнего Ирана взял только тематику животного эпоса, то Дакики с головой погружается во все старые предания и легенды. В бухарских придворных кругах он считался величайшим знатоком древних былин. Поэтому Дакики было поручено осуществить грандиозную работу — объединить все сказания о царях и витязях домусульманского Ирана в одну большую поэму, основой ее сделав историю иранских царей, составленную еще в VII в. и в IX в. переведенную на арабский язык. Вероятно, поэту представлялась возможность не ограничиваться лишь сухой передачей основных фактов, и он мог украсить поэму преданиями, еще продолжавшими жить в устах иранского населения Средней Азии.

Поэт горячо взялся за этот величественный труд. Тысяча бейтов (двойных строк) уже была написана, когда неожиданная трагедия оборвала его жизнь. Дакики любил развлекаться за кубком вина в кругу молодежи. Как-то раз за вином разгорелись страсти, и удар кинжалом молодого турецкого воина из эмирской гвардии поразил грудь Дакики.

Фирдоуси

Песня осталась недопетой, но за выполнение грандиозной задачи взялся еще более великий поэт, знаменитый Фирдоуси (934—1020 гг.), земляк Дакики. Фирдоуси жил и работал в Хорасане, по ту сторону Аму-Дарьи, поэтому, собственно, к числу среднеазиатских поэтов его отнести нельзя. Но свою главную работу он задумал в плане, который как нельзя лучше отвечал интересам бухарского двора. И посвятить ее он собирался именно саманидам. Поэтому, говоря о бухарской литературе X в., нельзя умолчать и о Фирдоуси.

Фирдоуси по происхождению был хорасанским помещиком и принадлежал к иранской родовой аристократии. Он страстно любил родную старину, ради древних преданий готов был забыть все на свете. Поэт взялся за продолжение начатой Дакики работы, вероятно, тогда, когда услышал о его трагической гибели (около 965 года). Больше тридцати лет он трудился над громадной поэмой в глуши Хорасана, в маленьком поместье, доставшемся ему в наследство от отца. Как живые, встали перед ним образы древности, и, чем больше он в них вглядывался, тем яснее ему становилось, как можно увязать эти предания о минувшем с современной действительностью.

Красной нитью в иранских преданиях проходит повествование о борьбе Ирана с Тураном, т.-е. оседлых иранцев с иранцами кочевыми. Столетиями тянется эта борьба, победа достается то одной стороне, то другой. И вот перед Фирдоуси выступают причины побед и поражений Ирана. Победа достается тогда, когда родовая аристократия, забыв междоусобные раздоры, сплоченно выступает на odpor врагу. Но стоит ей забыть о своих связях и поднять друг на друга меч, как тотчас же на Иран устремляются новые потоки кочевников, удержать которых отдельные князья не в силах. Здесь всякому русскому читателю невольно должны вспомниться усилия великого русского поэта, творца «Слова о полку Игореве», тоже пытав-

шегося доказать удельным князьям необходимость объединения перед лицом грозной опасности.

А в то время, когда Фирдоуси всматривался в далекое прошлое, до его усадьбы долетали все более тревожные вести. На северо-восточных границах Бухарского княжества собирались грозные силы. Тюркские кочевые племена, объединенные под властью ханов, называвших себя караханидами, стремились прорваться в плодородные и богатые среднеазиатские долины. Надо было собрать все силы для отпора. Но войска саманидов состояли из отрядов тюркской гвардии, игравшей роль преторианцев. Бухарские эмиры не жалели подачек для своих телохранителей и давали их предводителям огромные полномочия. И вот к концу X в. эти полководцы, увидев всю слабость своих повелителей, вышли из повиновения. Саманиды держались только благодаря хитроумнейшей игре, натравливая новую военную знать, из которой многие еще недавно были рабами, купленными на базарах, друг на друга.

Поэма Фирдоуси должна была прозвучать, как предостережение, напомнить о том, что, пока не поздно, нужно собрать все силы, все бросить на защиту страны от бедствия. Поэт полон решимости довести до конца свой труд, который, по его предположению, должен был сыграть важную политическую роль. Работать ему становилось все труднее. Скромных доходов от поместья еле-еле хватало на жизнь, а ездить по дворам и сочинять пышные оды не позволяла неотложная работа. Годы шли, Фирдоуси был уже не молод, а в довершение ко всему судьба нанесла ему тяжкий удар — смерть отняла у него последнюю опору, единственного сына.

Первую редакцию поэмы, получившей название «Шахнамэ» (Книга царей), Фирдоуси закончил в 994 году. А пять лет спустя последний саманидский эмир бежал из Бухары. Среднюю Азию завоевали ворвавшиеся туда караханиды. Из саманидских же владений по ту сторону Аму-Дарьи сложилось новое государство, во главе которого стал знаме-

нитый завоеватель султан Махмуд, столицей своей сделавший город Газну (на территории теперешнего Афганистана). Другими словами, власть в Средней Азии и Хорасане от иранской родовой аристократии перешла к аристократии тюркской, не имевшей, конечно, никаких оснований уважать традиции и предания отстраненных ею от власти иранцев.

Фирдоуси оказался в безвыходном положении. Заканчивая свою поэму в нужде и голоде, он рассчитывал получить от саманидов царский дар, достойный такого великого творения. Без этого дара он прожить не мог. Терявшие свою цену разоренные поместья, в связи с переходом власти к тюркам, окончательно обесценивались.

Вместе с тем было ясно, что обращенная к представителям иранской аристократии поэма не могла встретить у тюркских феодалов сочувственного приема. Тем не менее иного выхода не было, нужда выбора не давала. Фирдоуси ввел в свою поэму посвящение султану Махмуду, сделал несколько вставок, восхвалявших его щедрость, и поднес «Шахнамэ» газневидскому двору.

Но Махмуд не мог примириться с политической направленностью поэмы. Он прекрасно понял, что именно исключительные художественные достоинства поэмы делают ее для него вдвойне опасной. Фирдоуси или не получил ровно ничего за поэму, или же смехотворно ничтожную подачку. Великий поэт создавал всю ценность своего гигантского труда. Пренебрежительное отношение нового властелина Востока привело его в бешенство и, не имея возможности взять обратно рукопись, уже попавшую в султанскую библиотеку, он пишет добавление к поэме, которому в дальнейшем было суждено веками передаваться вместе с поэмой, — сатиру на султана Махмуда.

В этой сатире говорит вся гордость представителя старых аристократических родов, вся ненависть их к «выскочке», потомку тюркских рабов и наемников. Фирдоуси попрекает Махмуда его происхождением. Поэт говорит, что сатира его ляжет клеймом на имя Махмуда и

ди которых видное место занимает поэма «Рустем и Зораб» В. А. Жуковского, первый опыт введения Фирдоуси в русскую литературу. Однако перевод этот при весьма больших достоинствах сделан не с подлинника, а с немецкого перевода и потому красоты оригинала в достаточной мере не передает.

Исключительное значение Фирдоуси для мировой литературы и особенно для народов нашего Союза, так или иначе связанных в своем прошлом с иранской культурой, отмечено советским правительством. Вся наша родина с огромной любовью отпраздновала в 1934 году тысячелетний юбилей со дня рождения поэта.

Если в остальных странах мира, не исключая и Ирана, тысячелетие Фирдоуси явилось делом узкого круга специалистов, то у нас это событие приняло единственную, подобающую ему, форму всенародного торжества.

Авиценна

Мы видели, какого блестящего развития достигла литература, преимущественно поэзия, в результате возникновения самостоятельных княжеств, оторвавшихся от халифата. Параллельно литературе шло развитие целого ряда наук, о которых придется сказать здесь несколько слов.

Когда античная философия угасла в старых очагах эллинской культуры, ее традиции перешли на восток—в Сирию, Месопотамию и Иран. Ряд памятников античной науки был переведен на сирийский язык и на пехлеви, причем из всей греческой науки главное внимание уделялось философии и тесно связанной с ней в те времена медицине.

Если возникновение ислама на некоторое время и парализует это развитие, то уже в VIII—IX вв. интерес к философии снова оживает, и философские работы с сирийского и пехлеви начинают переводиться и на арабский язык.

Появление этих переводов по времени совпало с ожесточенной борьбой вокруг основных догм ислама, протекавшей в среде самой мусульманской общины; это

и явилось мощным стимулом к повышению интереса к старым учениям.

Различные толки и секты, возникшие как среди арабов, так и во вновь приобретенных к исламу областях, обращались к философским трудам в поисках оружия для защиты своих позиций. В арабской среде об'явились люди, называвшие себя «фейласуф»,—арабская передача греческого «философ».

Одним из первых арабских мыслителей был знаменитый ал-Кинди (умер около 874 г.). В конце IX в. родился его ближайший преемник Фараби, по происхождению тюрк. Этот факт крайне интересен, ибо он убедительно показывает, насколько сложна культура, называемая обычно арабской, и сколько различных народов принимало участие в ее создании.

В области философии Фараби работал преимущественно над комментированием Аристотеля, но писал и самостоятельные труды, пытаясь примирить в них Аристотеля с Платоном.

Таким образом, по всем областям халифата и, в частности, в Средней Азии почва для научных изысканий уже была хорошо подготовлена.

В 980 г. в поселке Хармейтан, неподалеку от Бухары, родился один из своеобразнейших ученых Переднего Востока, знаменитый Абу-Али-ибн-Сина, получивший в Европе широчайшую известность под именем Авиценны (искажение средневековых переводчиков из ибн-Сина). Авиценна с детства жадно стремился к знаниям. Еще ребенком он изучил при помощи знакомого бакалейщика трудную по тому времени науку «индийского счета». Десяти лет случай свел его с одним ученым, под руководством которого он занялся основами логики и астрономии. От этих наук перешел к медицине. В своей автобиографии, некоторые части которой до нас дошли, он говорит:

«Медицина не принадлежит к числу трудных наук, и, потому, нет ничего удивительного в том, что я в короткое время овладел ею настолько, что даже и выдающиеся ученые учились у меня этой науке».

Шестнадцать лет Авиценна уже считался величайшим знатоком в области медицины, а в семнадцать лет слава его настолько упрочилась, что он был приглашен ко двору саманидского эмира, в это время опасно заболевшего. Приближение ко двору раскрыло перед ученым двери знаменитой библиотеки, о богатствах которой мы уже говорили выше. Гонимый жаждой знания, Авиценна накинулся на раскрывшиеся перед ним богатства.

«В то время,— говорит он,— я недосыпал ни единой ночи, да и в течение дня не занимался ничем иным, кроме наук. Возвращаясь к ночи в мое жилище, я ставил перед собой светильник и погружался в чтение или писание. Если меня начинало клонить ко сну или я чувствовал слабость, несколько глотков из кубка возвращало мне силы, и я вновь углублялся в работу... даже и во сне я продолжал обдумывать те вопросы, которыми занимался наяву».

В своем научном рвении Авиценна столкнулся и с философией. Он достал арабский перевод «Метафизики» Аристотеля и углубился в него. Но, несмотря на поразительную эрудицию, вопросы философии для Авиценны оказались слишком сложными. Сорок раз он прочитал аристотелевскую книгу, содержание ее унесел запомнить наизусть, но, тем не менее, постигнуть ее сущность не смог.

Блуждая по бухарскому большому базару, он в ларьке книгопродавца случайно заметил рукопись комментария Фараби к «Метафизике». Торговец не знал цены книге, и Авиценне удалось купить ее за гроши. Она устранила для него последние затруднения и помогла не только одолеть Аристотеля, но и построить из элементов его философии свою собственную, крайне интересную систему.

Катастрофа, надвигавшаяся на Бухару, заставила Авиценну покинуть доживавших свои последние дни саманидов. Стремясь удалиться от приближающихся к тюркским полчищ, он обращается к хорезмскому двору. Хорезмшах Али-ибн-Мамун, как и саманиды, охотно принимал при своем дворе ученых.

Авиценна встретил здесь другого крупного представителя науки—Абу-Райхана Бируни, астронома, историка и археолога (умер в 1048 г.), оставившего нам ценнейшие труды по календарю древних народов и описанию Индии.

Но над Хорезмом нависла рука того же грозного завоевателя, к которому отошли лучшие владения саманидов, — султана Махмуда Газневида. Махмуд предложил хорезмшаху выслать в Газну обоих этих ученых. Бируни согласился, но Авиценна, сочувствовавший старой иранской аристократии, предпочел бежать. Едва не погибнув в пустыне, он с неслыханными трудностями и лишениями добрался до Гургана, на побережье Каспийского моря, но и там считал себя не в безопасности и переехал еще дальше — в Хамадан, где уже выступал не только как ученый, но и как политический деятель, став везиром, т.-е. премьер-министром правителя Хамадана — Шемсадаула. Там он и оставался до самой своей смерти (1037 г.).

Список трудов Авиценны необычайно велик, но слава его связана, главным образом, с громадным трудом, названным им «Канон врачебной науки». Это гигантская медицинская энциклопедия, полный свод не только собственных достижений ученого, но и всего предшествовавшего опыта. Авиценна освещает в книге не только вопросы диагноза различных болезней и способы их лечения, но рассматривает и основные положения режима, необходимого для предохранения человека от заболеваний, подробно разбирая все условия, как пища, питье, сон, одежда, чистота. Особая глава посвящается бане и ее значению для сохранения здоровья. Разбирая условия правильного режима, Авиценна подробно говорит о пользе физкультуры, указывает наиболее полезные виды спорта, выделяет те из них, которые, по его мнению, могут быть рекомендованы людям пожилым и старикам.

Эта книга надолго определила развитие медицины не только на Востоке, где она являлась основным пособием еще до недавнего времени, но и в Европе.

«Канон» проник туда в латинском переводе Герарда Кремонского, а когда в XV веке было изобретено книгопечатание, то одной из первых книг, размноженных таким путем, была именно эта работа.

Но не только в области медицины Авиценна явился учителем европейцев. Такою же важную роль сыграли и философские его труды, из которых на первом месте стоит громадная энциклопедия «Книга исцеления», обнимающая собой почти все научные дисциплины того времени.

Философские труды Авиценны также довольно рано проникли в Европу. Средневековым схоластикам они стали известны даже ранее оригиналов Аристотеля и, тем самым, подготовили европейскую мысль к возрождению античных учений. Многие из положений Авиценны в руках городской буржуазии Южной Европы стали мощным орудием для борьбы с феодализмом и засилием католической церкви.

Мы рассмотрели всего лишь несколько крупнейших фигур и деятелей науки и литературы, работавших в Средней Азии в X веке. Но и этот краткий обзор с полной убедительностью показал, каких огромных успехов добилась Средняя Азия в те времена. X век характеризуется усилением процесса феодализации страны. Этим объясняется и яркость, жизнерадостность, преданность материальному миру науки того времени. Феодальная аристократия чувствовала почву под ногами и потому, не ища никаких загробных утешений, брала от реального мира все, что он мог ей дать. Потому-то эту эпоху и можно было бы назвать для Средней Азии и сопредельных с ней стран «золотым веком» феодальной формации.

Важно отметить, что в культурном строительстве здесь принимают участие почти все народы Средней Азии, являвшейся тогда своего рода центром почти всей мировой культуры. Европа была погружена в беспросветное варварство и по сравнению со Средней Азией выглядела такой же отсталой страной, какой казалась Средняя Азия в XIX в. по сравнению с Европой.

ЗАВОЕВАНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ ТЮРКАМИ

Вытеснение местной аристократии тюрками

Происхождение тюркских племен, положивших конец господству саманидов в Средней Азии, еще не поддается уточнению. Обычно их называют по правившим ими ханам — караханидами. При вступлении в Среднюю Азию этот народ уже исповедывал (хотя в массе, вероятно, более или менее внешне) ислам, который им был принят около 960 года под властью Сатук Богр-хана. Продвижение тюркских племен на запад началось задолго до появления их на границах саманидского княжества — уже в 942 г. они завладели Кашгаром и центром своим в этой области сделали город Баласагун. В Бухару их влекла потребность в различных товарах, тканях, металлах, которые они выменивали на имевшиеся у них продукты скотоводства. Некоторые группы этих племен при саманидах получили разрешение перекочевать в Среднюю Азию. Туркменское племя огузов, например, расположилось по течению Сыр-Дарьи, в свободных от поселений местах.

Когда внутренние раздоры настолько ослабили саманидов, что о серьезном сопротивлении с их стороны уже не могло быть и речи, караханиды начали все решительнее и решительнее продвигаться в долину Мианкаля. В 999 г. они захватили Бухару. Последний саманид Исмаил Мунтасир, бежавший в степи, около шести лет вел отчаянную борьбу, стараясь вернуть себе власть. Четыре раза он возвращался, временами даже одерживал небольшие победы, но в 1005 г. пал от руки арабского вождя неподалеку от Мерва, в том же районе, где погиб и последний представитель домусульманских правителей Ирана — сасанидов.

Власть в Средней Азии переходит к караханиду илеку Насру, а по ту сторону Аму-Дарьи, в Хорасане, правит основатель могущества газневидов — султан Махмуд. Оба они официально

называют себя вассалами багдадского халифа, получают от него грамоты на управление и пышные почетные титулы, но фактически, конечно, ни в какой степени от него не зависят.

Падение саманидов привело также и к отрыву от Бухары Хорезма, правителя которого — хорезмшахи — с 996 г. снова объявили себя независимыми.

Таким образом, Средняя Азия и прилегающие области оказались поделенными между тремя династиями — хорезмшахами в Хорезме, караханидами в Бухаре (столица их, вероятно, была в Узгенде) и газневидами — к югу от Аму-Дарьи. Эти три династии не замедлили притти в столкновение друг с другом.

Характерной чертой, определившейся именно в это время, является резкое деление жителей страны на подданных (райатов) и войско. Военные силы Махмуда состоят из наемников, хорошо оплачиваемых и получающих большие прибыли от разграбления завоеванных стран. Сколотив себе мощную армию отъявленных головорезов, Махмуд предпринимает свои знаменитые походы на Индию, которые проводились якобы с целью распространения ислама, но на деле нужны были Махмуду только для разграбления этой богатейшей страны. Махмуд добыл оттуда сказочные богатства, но их все же не хватало для содержания армии и огромного строительства дворцов и парков, которыми он стремился украсить свою столицу Газну. Поборы с населения все росли, и в результате еще недавно процветавшая страна разорилась.

В 1010/11 г. из-за неурожая ее постиг такой голод, что в одном только Нишапуре, по словам историков, погибло сто тысяч человек, умерших от голода, хотя на базаре хлеб имелся в достаточном количестве.

Такое положение довело до отчаяния как земельную аристократию, так и массы. Хорасанские вельможи начали засылать послов к караханидам, вызывая оттуда на помощь новых завоевателей. На призыв откликнулось племя сельджуков. В 1030 г. оно направилось в Хорасан и в 1040 г. одержаж-

ло решительную победу над газневидами.

С этой победы и начинается стремительный рост сельджукского государства. В 1055 г. сельджук Тогрул-бек вступает в Багдад и получает титул султана от самого халифа, ставшего с этого момента лишь игрушкой в его руках. Получив подкрепление со стороны других тюркских племен, сельджуки в 1077 г. объединили под своей властью всю западную Азию, от Афганистана до границ Византии в Малой Азии и до владений египетских султанов на юге.

В Средней Азии сельджуки с 1043 г. захватили Хорезм, только в 1034 г. успевший отложиться от газневидов. Но в Бухаре и Самарканде продолжали еще держаться караханиды, несмотря на то, что сельджуки с 1064 г. неоднократно нападали на эти города и даже временно их захватывали. В 1097 г., в результате длительных междоусобий, Бухара и Самарканд подчинились Барк-яруку — сыну сельджукского султана Меликшаха, но окончательно Средняя Азия объединилась с сельджукским государством только в 1130 г., после захвата султаном Санджаром Самарканды.

Переход власти в руки турецкой аристократии вызвал ряд весьма существенных изменений в жизни Средней Азии и Хорасана. Если до появления сельджуков все правители этих областей в той или иной форме стремились воспроизвести сасанидское государство, то сельджуки во всех захваченных ими странах вводят удельную систему. Чрезвычайно расширяется награждение видных военачальников — взамен жалованья — земельными наделами, причем награжденный получал обычно не самые земли, а доходы с них.

Сельджукские султаны вплоть до начала XII века почти все были неграмотны, в противоположность саманидам и газневидам, из которых некоторые даже сами в свободное время занимались литературной работой. Неграмотность султана влекла за собой крайнее усиление власти его министра — везира. В момент наибольшего расцвета сель-

джуков (2-я половина XI в.) почти все управление страной находится в руках выдающегося государственного деятеля знаменитого Низам аль-мулька, оставшего после себя дошедший до нас крайне интересный трактат об управлении государством.

Характерна для сельджуков и значительно большая свобода, которой пользовались у них женщины, что, конечно, связано с обычаями кочевых народов. Сельджуки хотя внешне и переняли придворные обычаи старого Ирана и даже охотно избирали для своих сыновей иранские имена, но в быту сохраняли много старых кочевых привычек. С ними в завоеванные области пришло много кочевников, полностью сохранявших свой образ жизни, и это создавало для сельджуков большие затруднения. Интересы кочевников и оседлого населения были противоположны. Предоставить кочевникам большую свободу означало подвергнуть разорению земледелие и, тем самым, ослабить поступление налогов. Стеснять же кочевников, своих родичей и свою опору, сельджуки не всегда могли, и потому им приходилось беспрестанно лавировать между кочевниками и оседлым населением.

Борьба исмаилитов с завоевателями

Большое затруднение для сельджуков создавало движение так называемых исмаилитов, которое чрезвычайно усилилось именно в XI веке.

Происхождение этого движения в общих чертах таково. Еще в VII в., во время борьбы за власть после смерти пророка Мухаммеда, мусульманский мир раскололся на две партии — суннитов и шиитов. Шиитами называли себя сторонники четвертого преемника Мухаммеда — Али-ибн-Аби-Талиба. Слово это происходит от арабского термина «шият Али», что значит «партия сторонников Али». Эта группа считала, что лишь потомки Али — мужа родной дочери пророка — могут быть законными его преемниками, всякий же дру-

гой халиф явится только узурпатором власти.

Этот династический спор в дальнейшем постоянно использовался всеми противниками халифов, представляя собой очень удобную форму, в которой можно было вести агитацию против центрального правительства.

Неудивительно поэтому, что к шиитскому движению примкнула и родовая аристократия ряда завоеванных арабами стран. Всюду, где к власти приходили местные элементы, обычно торжествовало шиитство. Тюркская аристократия, стремившаяся выбить местную аристократию из ее насиженных гнезд, напротив, всегда выступала под маской строгого правоверия, защиты прав халифов и, следовательно, суннитства.

Там, где были сильны турки, шиитство не могло найти широкого распространения, но зато полную победу оно одержало вдали от турков, в Северной Африке, где претрновавший на происхождение по прямой линии от дочери пророка Фатимы — Убейдаллах в 909 г. захватил власть и основал династию фатимидов, просуществовавшую до 1171 г. Эта династия в короткое время захватила Египет и Южную Сирию и достигла большого могущества. Столицей ее был Каир, основанный в 969 г. при четвертом фатимидском халифе Муиззе.

Фатимиды стремились завладеть всем халифатом и окончательно уничтожить суннитов. Сделать это при помощи открытой силы они не могли и поэтому прибегли к усиленной пропаганде, которая должна была подготовить почву для свержения аббасидов. Последние с крайней жестокостью уничтожали фатимидских агитаторов. Это заставило фатимидов прибегнуть к своего рода «подпольной» работе, обставляя пропаганду величайшей таинственностью и придавать ей для большего успеха религиозно-мистический характер. В Иране и Средней Азии эта пропаганда нашла весьма удобную почву. Родовая аристократия почуяла, что с помощью этих идей можно будет бороться с ненавистным для нее халифатом. Вскоре в Ира-

не возникает ответвление фатимидской организации, получившее наименование исмаилитов, — так называли себя и сами фатимиды.

Шииты признавали двенадцать потомков Фатимы, имамов, т.-е. вождей, предводителей. Из этих двенадцати имамов фатимиды признавали только семерых, считая седьмым некоего Исмаила, к которому они и возводили свой род.

Иранские исмаилиты путем хитроумнейших махинаций захватили в горах северного Ирана ряд неприступных замков, и центром их здесь стал знаменитый Аламут—Орлиное Гнездо. В Аламуте восседал «горный старец», руководивший всей пропагандой и наносивший оттуда смертельные удары врагам. Исмаилиты пользовались тяжелым положением крестьянства, проникали во все деревни и оттуда завербовывали преданных бойцов.

Действуя кинжалом, петлей, ядом, подметными письмами, исмаилиты грозили всем носителям власти из своих горных берлог. В короткое время они добились таких успехов, что при одном упоминании о них люди начинали дрожать. Никакие свирепые кары не помогали. Убийцы проникали повсюду, и даже за тройным рядом телохранителей султан не ощущал себя в безопасности, ибо и среди телохранителей могли быть исмаилитские наемники, «фидаи», как их называли, т.-е. жертвующие своей жизнью. Так как иранские исмаилиты действовали при помощи опьяняющего зелья «хашиш» (препарат индийской конопли), то их называли также «хашишин». Крестоносцами, в это время столкнувшимися с мусульманским миром, это слово было переделано в «ассасинов» (откуда французское слово assassin — убийца).

В основных областях Ирана и Средней Азии исмаилитство было раздавлено монголами. Сохранялось оно до недавнего времени у нас, на Памире. В Индии же оно существует и доныне.

Как уже было сказано, XI—XII вв.— период наивысшего расцвета этой отвратительной организации, справиться с ко-

торой сельджукам, при всех их усилиях, так и не удалось.

Суфизм и дервишизм

К этому же времени относится значительный рост другого, характерного для Переднего Востока, движения — дервишизма. Феодализация халифата вызвала в мусульманской общине значительное движение протеста, в котором особенно видную роль играло городское население. Этот протест в то время мог облечься только в формы религиозные. И вот в самой мусульманской среде, переплетаясь с различнейшими влияниями — индийскими, эллинистическими, христианскими, — зарождается особое учение, получившее название «суфизма», от слова «суф» — власяница, которую последователи его одно время носили.

Суфизм не представляет собой однородной философской теории. Он испытывал самые различные изменения и в разное время и у разных философов принимал далеко отстоящие друг от друга формы.

Общим для всех разнообразных его течений можно считать своеобразное учение о «единстве бытия», имеющее ярко выраженную мистическую окраску. Почти для всех представителей суфизма единственным реальным бытием является бытие первичного принципа, считаемого божеством. Видимый физический мир — лишь оболочка этого бытия, завеса, скрывающая его от слишком слабого человеческого зрения. Мир не реален, это только видимость, мираж. Поэтому и физическая сторона человека также нереальна, это не есть его настоящая сущность. То, что человек называет своим «я», на самом деле — лишь слабое отражение его истинного «я», которое вечно и представляет собой частицу «я» космического. После смерти это «я» высвобождается из «темницы плоти» и вновь возвращается к своему первоисточнику, т.-е. сливается с космическим «я».

Другими словами, в резком противоречии с официальным исламом суфизм не признает индивидуального загробно-

го существования, ибо, вернувшись к первоисточнику «я», сознание свою индивидуальность утрачивало.

Путем самосовершенствования человек может уже во время земной жизни разорвать сковывающие его узы, ощутить свое слияние с космическим «я». Это состояние суфии вызывали у себя путем различных упражнений, и оно считалось наивысшим блаженством, которого может достигнуть человек при жизни. Некоторые из них подобный искусственный полугипнотический транс называли «единением с богом».

Наряду с этой пессимистической тенденцией ухода от реальной жизни ранний суфизм выработал и свои этические воззрения. Достижение блаженства требовало моральной чистоты, и нужно было найти образ жизни, который мог привести к такому очищению. По учению суфиев, эта чистота доступна только для того человека, который живет трудом своих собственных рук и никогда и ни при каких условиях не пользуется трудом другого. Уже в VIII в. представители суфизма ищут «дозволенного заработка», т.е. такого труда, который соответствовал бы представлению о чистоте.

Наряду с этим требованием суфизм для своих последователей считает обязательным в любой форме оказывать помощь ближним. Помочь нуждающемуся, накормить голодного, спасти гибнущего — ценнее, чем несколько раз прочесть коран от доски до доски.

Это активное начало в суфизме влекло за собой отрицательное отношение к правящему классу. Представители власти, с точки зрения суфиев, являлись узурпаторами, захватчиками. Так как их богатство досталось им не путем труда, то оно нечисто, запрещено. От них не только нельзя принимать вспомоществования, но даже общения с ними нужно избегать, а при встречах пытаться увещевать и напоминать им об их греховности. Это учение с особой силой развилось среди городского населения, преимущественно ремесленников, и было тесно связано с их исключительно тяжелым положением.

Носители власти не могли отнестись к пропаганде этих учений безразлично. Борьба с суфизмом обострилась особенно в начале X века, когда в Багдаде был казнен один из самых смелых проповедников суфизма Хусейн ибн-Мансур-Халладж (трепальщик хлопка). Но казни не только не умилили движения, а напротив, украсили участников его ореолом «мученичества», и борьба с ним стала для представителей власти еще затруднительнее. Халладж был осужден духовным судом за «кощунство». Это дало суфиям еще лишнее оружие в руки. Они начали выступать не только против властей, но и против официальных носителей правоверия, законоведов и богословов, обвиняя их в продажности, в том, что они «веру свою» продали носителям власти.

Способ борьбы с «мятежными» течениями в суфизме был найден в создании «суфизма правоверного», в разработке которого особенно большое участие принял известный философ и богослов Мухаммед ал-Газали (1059 — 1111 гг.).

Его школа пытается примирить противоречия между суфизмом и правоверным исламом, вносит в ислам элементы мистики, но зато лишает суфизм его активного, действенного начала. Суфизм в этом виде был приемлем и для правящих кругов; более того, он был им нужен уже как орудие для сдерживания масс. Поэтому к началу XIII в. даже придворная литература принимает суфийскую окраску.

Приложение суфийских теорий к практике жизни создало дервишизм. Термин этот происходит от персидского слова «дервиш», что значит «нищий» (арабский эквивалент его — «факир»).

Дервиш — это человек, добровольно отказавшийся от всякого имущества и обрекший себя на существование путем сбора подаяний. Он облачается в особую одежду и пускается странствовать по всему миру, «предав себя в руки Аллаха». При некотором сходстве с монашеством дервишизм, однако, имеет и много отличий. Его обет не окончательный, дервиш в любое время может опять

вернуться к прежней жизни. Он не дает обета безбрачия; если может прокормить жену и детей, то он волен их иметь.

Дервиши образовали своего рода ордена, объединенные одним определенным руководителем. Дервиш, достигший известной репутации святости, мог окружить себя учениками, которым излагал основы суфийских учений. Учитель назывался шейх — старец, а ученики — муридами, т.-е. отдавшими свою волю наставнику. Вступая в число муридов шейха, человек должен был совершенно отказаться от своей собственной воли и во всем быть покорным исполнителем воли шейха. По выражению одного из шейхов, он должен был уподобиться «трупам в руках обмывателя трупов». Есть основания полагать, что орден иезуитов, снискавший себе столь печальную славу, был организован в Египте известным Игнатием

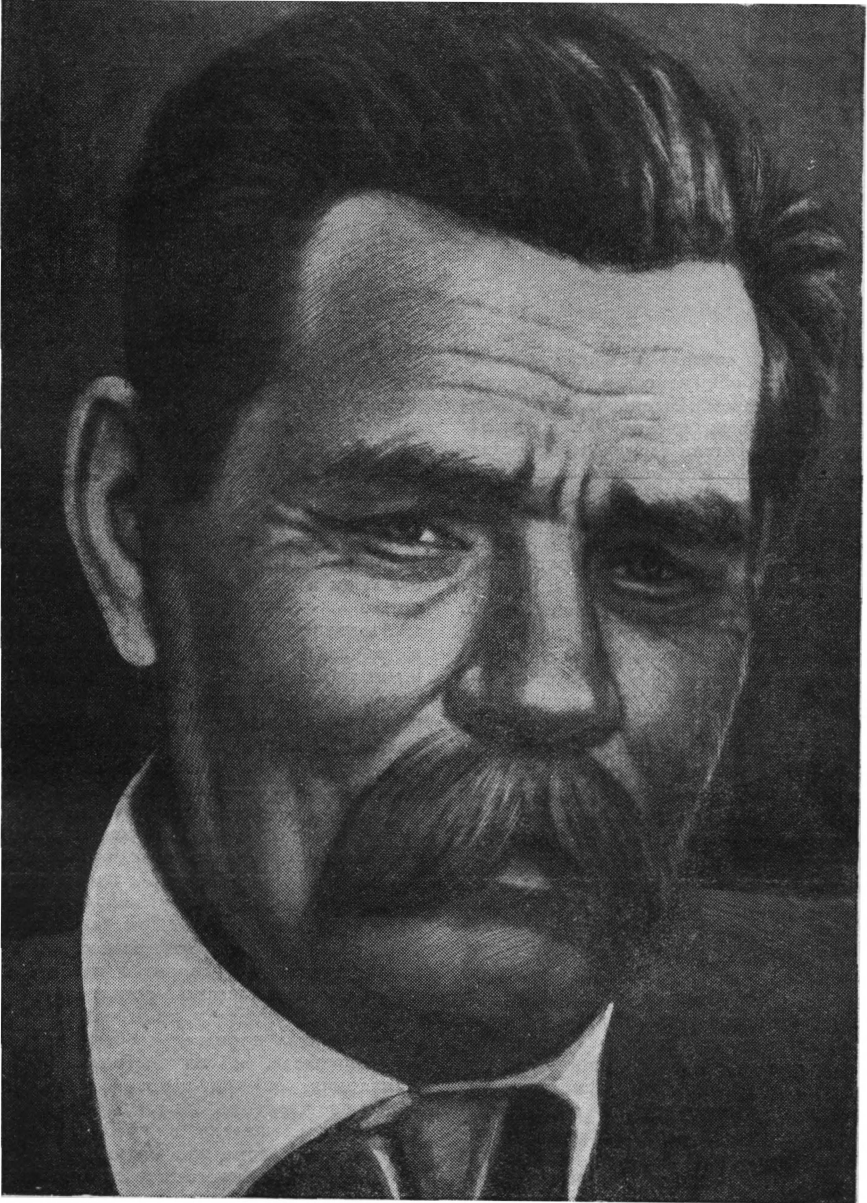
Лойолой по образцу этих дервишеских орденов.

Течение исторического процесса на Переднем Востоке привело к чудовищному росту дервишизма. Ряды дервишей пополнялись не только людьми отчаявшимися, искавшими какого-то утешения, но и всякого рода тунеядцами, которые в дервишизме видели выгодную профессию, позволявшую жить и кормиться, ничего не делая.

В дальнейшем дервишизм стал социальной язвой. Тысячи и десятки тысяч наглых и алчных нищих, как саранча, бродили по всему мусульманскому миру, разоряя и без того нищее крестьянство, отнимая у него последний кусок. Не удивительно поэтому, что как Турция, так и Иран в настоящее время ликвидировали дервишеские ордена.

В Средней Азии они исчезли после Великой Октябрьской Социалистической революции.

(Продолжение следует).



А. М. Горький

Об очерке А. М. Горького „Праздник шиитов“

И. ГРУЗДЕВ

★

Значение термина «очерк» в нашем литературном обиходе общеизвестно. Мы с гордостью говорим о советском очерке, выдвинувшем ряд талантливых писателей-очеркистов; наши крупнейшие писатели-беллетристы, оставляя временами работу над романами, повестями и рассказами, писали книги очерков; у нас был основанный А. М. Горьким специальный журнал очерка, журнал, посвященный познанию — с помощью этой литературной формы — нашей великой страны. Очерк, это — материал непосредственных наблюдений автора, это документальная запись фактов.

Но в прошлом слово «очерк» имело и другие значения. Во второй половине XIX века, например, в русской литературе появляется длинный ряд книг под одним и тем же названием: «Очерки и рассказы». Подойдя к таким сборникам с критерием нашего понимания «очерка» и «рассказа», мы, пожалуй, рискуем ничего не понять и не сумеем определить, где же — рассказ, где — очерк, а если встретим прямые указания авторов в подзаголовках, то и это мало поможет делу. Почему, в самом деле, например, «Дед Архип и Ленька» М. Горького — «рассказ», а «Озорник» его же — «очерк»? Почему «В ночь под Светлый праздник» Короленко — «рассказ», а «В облачный день» его же — «очерк»? При рассмотрении этого вопроса приходится в таких случаях ставить на первое место не принцип документальности или вымысла, а принцип внутреннего строения вещи.

У Горького раннего периода есть много таких «очерков» и вошедших в его собрание, и оставшихся в газетах. Но имея их в виду, говорить о Горьком-очеркисте нельзя, это внесло бы значительную путаницу при нашем понимании термина «очерк». Материал очерка в этом понимании в значительнейшей части входил в то, что у Горького называлось «корреспонденцией» и «фельетоном». Есть, однако, у него несколько произведений, которые и в позднейшем, то-есть нашем, понимании являются очерками, и нужно сказать, что они — замечательный образец этого жанра. Таков печатаемый ниже «Праздник шиитов».

Читатель оценит колорит и точность описа-

ний «Праздника шиитов», а также изображение той огромной душевной силы, расходуемой на религиозное, рабское изуверство и заставляющей автора сказать об этой силе так, как только возможно было сказать в условиях свирепой правительственной цензуры: «И невольно думаешь, что если б эту дивную мощь человека направить не на работу разрушения, а на создание жизни, на творчество новых форм ее, может быть, действительно «поразили бы люди и демонов, и сами боги удивились бы им...».

«Праздник шиитов» появился в газете «Нижегородский листок» 1898 года двумя обширными подвалами, 28 июня и 5 июля, и с тех пор нигде не перепечатывался. Документальность этого повествования стоит вне сомнения — точно указывается время и место происходящего. Это было в Тифлисе, в течение трех дней: 17 — 19 мая 1898 года. Интересно то обстоятельство, что автор в течение трех дней наблюдал все происходившее лишь из окна. «Я жил в доме, который стоит над Курой, на высокой скале, и из окон моих видел весь Авлабар, раскинувшийся на противоположном берегу реки». Дом, в котором «жил» Горький, был Метехский замок, и автор — по необходимости — говорит о тюрьме и о своей камере в таком вежливо-описательном роде.

6 мая 1898 года у проживавшего в Нижнем Горького был произведен обыск, захвачена вся его переписка, и, по требованию тифлиских жандармов, он под конвоем, по этапу был «препровожден» из Нижнего в Тифлис, где в течение трех недель и пребывал в упомянутом высоком доме над Курой.

А в Тифлисе по выходе из тюрьмы Горький не мог оставаться ни одного лишнего дня, как человек «противоправительственного» образа мысли и отданный под особый надзор полиции. «Жандармский ротмистр Конисский предложил мне покинуть Тифлис в 24 часа, — писал мне А. М., — а когда я заявил: хочу в баню! — дал мне жандарма, с которым я и мылся».

Мы опускаем вступление к очерку, содержащее исторические комментарии.

★

Праздник шиитов

А. М. ГОРЬКИЙ

★

Вечером 17 мая толпа персов, айсоров и елизаветпольских татар, вооруженная длинными, похожими на сабли кинжалами, собралась за Авлабаром, в узкой долине, с одной стороны которой возвышается гора, а с другой — развалины тифлисской крепости, древнего и мощного сооружения, выдавшего под своими стенами воинов Помпея. Собравшись тут, эти пестро одетые люди, с бронзовыми лицами и бритыми досиня черепами, выстроились в длинную колонну, обнажили головы и, держа в опущенных руках свои ножи, долго молча смотрели на высокий шест, укрепленный на крыше одного из домов Авлабара. Когда вечернее солнце опустилось за гору и в долину тихо упала тень от развалин крепости, — на шесте взвился большой черный флаг, и в этот момент толпа, взмахнув в воздухе ножами, единодушно испустила протяжный и тоскливый, воющий крик:

— Али! Хуссейн!

Повторив этот возглас трижды, толпа заунывно запела какой-то гимн и в такт пению стала маршировать по долине, взмахивая ножами, ярко блестящими в воздухе. Все ускоряясь в темпе, дружное пение постепенно начинало принимать характер болезненного вопля, ножи равномерно взлетали в воздух и, опускаясь вниз, почти касались плеч и голов, а на лицах людей вместе с потом усталости явилось выражение дикого экстаза. Темные глаза фанатических детей Востока, упорно следя за черным

флагом, развевавшимся в воздухе, разгорались огнем религиозного воодушевления, их лица, искаженные страстным чувством, нервно вздрагивали, и уже с хрипом вырывался из их грудей громкий, единодушный крик, порой прерывавший их пение:

— Али! Хус-сейн!

Отовсюду бежали зрители — русские, грузины, армяне, женщины, солдаты, рабочие, торговцы, дети — все население Авлабара и окружающих его местностей. Окружая подвижников плотным кольцом, зрители ходили за ними и жадными глазами с ожиданием смотрели на них. И вот один из фанатиков, высокий и седой старик, с темным, иссохшим лицом, замахнулся кинжалом над своей головой и легким, ловким ударом рассек себе лоб. Тонкая, но обильная струя крови потекла по его лицу и вызвала у его сотоварищей громкий, радостный крик. Не прошло минуты, как уже более десяти голов и лиц было изуродовано ранами и залито кровью, красными полосками стекавшей на плечи и грудь. Каждый раз, как один из подвижников рассекал себе кожу, — товарищи встречали его кровь громким криком пламенного восторга. В колонне было около ста человек, но уже менее, чем через пять минут после первого примера, в ней не осталось ни одной головы, не окрашенной кровью. Правоверные, не принимавшие участия в этом самоистязании, подходили к окровавленным людям и, благоговейно касаясь ру-

ками их ран, мазали кровью у себя за ушами, под скулами, груди и лбы. А люди с изуродованными, наводящими острый ужас лицами сбросили с себя верхние одежды, обнажили плечи, с ритмическими возгласами:

— Али! Хуссейн! —

маршировали по долине и ожесточенно рубили себе кожу на головах, на плечах и грудях.

Но вот из узкой, змеевидной улицы города выходит на долину еще колонна шиитов. Они одеты в длинные, черные хитоны, с вырезанными на спине большими четырехугольниками, из которых смотрит голое тело. Их головы повязаны черными повязками, а в руках у них толстые сыромятные ремни более аршина длиной, на одном конце которых прикреплены квадратные куски кожи объемом в ладонь. У некоторых эти кожаные квадраты представляют собой мешочек, в который насыпана дробь или положены острые куски кварца, у других в кожу воткнуты мелкие гвозди, третьи вместо кожи прикрепили к концам ремней кисти из медной проволоки. Колонна эта шла медленно и негромко пела какую-то странную песню, полную покорности року, песнь, составленную из торжественных нот, длинных и однообразных, которые, чередуясь с более короткими и резкими, создавали странную мелодию, усыплявшую ум, ничего не давая ему. Эти люди напоминали хор пилигримов из «Тангейзера». Лица их были облагорожены чувством, тихим чувством безропотной готовности к чему-то, спокойной уверенностью в необходимости подвига и сознанием силы совершить его... И кажется, что в поднятой ими туче пыли над их головами носится невидимый и бесформенный, но безжалостный и жестокий дух, поработивший их. А навстречу им несется воющий крик облитых кровью энтузиастов:

— Али! Хуссейн!

— Али! — отвечают они единодушным взрывом, и их страшные плети, свистнув в воздухе, с лязгающим звуком падают на обнаженные спины и рвут мышцы.

— Хуссейн! — И снова плети режут воздух и живое тело.

Возникает страшное и отвратительное соревнование. Те, что режутся ножами, не хотят чувствовать меньше боли, чем чувствуют ее те, что бичуются. В воздухе носится гулкий крик; люди, истязуемые влюбленным в муки кровавым гением фанатизма, поют и возглашают имена святых, зрители, магометане, тоже возбужденные почти до безумия, бьют себя в груди кулаками, поощряют рвение истязуемых возгласами похвал, и в то время, как бичи лязгают по изуродованным, иссеченным спинам, они, эти правверные, с восторгом и жадностью ловят капли крови, разлетающейся по воздуху из разорванных мускулов. Безумие исступления все возрастает, и пытки становятся все более утонченными, люди жаждут мук, ищут острейших страданий; ненасытные в своем рвении, они, кажется, готовы рвать свое тело руками и разбрасывать по земле горячие, дымящиеся куски его. Смотришь и изумляешься—откуда у этих людей так много железного терпения? Или подъем ликующего духа и в наши дни способен заглушать бурный протест истязуемой плоти? Фанатизм, экстаз, исступление—все это сильные слова; но разве дают они понять, что есть в сущности своей та разительная сила, которую они скрывают за собой? И невольно думается, что если б эту дивную мощь человека направить не на работу разрушения, а на создание жизни, на творчество новых форм ее, может быть, «действительно поразили бы люди и демона, и сами боги удивились бы им», — как это сказано в одной хорошей книге...

Я жил в доме, который стоит над Куррой, на высокой скале, и из окон моих видел весь Авлабар, раскинувшийся на противоположном берегу реки. Там ломаные линии домов, разделенных узкими, извилистыми и крутыми улицами, стоят чуть не на крышах друг у друга, поднимаясь от реки до вершины горы: и все они так хаотически скучены, так грязны и неуклюжи, что кажутся громоздким мусором, сброшенным с верха горы и при падении вниз в страхе и без

порядка прилипшим к ее каменным ребрам. Черепица их крыш, серый камень стен, деревянные пристройки, балконы и террасы, висящие в воздухе, — вся эта масса камня и дерева, громоздясь друг на друга, заставляет думать, что только землетрясение, могучий толчок подземных сил мог придать жилищам людей вид такого хаоса.

А Кура, ревушая в узком каменном ложе, между сдавивших ее скал, с пеном гнева бьется в берега, как бы грозя разрушить и смыть с них тяжелые, грязные здания, — Кура наполняет воздух сердитым ропотом и еще более усиливает оригинальность картины и странное впечатление, навеваемое ею.

Кура не широка. Из моего окна можно без усилия перебросить через нее камень во двор на том берегу. Этот двор принадлежит богатому персу, старику, который часто выходит гулять на двор и подолгу сидит в одном из углов двора, на цыновке под тенью платана, окруженный своими женами, закутанными в белые покрывала, тремя девочками, из которых старшей едва ли минуло пятнадцать лет.

Вечером 17 мая этот двор чисто вымели, полили водой, а при наступлении ночи — осветили массой фонарей. Среди двора поставили высокий железный треножник и на нем медный сосуд, в котором красным пламенем горела тряпка или пакля, пропитанная нефтью. Ночью окна домов Авлабара ярко осветились, и по улицам, с пением, шумом и воем, с факелами в руках, пошли процессии шиитов. В густой тьме душной ночи огни факелов то исчезали в извилинах улиц, бросая трепещущий отблеск на стены домов, то снова являлись пред глазами, образуя живые и причудливые узоры из пылающих точек, или, вытягиваясь в длинную линию, они золотой змеей ползли по горе и освещали ножи, белыми молниями разрывавшие воздух над головами людей, охваченных восторженным безумием. Гул голосов, сливаясь с рокотом бешеных волн Куры, носился в воздухе таким могучим звуком — точно вместе с кающимися людьми вся гора вздымалась и стонала. Около полуночи процессия разбилась на отдельные груп-

пы, и они разошлись по всем улицам, всюду сея огни и холодный блеск ножей.

И вот одна часть процессии пришла на двор перса, против моего окна. Ее ждали; на балконе дома стояли старики в длинных, темных одеждах и высоких клобуках, вроде тех, в каких изображают царей Вавилона и Ассирии. У ног стариков сидели два мальчика, одетые в белое. Когда процессия вошла во двор — она прекратила свое пение и образовала круг, в центр которого явилось четверо людей, обнаженных до пояса. Они встали по-двое друг против друга около треножника, облившего их красным пламенем, а правоверные, сопровождавшие их, подняв факелы высоко вверх, окружили их кольцом огней. Затем наступило молчание, и с минуту все стояло неподвижно.

И вот, — среди напряженной тишины, раздался детский голос, слабый, дрожащий, но чистый и звонкий, как стекло. Он пел или, вернее, он певуче жаловался на что-то; он то замирал, бессильный и тоскливый; то, вскрикивая жалобно и кротко, поднимался высоко к небу, в ту ночь скрытому черными тучами, и, дрожащий, робкий, но всегда по-детски милый и красивый, обрывался, падал вниз и замирал на ноте, едва слышной, на звуке, до того легком и бессильном, что, казалось, он был бы неспособен изменить полет пушинки...

— А-а... о... э-а-а... о-о-э-а... —

носились в воздухе плачевная мелодия, и, когда утомленный голос обрывался, толпа что-то дружно и глухо гудела, как бы виновато отвечая ему. Потом запел второй детский голос, более мужественный и сильный, но также полный красивых и печальных металлических вибраций, и когда звуки его замерли — раздался громкий, гортанный возглас одного из стариков. Он долго и внятно читал что-то на ломком языке, звуки которого, резкие и краткие, сыпались в тишину, как зерна.

— Али! Хуссейн! — грянула толпа, и что-то странно звякнуло. Толпа громко запела дику и воинственную мелодию, и я увидел, как четверо полуобнаженных людей, взмахнув чем-то в воздухе, с силой ударили себя по спинам, от чего

раздался железный лязг... В руках у них были довольно толстые и длинные цепи, сложенные втрое; держа их обеими руками, эти люди сразмаха, враз били ими себя по спинам, стараясь так выгибать тело под удар, чтоб на него легло возможно больше цепи. Поощряя их, толпа хлопала в ладоши и пела, потом вдруг задавала им какой-то торжествующий вопрос. Бичующиеся на время прерывали свое самоистязание и отвечали им хриплыми голосами, после чего по грозному возгласу толпы цепи снова взлетали в воздух и снова рвали тело.

— Али-и-и!—одобряюще выла толпа, и удары становились крепче и сильнее. Скоро это был уже противный, хлюпающий, лязгающий звук, точно пучком железных прутьев ударяли по густой грязи. Некоторые из толпы начинали бить себя кулаками правой руки в левую сторону груди. Они размахивались широко, с ожесточением, и каждый удар заставлял их пошатываться. Факелы в их руках дрожали, и я видел, как капли смолы и искры падали на обнаженные плечи истязавшихся. Но они, должно быть, не чувствовали этой боли: они все бичевали себя, и когда их усталые руки уже не могли наносить сильных ударов—они, сами возбуждая себя, громко ревели:

— Али-и!

И снова железó цепей противно лязгало о вспухшие, изорванные спины, облитые кровью и красноватым светом факелов. Так продолжалось долго, до поры, пока пение толпы, удары кулаков и цепей и все другие звуки не заглушил протяжный, воющий стон. Это один из бичующихся не выдержал более пытки, покачулся назад и с воплем плашмя рухнул на землю. Над ним склонились правоверные, чтобы омочить руки в его крови, — может быть, это будет святая, очищающая кровь, ибо человек, который умрет в этот день от истязания, свят.

Замучившегося подняли на руки и с громким пением понесли со двора. Его положат в мечети, а ежели окажется, что он еще в состоянии выздороветь, — может быть, его отправят в больницу, —

может быть, потому что лечить священные раны позорно и постыдно.

Всю ночь до рассвета по горе бегали огни, то рассыпаясь на мелкие группы, то снова соединяясь в одну широкую, сияющую полосу и образуя собою горящие венцы, из которых к темному небу снова неслись крики, свист бичей, мягкие шлепки ударов и лязгание цепей. Но вот взошло солнце, и при первых лучах его весь этот фантастический кошмар исчез вместе с тучами, скрывавшими небо. Днем измученные шииты отдыхали в своих грязных домах с плоскими кровлями, на террасах, висящих в воздухе над Курой, на горе, около развалин крепости, в темных улицах, засоренных гниющими отбросами, полных тяжелого азиатского запаха. Вечером все сцены истекшей ночи повторились в грандиозном размере и с массой новых, поразительных деталей. В долине, у крепости собралась огромная толпа. Тут были сотни людей разных племен Кавказа и Закавказья; все они, нетерпеливо глядя на Авлабар, ждали начала процессии. На сером фоне глыбы известняка, гигантской лестницей вздымавшейся к небу, отчетливо рисовались яркие цвета одежд: белые, желтые, синие и черные пятна усеяли гору. Женщины-магометанки, закутанные в широкие, зеленые и белые покрывала, столпились в отдельную плотную группу, как овцы в жаркий день, и, безжизненные, обезображенные бесчисленными складками своих одежд, точно приросли к земле, уподобляясь неподвижной и безмолвной толпе привидений, созданных фантазией безумного. Дети птицами летали по горе, то и дело подвергаясь преследованию и внушениям со стороны храбрых полицейских, изнывавших под гнетом духоты, пыли и своих обязанностей. Все это казалось веселой и яркой картиной большого, праздничного гуляния...

Но вот из улиц Авлабара начали являться колонны шиитов.

— Али! Хус-сейн! — раздался в воздухе ритмичный крик, а его сопровождал дружный топот ног по камню и все эти противные звуки истязания тела. Каждая колонна имела сегодня свою

особенность и в одежде, и в способе пытки. Бичующиеся были одеты, как и вчера, — в черные хитоны, с вырезами на спинах, те, что резались ножами, — в длинные белые рубахи; головы первых были повязаны черными тряпками, вторые — обнажили свои синие, бритые, изрубленные черепа, и белая ткань их одеяния была вся в красных пятнах и полосах. На многих спинах и плечах сорванная кожа и мясо висели темными, запекшимися клочьями, и из них сочилась кровь. Но лица, почерневшие от боли, были облагорожены восторгом мученичества, ясно светившимся в широко раскрытых глазах.

Эти две колонны выстроились друг против друга и стали маршировать, то наступая, то отступая, грозя одна другой орудиями истязания, но не забывая увечить себя и все вскрикивая в такт своему маршу:

— Али! Хус-сейн!

Иногда один из шиитов выступал вперед и наносил себе страшный удар, от которого все его тело вздрагивало и, как изломанное, падало на землю, под ноги товарищей, встречавших его подвиг ревом похвал... А из города на долину уже выходила еще одна колонна человек в шестьдесят. Они были одеты в широкие белые юбки, прикрывавшие их тело от пояса до колен. Груды их были открыты и представляли собою образцы утонченных пыток.

Некоторые из этих людей, оттянув и прорезав себе кожу около сосцов, пропустили в образовавшуюся двойную рану дужки больших замков и заперли замки. Эти куски железа, весом, наверное, более фунта¹, висели на живом мясе, оттягивая его книзу. Другие воткнули глубоко под кожу груди ряд кинжалов, расположенных веером и дрожавших при каждом шаге. Какой-то юноша-атлет расшил себе грудь медной проволокой, иные, собрав кожу на щеках, защемили ее в тяжелые железные щипцы, к щекам других были привешены фунтовые гири, державшиеся на железных крючках, пронзавших щеку. Высокий, стройный

красавец-перс, с роскошной черной бородой, испортил свое бронзовое упругое тело массой машинных гвоздей, воткнув их в грудь и плечи... И положительно невозможно передать все разнообразие мучений, которым подвергали себя эти люди. Каждый шаг, даже каждый вздох, должен был причинять невыносимую боль, ибо — их вздох колебал эти куски железа, воткнутые в живое тело. Но лица этих подвижников не выражали ничего иного, кроме упоения своими муками. Их появление было встречено радостным, одобрительным воем шиитов и глухим гулом голосов пораженной публики. Многие ушли от этой картины, иные — ругались, женщины — плакали, а ребяташки (их было много!), идя с боков колонны, со страхом и любопытством, большими глазами заглядывали на окровавленные, израненные груди. Посреди зрителей были также взгляды и лица, выражавшие благоговейное сострадание, трогательное чувство умиления, а многие, быть может, даже зависть чувствовали к силе веры этих людей, победивших себя ради славы своего бога...

...Утром 19 мая, часов в 9, на улицах Авлабара появились разноцветные знамена. Было тут и священное знамя пророка, увенчанное золотым диском луны, развевались на длинных древках красные полосы шелка, черные, белые и желтые. Все они постепенно собирались к одному пункту — в большой и тенистый сад на берегу Куры, а когда они собрались там, расцветив зелень деревьев радугой своих ярких красок, — в саду началась церемония. Начали петь какие-то тоскливо-торжественные гимны, неволью напоминавшие о заупокойной литургии православных, прерывали пение возгласами в честь Али и его сына, и снова бичевались, резались, били себя. Потом, кончив петь, все построились по-четверо в ряд в длинную змеевидную группу и образовали в середине ее широкий интервал. Через несколько минут из дома, скрытого среди зелени сада, вышли восемь почтенных бородатых персов; они несли на руках нечто вроде китайского палан-

¹ Замки из тех, которыми обыкновенно запирают двери складов, кладовых, магазинов и т. д.

кина,—красные бархатные носилки, с крышей на четыре ската и с открытыми стенками. Бархат носилок был совершенно заткан золотом и самоцветными камнями; все это ослепительно сверкало на солнце, и при малейшем движении носилок резало глаза, разбрасывая в воздухе снопы ярких искр. В носилках сидела маленькая девочка, с ног до головы окутанная в сияющее белое покрывало, тоже усыпанное камнями. На руки девочки надели цепи, голову повязали широкой черной лентой — она должна была изображать пленную Айшу, ей следовало быть мрачной и плакать, но она, очевидно, находила, что дурное настроение не гармонировало бы с таким красивым костюмом, и смеялась, то и дело показывая свои зубки и сверкая черными глазками.

Готовили триумф Али. Вот явился и сам он, на рослом гнедом коне, весь одетый в красное, осыпанный золотом, в блестящем шлеме на голове, с тонкой кривой саблей в одной руке и поводьями в другой. Забрало шлема опущено — нельзя смертному видеть лица Али, — который, кстати сказать, не далее как вчера, вероятно, торговал разной дрянью в одной из тесных лавчонок Авлабара и, наверно, завтра займется тем же. Его встретили с ликующим воем: — Али-и-и!

Воем, от которого стекла в окнах задрожали. Али становится перед носилками своей пленницы, которая все

смеется, — знамена окружают его, трепещут над его головой, и процессия, азиатски цветистая и роскошная, двигается вперед... под предводительством четверых полицейских во главе с околочным. Играя на солнце пышностью своих красок, она медленно поднимается в гору, приходит на место, которое в течение трех дней поливалось кровью правоверных, будет долго маршировать там, потом возвратится к пункту, от которого отправилась, и чествование Али Хус-сейна кончено...

22 мая. В то время, как я пишу эти строки, по горе опять идет процессия. Но уже небольшая — человек сто. В центре ее несут на плечах продолговатый предмет, завернутый в коричневую материю, а впереди развевается зеленое знамя. Это значит, что один из шиитов, участвовавших в процессии прошлых дней, удостоился славной смерти мученика, и вот единоверцы несут труп его, чтоб зарыть в землю, и завидуют ему, ибо он теперь упивается неземными ласками гурий в раю своего пророка. И в то время, как он там блаженствует, — здесь тоже чтут подвиг его — вот священное знамя пророка развевается над его истерзанным пытками прахом — и это великая честь человеку!

... Не один правоверный шиит ежегодно после этого страшного праздника отправляется под зеленым знаменем в свой веселый рай...

Тифлис.

А. П. Чехов

БИОГРАФИЯ

(Продолжение ¹)

А. ДЕРМАН

★

РАСЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА

Слава Чехова между тем росла быстро и неуклонно, параллельно с этим росло требование читателей на его произведения. После выхода в свет в 1886 году его сборника «Пестрые рассказы» и встретившего его шумного успеха в следующем, 1887 году, Чехов выпустил сразу два новых сборника: «Невинные речи» и «В сумерках». Без ведома автора последний сборник послан был на отзыв в Академию наук, которая в конце 1888 года присудила ему половинную Пушкинскую премию.

Чехов был поражен. «Известие о премии, — писал он к Суворину, — имело ошеломляющее действие. Оно пронеслось по моей квартире и по Москве, как грозный гром бессмертного Зевеса. Я все эти дни хожу, как влюбленный; мать и отец несут ужасную чепуху и несказанно рады, сестра, стерегущая нашу репутацию со строгостью и мелочностью придворной дамы, честолюбивая и нервная, ходит по подругам и всюду трезвонит...» и т. д. Врачу Е. М. Линтваревой, владелице усадьбы, где Чеховы накануне провели лето, Антон Павлович сообщал о премии в том же тоне — приподнятом и вместе шутиливом, но и с характерным оттенком тревоги: «Премия, телеграммы, поздравления, приятели, актеры, актрисы, пьесы — все это выбило меня из колеи. Прошлое туманится в голове, я ошалел; тина и чертовщина городской, ли-

тераторской суеты охватывает меня, как спрут-осьминог. Все пропало. Прощай лето, прощайте раки, рыбы, остроносые челноки, прощай моя лень... Если когда-нибудь страстная любовь выбивала Вас из прошлого и настоящего, то то же самое почти я чувствую теперь. Ах, не хорошо все это, доктор, не хорошо!». Чехов и доволен был, и радовался, и боялся: его смущало, что премия эта обязывала его к каким-то дальнейшим значительным поступательным шагам на литературном поприще, между тем как он попрежнему далеко не был уверен в своих силах, нередко впадая в прямую мнительность и неверие в себя. Единственная положительная сторона премии, которую Чехов принимал безоговорочно, состояла, по его мнению, в том, что пример его успеха должен был действовать ободряющим образом на начинающих работников малой прессы. Эту мысль он настойчиво повторял и устно, и в письмах. Так, приятелю своему Лазареву-Грузинскому он писал: «... и великие писатели бывают подвержены риску исписаться, надоесть, сбиться с панталыку и попасть в тираж. Я лично подвержен этому риску в сильнейшей степени... Во-первых, я «счастья баловень безродный», в литературе я Потемкин, выскочивший из недр «Развлечения» и «Волны», я мещанин во дворянстве, а такие люди недолго выдерживают, как не выдерживает струна, которую торопятся натянуть. Во-вторых, наибольшему риску сойти с рельсов подвержен тот поезд,

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 1 и 5 с. г.

который едет ежедневно, без остановок, невзирая ни на погоду, ни на количество топлива... Конечно, премия—большая штука и не для меня одного. Я счастлив, что указал многим путь к толстым журналам, и теперь не менее счастлив, что по моей милости те же самые многие могут рассчитывать на академические лавры. Все мною написанное забудется через 5—10 лет; но пути, мною проложенные, будут целы и невредимы — в этом моя единственная заслуга».

Следующий, 1889 год принес Чехову новые триумфы. В январе была поставлена с огромным успехом заново переделанная им пьеса «Иванов» на лучшей в те времена сцене — в петербургском Александринском театре. В конце года напечатаны были две большие его вещи: «Припадок» и «Скучная история», привлекая, особенно вторая, исключительное внимание критики и окончательно упрочившие блестящую литературную репутацию Чехова.

Мало-помалу интерес к писателю возрос до такой степени, что появление каждого нового его произведения стало приобретать характер литературного события. Так происходило последовательно с повестями и рассказами: «Дуэль» (1891), «Палата № 6» (1892), «Рассказ неизвестного человека» (1893), «Черный монах» (1894), «Три года» и «Ариадна» (1895), «Дом с мезонином» и «Моя жизнь» (1896), «Мужики» (1897), «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» (1898), «Новая дача», «Душечка» и «Дама с собачкой» (1899), «В овраге» (1900), «Архиерей» (1902) и, наконец, «Невеста» (1903). Как видим, почти ежегодно, начиная с «Дуэли» и кончая незадолго до смерти написанной «Невестой», появлялись произведения Чехова (не считая пьес, о которых речь пойдет особо), привлекавшие огромный интерес читателей и критиков, нередко становившиеся предметом обширных литературных обсуждений и даже центром кипучих литературно-общественных дискуссий (как это случилось, например, с «Палатой № 6» и особенно с «Мужиками»).

Это был успех огромный и неуклонный. Но необходимо, говоря об успехе Чехова, указать в нем на очень существенную черту: в то время как читатели Антона Павловича, круг которых становился все шире, отдавали ему свои симпатии и восторги безоговорочно, в то время как он из писателя «интересного» и «талантливого» становился быстро «любимым», критика явно не разделяла такого отношения к Чехову. Она признавала его талант, ценила его произведения, но все это в большинстве случаев с разного рода оговорками.

Наиболее частой и серьезной была оговорка о мрачном, пессимистическом колорите произведений Чехова, по поводу чего передовая критика неоднократно высказывала опасение, что пессимизм автора может прививаться молодому поколению, разлагать его волю, обессиливать и, так сказать, общественно разоружать.

Это — один из наиболее сложных и острых вопросов чеховской биографии и в то же время один из весьма существенных. Сам Чехов всю жизнь не устал протестовать и возмущаться против наименования его пессимистом, каковым он не считал себя с полной искренностью в глубине души.

Как могло произойти подобное расхождение внутреннего самочувствия писателя с оценками его критиков, почти единодушно утверждавших за Чеховым звание пессимиста?

Внимательный исторический анализ вопроса приводит к несомненному выводу, что ни та, ни другая сторона не ошибалась.

Чехов был прав, заявляя о своем оптимистическом жизнеощущении. Он был по натуре глубоко жизнерадостный человек, относившийся с ненасытным, жадным и активным интересом ко всему богатству жизни. Мир его восприятий был необычайно обширен, жизнь раскрывалась перед его беспримерной наблюдательностью с такой щедростью, о какой человек обычных способностей не в состоянии даже мечтать. Было бы просто затруднительно указать такую область, которая не заключала бы в себе интереса для Чехова. Уже безнадежно боль-

ным, слабым, медленно и трудно умирающим, он, с одной стороны, не перестает горько жаловаться в письмах на бесконечные утомительные визиты знакомых и незнакомых людей, но тут же не может утерпеть, чтобы не зазвать к себе чуть не первого встречного, чтобы побеседовать о том, о другом, услышать рассказ, получить новое впечатление. Только дети, да и то лишь в ограниченном круге явлений, так свежо воспринимают впечатления, как их воспринимал Чехов. Когда читаешь его письма с мест, где перед ним протекала самая простая жизнь, с самой обычной природой, — какой-нибудь Псел с рыбной ловлей, подмосковное Бабкино и т. д., — сразу улавливается тот характерный тон детской свежести, какой бывает, когда «новы все впечатленья бытия». К. С. Станиславский едва ли не тоньше всех подметил эту «очень характерную черту его непосредственного и наивного восприятия впечатления». В книге своей «Моя жизнь в искусстве» он описывает, как в Художественном театре на генеральной репетиции «Микаэля Краммера» его смушал неожиданный и не идущий к настроению пьесы смешок Чехова. «Среди действия Антон Павлович несколько раз вставал и быстро ходил по среднему проходу, все продолжая посмеиваться. Это еще более смушало играющих. По окончании акта я пошел в публику, чтобы узнать причину такого отношения Антона Павловича, и увидел его, сияющего, возбужденно бегающего по среднему проходу. Оказалось, что смеялся он от удовольствия. Так смеяться, — добавляет Станиславский, — умеют только самые непосредственные зрители. Я вспомнил крестьян, которые могут засмеяться в самом неподходящем месте пьесы от ощущения художественной правды». Словно мальчик из провинции, которому предстоит редкое удовольствие «прокатиться в машине», Чехов в нескольких письмах подряд сообщает из-за границы, что поедет домой в поезде «молния». Тонем ребенка, вернувшегося с детского спектакля, рассказывает Антон Павлович в письме, как «в театре, на сцене, в гостиной ходила собака». С веселым удовольствием пи-

шет не только родным, но и приятелям о своих «обновах»: купил костюм, пальто или даже галстук. Ну, а уж о тех моментах, когда судьба ставила его перед лицом великого произведения искусства или перед великолепным пейзажем, — не приходится и говорить.

Жизнь катилась перед ним не сплошной обезличенной лентой, а нескончаемой вереницей отчетливых, ярких впечатлений. И нет ни одного мало-мальски близко знающего Чехова человека, который не выражал бы удивления по поводу его репутации пессимиста. Станиславский категорически заявляет: «Антон Павлович был самым большим оптимистом, какого мне только пришлось видеть». Сам Чехов без обиняков утверждал: «Я — человек жизнерадостный» (например, письмо к писательнице Л. А. Авиловой от 1897 года). Когда же ему указывали на то, что герои его произведений — почти сплошь люди мрачные, тоскующие, унылые, он, даже соглашаясь, отнюдь не приписывал этого обстоятельства своей склонности к пессимизму. В том же письме к Л. А. Авиловой Чехов пишет: «Вы сетуете, что герои мои мрачны. Увы, не моя в том вина. У меня выходит это неволью и, когда я пишу, то мне не кажется, что я пишу мрачно; во всяком случае, работая, я всегда бываю в хорошем настроении. Замечено, — добавляет Чехов, общая положение, — что мрачные люди, меланхолики, пишут всегда весело, а жизнерадостные своими писаниями нагоняют тоску». В том же самом 1897 году он еще в одном письме (к А. А. Хотяинцевой) подчеркивал то же противоречие: «Чем веселее мне живется, тем мрачнее выходят мои рассказы».

Было ли здесь, однако, противоречие несообразностей или же мы имеем дело в данном случае с диалектикой фактов, с единством противоречий?

Несомненно последнее. Подобно тому, как для человека, бесконечно любящего чистоту, мучительна всякая грязь и нечисть и заметна любая соринка, мимо которой пройдет, не заметив ее, более равнодушный к чистоте человек, так мучительна была для жизнерадостного и

тончайшего любителя жизни Чехова моральная, умственная, бытовая и всякая иная грязь российской действительности. И именно благодаря его изощренной любви к жизни глаз Чехова подмечал нередко и такую «соринку», по которой скользили, не замечая, другие, менее ценившие подлинно прекрасную жизнь наблюдатели.

Подлинное отношение Чехова к жизни точнее всего выражено в словах одного из наиболее близких ему по духу героев, доктора Астрова из пьесы «Дядя Ваня», который на вопрос, доволен ли он жизнью, отвечает: «Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души». Здесь нет ни тени противоречия между «люблю» и «презираю», напротив, здесь полнейшая взаимная обусловленность, то-есть единство диалектического противоречия. Потому-то и презирает Чехов-Астров уродливую и пошлую обывательскую жизнь, что любит жизнь вообще, то-есть любит жизнь в ее светлом начале. Ведь обывательская «уездная» жизнь — не более как уродливое, карикатурное искажение подлинной жизни. И совершенно закономерно, что писатель тем мрачнее изображает постылую маску, напяленную на светлое лицо жизни, чем сильнее любит это лицо.

Методически, последовательно подвергал Чехов беспощадному своему анализу один за другим различные слои населения современной ему России, в поисках людей, жизнь которых можно было бы назвать достойным человеческим существованием, а не прозябанием раба или грубым пиршеством хищника. Но таких людей он не находил или почти не находил.

Вот галерея дворян, то-есть сословия, в течение нескольких столетий питавшегося лучшими соками страны, носителей и представителей ее исторической культуры. И что же? Это герой рассказа «Дочь Альбиона», помещик, грубое животное, не имеющий даже отдаленного представления о человеческом достоинстве. Это героиня рассказа «Княгиня», все поступки которой про-

никнуты отвращением к людям. Это Рашевич из рассказа «В усадьбе», обскурант и болтун, «жаба», как называют его все, рядом с которым кажется, что нехватает воздуха для дыхания. Наконец, даже и лучшие представители этого сословия у Чехова, герои «Вишневого сада», Гаев и Раневская, — безвольные, паразиты, «недотепы», совершенно ни к чему не пригодные люди.

Каковы у Чехова представители буржуазии, то-есть те, кто наследует исчезающему поместному дворянству? Это — либо смешной и пошлый герой рассказа «Лев и Солнце», городской голова, глупый человек, лезущий из кожи, чтобы добыть ни на что не нужные ему персидский орден, либо миллионеры Лаптевы из повести «Три года», отчасти деспоты, отчасти ханжи, те и другие не питающие никакого вкуса к жизни. Лучший среди них — глубоко несчастный человек, угнетенный своими миллионами почти в такой же мере, как все вокруг Лаптевых, ни от чего не испытывающий радости, презиравший себя, свою среду, свое богатство, в порыве скорбной искренности восклицающий: «О, если бы дал бог, нами кончился бы этот именитый купеческий род!». Это Анна Акимовна Глаголева из «Бабьего царства», владелица большой фабрики, из всех попыток которой внести в свою жизнь хоть какой-нибудь смысл или хотя бы живое благообразие ничего, кроме конфуза, не получается. Или тоже владелица крупной фабрики Ляликова в рассказе «Случай из практики», неглупая и добрая девушка, прозябающая среди своих миллионов. У доктора, приглашенного лечить Ляликову, обстановке, в которой она живет, и сама она вызывают следующий строй мыслей: «Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают пло-

хой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны; на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна (гувернантка-приживалка), пожилая глуповатая девица в *ripse-pez*. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».

В одном случае Чехов задумал дать портрет не рядового представителя буржуазии, а своего рода философа ее, осмысливающего процесс перемещения экономической мощи из рук оскудевшего дворянства в руки буржуазии. Кто же он, каким рисует автор этого представителя поднимающегося класса? Это — Лопехин из пьесы «Вишневый сад». Чехов показывает его зрителю в момент наивысшего успеха, когда Лопехин возвращается из города, где он только-что приобрел с торгов замечательное «дворянское гнездо» — имение «Вишневый сад», у владельцев которого предки Лопехина были крепостными. Можно ли придумать лучший повод для проявления чувства классовой удовлетворенности Лопехина, для его торжества! Он и торжествует: «Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется... Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется... Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопехин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь... Музыка, играй!».

На первый взгляд — это полновзвучное торжество нового хозяина жизни. Но тонкий художник двумя-тремя штри-

хами дает все-таки почувствовать, что в колоколе есть трещинка: слова Лопехина дышат не спокойной уверенностью владыки, а смешанным чувством радости и оторопи выскочки, которому случайно свалилось на голову счастье. Именно так и дана вся ситуация в пьесе: Лопехин не вырывает сильной, хищной рукой и холодным расчетом этот вишневый сад, а просто подставляет свои руки, отнюдь не сильные и не хищные («У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа», — говорят ему в пьесе), и в них падает богатство, оброненное «недотепами». Житейский успех Лопехина коренится не в его силе, а в жалчайшей слабости Гаевых, которых он не намного сильнее, — вот что старательно проводит Чехов в «Вишневом саду». И поэтому тотчас же после своей торжественной декламации этот представитель побеждающего и восходящего класса восклицает: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь».

Прав ли был Чехов, наделяя чертами слабости и безволия этого представителя буржуазии, — вопрос иного порядка. Вполне дискусионно — соответствовал ли Лопехин со своими руками артиста и лирическими движениями души российским буржуа, точно ли он был типичен для них? Но что Чехов именно так разрешал этот вопрос, что в современной ему России он не видал той буржуазии, которая — пусть хищно, но уверенно и умело, на манер буржуазии западноевропейской, — бралась бы за пересоздание жизни на началах западноевропейской буржуазной цивилизации и культуры, — это не подлежит ни малейшему сомнению.

Еще менее, чем крупных буржуа, считал он на это способными буржуа мелких — обширное по численности сословие городского и сельского мещанства, мелких торговцев, ремесленников, деревенских кулаков и т. д. Мещанство, пошлость мещанства, куда бы она ни проникала, беспощадно преследовалась Чеховым, потому что более всего другого угнетала его. Когда в первые годы

литературной деятельности он смеялся и издевался над пошлостью, то ощущение победы над нею оружием смеха было естественным не только для читателя, но и для автора. Да и сама пошлость для молодой еще наблюдательности Чехова не казалась столь глубоко впитавшейся во все поры жизни. Но с течением времени все новые и новые пласты мешанской пошлости стали открываться перед углубленным взором писателя, и параллельно с этим тон его обличений становился все более скорбным, горьким, болезненным. И невольно кой у кого рождалось впечатление, что эта пошлость непобедима. Именно так назвал ее сам Чехов в одном из последних своих рассказов — «На святках», где изобразил деревенского кулака-грамотея: «Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордастый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире». Само собой разумеется, что бесчисленные варианты мешанины в творчестве Чехова были вполне безрадостны.

Обширный слой чиновничества, богато представленный в произведениях Чехова, точно так же не давал повода писателю для проявления оптимизма. В длинном ряде рассказов и пьес как мелких, так и крупных, ранних и написанных в последние годы, — «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «Анна на шее», «Человек в футляре» и т. д., и т. д., — проходят перед нами не люди, а тени людей или карикатуры на людей. Заячья трусость, подхалимство, надменность, тупость, безличность, пошлость, все возможные варианты извращения чувства человеческого достоинства — вот схема того, что изображено в этих рассказах из жизни чиновников.

К этому слою примыкает интеллигенция. То, что большая часть зрелых произведений Чехова посвящена изображению последней, вполне естественно. Врач по образованию, писатель по профессии, он и сам был интеллигент и

всего больше вращался в кругу интеллигенции.

Его отношение к ней и позиция, которую занимал Чехов при изображении интеллигенции, отличались чрезвычайной сложностью и неустойчивостью.

Была полоса, когда отношение писателя к интеллигенции отличалось от нововременского лишь тоном, субъективной честностью, а в основном было то же самое. Это было в первые годы его сотрудничества в этой националистической, реакционной газете и дружбы с ее редактором Сувориным, но в общем продолжалось недолго. Однако и впоследствии Чехов не переставал колебаться в своих оценках интеллигенции. Если обратиться к личным высказываниям писателя по вопросу о роли, которую интеллигенции суждено сыграть в судьбах страны, то колебания эти выступают с полной наглядностью. Так, у себя в книжке он записывает: «Сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чувствует и умеет работать». Эта запись относится, вероятно, к 1897 году. Но вот что, после столь категорически высказанной веры в интеллигенцию, писал Чехов два года спустя в письме к доктору Орлову.

«Пока... еще студенты и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктор-дачевладельцы, несытые чиновники, вооруженные инженеры. Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский¹ — это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила... Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, не воспитанную, ленивую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недо». В художественных произведениях Чехова эти колебания оценок сказались не

¹ Известные в свое время реакционеры.

столь резко, — здесь он, естественно, был более осторожен и взвешивал каждое слово. Тем не менее, и тут мы можем сопоставить такие, например, фигуры, как доктор Астров, с одной стороны, и Ионыч — с другой. Доктор Астров соединяет в своем лице главное из того, что так дорого ценил Чехов. Он энергичен, неутомим, практичен, широк в своих замыслах, самостоятелен и независим в своих мнениях, упорен в стремлениях. Но в то же время он глубоко эстетичен, он окрылен мечтою о далеком будущем, он насквозь поэтичен, ему знакомы страдания совести, он деликатен с людьми. А Ионыч — это именно тот интеллигент, который катастрофически быстро превращается из милого честного студента в доктора-дачевладельца.

Таковы полюсы. А все обширное пространство между ними занимают несчастные, слабовольные, жалкие: Лаевский из «Дуэли», Андрей Прозоров из «Трех сестер», герой из «Рассказа неизвестного человека», дядя Ваня, Соня и т. д., и т. д. Массу интеллигенции составляют, по Чехову, именно эти фигуры, отличительной чертой которых является полнейшая непригодность к жизни. Они определяют собою духовный тип интеллигента. И понятно, что длинная галерея этих образов внушала критику мыслью о глубоком пессимизме их создателя.

В частности, безотрадно изображены были Чеховым взаимоотношения интеллигенции и народа. В рассказе «Новая дача», одном из наиболее мрачных у Чехова, четко и прямолинейно указано, что полнейшее взаимное непонимание только и характеризует эти отношения. Даже самые прекрасные намерения интеллигенции разбиваются о воспитанные веками рабовладельческих отношений недоверие и затаенную вражду крестьян к барину.

Изображению крестьян посвящено помимо «Новой дачи» одно из важнейших произведений Чехова — «Мужики». Оно и сейчас является, вероятно, самым популярным чеховским рассказом; в момент же своего опубликования вещь эта произвела впечатление разорвавшейся

бомбы. И обусловлено это было именно тем, что в «Мужиках» Чехов произнес о крестьянах слово необычайной суровости и скорби. Вот отрывок из заключительной главы этого рассказа, где подведен итог основного содержания «Мужиков»: «...бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, не честны, не трезвы и сами бранятся также отвратительно: самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками, как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты» и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых... которые наезжают в деревни только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?».

Эти мрачные, безысходные слова лишь окончательно формулировали те мысли и чувства, какие и без того выносил читатель со страниц «Мужиков», где страдания и звериная взаимная жестокость составляют чуть что не все содержание жизни людей.

Тотчас, как рассказ появился в печати, он сделался предметом яростной полемики между народниками и тогдашними легальными маюксистами. Последние опирались на «Мужиков», как на убедительнейшее подкрепление

своего тезиса об идиотизме деревенской жизни. В том, что представителями более человеческих отношений и понятий, более высокой культуры являются в рассказе Николай и Ольга Чикильдеевы, приехавшие в деревню из города, где Николай работал лакеем, а Ольга — горничной, марксистская критика усматривала новое доказательство преимущества города над деревней, городского труда, прививающего человеку какие-то начатки цивилизации, над деревенским, сохраняющим в неприкосновенности первобытную мужицкую темноту. С своей стороны народники указывали, что в «Мужиках» Чехов сгустил мрачные краски и что произведение это, как явно тенденциозное, лишено доказательной силы.

Умышленно ли то было или получилось само собой, но Чехов принял участие в этой полемике и с своей стороны: он выпустил одной книжкой два своих произведения — «Мужики» и большую повесть «Моя жизнь». Последняя посвящена изображению жизни горожан, и надобно сознаться, что жизнь эта едва ли многим лучше той, которая показана в «Мужиках». Герой «Моей жизни» рассуждает о своих согражданах: «Какую пользу принесло им все то, что до сих пор писалось и говорилось, если у них все та же душевная темнота и то же отвращение к свободе, что было и сто, и триста лет назад. Подрядчик-плотник всю свою жизнь строит в городе дома и все же до самой смерти вместо «галлерей» говорит «галдарей», так и эти шестьдесят тысяч жителей поколениями читают и слышат о правде, о милосердии и свободе и все же до самой смерти глут от утра до вечера, мучают друг друга, а свободы боятся и ненавидят ее, как врага». Он же, этот герой, в отчаянии восклицает: «Город наш существует уже сотни лет и за все время он не дал родине ни одного полезного человека — ни одного! Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, ханжей, ненужный, бесполезный город, о котором не пожалела бы ни одна душа, если бы он вдруг провалился сквозь землю».

Таким образом, под пером Чехова город и деревня вставали перед глазами читателя в одинаково мрачном и безотрадном виде. И одинаково безнадежную картину представляли все те группы населения, которые проходили в чеховских произведениях: дворяне, мещане, чиновники, интеллигенция. В подавляющем большинстве это были разновидности одной из трех категорий: либо хищники, либо их безответные, безвольные жертвы, либо, наконец, обыватели, слепые и глухие ко всему, что мало-мальски выступало за пределы их пошлых, ничтожных, мещанских интересов.

Если, в виде редчайшего исключения, встречался у Чехова герой, не подходивший ни под одну из этих рубрик, то это, как правило, несчастный, страдающий и непременно одинокий человек, ни в ком не встречающий поддержки, почитаемый окружающими за чудака именно потому, что его интересы не ограничиваются вопросами личного благополучия. Таков, например, доктор Астров, любимый герой Чехова, мечтающий облагородить человечество при помощи явно утопических средств, вроде медленного и постепенного улучшения природы, и потому, естественно, отодвигающий выполнение своих надежд в отдаленное будущее. «Вот ты глядишь на меня с иронией, — обращается он не без чувства конфуза к одному из своих слушателей, — и все, что я говорю, тебе кажется не серьезным и... и, быть может, это в самом деле чудачество, но когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти, и что, если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я». Такого рода неопределенные и полуфантастические мечты о времени, когда люди будут счастливы, когда они «увидят небо в алмазах» и т. д., звучат все чаще и настойчивее в чеховском творчестве последней полосы, и несомненно, что никаких более близких, определенных и твердых перспектив в то время не было

и у самого Антона Павловича. В том самом, уже цитированном, письме к доктору Орлову, которое так характерно для неверия Чехова в созидательную силу коллектива, высказав скептическое отношение к интеллигенции, как таковой, он продолжает: «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они, или мужики, — в них сила, хотя их мало. Нетъ праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д. и т. д. — и все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse и несмотря ни на что».

Способен ли был Чехов на этом успокоиться? Могла ли его удовлетворить неопределенная перспектива медленного улучшения жизни работой одиночек в духе доктора Астрова?

Исчерпывающий ответ на этот вопрос дал сам Чехов в одном из наиболее совершенных своих созданий — в небольшом рассказе «Крыжовник», напечатанном в 1898 году. Там говорится о человеке, который поставил себе в молодости цель — нажить именьице и кушать крыжовник, выросший на собственной земле. Он под старость добился своего и чувствовал себя счастливым. Человек, от имени которого ведется рассказ, родной брат этого счастливицы, увидев последнего, испытал отчаянье: «мне стало понятно, — говорит он, прозрев, — как я тоже был доволен и счастлив. Я тоже, за обедом и на охоте, поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать?.. Во имя каких сооб-

ражений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо ровом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!».

Но ведь возлагать надежду на одиночек, хотя бы и самых упорных, самоотверженных, это и значит стоять над ровом и ждать, когда он зарастет или затянется илом. А Чехов никаких иных путей не видел сам и не указывал своим читателям.

Таким образом, нельзя не признать, что критика имела все основания констатировать наличие пессимизма у писателя, который сам не видел и другим не мог указать тех движущих сил истории, которые были бы способны «перескочить через ров или построить через него мост», то-есть вывести страну из того сонного гниения, в каком держало ее царское самодержавие, и двинуть ее по пути прогресса. Но и Чехов, с своей стороны, был прав, протестуя против клички пессимиста, потому что жизнь он любил, ценил и радовался каждому ее светлому проявлению.

Драма Чехова заключалась в том, что он проглядел как-раз тот единственный класс, который был способен и которому история предназначила «перескочить через ров» и «построить через него мост», — рабочий класс России. На первый взгляд это кажется маловероятным: художник, одаренный таким талантом наблюдательности, с такой жадностью искавший ростков обновления в скованной параличом стране, — возможно ли, чтобы он «не заметил» роста пролетариата, значения его роли, чтоб он, наконец, просто не почувствовал, как это серьезно, какого внимания это заслуживает?

Факт, однако, остается фактом. Из многих сотен чеховских рассказов, где богато представлены все слои и прослойки населения России, лишь в двух-трех фигурируют рабочие («Бабе царство», «Случай из практики», «В овраге»), и притом не в качестве главных персонажей, а как фон, на котором разворачивается сюжет. И фон этот сам по себе уныл и безотраден у Чехова.

Чем обусловлен был этот поразительный парадокс?

Не подлежит сомнению, что известную роль в этом сыграло происхождение и воспитание Чехова в затхлой среде провинциального мещанства. Он вырос с ее влиянием с огромным упорством, как мы видели, он «по каплям выдавливал из себя раба», он во многом преодолел ее. Но той ограниченности политического кругозора и той робости политической веры, какими эта среда отравила его в юности, — этого он не осилил до конца. Он с уверенностью говорил и писал, что «революции в России никогда не будет», он находил, что «социализм — один из видов возбуждения», не больше, он все свои упования возлагал не на класс, не на коллектив, а на «одиначек», — черта, бесконечно характерная для бескрылого социального воображения, воспитанного в затхлой атмосфере робкого, бессильного, семейно-замкнутого, ограниченного мещанства и закрепленного в атмосфере глухой и многолетней политической и общественной реакции. Вот почему он прошел почти мимо рабочего класса, добросовестно отметив внешние черты его сурового быта, но не пытаясь заглянуть в него глубже: творческая революционная сила, в нем таившаяся, была для этого беспримерно зоркого писателя грамотой за семью печатями, потому что в самое существование такой силы он не верил.

С особенной ясностью и отчетливостью это сказалось на судьбе знаменитого рассказа Чехова «В овраге». В марксистской критике общепризнано, что названный рассказ есть чрезвычайно верная и яркая картина периода первоначального накопления и в этом смысле является подлинно-марксистским

художественным произведением, весьма порадовавшим редакцию журнала раннего русского марксизма «Жизнь», куда он был послан Чеховым по усиленной просьбе Горького. Но сам автор был на этот счет иного мнения. В конце декабря 1899 года он писал к Меньшикову: «Послал повесть в «Жизнь». В этой повести я живописую фабричную жизнь, трактую о том, какая она печальная, и только вчера узнал, что «Жизнь» — орган марксистский, фабричный. Как же теперь быть?». Таким образом, в то время, когда в России марксизм был достоянием уже не единицы, а довольно широких интеллигентских кругов (например, студенчества), не говоря уже о передовых рабочих, в это время изощренный и всесторонний изобразитель русской жизни был так по-детски осведомлен о сущности этого учения, что смешивал марксистский орган с фабричным органом и пресерьезно полагал, что для марксистского журнала недопустимо изображение печального положения фабричной жизни!

МЕЛИХОВСКИЙ ПЕРИОД

Внешние формы жизни и быта Антона Павловича в годы полного расцвета его творчества были просты, незатейливы. В самом начале 1892 года он приобрел невдалеке от Москвы, близ деревни Мелихово, б. Серпуховского уезда, небольшое имение, куда и переехал вскоре со всей семьей. Это было чрезвычайно своевременно: круг знакомства Чехова в Москве быстро расширялся, с утра до ночи одолевали гости, а между тем от былой его способности работать быстро, легко, в любых условиях, чуть не на глазах у посторонних, уже ничего не оставалось. С ростом чувства ответственности за свою работу Чехов все настоятельнее нуждался в обстановке, которая позволила бы сосредоточиться.

В Мелихове он эту обстановку получил. К нему, правда, и сюда то-и-дело приезжали гости, но все же это было не то, что в Москве: он мог в любое время уединиться и работать. Кроме

того, жизнь в деревне открывала для писателя возможность стать поближе к народу, о чем, как мы видели, он мечтал, отчасти также отдаться и общественной деятельности, порой весьма напряженной. Он принял участие в работе земства, был избран гласным, горячо отдался делу борьбы с холерной эпидемией, приняв на себя заведывание обширным участком. Много времени, внимания и личных средств отдал Антон Павлович делу народного образования. В Мелихове и в двух соседних деревнях было выстроено в значительной мере на его личные средства три школы. В 1897 году, когда проходила всероссийская перепись населения, он принял на себя заведывание переписным участком. Однако больше всего сил и времени приходилось ему затрачивать на непосредственную врачебную помощь окружающему населению.

Жизнь в Мелихове пришлась писателю по душе. Она вся была наполнена самой разносторонней деятельностью, среди природы, которую Чехов так любил. Из работ хозяйственного порядка он облюбовал себе уход за деревьями, цветоводство и рыбное хозяйство, с течением времени достигнув во всех этих отраслях высокого совершенства. Образ жизни его отличался здесь строгой регулярностью: он очень рано вставал, рано садился за работу, в полдень обедал, не позже десяти часов ложился спать.

Несмотря, однако, на благоприятные условия жизни, здоровье Чехова быстро и неуклонно ухудшалось: писатель был болен туберкулезом легких.

Горестная история болезни Чехова, когда знакомишься с нею подробнее, невольно рождает странную мысль, что врачебная профессия Антона Павловича принесла ему лишь один вред. Не будь он врачом, он бы, вероятно, внимательнее прислушивался к советам врачей, чаще обращался бы к ним и, сам себе не ставя диагнозов, не пребывал бы годами в губительном заблуждении относительно своего здоровья.

Первый и очень определенный сигнал о роковом заболевании Чехов получил в ранней молодости, вскоре по

окончании университета. В письме его к гимназическому товарищу Сергеенко от 17 декабря 1884 года читаем: «Работы пропасть, денег мало, зима скверная, здоровье негодное... Мечтал к празднику побывать в Питере, но задержало кровохарканье (не чахоточное)». В том, что успокоительный диагноз был поставлен самим Чеховым, можно убедиться из его же письма к Лейкину, написанного в апреле 1886 года: «Я болен. Кровохарканье и слаб... Боюсь подвергнуть себя зондировке коллег... Вдруг откроют что-нибудь в роде удлиненного выдыхания или притупления!.. Мне сдается, что у меня виноваты не так легкие, как горло... Лихорадки нет».

Утвердившись в этом поразительном заблуждении, Чехов не оставлял его долгие-долгие годы, вопреки очевидности. Беглые упоминания о кровохарканьях то-и-дело попадают в его письмах, с неизменным добавлением, что они не туберкулезного характера. Наконец, в октябре 1888 года, в письме к Суворину, Чехов касается подробнее этого вопроса, излагая попутно его историю: «Сначала о кровохарканьи... Впервые я заметил его у себя 3 года тому назад в Окружном суде: продолжалось оно дня 3—4 и произвело немалый переполох в моей душе и в моей квартире. Оно было обильно. Кровь текла из правого легкого. После этого я раза два в год замечал у себя кровь, то обильно текущую, т. е. густо красящую каждый плевок, то не обильно... Каждую зиму, осень и весну, и в каждый сырой летний день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве. Когда же нет крови, я не волнуюсь и не угрожаю русской литературе «еще одной потерей». Дело в том, что чахотка или иное серьезное легочное страдание узнают только по совокупности признаков, а у меня-то именно и нет этой совокупности. Само по себе кровотечение из легких не серьезно; кровь льется иногда из легких целый день, она хлещет, все домочадцы и больной в ужасе, а кончается тем, что больной не кончается — и это чаще всего.

Так и знайте на всякий случай: если у кого-нибудь заведомо не чахоточного вдруг пойдет ртом кровь, то ужасаться не нужно... Если бы то кровотечение, какое у меня случилось в Окружном суде, было симптомом начинающейся чахотки, то я уж давно был бы на том свете — вот моя логика».

Это была, разумеется, логика самообмана. В те времена, правда, изучение туберкулеза далеко отстояло от современного уровня, но все же и тогда наука не утверждала, что если от начала заболевания прошло три-четыре года и больной не умер, то, стало быть, болезнь его — не туберкулез. Чехов отчасти сам себя старался убедить, что у него не чахотка, отчасти же всячески ограждал от этих подозрений своих близких, главным образом мать. Пока он был еще молод и сам организм более или менее успешно боролся с болезнью, Чехов ни в чем не менял режима жизни и, как мы видели, не остановился перед столь тяжким испытанием, как путешествие на Сахалин, которое сильно ему повредило. Даже в таких, безусловно для него недопустимых, удовольствиях, как пресловутое купанье с парохода, он себе не отказывал.

Однако невозможно было вечно закрывать глаза на факты. В начале 90-х годов Чехов в письме к приятелю замечает: «Вы совершенно верно изволили заметить, что у меня истерия. Только моя истерия в медицине называется «чахоткой». Но, по всей вероятности, это было лишь мимолетным подозрением. Уже в 1895 году он писал к Суворину: «Я немножко похварываю, простудился, должно быть. Чертовский кашель создал мне репутацию человека нездорового, при встрече с которым непременно спрашивают: «Что это вы как будто похудели?». Между тем, в общем я совершенно здоров и кашляю только оттого, что привык кашлять».

Решительный конец самообману наступил лишь в 1897 году. 24 марта, приехав из Мелихова в Москву, он отправился в ресторан «Эрмитаж» пообедать с Сувориным, но едва сели за стол, как из горла у Антона Павловича хлынула кровь, которую не удалось унять

обычными средствами. Писателя свезли в гостиницу, а оттуда в клинику профессора Остроухова, где он оставался до 10 апреля. Здесь его подвергли, наконец (впервые!), серьезному врачебному обследованию и установили поражение верхушек обоих легких. Однажды, когда сестра поправлявшегося писателя, она застала его быстро шагающим взад и вперед. Не заметив сестры, он говорил про себя: «Как это я мог прозевать у себя притупление?». И только теперь, признав себя больным туберкулезом, Чехов перешел на соответственный режим и лечение. Но к этому времени болезнь зашла уже очень далеко.

Осенью этого года Чехов по совету врачей уехал на Ривьеру, в Ниццу, где прожил до весны 1898 года. На обратном пути в Россию он на некоторое время остановился в Париже, где между прочим усердно хлопотал о приобретении у знаменитого скульптора Антокольского статуи Петра Великого для памятника последнему в родном городе писателя — Таганроге. Памятник действительно был сооружен, но впоследствии какие-то головотяпы распорядились его убрать. Столь же усердно Чехов пополнял из-за границы книгами таганрогскую библиотеку. Заботы его о последней начались еще в 1890 году и с тех пор не прекращались до самой смерти писателя. Результатом их было солидное, всесторонне обдуманное собрание книг — около двух тысяч томов, в числе которых множество с авторскими автографами: подарки, сделанные Чехову его собратьями и в свою очередь подаренные им родному городу.

Много внимания уделил Чехов в эту заграничную зиму знаменитому в свое время судебному процессу—делу Дрейфуса.

Оно вкратце состояло в следующем. Офицер французской армии капитан Дрейфус, по национальности еврей, был ложно обвинен военным судом в государственной измене. Действительным виновником измены был майор Эстергази. Однако все попытки реабилитировать Дрейфуса терпели неудачу, ната-

квиваясь на сопротивление антисемитских и национально-шовинистических кругов, громоздивших одно беззаконие на другое с целью оставить в силе ложный приговор. Когда за Дрейфуса вступился известный писатель Эмиль Зола, то и его поспешили предать суду и приговорили к тюремному заключению.

Дело это тянулось несколько лет и в конце концов завершилось полным оправданием Дрейфуса. Оно сосредоточило на себе внимание всего мира и фактически разграничило миллионы волновавшихся по поводу него людей на два обширных лагеря: за Дрейфуса и против Дрейфуса. Все мало-мальски прогрессивное стояло за Дрейфуса, вся реакция ратовала против него.

В России особенно позорную позицию в деле Дрейфуса заняла газета «Новое время». Она не только тенденциозно освещала и подтасовывала получавшуюся из Франции информацию, но даже не останавливалась перед прямыми подлогами, переделывая сообщения своих же корреспондентов.

Находясь за границей, Чехов внимательнейшим образом по стенографическим отчетам изучил все дело и пришел к твердому заключению о полной невинности Дрейфуса. С «Новым временем» он разошелся уже давно, ничего не давал туда еще с 1893 года. Но с редактором этой газеты Сувориным у него все еще сохранялись отношения если не дружеские, как в былые годы, то приятельские.

Теперь в них быстро назревал кризис. К поведению «Нового времени» Чехов проникся подлинным отвращением и возмущением, а роль самого Суворина начинала его все более и более раздражать. Наконец, одно из писем Суворина к Чехову, где он попытался принизить позицию Зола в деле Дрейфуса, переполнило чашу терпения Антона Павловича. Он написал Суворину обширное и поистине замечательное письмо, в котором воздал горячую и страстную хвалу Зола за его защиту невинного и в самых неприглядных красках изобразил клику антисемитов и националистов, осудивших Дрейфуса и Зола.

Чехов расценивал свое письмо, как разрыв. Однако Суворин постарался сохранить видимость добрых отношений с Чеховым. Они и после этого изредка переписывались, но письма Чехова с тех пор становятся все более сдержанны и сухи. С другой стороны, все теплее и сердечнее становятся отныне его отношения с представителями прогрессивных кругов — с редактором «Русских ведомостей» Соболевским, редактором «Русской мысли» Гольцевым и др. И несомненно, что именно дело Дрейфуса ускорило этот процесс отхода писателя влево.

По возвращении в Россию Чехов лето пробыл в Мелихове, но на осень врачи снова отправили его на юг — теперь уже в Ялту. Здесь в середине октября он получил телеграмму о смерти отца.

Павел Егорович давно уже смирился, подчинился в строе жизни признанному главе семьи Антону Павловичу, жил мирно в Мелихове, занимался хозяйственными делами, вел дневник, куда записывал разные будничные мелочи. Чехов, сохраняя грустные воспоминания о своем тяжелом детстве, давно уже примирился с отцом, и смерть старика его глубоко опечалила. Он понимал, что матери будет тяжело оставаться в Мелихове, его же самого болезнь все чаще и чаще гнала на юг. Кроме того, Чехову нужны были новые впечатления: «... в беллетристическом отношении,— писал он в одном письме,— после «Мужиков», Мелихово уже истощилось и потеряло для меня цену». В результате с Мелиховым решено было разделиться. Последнее лето Чеховы провели здесь в 1899 году. В это время Антон Павлович уже строил себе дачу в Ялте, куда вскоре он и переехал с семьей на постоянное жительство. А Мелихово было продано.

Оглядываясь на отношения, которые в Мелихове сложились у него с крестьянами, Чехов писал незадолго до того, как навсегда расстался с этим уголком: «С мужиками я живу мирно, у меня никогда ничего не крадут, и старухи, когда я прохожу по деревне, улыбаются или крестятся. Я всем, кроме детей, говорю вы, никогда не кричу, но глав-

ное, что устроило наши добрые отношения, — это медицина».

Итак, в жизни Антона Павловича наступила новая полоса — ялтинская. Новая и — последняя.

ЧЕХОВ-ДРАМАТУРГ

Судьба поступила жестоко с писателем: его вынужденный переезд на юг произошел как-раз в такое время, когда Москва влекла его больше и сильнее, чем когда бы то ни было: с 1898 года открылась деятельность Московского Художественного театра, который нашел настоящий, нужный язык для истолкования чеховских пьес и в работе для которого Чехов обрел новый творческий под'ем. Этот взаимный контакт привел к тому, что Чехов в эти последние годы становится преимущественно драматургом, пишущим пьесы с определенным расчетом на их постановку в этом театре.

Глубокий интерес Чехова к театру, как мы видели, проявлялся с самого детства. Его первая крупная вещь, конечно, не случайно оказывается драматургическим произведением, — уже нами упоминавшаяся пьеса без названия, изданная Центрархивом. Имеются далее указания, что еще молодым студентом Чехов доставил знаменитой артистке Ермоловой какую-то пьесу для ее бенефиса, но потерпел неудачу и уничтожил свое произведение. Новая драматургическая попытка Чехова, относящаяся к 1885 году, до нас дошла: это драматический этюд в одном действии «На большой дороге» — авторская переработка рассказа «Осенью». Пьеса была представлена в цензуру и там потерпела крах: цензор написал на рукописи: «Мрачная и грязная пьеса эта, по моему мнению, не может быть дозволена к представлению».

Два последующих года были всецело отданы беллетристике. Громадные и притом первые успехи Чехова в этом направлении, естественно, прикрепили его внимание к этому роду творчества. Но уже в конце 1887 года мысль Чехова снова направляется в сторону театра: он пишет драму «Иванов».

Приступая к работе над пьесой, Чехов ставил себе двойную цель: дать типическую для того времени фигуру разочаровавшегося общественного деятеля, как бы завершающую поколение «лишних людей», и в то же время воплотить свой замысел в свежих и новых драматургических формах.

Необходимо напомнить, что драматургия того времени — бесчисленные пьесы Виктора Крылова, Шпажинского, Невежина и т. д. — сплошь строилась на шаблонах. Уже выработалось десятка два так называемых «типов», из которых драматург комбинирует привычные театральные положения, а набившие руку актеры — каждый по своей «специальности» — изображали «героев», «злодеев», «резонеров» и т. д. также по шаблону. Это было типичное, мещанское, выродившееся искусство.

Чехов, с молодых лет пришедший к твердому убеждению, что в первую голову писателю нужна свежесть, что шаблон и рутинность — страшнейшие враги искусства, те же принципы перенес и на драматургическое творчество. Узнав, что брат Александр работает над пьесой, он дает ему ряд советов: «...старайся быть оригинальным и по возможности умным, но не бойся показаться глупым: нужно вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто не боится писать глупостей. Не заливай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок... Памятуй, кстати, что любовные объяснения, измены жен и мужей, вдовьи, сиротские и всякие другие слезы давно уже описаны. Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать. Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен. Лакеи должны говорить просто, без пушай и без теперича. Отставные капитаны с красными носами, пьющие репортеры, голодающие писатели, чахоточные жены-труженицы, честные молодые люди без единого пятнышка, возвышенные девицы, добродушные няни — все это было уже описано и должно быть об'езжаемо, как яма».

Недостатком современных пьес Чехов считал их нарочитость, ходульность,

искусственную эффектность. Персонажи обрисовываются в них посредством участия в событиях сенсационного свойства, в приподнятых речах и т. д.

Все это трезвейший реалист Чехов отвергал. Он говорил, что на сцене надобно показывать «жизнь, какая она есть, и людей таких, какие они есть, а не ходульных». «Требуют, — говорил он, — чтобы были герой, героиня сценически эффектны. Но ведь в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене. Надо сделать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обещали, разговаривали о погоде, играли в винт... Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни...».

В соответствии с этими принципами старался строить Чехов свою пьесу. Самое название ее «Иванов» подчеркивало, что речь идет о чем-то простом, заурядном. Первоначально Чехов хотел пойти еще дальше в этом направлении и предполагал назвать пьесу «Иван Иванович Иванов», но затем, повидимому, решил, что это было бы уже претенциозной простотой.

В отношении языка действующих лиц Чехов также не отступил от выраженных им принципов. Но относительно театральных эффектов этого уже нельзя сказать. Он в значительной мере сам еще находился во власти старой традиции и, так сказать, не доверял проницательности и восприимчивости зрителя, пытался так или иначе подхлестнуть его внимание и делал это совершенно сознательно. В письме к брату Александру он весьма образно поясняет этот прием: «Каждое действие я оканчиваю, как рассказы: все действие веду мирно и тихо, а в конце даю зрителю по морде». Но в переводе на язык драматургии это и означало: кончать под занавес эффектом. И действительно, только первый акт «Иванова»

более или менее свободен от подобного финала, остальные же три заканчиваются явно рассчитанными на эффект сценами. Более того, сцены эти имеют очень заметный привкус мелодраматизма. Достаточно напомнить, что в последнем акте главный герой стреляется на сцене, в присутствии своей невесты, перед самым венчанием.

Таким образом, «Иванов» явился лишь первой попыткой Чехова «взорвать» устарелые драматургические формы. Кое в чем он нов и свеж, — автор именно эту черту его особенно ценил: в пьесе, — с удовлетворением писал он, — нет «ни одного злодея, ни одного ангела». Но во многом он еще традиционен. Тем не менее даже эта относительная новизна и свежесть взбудоражили тогдашнего зрителя. После первого представления Чехов сообщал брату Александру: «Театралы говорят, что никогда они еще не видели в театре такого брожения, такого всеобщего аплодисменто-шканья и никогда в другое время им не приходилось слышать столько споров, какие видели и слышали они на моей пьесе».

После «Иванова» в творчестве Чехова идет интенсивная драматургическая полоса: целый ряд одноактных пьес — «Калхас», «Медведь», «Предложение», «Трагик поневоле» и, наконец, новая большая пьеса «Леший», написанная в 1889 году.

Работая над ней, Чехов опять прежде всего озабочен, чтобы не попасть в колею драматургических шаблонов, от которых он явно отталкивается: «Вылились у меня лица, — пишет он, — положительно новые: нет во всей пьесе ни одного лакея, ни одного вводного комического лица, ни одной «вдовушки». В другом письме: «Пьеса ужасно странная, и мне удивительно, что из-под моего пера выходят такие странные вещи».

Но и относительно «Лешего» справедливо будет сказать, что это все еще смесь старого и нового, а не новое, как и «Иванов», хотя и с большей долей нового, чем последний. Эффекты в конце актов явно соблазняют автора и здесь, хотя сами по себе они тоньше,

мягче. Не свободен «Леший» и от мелодраматизма, хотя и он не столь резок: есть самоубийство, но оно происходит за сценой; есть пожар, видный зрителям, есть романтические побеги, есть несколько нарочито поэтическая «мельница в лесу» и т. д. С другой стороны, резко новым для тогдашней драматургии является общий основной тон пьесы: «Общий тон — сплошная лирика», — характеризовал его сам Чехов. Наконец впервые применен здесь тот прием игры паузами, который впоследствии получит в пьесах Чехова столь могучее применение.

Крупным недостатком пьесы было то, что новыми своими приемами — лирическим тоном и паузами — автор не вполне еще овладел. Он это чувствовал: «Леший», — пишет он, еще не окончив пьесы, — годится для романа, я это сам отлично знаю. Но для романа у меня нет силы... Если бы пьеса имела литературное значение, то и на том спасибо».

Но эта «литературность», недоразвившаяся до театральности, была слишком очевидна, и для пьесы значение ее было роковым: ее отвергли не только официальные театральные учреждения, вроде петербургского театрально-литературного комитета, охарактеризовавшего «Лешего» как «прекрасную драматизованную повесть, но не драму»; не только вся пресса отозвалась о пьесе резко отрицательно; не только публика отнеслась к ней с ясно выраженным неудовольствием, но и отдельные лица, мнением которых Чехов весьма дорожил, — как, например, В. И. Немирович-Данченко, известный артист Ленский, — прямо указали Антону Павловичу, что опыт его потерпел неудачу.

Очень характерно для Чехова, как он на это реагировал: он внял сделанным указаниям и навсегда отрекся от «Лешего». Не включая его в сборники своих произведений, он решительно воспротивился всяким дальнейшим попыткам ставить его на сцене. Но от самого принципа, от стремления к новым драматургическим формам он не отказался нисколько, придя лишь к заключению,

что в «Лешем» эта задача выполнена неудачно — и только.

Если не считать «Свадьбы» и «Юбилея», — двух водевилей, переделанных Чеховым из своих рассказов, — то целых шесть лет после «Лешего» Антон Павлович не принимался за пьесы. Но это не значит, что неудачей «Лешего» он был обескуражен вплоть до отказа от мысли поработать над новой пьесой. Это значит лишь, что его работа проходила незримо: в обдумывании, в размышлениях. Это, вообще говоря, была главная и важнейшая часть работы Чехова в последние восемь-десять лет его жизни. О том, что вопрос обновления драматургических форм продолжал стоять перед ним во всей остроте, мы можем заключить по отдельным его высказываниям в эти годы. Так, в 1892 году он сообщает Суворину: «Есть у меня интересный сюжет для комедии, но не придумал еще конца. Кто изобретет новые концы для пьес, тот откроет новую эру. Не даются подлые концы. Герой или женись, или застрелись, другого выхода нет». Задумав писать пьесу, он сообщает Суворину же: «Я напишу что-нибудь странное». Другими словами, Чехов попрежнему настойчиво стремится к новизне, к свежести.

Только через семь лет после «Лешего» разрешил он, наконец, задачу драматургической новизны: это была пьеса «Чайка». «Пишу ее не без удовольствия, — сообщал он Суворину во время работы, — хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви». «Пьесу я уже кончил, — уведомляет он вскоре того же корреспондента. — Начал ее forte и кончил pianissimo, вопреки всем правилам драматического искусства».

Уже из этих беглых замечаний видно, что неудачей «Лешего» нисколько Чехов не «образумил», что он продолжал гнуть свою линию обновления обветшалых драматургических форм. И действительно, даже и сейчас, читая «Чайку», чувствуешь в сильнейшей степени ее исключительное своеобразие, быть мо-

жет, большее, чем даже последующих чеховских пьес. А сорок лет назад, когда она появилась, это было нечто совершенно неслыханное.

Определение этого своеобразия чрезвычайно затрудняется тем, что, главным образом, оно сводится не к внешним приемам, а к насыщающему пьесу неуловимому настроению. Всего удачнее оно выражено В. И. Немировичем-Данченко, который говорит, что Чехов заменил «устаревшее действие» «подводным течением». Это «подводное течение» создавалось в «Чайке» и лирикой, и многочисленными паузами, и пейзажем, который Чехов заставлял выполнять в пьесе весьма значительную функцию, и волнующими недомолвками, обрывающими речи персонажей, и резкими, внезапными переборами тональности в речах действующих лиц, создающими атмосферу нервного напряжения.

В октябре 1896 года Чехов приехал в Петербург, где готовилась постановка «Чайки» на сцене Александринского театра. Главная роль Нины Заречной отдана была молодой тогда, впоследствии прославленной артистке Коммиссаржевской. Чехову на репетициях она очень понравилась. Все остальное внушало большие сомнения: пьеса предназначалась для бенефиса комической актрисы Левкеевой, который был уже назначен на 17 октября. В распоряжении режиссера оказалось всего-навсего девять дней. Привыкшие к рутинным пьесам актеры не находили для своих ролей нужного тона. Чехов ничего хорошего от спектакля не ждал, но то, что случилось, превзошло самые тревожные ожидания.

Преобладающей публикой явились сливки столичного мещанства, среди которых бенефициантка пользовалась особенной популярностью. Это была наиболее рутинная публика, на бенефисе комической актрисы ожидавшая увидеть традиционную комическую пьесу. Вначале она и принимала «Чайку», как нечто нарочито смешное. В самых драматических местах раздавался оглушительный хохот. Потом началось недоумение, затем все чаще и чаще стали шикать, свистеть, кричать с мест. В театральном за-

ле начался открытый скандал. В одном из отчетов о спектакле читаем, что представление «шло буквально под аккомпанемент шиканья, свистков, хохота, криков «довольно», неуместных поддакиваний артистам». «Я более двадцати лет посещаю театры,—замечает рецензент,—я был свидетелем множества провалов, но ничего не запомню подобного». Излишне говорить, как подействовало это на игру артистов: они растерялись, Коммиссаржевская была вся в слезах..

Чехов присутствовал в театре, но, когда скандал обозначился совершенно явственно, ушел за кулисы, где все время и оставался. После спектакля он исчез из театра так, что никто из знакомых его не заметил. Как потом узнали, он бродил, потрясенный, по Петербургу, куда-то заходил, а утром уехал в Москву и оттуда в Мелихово. Суворину он в день отъезда написал: «Вчерашнего вечера я никогда не забуду... Н и к о г д а,—подчеркнул он,—я не буду ни писать пьес, ни ставить». Даже больше, чем через два месяца, в его сообщениях о «Чайке» чувствуется особенная острота пережитого: «Да,—пишет он к В. И. Немировичу-Данченко,—моя Чайка имела в Петербурге, в первом представлении, громадный неуспех. Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я — по законам физики — вылетел из Петербурга, как бомба».

Начавшись в театре, скандал растянулся: пресса вылила на голову писателя ушат злобы, издевательства. То-и-дело появлялись самые пошлые пародии на «Чайку», карикатуры на нее и ее автора. Сочувственные отзывы были редким исключением, а самый тон их был робок, нерешителен.

В сочувственных и ободрительных письмах частного характера не было недостатка, иных из их авторов, например, Кони, Чехов высоко ценил, но в большинстве эти соболезнования служили для него лишь показателем глубины провала.

Внешне Чехов только в первые часы растерялся, затем овладел собой и выражал полное спокойствие. Но не подлежит сомнению, что он пережил страшный удар. М. П. Чехов категорически

заявляет: «С этого момента его болезнь значительно обострилась». Это подтверждается тем, что именно с того времени, с начала 1897 года, Чехов, так сказать, официально переходит на положение чахоточного, уже не пытаюсь, как прежде, бывало, обманывать и себя, и других относительно состояния своего здоровья.

В одном из писем к Суворину Чехов частично объяснил, почему так подействовало на него пережитое 17 октября: «Вы и Кони доставили мне письмами не мало хороших минут, но все же душа моя точно лужоная, я не чувствую к своим пьесам ничего кроме отвращения. Вы опять скажете, что это не умно, глупо, что это самолюбие, гордость и проч. и проч. Знаю, но что же делать. Я рад бы избавиться от глупого чувства, но не могу и не могу. Виновато в этом не то, что моя пьеса провалилась; ведь в большинстве мои пьесы проваливались и ранее, и всякий раз с меня как с гуся вода. 17-го октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно: — те, с кем я до 17-го окт. дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копыя... — все эти имели странное выражение, ужасно странное... Одним словом, произошло то, что дало повод Лейкину выразить в письме соболезнование, что у меня так мало друзей, а «Неделе» вопрошать: «что сделал им Чехов»... Я теперь покоен, настроение у меня обычное, но все же я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили».

Совершенно равнодушен остался Чехов и к тому, что на нескольких последующих представлениях «Чайка» имела успех: рана, полученная 17 октября, не затягивалась. В этот день, как мы видели из приведенного письма, Чехов испытал не только творческое одиночество, проявившееся в полнейшем непонимании его задушевнейшего произведения, но также и простое человеческое одиночество, предательство, зависть, «друзей клевету ядовитую», по выражению поэта. «Чайка» стала печальным рубежом в его жизни. Когда обозреваешь извест-

ное шеститомное собрание писем Чехова, то совершенно явственно ощущаешь этот рубеж: последние два тома писем — от 1897 года до конца — резко отличаются от писем первых четырех томов: они гораздо лаконичнее, сдержаннее, замкнутее. Дружеский тон в них гораздо реже, раздражение — гораздо чаще. Писатель как бы пережил глубокое разочарование и ушел в себя.

Решение Чехова порвать с театром было настолько серьезным, что он даже отдал распоряжение приостановить печатание сборника своих пьес, который должен был вскоре выйти в свет, и отменил его лишь по настоянию издателя (Суворина). В то же время он писал последнему: «Проживу 700 лет и не напишу ни одной пьесы. Держу пари на что угодно». Однако Антон Павлович не рассчитал всей глубины своей театральной страсти.

В указанный сборник была им включена пьеса «Дядя Ваня» — коренная переработка потерпевшего неудачу «Лешего», сделанная Чеховым, повидимому, еще до написания «Чайки». Совершенно неожиданно для автора «Дядя Ваня» быстро стал завоевывать одну за другой сцены провинциальных театров. В провинциальной прессе появились живые и горячие отклики на спектакль. Вскоре «Дядя Ваня» был поставлен в Павловске под Петербургом, и столичная пресса тоже высоко оценила пьесу. Видный театральный критик этого времени А. Р. Кугель, вообще говоря не питавший большой симпатии к чеховской драматургии, должен был тем не менее признать, что пьеса — «самое яркое сценическое произведение последних лет».

Этот неожиданный успех, как можно полагать, имел некоторое значение и для последующей судьбы «Чайки». Когда в 1898 году в Москве возник Художественный театр и один из его создателей, В. И. Немирович-Данченко, обратился с просьбой к Чехову, с которым состоял в приятельских отношениях, дать для театра «Чайку», то, хотя и после долгих колебаний, Антон Павлович ответил согласием.

В книгах В. И. Немировича-Данченко и К. С. Станиславского, в мемуарах род-

стве­н­ни­ков и дру­зей Че­хова по­дроб­но рас­ска­зано об этом остром мо­мен­те в жи­зни те­атра, как и в жи­зни пи­сате­ля. Все хо­рошо по­ни­ма­ли, что но­вый про­вал пьесы мо­жет иметь для ав­тора са­мые ро­ковые по­след­ствия, не го­во­ря уже о том, что это мо­гло быть про­валом всей судь­бы мо­ло­до­го те­атра. Мо­жно ска­зать без пре­увели­че­ния, что на кар­ту по­став­лено бы­ло все.

Ставка была взята: огромный успех «Чайки» оказался не простым успехом очередной новой постановки. Это было самоопределение театра на долгие годы, это был успех нового направления в театральном искусстве, утверждение нового театрального стиля. На долгие годы Московский Художественный театр сделался театром на­строения, то есть воплотителем на сцене того самого «подводного течения», которое и составляло самую сущность новизны чеховских пьес вообще, «Чайки» — в особен­ности.

Произошло столь редкое и столь счастли­вое слияние стремлений ав­тора и те­атра. Последовавшая вскоре постановка в Художественном театре «Дяди Ва­ни» оконча­тельно убедила Че­хова в том, что он понят театром. Он делается близким театру и его работникам че­ловеком, в известной степени — его ли­тературным консультантом. Со своей стороны театр отвечает писателю самым г­лубоким и трогательным вниманием. Че­хов по болезни был иногда лишен воз­можности своевре­менно видеть свои пьесы на сцене театра, — театр приехал к нему в Ялту. В одном случае театр сы­грал в Москве «Чайку» для одного зрите­ля, и этим зрителем был Антон Павлович.

В этой творческой и в то же время дру­жеской атмосфере Че­хов почувство­вал, наконец, что может снять зарок, на­ложенный на себя после обиды, полу­ченной 17 октября 1896 года. В 1900 году он пишет «Три сестры», с 1902 года начинается работа над «Виш­невым садом». Творческие замыслы пи­сателя, осуществить которые помешала ему смерть, были, как об этом сви­детельствуют близкие Чехову люди, тоже драматургические.

Приемы построения последних пьес были у Че­хова, в общем, те же, какие он применил в «Чайке». Особенно приходится это сказать относительно «Трех сестер». Что касается «Вишневого сада», то в нем Антон Павлович с наибольшей резкостью, чем в остальных своих пьесах, дал смешение элементов драматического с комическим, что наложило на пьесу отпечаток большого своеобразия. Тем не менее, автор, с характернейшим для него страхом перед рутинной, мучил­ся во время работы над «Вишневым садом» сомнениями: «Тон мой вообще устарел, кажется», «Надо бы чего-нибудь новенького, кисленького», «Мне кажется, что я, как литератор, уже отжил, и каж­дая фраза, какую я пишу, представляется мне никуда негодной и ни для чего не нужной», — вот фразы, выхваченные из его писем, относящихся ко времени писания последней пьесы.

Замечательно, что тот замысел пьесы, который Че­хов унес с собой в могилу, даже лишь в передаче слышавших о нем людей отличался крайним своеобразием. И можно не сомневаться, что никогда не успокаивавшийся на достигнутых ре­зультатах писатель продолжал бы свою преобразовательную работу в области драматургии и в дальнейших своих про­изведениях.

ЯЛТИНСКИЙ ПЕРИОД. СМЕРТЬ ЧЕХОВА.

Усиленная драматургическая деятель­ность Че­хова пришлось, таким образом, на годы, когда он, прикованный болезнью к Ялте, лишь урывками мог приез­жать в Москву и посещать театр. Это, конечно, в не­малой степени способствовало тому, что писатель очень тяжело переживал свое вынужденное пребыва­ние на юге. Однако не более, как спо­соб­ст­во­вал о: отрица­тельное отношение к Ялте сложилось у него еще издавна. Его самое первое впечатление от Ялты было неприятное. «Глядя на берег с парохода, — писал он к сестре о Крыме в 1888 году, — я понял, почему это он еще не вдохновил ни одного поэ­та и не дал сюжета ни одному порядоч­ному художнику-беллетристу. Он рекла­мирован докторами и барынями — в этом

вся сила. Ялта — это поместь чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещански-ярмарочным. Коробкообразные гостиницы, в которых чахнут несчастные чахоточные... рожки бездельников-богачей с жадной грошовых приключений, парфюмерный запах вместо запаха кедров и моря, жалкая, грязная пристань, грустные огни вдали на море, болтовня барышень и кавалеров, понаехавших сюда наслаждаться природой, в которой они ничего не понимают, — все это в общем дает такое унылое впечатление...».

Время вносило те или иные «поправки» в это первоначальное впечатление, но в целом оно было стойким у Чехова, главное же — Ялта вызывала у него пониженное настроение. «Теплая Сибирь», «Чертов остров» (то-есть остров, на котором томился в ссылке несправедливо осужденный Дрейфус) — вот обычные эпитеты, прилагаемые Чеховым к Ялте в его письмах.

Вдобавок ко всему перед самым началом ялтинской оседлости писателя у него завязывается знакомство, сделавшее особенно мучительным его отрыв от Москвы: 9 сентября 1898 года он познакомился на репетиции «Чайки» с артисткой Художественного театра Ольгой Леонардовной Книппер, своей будущей женой. Потом он видел ее в роли царицы Ирины на репетиции «Царя Федора Иоанновича». Уехав вскоре в Ялту, он оттуда писал к Суворину об этой репетиции: «Меня приятно тронула интеллигентность тона и со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепа. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым; Годунов и Шуйский хороши, а старик (секиры) чудесен. Но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».

Однако всю зиму Чехов безвыездно просидел в Ялте и в Москву приехал только в апреле 1899 года. Здесь он опять встречался с артисткой, затем она гостила в его семье в Мелихове, а с июня 1899 года между ними завязы-

вается переписка, быстро ведущая к сближению.

Весною 1900 года, ввиду невозможности для Чехова приехать в Москву, Художественный театр приехал в Ялту показать любимому писателю свои постановки. У вдохновителей театра была, кроме того, тайная мысль — соблазнить своими спектаклями Антона Павловича на писание новой пьесы, что в значительной мере им и удалось. В приподнятой, праздничной атмосфере, принесенной в Ялту московской труппой, Чехов сбросил с себя тоску и скуку одинокой зимы. Он был весел, оживлен. И эти дни оказались решающими для судьбы его отношений к О. Л. Книппер.

Венчание их — по тем временам неизбежная формальность — произошло позже. Враг всяких официальностей, Чехов смущался предстоявшей процедурой. Собираясь в Москву, он писал к О. Л. Книппер: «Если дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться». И действительно, никто, кроме необходимых свидетелей — «шаферов», даже самые близкие родные не подозревали об этом венчании, состоявшемся 25 мая 1901 года.

Трудно сказать с уверенностью, питал ли Антон Павлович серьезную надежду на такое улучшение здоровья, которое позволило бы ему вернуться на жительство в Москву или под Москву. Во всяком случае такого рода попытки он время от времени делал. Но врачи были неумолимы, и Чехов оставался прикован к Ялте.

Теперь это было еще мучительней. Некогда, в 1895 году, отвечая Суворину на его советы жениться, Чехов шутиво писал: «Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра — я не выдержу...

Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день».

И вот судьба послала ему такую жену, но теперь ему было не до шуток. Оба они тосковали, рвались друг к другу. Нередко Чехов, нарушая запреты врачей, уезжал в Москву, но почти всякий раз расплачивался за это ухудшением здоровья. Порой урывалась к нему в Ялту жена, но, кроме лета, когда они жили вместе, все эти свидания бывали отравлены сознанием, что за ними последуют продолжительные разлуки.

О. Л. Книппер не раз подымала вопрос о своем уходе из театра и переезде в Ялту, но Чехов категорически этому противился: такая жертва со стороны молодой актрисы, столь успешно начинавшей свою артистическую карьеру, была для него неприемлема. И на горькие жалобы жены он отвечал: «Если мы теперь не вместе, то виноват в том не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству».

Первые годы ялтинской жизни заполнены были у Чехова отчасти заботами по постройке дома — той самой белой дачи, посетить которую считают теперь своим долгом все многочисленные временные и постоянные обитатели Ялты, главным же образом — тщательным редактированием своих произведений для издания их в виде Полного собрания сочинений.

Ближайшим поводом для этого послужил договор писателя с владельцем журнала «Нива» А. Ф. Марксом, в силу которого Чехов продавал последнему навсегда право на издание всех своих сочинений, получив за это семьдесят пять тысяч рублей. По тому времени, в 1899 году, это была сумма неслыханная. Но, повидимому, издатель сумел гораздо вернее Чехова оценить степень популярности писателя, и вскоре для всех, знакомых с делом, стало ясно, что договор для Антона Павловича невыгоден. Издаваемые Марксом большими тиражами Сборники произведений и Собрания сочинений Чехова быстро расходились, а когда было объявлено, что «Нива» дает то же Собрание сочинений

в качестве «приложения», то подписка на журнал достигла неслыханных размеров.

Так называемое Полное собрание сочинений, изданное Марксом, было далеко не полным: подготавливая его, Чехов произвел беспощадный отбор своих произведений и очень большое их количество не включил в Собрание, обрекая их, как казалось ему, на вечное забвение. Признанное годным он тщательно заново переработал, отредактировал и разгруппировал на томы. Это была очень большая, кропотливая и утомительная работа, тянувшаяся года два.

Немало времени уделял Чехов общественной работе, главным образом — организации помощи неимущим туберкулезным больным, отовсюду стекавшимся в Ялту. Порой он приходил в отчаяние перед тем обилием страданий, с которым, разумеется, не в силах была справиться частная благотворительность. Он собирал средства через знакомых, публиковал в газетах воззвания о пожертвованиях, немало помогал тайком из личных средств тем многочисленным больным, которых привлекали в Ялту имя знаменитого писателя и слава о его отзывчивости. В личной помощи обращавшимся к нему людям Антон Павлович, как правило, не отказывал никогда.

Не оставляя Чехов в Ялте общественной работы и в области народного образования. В частности, вскоре по приезде сюда он был выбран членом попечительного совета в женской гимназии, о чем шуточно сообщал В. И. Немировичу-Данченко: «Я теперь с важностью хожу по лестницам гимназии и гимназистки в белых пелеринках делают мне реверансы».

Неуклонно росшая популярность писателя давала знать о себе в Ялте в наиболее утомительной форме: бесконечным количеством всякого рода посещений незнакомыми людьми. Даже на прогулках или отдыхая на набережной, он не мог избавиться от назойливости бесцеремонных любопытных, в упор разглядывавших «знаменитого писателя». А дамы и девицы, иногда подолгу дежурившие у дачи Чехова, чтобы увидеть писателя, получили даже специальное

название «антоновок». Все это чрезвычайно раздражало Чехова и усиливало неприязнь его к Ялте.

Но тем отраднее бывали для него встречи с людьми, которых он любил и ценил: с врачами-общественниками, с артистами, с писателями. Зимой 1901—1902 годов провел вблизи Ялты Лев Толстой, с которым Чехов познакомился еще в середине 90-х годов. Их отношения были полны не только чувством взаимной любви и уважения, но и взаимного высокого признания, и теперь Чехов часто навещал своего великого собрата, подолгу с ним беседовал и напряженно, с глубоким волнением следил за течением болезни Толстого, которая и привела Льва Николаевича в Крым.

В Ялте произошло личное знакомство Чехова с Горьким, с которым они еще до того успели обменяться несколькими письмами. Горький тогда только начинал свою блистательную деятельность, но Чехов по первым же его рассказам, не колеблясь, пророчил ему славу. Отношение же Горького к Чехову нельзя назвать иначе, как горячим преклонением пред совершенным мастером; оно истинно буйно прорывалось и в письмах Горького к Чехову, и в статьях его о последнем. В Ялте Горький проводил у Антона Павловича целые дни, иногда жил у него.

С Горьким же был связан так называемый «академический инцидент», стоивший Чехову больших волнений и серьезных раздумий.

В 1899 году, по случаю столетия рождения Пушкина, при Академии наук был учрежден разряд изящной словесности, которому предоставлено было избирать выдающихся писателей в почетные академики. На первых же выборах, в 1900 году, избраны были: Толстой, Чехов, Короленко и др. А в 1902 году почетным академиком избран был Горький. Чехов был рад этому и поспешил поздравить Алексея Максимовича, в то время находившегося вблизи Ялты.

Вскоре, однако, выяснилось, что выборы Горького аннулированы. Сделано это было по личному приказанию царя, и притом совершенно незаконно, а по форме — крайне грубо. А именно: от

имени Академии наук было в печати объявлено, что, выбирая Горького, академики не знали, что он находится под судом за политическое преступление, а посему выборы «объявляются недействительными». Выходило так, что академики якобы отрекаются по политическим мотивам от избрания Горького, а между тем сами они узнали об аннулировании выборов из газет. Это был, таким образом, неприкрытый подлог. Выступить с разъяснением подлинной правды в газетах было невозможно; в дело был замешан царь, и цензура ничего разъясняющего не пропустила бы.

Положение получалось очень фальшивое, и, когда возмущенный Короленко обратился к Чехову с письмом по поводу «академического инцидента», как названа была впоследствии эта история, Чехов живо и сочувственно на него откликнулся. Они письменно обменялись своими мнениями о деле, а затем и повидались, для чего Короленко специально приехал в Ялту. В результате было ими решено — отказаться, в знак протеста, от звания почетного академика, что и было выполнено.

Тут осуществилось давнее пророчество Антона Павловича, который в 1887 году, в самом начале своего знакомства с Короленко, перешедшего затем в прочные, на протяжении ряда лет ничем не омраченные отношения любви и уважения, писал ему: «Мне кажется, что если я и Вы проживем на этом свете еще лет 10—20, то нам с Вами в будущем не обойтись без точек схода». Когда эти строки писались, Короленко уже имел прочную репутацию писателя-общественника, явно «неблагонадежного» в политическом отношении. Он совсем еще недавно воротился из бесконечных скитаний по ссылкам и тюрьмам. А Чехов в это время был сотрудником суворинского «Нового времени». Тем не менее пророчество его сбылось: на протесте против подлога царского правительства пути их пересеклись. И это было чрезвычайно знаменательно: это показывало, в какую сторону все время неуклонно подвигался Чехов.

Это выступление Чехова прошло, по цензурным условиям, почти незамечен-

ным. Но, вообще говоря, каждое слово писателя в то время подхватывалось на лету, каждое новое произведение жадно читалось повсюду. Слухи о тяжелой болезни Антона Павловича, проникая в публику, присоединяли чувство тревоги к той любви, которую давно уже питали к нему самые широкие читательские круги, и это проявлялось все чаще и чаще в разного рода приветственных манифестациях по адресу Чехова, для которых общество словно искало повода. Давалась ли пьеса Чехова—вдруг зрители начинали требовать, чтобы автору была послана приветственная телеграмма. Происходило ли юбилейное чествование того или иного писателя—присутствующие вспоминали Чехова и посылали ему привет. В начале 1902 года в Москве происходил многолюдный съезд врачей-общественников, так называемый Пироговский,—и снова горячая манифестация по адресу «врача» Чехова. Тогда же Художественный театр поставил для пироговцев специальный спектакль — «Дядю Ваню», то-есть пьесу, в которой одно из главных лиц — врач: доктор Астров. Артистам поднесен был от пироговцев портрет Чехова, поныне находящийся в фойе театра, а в Ялту была послана телеграмма Антону Павловичу с чрезвычайно душевным приветом. Чехов, надо сказать, относился ко всякого рода официальным проявлениям чувств с некоторой иронией, но привет врачей был ему дорог, — эту корпорацию он попрежнему высоко ценил. «Во время съезда, — писал он одному из пироговцев, — я чувствовал себя принцем, телеграммы поднимали меня на высоту, о какой я никогда не мечтал». И другому: «Такой чести я не ожидал и не мог ожидать, и такую награду принимаю с радостью, хотя и сознаю, что она не по заслугам».

В горячую манифестацию по адресу любимого писателя вылилось первое представление на сцене Художественного театра последней пьесы Чехова «Вишневый сад». Она давалась ему ценою огромных усилий; от его былой беззаботности, с какой он работал, когда изпод его пера выходило по рассказу в день, теперь не осталось и следа. Место

ее заняла требовательность к себе, поистине беспощадная, переходившая в прямую мнительность. С другой стороны, физические силы его быстро шли на убыль. В процессе работы над «Вишневый садом» он сообщал Немировичу-Данченко: «Пишу по 4 строчки в день и те с нестерпимым мучением».

Потом начались волнения с распределением ролей, с толкованием пьесы режиссерами и т. д. Тут возникали то-и-дело разногласия, на которые больной писатель реагировал как-то особенно нервно. В начале декабря 1903 года он приехал в Москву и принял деятельное участие в репетировании пьесы. Работа эта захватила его, но несомненно, что она в то же время была для него слишком утомительна.

17 января 1904 года состоялось первое представление. Это к тому же был день рождения и именин писателя. Наконец, к этому же дню почитатели Чехова приурочили тайком от него празднование двадцатипятилетия его литературной деятельности, от чего Антон Павлович решительно и упорно уклонялся.

На спектакль Чехов не поехал. Но в театре, куда собралась вся литературная и общественная Москва, сразу же создалось такое настроение, что решено было добиться присутствия автора во что бы то ни стало. За ним поехали близкие друзья и в середине пьесы доставили писателя в театр.

Когда окончился третий акт, началось чествование, — первое и последнее в жизни Антона Павловича Чехова. И сразу же многие почувствовали зловещий характер этого торжества. Писатель стоял на сцене без кровинки в лице и всеми силами пытался унять бывший его кашель. Ему подавали венки за венком, говорили речи, а он едва держался на ногах. В публике это заметили и стали кричать: «Сядьте, сядьте... Пусть Антон Павлович сядет...». Но Чехов нахмурился и отказался сесть. Тянулись подношения, читали адреса.

Настроение зрителей не гармонизовало, однако, с бодрими словами приветствий: у большинства было такое чувство, что они прощаются с Чеховым навсегда. К. С. Станиславский впослед-

ствии писал: «Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Сам спектакль имел лишь средний успех, и мы осуждали себя, что не сумели с первого же раза показать наиболее важное, прекрасное и ценное в пьесе...».

В середине февраля Чехов уехал в Ялту с намерением вскоре воротиться в Москву и устроиться на лето где-нибудь поблизости от города, по примеру последних двух лет, — 1902, проведенного Чеховым в имении Станиславского Любимовке, и 1903 — в Наре-Фоминской. Он все более и более склонялся к решению снова перебраться на жительство с юга на север, утверждая, что московский климат для него полезнее ялтинского. Профессор Остроухов, лечивший Чехова еще во время его пребывания в клинике в 1897 году, поддерживал Антона Павловича в этом решении. О. Л. Книппер подыскивала уже дачу под Москвой, а в начале мая приехал сюда Чехов.

Сознавал ли он в это время то, что было уже ясно его врачам: близость конца?

Некоторые обстоятельства указывают на то, что такая мысль не была ему чужда. Однако многое позволяет предполагать, что временами Чехов не думал о близкой смерти. Быстро нараставший на пороге революционного 1905 года подъем общественного настроения подымал и настроение Чехова; он жадно читал газеты, настойчиво обращался в беседах к общественным темам, выказывал нетерпение в ожидании грядущих событий, уверенно говоря об их неизбежности. На пороге последнего года своей жизни он пишет рассказ «Невеста», в котором ярко звучит нота, совершенно новая в творчестве Чехова: «Главное — перевернуть жизнь, а все остальное — не нужно». Его сильно волновала происходившая война, и еще в апреле 1904 года он писал на Дальний Восток одному своему знакомому: «В июле или августе, если позволит здоровье, я поеду врачом на Дальний Восток». Он усердно выполнял в эти последние месяцы принятые на себя новые обязанности

редактора беллетристического отдела в журнале «Русская мысль», причем — характерная для Чехова деталь — требовал, чтобы рукописи крупных писателей направляли другому редактору, а ему посылали произведения авторов неизвестных.

Поездка в Москву в жарком и пыльном вагоне была очень тяжела для быстро слабевшего писателя. Тотчас по приезде он слег: крайнее истощение, упадок сил, одышка, симптомы туберкулеза кишечника — все это были грозные предвестники. К ним вскоре прибавились явления упадка сердечной деятельности. Врачи потребовали немедленного отъезда Чехова за границу, на курорт в Шварцвальд. Антон Павлович согласился. Но, когда его навещил писатель Н. Д. Телешев, Чехов, прощаясь, сказал ему прямо: «Еду умирать».

«Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, — вспоминает об этом свидании Н. Д. Телешев, — но то, что я увидел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с плодом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький человек, с узкими плечами, с узким, бескровным лицом — до того был худ и изнурен Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться».

3 июня Чехов выехал с женою за границу, почти весь месяц своего пребывания в Москве проведя в постели. 8 июня, после остановки в Берлине, больной приехал в Баденвейлер, в Германии, неподалеку от швейцарской границы.

Баденвейлер ему понравился, и вскоре он почувствовал себя лучше. Как это часто наблюдается с тяжело больными туберкулезом, это улучшение воспринято было Антоном Павловичем с преувеличенным оптимизмом. «Здоровье входит в меня не золотниками, а пудами» — эту фразу мы находим в трех его письмах от 12 июня, в том числе и в письме к врачу Куркину. И это настроение держалось в нем стойко. 17 июня, в письме к Россолимо, тоже врачу, Чехов еще определеннее заявляет: «Я уже выздоровел, остались только одышка и

сильная, вероятно, неизлечимая лень». Он уже стал подумывать о возвращении на родину, причем обнаруживал заботу о том, чтобы маршрут был не только легок, но также интересен.

Все это, однако, было самообманом чахоточного. 29 июня внезапно произошел резкий упадок сердечной деятельности, с которым врачи справились при помощи камфары. 30-го припадок повторился с удвоенной силой, — опять пришлось прибегнуть к камфаре и вдыханиям кислорода. Чехову стало легче, он заснул, и наступивший день 1 июля протекал вначале так спокойно, что Ольга Леонардовна исполнила просьбу мужа — пошла погулять перед ужином в парке, отдохнуть после пережитых тревог. Когда она вернулась, Антон Павлович спросил, почему она не идет ужинать. Жена ответила, что еще не было сигнала. Как потом оказалось, сигнал к ужину был, но они его не слышали. И тут Антон Павлович неожиданно с импровизировал полный юмора рассказ, описывая «модный курорт, где много жирных бабкиров, здоровых, любящих хорошо поесть, краснощеких англичан, американцев, и вот все они, кто с экскурсии, кто с катания, кто с пешеходной прогулки, одним словом, отовсюду, собираются, мечтая хорошо и сытно поесть после физической усталости. И тут вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина никакого нет, — и вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях».

Антон Павлович рассказывал, а жена сидела подле и весело смеялась, не подозревая близкой беды.

Чехов заснул, но в начале ночи проснулся и впервые попросил послать за врачом. Врач Шверер, лечивший Чехова, вскоре явился. «Я умираю» — громко сказал ему по-немецки Антон Павлович. Шверер велел положить больному лед на сердце. Когда это сделали, Чехов сказал: «На пустое сердце льда не кладут». Деятельность сердца, несмотря на принимаемые меры, быстро падала. Врач приказал дать Антону Павловичу шампанского. Чехов сел, улыбнулся жене и внятно произнес: «Давно я не пил шампанского».

Выпил до дна и уснул навсегда — без агонии. «Он переносил свою тяжелую болезнь, как герой, — вспоминал впоследствии доктор Шверер. — Со стоическим, изумительным спокойствием ожидал он смерти». Когда врач послал кого-то за кислородом, Чехов сказал: «Не надо, пока принесут кислород, я уже умру».

Тело Чехова было перевезено в Москву и здесь, при громадном стечении народа, погребено 9 июля на кладбище Новодевичьего монастыря, близ могилы его отца. Через четыре года, 12 июля 1908 года, в Баденвейлере был открыт Чехову памятник. В самом начале империалистической войны памятник этот был уничтожен, и металл, из которого он был изготовлен, пущен был на военные надобности.

Окончание следует.

БИБЛИОГРАФИЯ

Г. БАЙДУКОВ. — О ЧКАЛОВЕ.
Гослитиздат, 1939 г. Стр. 202. Ц. 2 р. 75 к.

★

Читаешь эти прочувствованные, трепетные страницы о Чкалове с глубоким волнением. В памяти — незабываемый образ великого летчика нашего времени — Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова.

Вот он среди депутатов Верховного Совета СССР. Сессия обсуждает бюджет Союза ССР. За окнами Большого Кремлевского дворца — жаркий августовский вечер. За Москвой-рекой, сливаясь в сиренево-палевое море, плывут мирные дымы столичных заводов и фабрик.

А там, на далеких и родных советских сопках Приморья, грохочут орудия, резко бьют пулеметы, сухо щелкают одиночные выстрелы снайперов. Доблестные бойцы, командиры и политработники героической Красной армии отвещают удесятеренным ударом на удар зарвавшихся поджигателей войны.

Естественно сдержанное волнение депутатов. Ведь вот: словно расступились, отошли стены, могучая, необятная родина, начинаясь отсюда, простирается бескрайно. И жаль, что ты не там, на боевой границе. И, словно подслушав и твои, и других товарищей думы, Валерий Павлович Чкалов говорит:

— С трудом здесь сидится. А сидеть и решать дело здесь — надо. Народ послал, народное дело. Придет время — рванем и на врага!

Орлиное, смелое и в то же время бесконечно простое и родное лицо его исполнено мужества и спокойствия. Среднего роста, с богатырскими плечами и грудью, — весь он налит неизмеримой горячей силой. И ты всем существом своим соглашаешься с ним, с его словами. Да, это верно. Народ послал избранных своих сюда — обсудить и утвердить бюджет, в котором надо предусмотреть все нужды и потребности социалистического государства.

А Валерий Павлович, ероша светлые пряди волос, спадающие на купол лба, с жаром потрясает материалами сессии к вопросу о бюджете. Он с головой ушел в эти данные и цифры, как с головой, всей своей душой и всем своим сердцем уходил он в любое дело, за которое брался, которое поручала ему страна, партия.

...Вот он — в Париже, у полпреда тов. Сурица, после своего беспримерного в истории человечества перелета через Северный полюс в США. С каким жадным вниманием рассматривает он писателей, только-что вернувшихся из Испании. И какое голубое пламя рвется из его глаз, когда он слышит о ежедневных варварских фашистских бомбардировках мирных селений и городов республиканской Испании.

Вскоре после возвращения в Москву после трансполярного перелета он посетил редакцию «Правды». Его внимание привлекли два фотоснимка героического экипажа: первый — после перелета на дальность над территорией СССР, второй — после второго рекордного перелета. Валерий Павлович долго-долго разглядывал эти два снимка. Товарищи с глубоким интересом ждали, что же скажет великий летчик. Наконец, Чкалов с изумительной — ясной и детской — улыбкой сказал:

— Вот! Здесь мы — беспартийные, а здесь — коммунисты!

Книгу Героя Советского Союза тов. Байдукова хочется читать и перечитывать. С подкупающей простотой и силой дан в ней образ В. П. Чкалова, его политический, творческий и боевой летный рост.

Прежде, чем стать заслуженным летчиком, известным всему миру, В. П. Чкалов вынужден был преодолеть немало препятствий. В главе «Игра со смертью» тов. Байдуков скупно и сдержанно рассказывает, как В. П. Чкалов в первые годы своей летной службы не раз подвергался взысканиям «за нарушения устава». Но это были поиски летчика-новатора, летчика, прокладывающего новые пути, изыскивающего свежие способы борьбы в воздухе в наиболее трудных и опасных условиях. И Чкалов чувствовал, что он все больше и больше начинает ощущать оболочку непроницаемого сосуда, в которую он влез, и теперь ему нехватает воздуха, чтобы дышать в полную силу своих богатырских легких. Начальство подвергало его взысканиям, а боевые товарищи распрашивали, как он дерется, и втихомолку одобряли его неуставные действия.

В. П. Чкалов пронесется на истребителе в один из пролетов Троицкого моста на Неве, в

Ленинграде, демонстрируя этим свой летный талант и свое умение. И... вновь взысканье. Но на этот раз с разговором на тему, что он перерос условия работы в его чести.

Великий и родной товарищ Сталин в полной мере понял и оценил В. П. Чкалова, ему понравилась эта открытая и сильная натура. Товарищ Сталин дал летчику-богатырю достойные, богатырские задания — сталинские маршруты. Вместе с тем товарищ Сталин потечески просто сказал Чкалову, что надо обязательно пользоваться парашютом:

— Ваша жизнь дороже нам любой машины!

И Чкалов стал неузнаваем — в нем появилось столько энергии, настойчивости и отваги, что даже близкие часто удивлялись такой значительной перемене.

В. П. Чкалов работал летчиком-испытателем на заводе, вместе с конструктором создал много прекрасных боевых машин.

Верный сын великого народа, питомец великого Сталина, Чкалов выработал в себе все качества пламенного, передового бойца, беззаветно преданного своему народу, партии и вождю товарищу Сталину. Он не знал и не признавал страха в борьбе. Мужество и беспримерная отвага сочетались в нем с тщательностью ученого-исследователя, требовательного к людям, но в первую очередь к самому себе.

С захватывающим интересом читаются главы о двух героических перелетах по сталинским маршрутам, о замысле и подготовке этих перелетов.

С чувством глубокой радости впитываешь строки, в которых автор повествует о том, как тов. Сталин лично принимает участие и в подготовке, и в снаряжении обеих воздушных экспедиций.

«В течение часа тов. Сталин внимательно проверил наши расчеты и решения, и, когда убедился, что мы готовы, он уже шутливо спросил, указывая на сердце:

— Ну, говорите по совести, как у вас там, все в порядке? Нет ли там у вас червяка сомнения?

— Нет, товарищ Сталин, мы спокойны, готовы к полету.

Тов. Сталин тепло и дружески заключил:

— Ну, хорошо, пусть будет по-вашему.

Пожелав нам в дорогу «ни пуха, ни пера», он подолгу задерживал наши руки в своих, заглядывая в глаза, и улыбался, как отец, направляющий сыновей в далекий и опасный путь».

А через год у тов. Сталина была беседа уже о перелете через Северный полюс в США. И когда тов. Молотов записал решение правительства, тов. Сталин предложил еще новый пункт о том, чтобы обязать экипаж, в случае неблагоприятной обстановки, сделать посадку в любом пункте Канады, а в случае угрозы экипажу — произвести немедленно посадку.

Нало ли много говорить о том, как взволновало героев-летчиков это мудрое сталинское отношение к людям!

Воодушевленные и вдохновленные великим вождем народов, летчики-герои провели самолет сквозь циклоны и бури, доблестно преодолевая яростные атаки грозной стихии.

Скупыми и до предела яркими штрихами тов. Байдуков нарисовал борьбу в воздухе, картины Арктики, полюса неприступности.

«... Валерий смеется. Выглядывает часто за борт и, ослепленный блеском снегов, щурится, отыскивает очки и вновь оглядывает просторы двух океанов — воздушного и Ледовитого. Валерий составил радиограмму:

— Москва, Кремль, Сталину. Полюс позади. Идем над полюсом неприступности. Полны желанием выполнить Ваше задание».

После посадки, на портландском аэродроме в США, Чкалов спросил Байдукова, что он пишет. И, узнав, что тот заканчивает заметки о перелете, Чкалов говорит:

— Ну, это еще успеешь, — давай-ка, составь телеграмму в Москву.

«Я поглядел на товарища и понял, что у этого человека, давно потерявшего родителей, есть отец и есть мать, которым он хочет излить свои чувства любви. Отец — это Сталин. Мать — это родина. О них-то и думает сейчас Валерий».

А в телеграмме в Москву трое героев пишут:

«Исключительная настойчивость у нас выработана большевистской партией и вождем народов тов. Сталиным.

Сердечное спасибо за крепкое, большевистское воспитание, которое способствовало очередной победе. Крепко жмем ваши руки и еще раз благодарим тов. Сталина за внимание и отеческую заботу об экипаже.

Тебя, тов. Сталин, мы вспоминали вместе всегда и особенно в трудные минуты, и это во многом помогало нам драться с препятствиями и побеждать».

Весь советский народ восторженно встретил своих героев. У них вновь началась жизнь, полная радости и счастья.

Расцветает многогранная, яркая личность В. П. Чкалова. Он ведет огромную работу, как летчик-испытатель, как депутат Верховного Совета СССР. Он живо интересуется и деятельностью детсадов, и школ, и работой спортивных организаций, и новыми концертами и спектаклями. Везде жизнерадостный Чкалов вселял бодрость и уверенность. После полета через полюс Чкалов стал еще сильнее, значительнее, глубже пуская корни в жизнь.

И новые, смелые планы уже вызревают у гордого сокола страны Советов:

Полеты через Южный полюс, вокруг всего земного шара!

Он делался своими планами с другом — т. Байдуковым. Проникновенно рассказывает автор:

«Я слушал Валерия с любопытством, разглядывая этого жизнерадостного, полного надежд человека. Что его влечет в неведомые края Южного полюса, что тянет его к полетам над бушующими океанами, над вечными снега-

ми, горами и непроходимыми болотами земного шара? Чего ему нехватает? Славы? — Но он и так прославился навеки своими подвигами. Наград? — Нет, его грудь вся украшена орденами. Где эта причина, заставляющая человека менять спокойную жизнь на путь опасных схваток со стихией, на путь борьбы, полный трудностей и неожиданностей? Ведь никто же его не заставляет идти на это, не по военному приказу он кидается навстречу опасности, — ведь все это исходит от себя. И я невольно улыбнулся, когда припомнил нашу проникновенную беседу:

— Там, где трудное и неизвестное, там я нахожу свое место. Там, где речь идет о счастье и славе моего народа, там я ищу себе работу. Остальное — почти, опасности, — над ними я никогда не задумываюсь. Лишь в борьбе я чувствую жизнь, иначе теряю ее величие, ощущаю скуку... — Так сказал Валерий в тот раз. Чкалов держал на коленях гло-

бус, медленно поворачивал его вокруг оси, задумчиво оглядывая страны мира».

В этих коротких и таких напряженных строках встает весь Чкалов, — питомец Сталина, великий патриот страны Советов.

И вот трагический день. Не стало Чкалова. Он погиб на боевом посту. Его руки ни на миг не оторвались от боевого штурвала.

Вся страна с чувством глубокой скорби проводила в последний путь — до Кремлевской стены — Героя Советского Союза.

На веки вечные незабываем обаятельный его образ. Книга Г. Байдукова — яркий венок памяти героя и друга.

Книга Г. Байдукова — свидетельство, что в Советской стране живет и борется бесстрашное чкаловское поколение советских летчиков, выращенных великим и родным Сталиным.

Эту книгу надо немедленно перевести на многие языки и переиздать массовым тиражом.

С. В.

★

МАРИНА РАСКОВА. — ЗАПИСКИ ШТУРМАНА. Журнал «Знамя», № 2, 1939 г.

★

За последнее время появилась своеобразная серия книг, выпускаемая одновременно несколькими издательствами. Это книги, написанные героями Советского Союза о себе.

Подобных книг давно настойчиво требовал читатель. Он с волнением ждал книги о подвиге, о мужестве, о героизме, о новых людях, выросших на советской земле.

Стремительная и необычайная по богатству жизнь Советского Союза иногда слишком медленно отражается в художественной литературе. У нас много пишут и дискутируют о герое нашего времени, но значительно реже показывают его в художественных произведениях.

И вот герои вступили в своеобразное соревнование с писателями и решили рассказать правду о себе. Следуя за событиями своей жизни, искренно и правдиво описывая то, что им пришлось видеть и пережить, они рисуют образ подлинного героя нашего времени. Книги И. Папанина, М. Водольянова, А. Белякова, Г. Байдукова, В. Молокова, В. Коккинаки, Н. Каманина и многих других интересны не только современникам. В них содержится богатый материал для читателя, интересные сведения для историка и исследователя.

К числу таких книг принадлежит и «Записки штурмана» Марины Расковой. Героический перелет трех советских женщин из Москвы на Дальний Восток долго еще не изгладится из нашей памяти. Поднявшись в Москве, через 26 час. 29 мин. смелые летчицы опустились на Дальнем Востоке. Полет был исключительно трудным. Лишь на протяжении 60 километров после старта экипаж видел землю. Летчицы были вынуждены приземлиться в бо-

лоте. 9 дней все советские люди испытывали тревогу за судьбу трех летчиц. Одиннадцать дней блуждала Марина Раскова по тайге.

Эти тревожные дни были проверкой не только мужественного экипажа «Родины». В эти дни сердца всех советских людей согревала одна надежда, что советский народ, руководимый Сталиным, не оставит в беде своих родных дочерей, и самолет «Родина» был найден.

Самое тяжелое испытание в эти дни выпало на долю Марины Расковой. Она получила множество писем с просьбой рассказать о том, как она стала летчицей. В ответ на эти письма Марина Раскова опубликовала «Записки штурмана».

«Мой приход в авиацию не характерен для большинства советских летчиц. Ни в детстве, ни в юношеские годы я даже не помышляла об авиации. Мои родители мечтали воспитать из меня музыканта, а я сама готовилась быть артисткой, оперной певицей, но только не летчицей» — говорит о себе Марина Раскова.

Марине всего только 26 лет. Она так же, как и Каманин, правильно говорит, что ее биография только начинается. Раскова принадлежит к поколению молодой советской интеллигенции, выросшей после Октябрьской революции.

В противоположность большинству летчиков, Марина выросла в интеллигентской семье. Ее отец был учителем музыки, мать — преподавательницей в школе. Это истинно русская, самоотверженная мать помогла Марине выработать в себе ту настойчивость, решительность, выдержанность, самообладание, которые так характерны для Марины.

Расковой удалось с глубокой убедительностью изобразить свою мать во время похорон отца: «Мы смотрели на маму. Она шла за гробом серьезная, со скорбным лицом, но шла прямо, не сгибаясь. И за все время не проронила ни одной слезинки. Мы видели, что мама не плачет, и тоже не плакали».

Когда Марина нуждалась в помощи, мать немедленно оказывалась подле нее. Но никогда, ни в чем не насиловала она воли своей дочери. Мать, мечтавшая видеть свою дочь музыкантом, предоставила ей свободно выбирать себе профессию, и Марина стала летчицей.

Книга Расковой не столь интересна фактами из биографии автора, которые, за исключением последнего перелета на Дальний Восток и скитаний в тайге, как будто ничего особенно выдающегося не представляют, ценность ее в том, что это книга о больших человеческих чувствах, книга о дружбе, о любви к родине и Сталину. Марина Раскова говорит в предисловии, что ей хотелось показать, «как люди, воспитанные партией Ленина—Сталина, сумели увидеть способность штурмана в незаметной, скромной чертежнице Военно-Воздушной академии». Эти люди помогли ей стать летчицей.

В «Записках штурмана» Марина Раскова с благодарностью вспоминает организаторов штурманского дела—Спирину и Белякова, которые сумели увлечь ее своей сложной и трудной профессией. Тепло и проникновенно говорит она о преподавательнице обществоведения Евдокии Адриановне Гуцоловой, которая углубила в сознании Марины любовь к народу и к родине.

На жизненном пути Марины часто встречаются хорошие люди. Это типично для нашего времени. Марине приходилось общаться с лучшими советскими летчиками. Она часто сталкивалась с Чкаловым, вместе со Спириным она открывала первомайский воздушный парад на Красной площади, она близко сошлась с Валентиной Гризодубовой, Полиной Осипенко, Верой Ломако, сделавшимися ее близкими друзьями.

С большой теплотой, как о близком друге, говорит Марина Раскова о преждевременно и так неожиданно ушедшей из жизни Полине Осипенко. В «Записках штурмана» читатель видит живую Полину, добрую и чуткую к товарищам, решительную в минуты опасности, озорную и веселую в кругу друзей, настойчивую и самоотверженную в работе. Ей посвящено в книге Марины Расковой много хороших, искренних страниц.

Марина умеет видеть и ценить хорошее в людях. С присущей ей наблюдательностью Марина Раскова подмечает, как дружная семья Гризодубовых помогла развиться лучшим чертам в характере Валентины. Даже добродушная старая повариха Прасковья Васильевна изображена Расковой так, что хочется с нею встретиться.

Последние главы книги— это настоящая поэма о дружбе. Возвращение Марины к самолету, встреча с подругами Осипенко и Гризодубовой, встреча с незнакомыми людьми, сразу сделав-

шимися ей родными, переход через болото, когда Марину заботливо несут на носиках чужие и одновременно близкие ей люди, когда старик Максимов бережно, как отца, везет на оморочках по бурной речке героический экипаж «Родины», когда не видевшие раньше друг друга люди чувствуют себя лучшими друзьями, когда весь народ приветствует возвращающихся в Москву героических женщин, когда Сталин принимает их, как дорогих гостей, в Кремле,— все это кажется эпизодами из жизни уже коммунистического общества.

«Меня глубоко трогает и волнует внимание товарищей, за несколько часов ставших моими близкими друзьями» — пишет Марина Раскова.

И много раз на протяжении последних страниц книги можно натолкнуться на подобные строки: «Отрадно было думать о Максимове, о Литвиненко, о Полежае. Они были мне, как родные, как будто всю жизнь я знала и любила их».

В том-то и дело, что и Валентина Гризодубова, и Марина Раскова, и погибшая недавно Полина Осипенко стали родными всем советским людям. Поэтому, не задумываясь, отдали отважным летчицам свою лодку две незнакомые женщины и остались ждать ее в тайге 5—6 дней, поэтому колхозники-эвены, проваливаясь по колено в болото, бродили по тайге в поисках исчезнувших летчиц, поэтому над тайгой неустанно кружились самолеты.

Во время болезни или большого несчастья любимый человек становится особенно дорогим. В такие моменты словно проверяется чувство к нему. В тревожные дни поисков самолета с особой силой проявилась любовь народа к своим героям-летчицам.

Марина Раскова в своей книге не пишет, как обликование охватило всех, когда летчицы были найдены. А это был изумительный день, когда незнакомые люди делились со всеми, как с друзьями, своей радостью. Так велика объединяющая сила подвига.

Марина Раскова испытала на себе, как беспредельна, самоотверженна и бескорыстна любовь народа к своим героям. И она сама благодаря тем тяжелым условиям, в которых ей пришлось оказаться, с особенной силой почувствовала, как велика любовь народа и его героев к родному им всем Сталину.

Сталин, показанный только на последних четырех-пяти страницах книжки, на самом деле незримо присутствует в ней с самого начала. Читатели все время чувствуют, что внимание, которым была окружена Раскова в Военно-Воздушной академии, предусмотрительность при подготовке к полету, настойчивость, проявленная при поисках пропавшего самолета,— все это результат заботы товарища Сталина. Даже когда о нем не упоминается ни слова, читатель чувствует, что это благодаря его вниманию к человеку вырастают в нашей стране такие замечательные люди.

Ведь эта уверенность, что «пока мы живем в одной стране с ним, со Сталиным, никто из нас не может погибнуть», помогла Марине найти самолет на одиннадцатый день скитаний

по тайге. Ведь эта уверенность дала возможность папанинцам провести сложную научную работу на Северном полюсе. Благодаря этой уверенности спаслись челюскинцы и мужественные советские летчики перелетели через Северный полюс в Америку.

Во всех книгах Героев Советского Союза встает образ великого Сталина, проявляющего отеческую заботливость к своему народу.

В книге Марины Расковой товарищ Сталин показан в очень тесной, почти семейной обстановке, когда летчицы были приняты в Кремле вместе со своими родными и детьми.

Так искренно и взволнованно говорит Марина Раскова о Сталине, так непосредственно передан разговор этого большого, мудрого человека с маленькой, пылкой девочкой Танюшей, дочерью Расковой, что читатель словно видит все сам и присутствует при разговоре.

Приведем небольшой отрывок из описания встречи летчиц с членами правительства в Кремле. «И вот мы видим, идет товарищ Сталин в своем обыкновенном сером костюме. Лицо у него улыбающееся, веселое. И он глазами ищет нас. Мы вскакиваем, не можем усидеть на месте. Сталин приветственно помахал нам рукой, и мы кинулись к нему... Подбежали, нам жмут руки Ворошилов, Сталин. Мы бросаемся к Сталину и все по очереди целуем его. Валя Гризодубова целует первая, предварительно спросив:

— Разрешите, товарищ Сталин, вас поцеловать?

А мы с Полиной целуем уж без разрешения. Ворошилов заливается смехом. Все кругом стояли и смеялись.

... Я сажусь между Сталиным и Ворошиловым. Рядом со Сталиным, с другой стороны, сидит Молотов, рядом с Молотовым Валя, а дальше Полина. Все рассказываются за столом. Сталин обращается ко мне и спрашивает:

— Как жилось в тайге?

А у меня горло пересохло, я ничего ответить толком не могу товарищу Сталину. Говорю:

— Ничего, хорошо, не беспокойтесь, товарищ Сталин.

Он видит, что я не могу сразу ничего связного ему сказать, и спрашивает:

— Холодно было ночью?

Я говорю:

— Нет, товарищ Сталин.

Он видит, что я такая бестолковая, ничего не могу путного ответить, начинает вести общий разговор. Обращаясь к нам, Иосиф Виссарионович спрашивает:

— А где ваши ребята?

Мы показываем, что они сидят с родными.

Товарищ Сталин говорит:

— Зовите их сюда!

Приносят Соколика (сына Гризодубовой). Товарищ Сталин берет его на руки. Приходит и моя Танюша. Она смотрит на Сталина, глаза у нее блестят. Он протягивает ей руку. Она здоровается со Сталиным, а он говорит:

— Какая ты сильная! Чуть мне руку не оторвала. — И показывает руку, у которой

будто слиплись пальцы и не могут разжаться. Таня моментально начинает шалить. Она громко смеется, тянет за руку товарища Сталина, говорит ему:

— Вы шутите, вы нарочно так жали пальцы...

Сталин тоже смеется. У него на руках Соколик. Вдруг Танюша обращается к Клименту Ефремовичу Ворошилову и говорит:

— А я видела вашу лошадь на параде!

Ворошилов смеется и громко объявляет, что Таня видела его лошадь, а вот его не заметила. Но Танюша не смущается и тут же говорит:

— Нет, вы сидели на вашей лошади.

Глядя на свою маленькую дочку, на то, как она быстро освоилась, я и сама отделиваюсь от охватившего меня в первые минуты волнения и уже просто разговариваю с товарищем Сталиным.

Так искренность чувства помогает автору, не овладевшему литературным мастерством, создавать яркие картины, правдиво отражающие действительность.

Но, вместе с тем, «Записки штурмана» нельзя рассматривать, как художественное произведение. В них есть серьезные недостатки: и шероховатость стиля, и неровность изложения, и многое другое. Здесь скорее можно упрекнуть товарища Островского, недостаточно тщательно обработавшего рукопись.

И, несмотря на это, «Записки штурмана» все же являются укором писателям, не сумевшим создать полноценный образ советской женщины. Марина совсем не та плакатная героиня в кожаной куртке и красной косынке, которая часто изображалась в нашей литературе. Марина не посвящает читателя в интимный мир своих переживаний, но из тех внешних деталей, которые она показывает, читатель может заключить, что она не лишена женственности. Она ведь мечтала быть оперной певицей и артисткой, она с увлечением когда-то участвовала в постановках заводского драмкружка.

Хорошие, искренние страницы посвящены Маринной Расковой материнству. Каждой матери понятны и близки такие строки: «Как часто я вставала ночью на ее крик, поправляла постельку, меняла белье и следила за тем, как Танюша тихо засыпает, успокоенная прикосновением матери к ее нежному телу. Доставляла ли мне моя девочка огорчения? Только тогда, когда случалось ей хворать. Но кто из матерей не знает этих огорчений? Мешала ли она мне работать? Никогда. Не было момента в моей жизни, чтобы я чувствовала какие-нибудь неудобства от того, что у меня ребенок. Дочурка доставляла мне только радость, много-много радости». Раскова отнюдь не скрывает своего желания нарядить дочку покрасивее и тратит иногда свободное время на шитье и вышивание для своей Танюши.

Скромно умалчивая о своих привычках в быту, Марина больше сосредотачивает внимание на внешнем облике Валентины Гризодубовой, которая во многом похожа на Раскову. И читатель видит то обаятельную женщину с лу-

чистыми глазами в прекрасном шелковом платье, танцующую на вечере, то трогательную мать, забавляющуюся со своим малышом, то мужественную летчицу, убирающую шасси на глазах у изумленных товарищей, не овладевших еще этим искусством.

И та самая Марина, которая обучает штурманскому делу командиров и военлетов в Военно-Воздушной академии, бегаёт, как девочка, взявшись за руки с Верой Ломако, по росистой траве около озера Лахта после беспосадочного перелета Севастополь — Архангельск.

В сочетании ума, воли и редкой жизнерадостности и жизнеспособности — сила Расковой, Осипенко и Гризодубовой.

Даже такие по существу трагические моменты, как обледенение самолета в пути, приземление с парашютом на ветви дерева, провал в болото по горло, лесной пожар, встреча с медведями, Марина передает с оттенком иронии. Юмор подчас помогает автору глубже спрятать чувства, которые почему-либо ему не хочется высказывать.

Во всей книжке, и особенно в дневнике, написанном с предельной лаконоичностью, таится богатый подтекст недосказанных мыслей. Писатель, которому удастся развить эти недосказанные мысли и воплотить их в художественные образы, может создать незабываемый образ героини нашего времени.

«Записки штурмана» дороги читателю потому, что они отвечают на многие волнующие каждого советского человека вопросы. В записках есть то чувство нового, о котором говорил товарищ Сталин на последнем съезде партии. В них искренно, от души рассказала простая советская женщина о любви к родине, к партии, к великому Сталину.

Эта книжка еще лишний раз подтверждает, как много талантливых людей в Советском Союзе, как благодаря внимательному, чуткому отношению к человеку развиваются лучшие свойства его природы, как могуч и силен народ, вырвавшийся таких героев.

Галина Колесникова.

★

В. ИЛЬЕНКОВ. — ЛИЧНОСТЬ. Рассказы.
Изд. «Советский писатель», 1938 г., стр. 150, цена 3 р.

★

Небольшая, изящно изданная книга в полтора листа страничек заставляет о многом задуматься. И прежде всего о том виде искусства, которое до революции в особенном почете не было, ютилось «на затычках» эстрадной программы, выслушивалось со скукой и почти не имело своих мастеров, — об искусстве устного слова. Раньше оно именовалось декламацией. Сейчас наших мастеров устного чтения попросту обидели бы, если б назвали их «декламаторами». Революция научила огромное количество людей говорить, чтоб убеждать, она привила высокий вкус советскому народу, — вкус слушателя: живое слово должно быть у нас правдиво, сильно, убедительно. Никогда и нигде раньше, может быть, разве в одной древней Элладе, не было оно до такой степени в почете, как у нас. Целая армия великолепных чтецов. Массовое количество заявок со стороны колхозов, школ, всевозможных учреждений на вечера «художественного чтения». Целая серия этих вечеров, куда бы вы ни заехали. Читают все — и классиков, и современное. Жажда слушать, познавать мир через высокую силу человеческой речи так велика, что она уже выливается в массовое требование к писателю: пиши так, чтоб твою книгу можно было прочитать вслух, чтоб она звучала на голос, чтоб она не резала уши.

Но книг, не режущих уши, способных прозвучать вслух, годных для устного чтения, у нас пока еще очень мало. Шестнадцать небольших рассказов В. Ильенкова войдут в золотой фонд таких книг. Их не только можно

читать вслух, их непреодолимо тянет, — тотчас же по одиноком прочтении глазами, — прочитать снова вслух — соседу, ребятам, в школе, в вагоне, в семье, чтоб поделиться с другим той глубокой внутренней выразительностью, тем чувством находки, какими побеждают вас эти рассказы.

В. Ильенков нашел в них себя и свою манеру, свою форму подачи советского материала. Каждый его рассказ — это образ советского человека, новой личности с ее новыми требованиями к себе и к среде, с ее самоуважением и достоинством, с ее нравственным мерилом хорошего и дурного, не похожим на прежнее, дореволюционное мерило. Эту труднейшую задачу, — дать советского гражданина не на стройке, не в гражданской войне и вообще не в процессе формирования нового общества, а дать его, как личность, уже сформовавшуюся в условиях нового общества, — Ильенков почти всегда осуществляет удивительно легко и просто, без всяких авторских пояснений в тексте, без всяких психологических анализов, без лишних слов, осуществляет с музыкальной скупостью, одной «мелодией» рассказа, проходящего перед нами, как песня.

Две лучшие вещи в сборнике — «Личность» и «Душевный человек».

Старый, былых времен «адвокат» жалуется практиканту, что больше нет интересных дел: «раньше, бывало, народ шел в суд, как в театр, а если убийство — столько набьется... Я

однажды шесть часов подряд речь держал... Кругом виноват человек, а я его защитил, оправдал. Меня тогда на руках вынесли на улицу... А где современный Плевако? Нет его...». К этому «защитнику» приходит колхозник, — такой же старый и по-своему темный, как он. В чем его обвиняют, «понять даже невозможно. Будь бы я снасиливал или, к примеру, ударил ее, а то ведь пальцем не трону...». Выясняется, что колхозник — «немыслимый ругатель», женщину не признает за человека, облаял в поле бригадиршу, и на него подали по сто пятьдесят девятой статье. Адвокат учит колхозника, что говорить и делать. План защиты готов — ставка на темноту, на несознательность, на безответственность, — с такого и спрашивать нечего». Начинается суд. Несколькими штрихами, удивительно ярко даны и судья — женщина, и девушки — свидетельницы, и даже случайный дворник, которому в рассказе отводится лишь реплика в пять слов. Старый адвокат приступает к защите: «Перед вами, граждане судьи, стоит темный, неграмотный человек... На правой руке Кузина завязана красная шерстяная нитка. Это — талисман от всех болезней... Таков культурный урвень подсудимого... Обросший коростой прерассудок...». Но тут защиту прерывает сам подсудимый. Он яростно нападает на своего «защитника» — и «расписаться вполне может», и «от нитки этой никому вреда нет — от ломоты завязываем», и «сам кольцо золотое надел, а ниткой попрекает», и «будь я какой несознательный, а то честно, благородно, пятый год в колхозе...». Адвокат посрамлен. А «темный» колхозник внезапно раскрывает перед читателем, как вырос человек, какую мерю мерит себя, каким судом хочет быть судим, раскрывает без навязчивого дидактизма, без единой авторской ремарки, и мне даже как-то совестно давать читателю этот дидактизм в критической заметке, а не отсылать читателя попросту к самому рассказу.

Так же тепло и свежо сделан «Душевный человек», — о старике, везущем в колхоз закупленную пачку с пчелами. Он едет уже девять дней, застрял на станции и не знает, к какому поезду прицепить свои два вагона для последнего, ночного переезда. — а пчелы кусают, от них на путях походу нет, ворчит сцепщик, покусан старик. Он пытается развязать свой стариковский кошель и «подмазать» кого сл-

дует, но подмазать не удастся, и последняя его попытка заканчивается совсем неожиданно. В этом рассказе все очень обыкновенно, действие его длится на протяжении получаса, людей видишь как бы мельком, в озарении железнодорожного фонарика, и люди эти такие всегдашние, ни одного приподнятого слова. А конец рассказа звучит, как высокая героическая симфония, и вы чувствуете, что прослезились невольно, — от простоты, от того, что хороша эта простота, от того, что правдива, убедительна эта простая советская хорошесть, выведенная в рассказе. Мастерам художественного чтения и «Личность», и «Душевный человек» дадут исключительно благодарный материал.

Не все в книге на одинаковом уровне. Рассказы «Испытание» и «Митрофан и Захарка» построены слишком искусственно, шиты, что называется, «белыми нитками». Умеющий обойтись без психологизирования, дать точную характеристику в одной скупой реплике, В. Ильенков изменяет себе в этих рассказах, становится аналитиком, резонирует, его противопоставления чересчур надуманы и потому — навны. Но даже и эту надуманность он снимает одной удачной, звучащей правдиво и сильно фразой. — например, в «Митрофане и Захарке»: «Коммунистически, — с достоинством произнес Захарка, занкаясь от волнения».

В. Ильенкову следует помнить, что для него главная опасность — в перегибе его главного достоинства. Это достоинство (редкое для писателя!) — в умении дать положение своему материалу, раскрыть тему не словами, а взаимоотношением главных действующих лиц. Но этот «талант положения», если им увлекаться до схемы, очень легко может превратиться в старую манеру «рождественского рассказа», то-есть искусственно надуманной ситуации с сентиментальным концом. Так, сопоставление честного колхозника Митрофана (ставшего вором) с ворихой Захаркой (ставшим честным колхозником) — уже на грани рождественского рассказа.

Пожелаем В. Ильенкову не перешагнуть этой грани и суметь развить и культивировать плодотворную советскую новеллу, хорошие образцы которой ему уже удалась.

Мариятта Шагинян.

★

ПИСЬМА М. Н. ЕРМОЛОВОЙ.

Собрал и комментировал С. Н. Дурылин, издание ВТО, 1939 г., стр. 186.

А. А. ЯБЛОЧКИНА, В. Н. РЫЖОВА, Е. Д. ТУРЧАНИНОВА.

Творческие беседы мастеров театра с молодежью. Издание ВТО, 1938 г., стр. 71.

★

Мария Николаевна Ермолова первая из актеров получила звание народной артистки. Она заслужила его героическим подвигом своей жизни, сыграв вдохновенно и с непревзойденным мастерством около 285 ролей.

Исполнить почти все лучшие женские образы мировой трагедии, — этот подвиг велик, но он не был бы так величественен, плодотворен, если бы его не согревала прогрессивная идея. Имя Ермоловой бесконечно любимо русским

народом, и творчество ее ярким факелом освещает сцену русского театра, потому что Ермолова органически соединяла служение прекращенному, служение искусству с глубоким свободолубием, с пламенной любовью к человеку, к народу, к человечеству.

Через искусство Ермолова укрепляла у людей веру в их силы. Много искусства Ермолова не принимала. Воевала со всем, что было на сцене малодушно, ненавидела мелкие чувства и мысли, бесстрашность, серость и безволие. Эстетика Ермоловой — эстетика народного трибуна. Это воинствующий гуманизм, полувечовая гражданская война в искусстве, страстная этическая и эстетическая общественная борьба за человеческое достоинство! Всякий, кто захочет понять высшую цель и высшую форму искусства, не сможет, изучая историю русского театра, пройти мимо Ермоловой, так же, как нельзя пройти в литературе мимо Пушкина.

В 1907 году, в эпоху наступления мрачной реакции, общественные организации Москвы, по случаю вынужденного ухода Ермоловой с казенной сцены, дали актрисе торжественный банкет. Чувства прогрессивных слоев русской интеллигенции выразил тогда Марин Николаевна очень правильно Вл. Ив. Немирович-Данченко:

«Когда мы вспоминаем ваши сценические создания, сотканные из тончайших страданий, мы называем вас певцом женского подвига. Этим песням нельзя научиться, но звуки их остаются в душе. Когда мы вспоминаем другие ваши образы, палящие огнем, проникнутые безграничной любовью к свободе и ненавистью к гнету, нам хочется крикнуть историкам наши требования, чтобы в их книгах, рядом с портретами борцов за свободу, портрет Ермоловой находился на одном из почетных мест».

И права была Ермолова, когда в 1920 году, в день пятидесятилетия своего служения на сцене, принимая звание народной артистки, сказала: «Всю душу отдала народу и всей душой принадлежу народу».

В 1876 году она с такой силой сыграла девушку Лауренсию, поднимающую крестьянское восстание (в пьесе «Овечий источник» Лопе де Вега), что зрители расхлылись со спектакля с вальными песнями, как после революционного собрания. Та же безграничная любовь к свободе и ненависть к гнету звучали в игре Ермоловой, когда она потрясала зрителей, воплощая на сцене образ Орлеанской девы, героини народа, или в роли Юдифи, негодуя, кричала равнину Сантосу, проклинающему мыслителю Уриэля Акосту за его свободомыслие:

— Лжешь, равнин!

И бросала страстный вопль-призыв вслед Акосте, идущему отречься от своих передовых идей:

— Остановись... Акоста, воротись!

Ермолова будила моральную и политическую совесть русской интеллигенции. Будила волюлюбивую мысль и лучшие человеческие чувства, выступая не только в непосредственно

«героических» ролях. Замечательно, что почти каждую роль она раскрывала героически. Образ человека становился необычайно глубоким, страстным и звал к борьбе. Это было чудесное явление русской культуры. Артистка, проникая в самое существо женских образов Шекспира, Шиллера, Лопе де Вега, Кальдерона, Расина, Лессинга, Гете, Гюго, Гущкова, Грильпарцера, Ибсена, Теннисона, Бьернсона, гениально переводила их на эмоциональный язык передовой духовной жизни России того времени, вкладывала в их толкование героическое стремление русского народа к правде, свободе и справедливости. Ермолова делала эти роли такими же близкими и захватывающими зрителя, как роли героинь русских авторов — Пушкина, А. Толстого, Островского, Тургенева.

Ни одна из русских актрис не достигала такой цельности объективного проникновенного познания образа и индивидуального его толкования, такого полного слияния знания и чувства, мысли и выполнения, пафоса и простоты, величия, пламени, красоты и естественности выражения — при необычайном богатстве освещенного актрисой внутреннего человеческого мира. Это вызывало ни с чем не сравнимое ощущение у зрителя, даже когда на наших глазах М. Ермолова играла уже в преклонном возрасте.

Казалось, что то, что происходит с Ермоловой на сцене, это выше и жизни, и искусства в их сложившейся форме, в их привычном течении. Казалось, что это какая-то новая, созданная актрисой прекрасная, идеальная жизнь человека.

Но это отнюдь не было чем-то отвлеченным, вневременным, героическим «вообще», прекрасным «вообще». Ермолова пишет в письме А. Южину (в 1901 году): «К чорту Ибсена и все, что над жизнью или сверх жизни! Нужна только жизнь и художественная правда и красота!». И все образы Ермоловой—создания ее времени. В них она вложила лучшее, что сумела у своего времени услышать и взять. В этом первый завет Ермоловой каждому актеру.

Ее поэтические образы потому и были лишены какой бы то ни было выпренности, ходуль, фальши, позы, актерского кокетства, что они были совершенно земными, жизненно-конкретными, реальными.

И мы никак не можем согласиться с той вивисекцией, какую в начале своего предисловия к «Письмам М. Ермоловой» делает С. Дурьлин над словами К. С. Станиславского.

К. Станиславский пишет: «Мария Николаевна Ермолова — это целая эпоха русского театра, а для нашего поколения это — символ женственности, красоты, силы, пафоса, искренней простоты и скромности». («Моя жизнь в искусстве», издание «Academia», 1929 г., стр. 60). С. Дурьлин после слов «русского театра» ставит точку. Затем он опускает слова «для нашего поколения» и идет дальше. (Кстати говоря, кавычки и пунктуация у С. Дурьлина исключают для читателя даже возможность предположения, что в цитате что-нибудь изме-

нено...). Опушено как будто совсем немного! Но это немного — целое поколение русского общества конца XIX и начала XX веков. Мысль Станиславского искажена, абстрагирована. Зачем это? Зачем фетишизировать Ермолову? Зачем наперекор ее собственной природе делать из нее вне времени и пространства святую икону? И зачем отнимать у других артисток право выразить так же гениально, как это делала Ермолова, женственность, характерную для их времени, иную и иначе, чем у Ермоловой?

Или С. Дурьлин не чувствует и не знает (что элементарно для К. Станиславского), как в разные эпохи меняются характер и содержание женственности, красоты, силы, пафоса и даже образ искренней простоты и скромности?

И, разумеется, читатель сборника писем М. Ермоловой будет искать в них не «иконописи», не мертвых абстракций. Он будет искать проявлений живого человека в его интимном быту, в буднях его чувств, труда и дум, в его живых индивидуальных связях со своим обществом, — чтобы полнее и глубже представить жизненный характер великой актрисы.

Мария Николаевна была поразительно скромна и не любила писать и говорить о себе. Она не оставила никакого автобиографического или теоретического комментария к легендарному памятнику своего творчества. И 196 писем Ермоловой, выбранных для сборника, нового материала для изучения лаборатории ее мастерства дают мало. Их ценность, главным образом, в другом: они раскрывают моральный облик актрисы и некоторые ее общественные настроения.

Наиболее откровенный личный характер носят письма к доктору Л. Средину (1860 — 1909), о котором С. Дурьлин правильно пишет, что он принадлежал к числу тех одаренных русских интеллигентов, которые, не проявив себя заметно в той или иной деятельности, оставляют глубокий след в жизни, мыслях и чувствах людей, с которыми столкнула их жизнь. Друг М. Горького Средин был для многих людей искусства, «искавших правды», чутким, внимательным собеседником и поверенным в заботах и в радостях жизни и творчества. О Средине вспоминают с теплотой благодарностью. У него любил бывать А. Чехов, Нестеров, Левитан, В. Васнецов, Найденов, Аренский, Мамин-Сибиряк, Елпатьевский. Письма М. Ермоловой к Л. Средину дышат удивительной молодой женственностью (хотя в год их первой встречи, в 1898 г., Ермоловой было 45 лет). Ему она поверяет все, что скрыто от других. Перед своим лучшим другом она не скрывает и своей «влюбленности» в него, и своих искренних отношений к другим людям. В этих письмах все слова горят, они освещены особенным внутренним светом. И поэтому глубочайшую искренность приобретают такие просьбы, признания и оценки Ермоловой:

«Как я буду рада, если к вам придет Горький! Вы оживете с ним. Милая, светлая личность! Не давайте ему сбиваться с этой

светлой нотки, которая так сильно звучит в его произведениях. Поддержите в нем ее. Не надо, чтобы он уходил в беспросветную тьму всевозможных болезней и печалей, одним словом в «чеховщину». Не сердитесь за это слово, оно вырвалось невольное».

«...хочется свету, жизни, тепла, я так и люблю мрака, вы это знаете! Я как-то теряю почву под ногами, когда мрачно кругом, и перестаю жить. К счастью, меня никогда не покидает надежда».

«В театре теперь чисто, порядочно, вымели весь сор, но вымести-то вымели, а нового-то еще ничего не внесли! Настроение у публики хорошее. Она с восторгом принимает Островского, но чувствуется, что надо нового, а нового-то нет пока». (Написано в 1899 г., когда из репертуара Малого театра был исключен ряд плохих пьес и стали преобладать классические произведения, но русская общественность, выходящая из реакционной спячки, требовала современных пьес, отвечающих новым потребностям.)

«...очень бы хотелось найти что-нибудь посильнее, больше, чем когда-нибудь, потому что это необходимо в настоящее время. Впервые, потому, что театр наш начинает становиться совсем безжизненным трупом, во-вторых, потому, что есть недоброе течение против меня лично» (тот же 1899 г.).

«Я жажду всегда света и тепла для человечества во всем, в жизни, в искусстве, в литературе...» «Я не хочу мучиться и терзать себя добровольно еще и литературными произведениями. Жизнь и без них дает достаточно горя...». «Я не хочу, не хочу мучиться!» (1900 г.).

«Я вижу, что вы сохранили в себе чувство прекрасного, не поддались мутным и грязным волнам упадочного искусства, которыми мы залиты теперь со всех сторон: трудно и тяжело разбираться во всем, что теперь у нас делается, но я вместе с вами верю, что жив бог земли русской! Ужасный кошмар коснулся и вас! У вас, говорят, отняли всех друзей и знакомых...». (Написано в 1907 году, при наступлении огомлетой реакции и полицейских расправ с прогрессивной интеллигенцией.)

Ермолова чутко переживала то, что происходило в стране.

Трагический репертуар привлекал Ермолову не как сфера безысходно трагического, мучительных переживаний, с ними Ермолова боролась, — трагедия на сцене была для актрисы только средством для утверждения борьбы и победы человеческого духа, разума, «света», правды, — ради счастья человечества.

Все реакционное и упадочническое неизменно вызывало у Ермоловой гнев и ненависть. В 1901 году она пишет А. И. Южину: «Свету, побольше свету!» — и тут же цитирует из своего любимого стихотворения (А. Толстого) строки:

«... Среди мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите во имя прекрасного
Против течения!».

В 1907 г., в годы столыпинской реакции, она пишет другой великой русской актрисе, Г. Н. Федотовой: «Я хоть и не принимаю участия ни в какой жизни, да уж очень больно видеть и слышать, что делается. И ниоткуда не видать еще просветления. А, главное, наше дорогое, милое искусство, что с ним теперь?! Все навыворот, псрнграфия, безумие, вот литература и театр наших дней!»

И в десятках других писем разным людям — те же призывы, отклики, поддержка, когда Ермолова видит в людях честное, принципиальное отстаивание высокого человеческого достоинства и стремление к искусству, облагораживающему и воспитывающему, к оптимистическому искусству борьбы и прогресса. А рядом скромные письма — свидетели ее собственного огромного труда и высокой профессиональной этики артистки в тисках казенного, мертвящего управления театрами. И еще письма, полные трогательного личного участия к товарищам по сцене.

Интересно по письмам проследить историю развития отношений Ермоловой к драматургии таких авторов, как Чехов и Ибсен. Сначала она видит в них только сумерки и не принимает их. Потом, вдумываясь глубже в содержание окружающей действительности, сама создает на сцене прекрасные образы героинь Ибсена. Начинает больше интересоваться Чеховым. И в то же время с восторгом отзывается о спектакле «На дне» Горького в Художественном театре. Это одно из выражений ее тяги к современности. Как это переключается с ее признанием в одном письме, что однажды ей ее «испанцы и итаальнцы» ничем уже не помогли в поисках нужной новой пьесы!.. И, конечно, драматургию Леонида Андреева она не принимает и отвергает до конца.

Следует с благодарностью отметить труд С. Дурылина по собиранию и добросовестному, довольно обстоятельно комментированию писем М. Н. Ермоловой. Кстати говоря, при переиздании книги следует эти комментарии расширить, чтобы полнее осветить эпоху и людей, с которыми связаны письма.

Издана книга хорошо. Ряд портретов Ермоловой в жизни и в ролях несколько дополняет читателю представление о великой актрисе. Но оно, к сожалению, остается все же неполным. Этого добивалась сама Ермолова, сжигая в своем архиве, по собственному признанию, «все, что имело хоть какой-нибудь интерес».

★

Продолжая выпуск серии «Творческие беседы мастеров театра с молодежью», ВТО объединило в одной книжке беседы представительниц Малого театра — народных артисток А. А. Яблочкиной, В. Н. Рыжовой и Е. Д. Турчаниновой. Каждая из этих актрис начинала свою деятельность при жизни М. Н. Ермоловой, в одном с нею театре. Естественно, что читатель встретит не раз в этой книге упоминание о М. Ермоловой, как о великом примере женского артистического труда. Ему всегда

будут отдавать дань неумирающей любви и уважения.

А. Яблочкина рассказывает о своей работе с подкупающей откровенностью. Театр всю жизнь был ее страстью и местом, где все ей «кажется прекрасным, возвышенным, благородным», а творчество гениальных артистов очисщало ее «от мелочности и грязи и уводило в круг особых, возвышенных эмоций, в жизнь широких, больших масштабов». Актриса вспоминает, какие критические замечания делали ей режиссеры и зрители. Рассказывает о своей индивидуальной творческой лаборатории.

Чтобы подойти к индивидуальности А. Яблочкиной как артистки и человека, вернемся к письмам, написанным к ней М. Ермоловой: «... меня так трогает ваша доброта ко всем людям, нуждающимся в какой бы то ни было помощи, которую вы и оказываете, не задумываясь, тратите свои силы, здоровье и не спрашиваете себя, могу ли я, хочу ли я, а просто делаете все, что нужно! Это самая благородная и высокая черта вашего характера, за которую я и люблю вас сердечно. Не говорю уже о вашем славном служении театру — с каким достоинством и твердостью держите его знамя в руках!» (1921 г.)

Творчество А. Яблочкиной всегда было отмечено романтической, приподнятой взволнованностью. О себе она говорит: «Я человек настроения». «В работе над ролью я всегда иду исключительно от внутреннего, психологического ее постижения». «В силу... неустойчивости настроений я не могла вести систематической, размеренной работы над ролью. Репетиции и должны служить для того, чтобы найденное в счастливые моменты, когда вся сливаешься с ролью, находить нужное по пьесе чувство, суметь запомнить и запечатлеть».

Творчество А. Яблочкиной, может быть, бывает слишком субъективно — в этом его и сильные, и слабые стороны. И внимательный читатель не станет делать широких обобщений для искусства актера из таких признаний актрисы (отнеся их только к ее индивидуальности), как, например:

«Я не подхожу для бытовых ролей, для ролей крестьянок и всю жизнь откровенно от них. Я никогда не знала деревни. Вся моя внешность, мое лицо, манера держать себя — не подходят к этим ролям. Когда я пришла в Малый театр, там были М. Н. Ермолова, А. И. Южин, А. П. Ленский, Ф. П. Горев, которые играли с исключительным блеском романтические пьесы и пьесы классического иностранного репертуара: Шекспира, Шиллера, Гюго, Лопе де Вега и др. Эта группа актеров захватила меня, и я всю жизнь мечтала играть в пьесах, в которых я видела их. Меня всегда привлекала классика, величавые образы, все возвышенное, все трагическое».

Разумеется, возвышенное и трагическое отнюдь не исключаются в так назыв. «бытовых» ролях и в образах крестьянок, в образах деревни. Но актриса мужественно признается, что деревни, например, она совершенно не

знает, а добросовестность ей не позволяет браться за то, что ей неизвестно. Только из незнания или из чрезвычайно упрощенной теории «типажа» могло возникнуть предположение, что все женщины, живущие в деревне, одинаково недоступны изображению средствами А. Яблочкиной.

Со своей стороны, мы не можем не сказать, что воспитание исключительно в рамках прежнего романтического и трагического театра, в котором было много отвлеченно-условного и сентиментального, сузило возможности актрисы, несколько односторонне направило развитие ее таланта.

Но это не значит, что А. Яблочкина стремится творить оторванно от изучения жизни или призывает к этому других. Напротив, в ее беседе есть советы и указания, необходимые для создания образов в лучших традициях сценического реализма.

Она пишет: «Но не пройдя через личное, женское, не быв матерью, я все же могла быть искренне и глубоко влюбленной, жить яркой, полной женской жизнью. «Какая же вы актриса, если вы не переживали этих чувств? Разве вы можете передать все эти чувства правдиво?» — часто спрашивали меня. Я отвечала: «На что же искусство? Почему я не могу передать это на сцене при помощи искусства? Я наблюдаю жизнь, учусь у жизни».

Наблюдаю жизнь, учусь у жизни, — вот, что дает актеру уверенность и силу в изображении разных людей, а не исключительно собственные переживания. Искусство актера — отражение жизни, которую он видит, а не публичное показывание своих интимно-личных чувств.

В этом и заключается лучшая традиция Малого театра, принесшая ему славу.

Ценны замечания А. Яблочкиной о значении литературного языка роли. «Язык — самое важное в роли». «Для меня самое главное в роли — овладеть языком автора, его манерой выражения. Каждый автор своеобразен, и язык его дает характер роли. В тесной связи с языком роли я разрабатываю каждый образ». Актриса приводит затем убедительные примеры о языке героинь Гоголя, Грибоедова, Пушкина.

«Беседа» А. Яблочкиной не велика. Она могла бы быть значительно полнее, если бы на основе сыгранных артисткою ролей было приведено больше подробных примеров по каждому затронутому вопросу актерского мастерства.

Интересно признание А. Яблочкиной о том, как при возобновлении в Малом театре спектакля «Лес» в 1937 году углубилась и выросла в ее исполнении роль Гурмыжской. «В прошлом... я изображала богатую барыню-помещицу, глупую гусыню, обуреваемую запоздалой страстью к гимназисту, и ставила акцент главным образом на смешное, жалкое положение этой ничтожной женщины». А теперь образ Гурмыжской у актрисы наполнился большим общественным критическим содержанием. Характер помещицы раскрылся во многих связях ее с действительностью, с крестьянами, слугами, с нарождающимся хищным капиталом

в лице Восьмибратова. И только теперь, когда Гурмыжская у актрисы приобрела полную конкретно-историческую биографию, раскрылся в поразительно богатстве красок и интонаций замечательный текст Островского!

Так углубляется и художественно вырастает исполнение классических пьес на советской сцене.

★

Читая беседу В. Н. Рыжовой, достаточно внимательно взглянуть в приложенные фотографии артистки в ролях Улиты («Лес»), Глуховой («На всякого мудреца довольно простоты»), Авдотьи («Растеряева улица»), кухарки («Глоды просвещения»), чтобы оценить, какому высокому мастерству создания «характерных бытовых» образов служат советы этой последовательницы реалистической школы Малого театра.

«Первое, что я должна для себя установить, это каков характер играемого мною лица, каковы его взаимоотношения с другими действующими лицами, какая главная черта его характера, какая среда окружает его и в какую эпоху это лицо живет», — так начинает свою беседу В. Рыжова. И далее следуют, основанные на пристальном наблюдении жизни, примеры о различных походах, разном смехе, разной психологии, разной речи людей.

В. Рыжова говорит, что самое интересное в работе актера — это период исканий и создания образа, период накопления, осмысливания и, мы бы сказали, лепки всех необходимых черт для раскрытия характера героя и его поведения.

Когда же В. Рыжова играет на сцене, она почти полностью «забывает о себе».

Справедливо обрушивается актриса на то, что многие актеры не следят за чистотой языка и за особой характерностью, какую придают народной речи верные ударения, интонации, ритм, паузы, замедления и ускорения. А сглаженная, обезличенная речь не правдива и не художественна!

Это замечание тем более важно, что для зрителей театр — школа языка.

Подводя итоги, В. Рыжова заключает: «За все время пребывания на сцене я всегда стремилась к достижению правды. На сцене должна быть правда жизни. Но нельзя забывать и о театральности. Я понимаю театральность, как известную подчеркнутость речи и образа».

Уделив в беседе почти все внимание внешним чертам в лепке характеров, актриса, к сожалению, не осветила, каким путем она идет к раскрытию и дейного содержания, т.-е. к главному, чему должны быть подчинены и актерское наблюдение жизни, и художественное творчество в любых, хотя бы и «бытовых», ролях.

Может быть, это упущение объясняется тем, что «беседы», по мысли их издателей, должны дополнять одна другую, не повторяя однажды указанных основ и общих принципов творчества актера?.. Но в иных случаях «повторение» необходимо. Да оно даже и не было бы повторением, освещенное через индивидуальное свое-

образе артистов! Ведь общие принципы в личном опыте каждого художника преломляются по-разному.

Идейные мотивы и методы творчества тем более следует осветить на опыте «бытовых» ролей, так как исполнение их часто граничит с бескрылой, поверхностной манерой «фотографирования» действительности.

★

Е. Д. Турчанинова не столько рассказывает о методах собственной работы, сколько будит воображение молодежи воспоминаниями о прекрасных моментах в творчестве М. Н. Ермоловой, Г. Н. Федотовой, Н. А. Никулиной, А. П. Ленского, Ф. П. Горева.

Перелистывая этот альбом воспоминаний, читатель найдет ряд живых зарисовок с жизни театра в прошлом, когда начинающих актеров ничему не учили. «Мы, молодые актеры, были, как щенки, которых бросают в воду, чтобы они сами научились плавать...» И, несмотря на это, на сцене появлялись замечательные артисты, громадные таланты, которые безраздельно владели зрительным залом.

Чем объяснить их власть?

Интуицией в раскрытии образа? Пламенем чувств? Умением безраздельно отдаваться изображаемому страстям и характерам и заражать своим увлечением, своей верой других? Глубиной проникновения в философское существо образа? Или в его эмоциональную природу?

Было и то, и другое, и третье... Наша театральная молодежь, поставленная в неизмеримо лучшие условия, получающая систематическое и многостороннее воспитание, должна перенять от старых русских актеров во всяком случае одно: умение самостоятельно творить.

А для этого, кроме системы, нужны и интуиция, и огромное напряжение творческих сил, глубокие и страстные чувства, а главное для актера: вера в то, что он изображает.

Приведем из воспоминаний Е. Д. Турчаниновой два эпизода.

В одной пьесе есть сцена, где Ермолова встречала гроб с возлюбленным. На репетиции режиссер, не предполагая, что актриса будет вести монолог в полный тон, хотел ее рассмешить и положил в гроб чучело льва... «А Мария Николаевна понеслась на крыльях своего вдохновения — она открывает гроб и продолжает говорить. Все в ужасе замерли:

ведь режиссер мог испортить ей всю сцену. Когда кончилась сцена, все были потрясены, плакали... Режиссер Кондратьев встал перед ней на колени и сказал: «Простите, Мария Николаевна, я помешал вам». Она очнулась и спросила: «В чем дело?». Он говорит: «Я положил...» — «Что вы положили? Я и не заметила». Она видела в гробу то, что ей нужно было видеть».

Г. Н. Федотова, уже старуха, лежа в постели, со скрюченными острым ревматизмом и подагрой руками и ногами, тонкая, умная артистка, экзальтирующая Турчанинову и помогая ей, заставляет ее читать роль Кабанихи, а сама подает реплики Катерины... Турчанинова вспоминает: «Молодой, ясный, нежный, тихий голос отвечал мне: «Для меня, маме́шка, все равно, что ты, что родная мать». У меня захватило дыхание, я услышала вновь чудесную артистку, — и так мы провели с ней всю роль».

На это способны только люди, отдающие себя искусству с огромной силой чувств, люди с неисчерпаемыми душевными глубинами, люди, которые ставят искусство театра так высоко, как М. Н. Ермолова.

Только отсюда может появиться артистический пламень и богатство на сцене женственности, красоты, силы, пафоса, психологической чуткости, лиричности, искренней простоты, о которых писал К. Станиславский, говоря о Ермоловой.

Е. Турчанинова вспоминает, что, когда Мария Николаевна была совсем стара, она говорила: «Как жалко, что я не могу сыграть для кино. Мне бы хотелось посмотреть на себя...» Артисты прошлого не имели такого могучего средства видеть себя, т.-е. проверить свое мастерство. Они не имели возможности, как нынешние актеры, и общаться через кино с миллионным зрителем, что помогает современным актерам создавать большое народное искусство.

★

Требовательность к искусству актера вместе с ростом благоприятствующих ему условий непрерывно у нас повышается. Для совершенствования мастерства необходимо изучение прежних образцов, — поэтому такие книжки приобретают не только историографическое, но и актуальное культурное значение.

Х. Херсонский.

★

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР. — ИЗГНАНИЕ.
кн. 1-я и 2-я. Гослитиздат, 1939 г., 649 стр., ц. 7 р.

★

1

Уже в годы империалистической войны и революционных потрясений в своем драматическом творчестве увлекается молодой Фейхтвангер героическим образом преобразователя общества. Но как совместить идеалы буржуазной нравственности с революционными

попытками переустройства общества, всегда так или иначе связанными с насилием и пролитием крови? И Фейхтвангер стремится найти творческий синтез этого неразрешимого противоречия. Вот Томас Вендт — герой его драматического романа «Тысяча девятьсот восемнадцатый год». Это — прототип баварского

революционера Курта Эйснера. Он испытывает отвращение ко всякому насилию, он мечтает провести революционный переворот «мирно», не проливая ни капли крови. Он хотел бы осуществить равенство, справедливость, морально возвысить общество и — терпит жесточайшее поражение. Своим отказом от насилия, от законных и необходимых репрессий по отношению к контрреволюционерам погубил Томас Вендт дело революции.

Так художник разоблачил пленительную идею синтеза начал буржуазной морали и революционного переустройства общества. Заключив Томаса Вендта, он продолжает стремиться к разрешению проблемы действия и морали.

Крупнейшей вехой на этом творческом этапе служат «Успех», «Семья Оппенгейм» и «Изгнание» — три романа из большой тетралогии «Люди двадцатого столетия».

Тема «Успеха» — напрасные попытки утверждения права и справедливости в гнусных условиях капиталистической Германии 20-х годов. Усилия Иоганна Крайн и Тюверлена спасти Крюгера — жертву «баварского правосудия» — не приводят фактически ни к чему. Их методы борьбы бессильны, потому что оба они во власти старых предрассудков о всепобеждающей силе пламенного слова, единственно способного зажечь человеческое сердце. «Я больше верю в хорошо исписанную бумагу, чем в пулеметы» — говорит писатель Тюверлен. И голос защитников Крюгера остается случайным голосом возмущенного свидетеля, далекого от широких социальных обобщений.

Неумолимая политическая действительность готовит еще более тяжкие испытания прекраснодушным энтузиастам, гуманистам типа Тюверлена. Торжествующий фашизм утверждает в Германии свое террористическое господство на жалких обломках той самой отвлеченной справедливости, которую с таким жаром и так беслодно отстаивали защитники Крюгера. Как бы в поучение Тюверленам всего мира, презирающим с высоты своего наивного благородства пулеметы и фетишистки слепо преклоняющимся перед бумагой, фашизм, опираясь на штыки и пулеметы, издевается и над справедливостью, и над свободой, и над чувствами человека, и над всякой другой «исписанной бумагой».

Во втором романе тетралогии, в «Семье Оппенгейм», Фейхтвангер, верный жизненной правде и следуя неотразимой логике событий, развертывает картину физических и моральных мучений, которыми буржуазная интеллигенция расплачивается за свое неумение организовать активное сопротивление насилию и сомкнуться с борющимися массами. Автор и сам еще не отдает себе отчета в широком социальном значении личной трагедии семьи Оппенгейм. Тем не менее полно объективного значения то обстоятельство, что ужаснее всего отозвался политический грех интеллигенции на юноше Бертольде, не вынесшем издевательств фашистской педагогики и покончившем с собой.

В свете этих уроков и поражений приобретает особенное значение идейное содержание третьего романа тетралогии, «Изгнания», две книги которого недавно напечатаны «Государственным издательством художественной литературы». Очень характерно и не случайно, что «Изгнание» так напоминает «Успех» своим сюжетом, композиционными приемами, всей напряженностью внутреннего драматизма.

Место Крюгера, падающего жертвой реакции, занимает здесь антифашистский журналист Беньямин, похищенный штурмовиками на германо-швейцарской границе. Как в «Успехе» вокруг дела Крюгера, так в «Изгнании» вокруг этого похищения разыгрываются страсти, завязывается ожесточенная борьба, развертываются сложные события. Но социальный фон романа здесь бледнее, рамки уже. Сфера действий в «Изгнании» — всего только эмигрантские слои Парижа.

Главнейший персонаж романа — композитор Траутвейн — поражен в самом сердце вестью о бандитском похищении фашистами близкого ему человека — журналиста Беньямина. Это известие воспламеняет мирного музыканта и превращает его в ожесточеннейшего агитатора и борца. Как Иоганну в «Успехе», его мучает совершенное над другом насилие. Траутвейн развивает бешеную деятельность в антифашистской прессе. Он добивается того, что в швейцарском парламенте проходит запрос правительству о наглom самоуправстве фашистов на швейцарской территории, и Германия посылает ноту протеста. Но, увы, в своем ответе фашистское правительство коротко и нагло отказывается от причастности к похищению журналиста. Итак, борьба не дала непосредственных результатов: фашисты крепко держат в своих руках Беньямина, его дело передано на решение арбитражной комиссии из представителей нейтральных государств, на которых фашисты, конечно, окажут давление. Пылкие статьи Траутвейна, его призывы к праву и разуму бессильны, слишком бессильны пробить толстую броню фашистского варварства и бесстыдства. Траутвейн сильно обескуражен. Быть может, впервые в жизни в глазах буржуазного гуманиста и мечтателя омрачена вера во всепобеждающую силу идеи. Он думал, что газетными статьями и дипломатическими нотами можно воспламенить сердца так же, как ораториями Генделя.

Методы либеральной политики Траутвейна оказались устаревшими и негодными. Его горячие статьи против нарушения известных, как ему казалось, законов разума и справедливости — только «игра в политику», по словам его друга, писателя Гарри Майзеля, а сам он — лишь мечтатель и «честный безумец». Несмотря на «бешеную деятельность», развитую Траутвейном в антифашистской печати, он оказался бессильным освободить Беньямина. Теперь Траутвейн немного отрезвел: ему ясно, что мир высоких идеалов и их могучей власти над умами окончательно ушел, что «пора гуманизма миновала».

В фигуре Траутвейна вскрывает Фейхтвангер неизбежные противоречия буржуазной мо-

рали, противоречия, уже давно намеченные им в образе Томаса Вендта — преобразователя общества, пацифиста, страстного врага всяческого насилия. Но старая проблема, которая стояла перед героями Фейхтвангера, начиная с Томаса Вендта, погубившего революционное восстание своей боязней репрессий по отношению к контрреволюционерам, до Тюверлена, больше верящего в хорошо написанную бумагу, чем в пулеметы, и до несчастной семьи Оппенгейм, бессильной жертвы фашистского произвола, окончательно разрешается лишь в «Изгнании». Только в этом романе Фейхтвангер делает тот неизбежный логический вывод, что старые нормы морали и либеральной политики уже отжили, что они должны теперь уступить место вооруженной силе, тем «пулеметам», которым так не доверяет Тюверлен и которых боится и Траутвейн. Эту коренную ошибку его миропонимания вскрывает его сын Ганс. Он в горячих спорах с отцом доказывает бесплодность и беспочвенность его либерализма, его морализирования, его детской боязни перед всяческим насилием: «Если есть сила, готовая вступить за правое дело, и если к ней прибавить то, что ты считаешь основным, — мораль, искусство, — тогда твои статьи станут в десять раз сильнее, и мораль обретет смысл. Против насилия нельзя бороться уговорами, а только насилием. Впрочем, я нахожу, — заявляет Ганс, — что насилие не такая уж плохая вещь. Плохим оно становится лишь тогда, когда им пользуются для дурных целей. Мы стремимся к тому, чтобы на стороне правого дела были не только симпатии порядочных людей, но и танки». Как это далеко от тверделеновского презрения к пулеметам! Суждения Ганса — полная противоположность метафизическим отвлеченностям его отца, его вере в какую-то автоматическую победу разума и справедливости. В Гансе зреет священная ненависть к тем, кто предан капиталистической наживе и во имя ее разрушает культуру. Его политические симпатии намечаются в романе довольно явственно: он овладеет своей архитектурой и поедет в страну, где «150 миллионов строят новый мир».

Столкновение отживающего, старого с новым, которому принадлежит будущее, нигде не намечается у Фейхтвангера с такой полнотой и силой, как в «Изгнании». Необыкновенно ярко нарисованы им «хмурые гости изгнания», вытолкнутые фашизмом из привычной и наезженной колеи. Все эти «бывшие» собираются в парижской квартире редактора антифашистской газеты Гейльбруна. Здесь все нарочито напоминает Берлин, все, от громоздкой, старомодной обстановки до громоздких речей — «безжизненного эхо славных времен веймарской республики». Среди гостей — бывший министр и бывший статс-секретарь, и бывший директор большого концерна, и бывший профессор-аллинист. «Эти люди как бы с большими усилиями запаковали себя в вату и намеренно завлекают здесь о настоящем». Одни спорят с увлечением о невведенных двенадцать лет тому назад хлебных пошлаках, а другие, как дряхлый профессор, надевшийся когда-то по-

лучить «достойную» праздность, но получивший праздность без достоинства, — уходят в свои эллиптические дремности. Для них даже «фюрер» — лишь один из женихов Пенелопы — Германии, которых прогонит возвратившийся Одиссей.

Этому старому миру, этим людям, «которые умерли, и сами об этом не знают», противопоставлен представитель молодого поколения — Ганс, исполненный жажды жизни и энергии. Это почти единственный из героев «Изгнания», который в состоянии порвать с идеалистической и односторонней оценкой фашизма, как господства человеческой глупости, временно победившей благодаря непонятному попустительству «таинственных» исторических сил. Только Ганс отходит от этого отживающего поколения с его мистической верой в стихийную борьбу разума и глупости и приближается к единственно правильному пониманию событий: действительные корни фашизма — в реальных классовых взаимоотношениях; суть в том, что «капитализм в своей наиболее беспощадной форме, в форме фашизма, на время узурпировал власть в Германии». Ганс чувствует, что источником счастья и силы людей в СССР является социализм. Так открылись перед Гансом пути разрыва с идеалистическим и потому беспомощным миропониманием отцов.

Но Ганс еще не установился, он еще слишком непосредствен, по-юношески задорен. В пылу споров он отрицает всякое вообще значение за кампанией отца в пользу Беньямина и высоко третирует эти усилия, «как сплошную идеалистическую чепуху».

Фигура Ганса — новинка в творчестве Фейхтвангера, это своеобразный, так сказать, дебют на пути к изображению сил, новых во всех смыслах: идеологически, практически, политически. Фейхтвангер почувствовал многообещающую, здоровую и крепкую жизненную правду этого темперамента, еще не до конца сложившегося, этой юности, еще кипящей избытком сил, но уже выходящей на верную дорогу, — и построил образ Ганса в плане и тоне, преимущественно эмоциональных. Ганс счастлив, что нашел «правильный путь жизни» в СССР, счастлив, что есть «на свете такая правда и люди, живущие этой правдой». Этот будущий через край темперамент юноши дан, как резкий контраст неустойчивости и идейной расшатанности его отца.

Центральной фигурой романа остается все-таки Траутвейн. Мы почти слышим его «нервный, петушинный голос», видим его «костлявую голову с горящими глубокими глазами» и длинные, худые, очень подвижные руки. Мы встречаем Траутвейна в самых разнообразных положениях: то в узком семейном кругу, то с немногими друзьями, то в редакции, за горячей журнальной работой. Автор тщательно вскрывает его самые сокровенные мысли и чувства. Крушение его мировоззрения — длинный и мучительный процесс, изображенный в мельчайших психологических подробностях. Траутвейн есть углубленное дальнейшее развитие конститутивных черт тех буржуазных гу-

манистов, с которыми мы уже знакомы по «Успеху» и «Семье Опенгейм». Это предстатель старого поколения, явно уходящего со сцены в грозе и буре современных общественных переворотов, более законченный и логически округленный, чем предстатели нового поколения, которые еще целиком в будущем и поданы Фейхтвангером в резком и сильном, но довольно общем рисунке. Жизненная правда и сила на стороне Ганса, но Фейхтвангер недостаточно проник в психологию молодого поколения, чтобы так же исчерпывающе детально показать сына, как показал отца. И центр тяжести первых двух книг «Изгнания» — не столько в утверждении мировоззрения «детей», сколько в отрицании миропонимания «отцов». Здесь новые понятия и мысли возникают и развертываются скорее, как антитеза, как противоположность миру старых, отживших идей. Верный художественной правде, Фейхтвангер отмечает, что в жизни человека распад старого не всегда обгоняется рождением нового, и в результате — трагическая пустота даже и высоко одаренной личности. Такова судьба молодого и даровитейшего писателя Гарри Майзея, погибающего как-раз оттого, что «старое», преодоленное и отвергнутое им, не успело в его жизни смениться «новым», которому стоит отдаться. Гарри, нарисованный Фейхтвангером с сострадательной любовью, осуществил в своем творчестве идеал «высокого искусства». Но он достиг этого дорогой ценой искусственной изолированности от окружающего мира, замкнутости в самом себе. И он фатально и неизменно погибает — зарезанный в пьяной драке — именно потому, что «не мог решиться примкнуть к какому-нибудь целому».

Мысль о том, что торжествующее новое приходит на смену обесиленному и отмирающему старому, достаточно явственно отражена уже в эпиграфе книги, которым служат стихи Гете:

«И покуда не поймешь
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой».

И это новое намечается в лице полного сил Ганса, не останавливающегося перед выводами, которых пока не в силах сделать его отец. Гибель буржуазного гуманизма отнюдь не начинается собой беспросветного варварства и мрака. Нет, на смену ему является новый, светлый гуманизм, построенный на широчайшем базисе солидарности трудящихся всего мира. Ганс, увидевший это, хочет превратить отца в своего настоящего союзника. Старик перелетчик Меркле, бывший социал-демократ, а теперь ярый сторонник пролетарского и народного антифашистского фронта, подсказывает Гансу мысль о необходимости продолжить эволюцию, начатую Траутвейном: этот враг фашизма должен стать другом социализма.

К сожалению, старый социал-демократ Меркле освещен очень недостаточно. Он слишком рассудочен, схематичен и появляется в тех лишь случаях, когда нужно наставить неопытную молодежь на правильный политический

путь: один раз он раскрывает перед Гансом суть политических разногласий последнего с отцом и указывает выход из них, в другой раз он помогает юноше Клеменсу, товарищу Ганса, освободиться от навязчивой идеи о необходимости индивидуального террора в борьбе с фашистами, идеи, овладевшей Клеменсом после убийства фашистами его отца. Фигура дядюшки Меркле вышла бесцветной и недостаточно жизненной, как всегда бывает, если литературный герой становится только глашатаем определенных лозунгов и автор не вскрывает интимной человеческой сущности его внутренней жизни, мотивирующей его поступки.

Мы читаем в одной из самых недавних статей Фейхтвангера: «На повышение идейного уровня моих драматических, как и эпических произведений оказало большое влияние существование социалистического общества» («An meine Sowjetleser». Das Wort, № 7, 1938 г.). Это несомненно, и это все яснее ощущается в каждом новом произведении Фейхтвангера. Но несомненно и то, что политически положительные персонажи, искренне сочувствующие идеям революционного пролетариата и готовые проявить это на деле, освещены в романах Фейхтвангера не так ярко и убедительно, как герои противного лагеря и те буржуазные гуманисты, которые, хотя и вступают в борьбу с темными силами реакции, но, более или менее, далеки от социализма. Они — все эти Гансы, Меркле, даже коммунист Прекль из «Успеха», или рабочий Фришлин из «Семьи Опенгейм» — далеко уступают в пластичности, в красочности, в художественной жизненности основным героям романов.

Очень знаменательно, что сам Фейхтвангер все решительней порывает в наши дни с наивно-рационалистическими построениями буржуазных гуманистов, которые раньше разделял. Теперь он видит, что «справедливость», демократия, свобода — понятия глубоко классовые, что «истинный гуманизм является смыслом социализма, его осуществлением, и что все большие слои интеллигенции Запада бросают на свалку старые идеалистические теории, заменяя их острым, ясным, реалистическим гуманизмом Ленина» (Фейхтвангер. «Ленин и социалистический гуманизм», «Правда», 21 янв. 1939 г.).

2

Фейхтвангер так формулирует задачи романиста: «дать картину мира, широкий эпический фон, подводные течения, причины и цели, движение и двигатель» (из предисловия Фейхтвангера к полному собранию своих сочинений). Действительно, все романы Фейхтвангера, включая тем более исторические, являются романами социальными по преимуществу, где действуют и сталкиваются различные политические силы, давая в результате то распри средневековых феодалов («Безобразная герцогиня»), то кровавый спор Иудеи с Римом («Иудейская война»).

Пожалуй, самым характерным в этом отношении является «Успех», где трагедия Крюгера развертывается на бурном фоне обществен-

но-политической жизни Баварии 20-х годов. Та же социальная обусловленность глядит со страниц «Семьи Оппенгейм»: и Бертольд, и Густав Оппенгеймы падают жертвой озверелого антисемитизма. Везде и всюду личные судьбы персонажей — будь то исавтор в искусстве Крюгер или «неарийцы» Оппенгеймы, или эмигранты «Изгнания» — уходят всеми своими корнями в реальную действительность и только ею обусловлены и объяснены. Так, все произведения Фейхтвангера имеют, по меткому выражению одного из героев «Успеха», «ветер эпохи в своих парусах».

В предисловии к драме «1918 год» Фейхтвангер выдвигает еще и другой творческий принцип. Роман означает: «никаких длительных остановок, никакой плавности в движении, никаких рассуждений. Оценка автора, выраженная словами, а не образами, исключается. Дорога круто поднимается вверх по четко высеченным ступеням, сказанное слово является главным средством, и объективизм — это все». Но «объективность» Фейхтвангера не только не исключает проявления авторских симпатий и антипатий, а, напротив, предпологает их, делает их неотразимей для читателя, воспринимающего их слитыми с определенным художественным образом.

Так, нельзя не заразиться эмоционально симпатией, проникающей образ юноши Бертольда Оппенгейма, которому фашизм закрыл дорогу в жизнь:

«Кто хочет в Германии выйти вперед,
Что нужно ему для удачи?
Железную челюсть и сдавленный лоб»

(запись в дневнике Бертольда перед самоубийством).

Чтобы дать почувствовать взаимоотношения фашистов в «Изгнании», Фейхтвангер не пускается в рассуждения, а подчеркивает импульсы, освещает настроения, раскрывает душевные состояния. Вот надменный и самоуверенный сотрудник фашистской газеты «Вестдейче цейтунг» Визенер, уличенный в «ужасном» преступлении — в связи с «неарийкой». Вот он стоит, оробевший и потерявший перед своим начальством, эмиссаром фашистской партии Гейдебрегом. Он сидел перед Визенером «в бархатном голубом кресле, положив руку на руку, неподвижно, в позе статуи египетского фараона. Широкий перстень с печатью таил в себе властную и жестокую угрозу». Эта психологическая реакция Визенера — удачный художественный прием, позволивший автору в немногих словах одновременно обрисовать оба образа, а самому скрыться за мыслями и чувствами своих героев, потому что «объектив-

ность» — первое условие художественной полноты образов.

Отрицательные фигуры «Изгнания» правдивы и убедительны в своем индивидуальном разнообразии, и тем, разумеется, сильнее возбуждаемое ими в читателе отвращение и возмущение. Личность циничного и беспринципного журналиста Визенера, его окружение и участь — прямая и подчеркнутая противоположность Траутвейну. Композитор Траутвейн — весь горячая вера в возвышенные принципы добра и справедливости; журналист Визенер, ренегат и карьерист, — весь во власти низменных расчетов, сделок с собственной совестью. Отцу Траутвейну, очутившемуся у разбитого корыта своих благородных иллюзий, сын Ганс подсказывает выход из тупика, новую веру и новую жизнь. На отца Визенера, запутавшегося в роковых противоречиях между привязанностями сердца и требованиями «расистской чистоты», восстает сын Рауль, жаждущий отомстить отцу за свое еврейское по матери происхождение.

Уже упомянутый выше писатель Гарри Майзель, волею Фейхтвангера, осуществил его собственные творческие замыслы. Гарри в своих новеллах, посвященных язвам современности, жизненным трудностям изгнания, умело слил социальную значимость фактов с тем «объективизмом», которого так добивается Фейхтвангер, и этим осуществил «идеал высокого искусства...». У Гарри социальная насыщенность синтетически сливается с цельностью и художественной полнотой образа. Только такое искусство и может, по словам Гарри, вскрыть внутреннюю правду столь, например, сложного и противоречивого явления, как эмиграция, которой он посвятил свою работу.

Художественные приемы Фейхтвангера в «Изгнании» чужды всякой искусственности. Его лозунг — это реализм, простота, близость к действительной жизни. делающие персонажей такими необходимыми, обусловленными и понятными. В «Изгнании» оживают люди жгучей современности, из которых почти каждый отмечен ему одному свойственной индивидуальной печатью. Все они, за немногими исключениями, жизненно-правдивы, увлекательны и наполняют нас чувствами симпатии, сочувствия, негодования, презрения. «Нет ничего более романтического, — говорит Фейхтвангер устами дядюшки Меркле, — чем сама действительность. Как чистая вода под лучами солнца переливает всеми цветами радуги, так и действительность расцветивается яркими красками, если уметь в нее взглядеться».

В. Гурвич.

Редколлегия: Ф. В. Гладков

Л. М. Леонов

А. Г. Малышкин

В. П. Ставский

Ответственный редактор В. П. Ставский

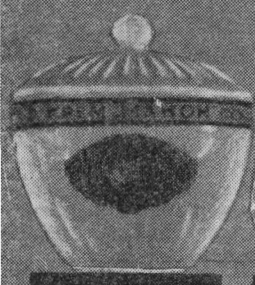
Редакция: Москва. 6. Пушкинская площадь, 5.

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Наркомитцентр ССРС
Лавнарррррр

ЭМЭ

Крем и пудра



МАНОН